Вальтер Скотт

Роб Рой

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I
ГЛАВА II
ГЛАВА III
ГЛАВА IV
ГЛАВА V
ГЛАВА VI
ГЛАВА VII
ГЛАВА VIII
ГЛАВА IX
ГЛАВА X
ГЛАВА XI
ГЛАВА XII
ГЛАВА XIII
ГЛАВА XIV
ГЛАВА XV
ГЛАВА XVI
ГЛАВА XVII
ГЛАВА XVIII
ГЛАВА XIX
ГЛАВА XX
ГЛАВА XXI
ГЛАВА XXII
ГЛАВА XXIII
ГЛАВА XXIV
ГЛАВА XXV
ГЛАВА XXVI
ГЛАВА XXVII
ГЛАВА XXVIII
ГЛАВА XXIX
ГЛАВА XXX
ГЛАВА XXXI
ГЛАВА XXXII
ГЛАВА XXXIII
ГЛАВА XXXIV
ГЛАВА XXXV
ГЛАВА XXXVI
ГЛАВА XXXVII
ГЛАВА XXXVIII
ГЛАВА XXXIX

А почему? Закон простой
Они хранят с былых времен:
Пусть тот берет, кто всех сильней,
И пусть владеет он.
Вордсворт, «Могила Роб Роя»

ВВЕДЕНИЕ

Когда автор задумал это новое посягательство на терпение снисходительной публики, его несколько смутил вопрос о заглавии: в литературе хорошее имя так же важно, как и в жизни. Заглавие «Роб Рой» предложено было покойным мистером Констеблом, чья проницательность и опытность позволили ему предугадать, что книга завоюет признание читателя.

Самое лучшее введение, какое можно предпослать настоящей повести, — это очерк жизни того замечательного человека, чье имя значится на заглавном листе и чья слава, добрая или дурная, заняла в народной памяти удивительно прочное место.

Этого нельзя приписать его знатности, потому что он хоть и был дворянином, но не высокого рода, и рождение само по себе еще не давало ему прав на главенство в клане. И подвиги его, хоть и был он предприимчив и жил беспокойной и деятельною жизнью, не могли равняться с подвигами других разбойников, не стяжавших большой известности. Своей славой он был в значительной мере обязан тому обстоятельству, что проживал у самой границы Горной Страны и в начале восемнадцатого столетия разыгрывал такие штуки, какие приписывают обычно Робин Гуду в средние века, — и это в сорока милях от Глазго, большого торгового города с почтенным университетом! Человек этот, дикой доблестью, тонкой хитростью и необузданным своеволием своим затмевавший американского индейца, жил и процветал на шотландской земле в золотой век королевы Анны и Георга I. Аддисон или Поп, по всей вероятности, сильно удивились бы, узнав, что на одном острове с ними живет личность, подобная Роб Рою, — столь странного нрава и занятий. Эта резкая противоположность между утонченной, цивилизованной жизнью по одну сторону границы Горной Страны и беззаконными, дикими похождениями, какие спокойно замышлял и совершал человек, проживавший по другую сторону этого воображаемого рубежа, создавала живой интерес вокруг его имени. Потому-то даже и сейчас

Вдали, вблизи, в лугах, в горах
Сердца полны мечтой одной,
И загораются глаза
При имени Роб Рой.*note 1*

У Роб Роя был ряд преимуществ, позволивших ему обратить в преимущество и ту роль, которую он для себя избрал.

Среди них самым замечательным было его происхождение из клана Мак-Грегоров и прочная связь с этим кланом, знаменитым своими несчастьями и неукротимостью духа, заставлявшей его отстаивать себя как единый клан, целостный и сплоченный, наперекор самым суровым законам, применявшимся с неслыханной жестокостью против всякого, кто носил это запретное имя. История Мак-Грегоров повторяет историю многих коренных кланов Северной Шотландии, которые были подавлены более сильными соседями и либо истреблены, либо вынуждены ради права на жизнь отказаться от своего родового имени и принять имя своих победителей. В повести о Мак-Грегорах характерно то упорство, с каким они в самых крайних обстоятельствах сохраняли свою самостоятельность и клановое

Note1
Перевод Б.Томашевского.

единство. История племени сводится в основном к нижеследующему (впрочем, мы должны оговориться, что наш рассказ основан во многом на предании, а потому, за исключением тех случаев, когда мы ссылаемся на письменные документы, его нельзя признать вполне достоверным).

Мак-Грегоры притязают на происхождение от Грегора, или Григория, который был будто бы третьим сыном Алпайна, короля скоттов, царствовавшего около 787 года. Поэтому их первоначальное родовое имя было Мак-Алпайны, и обычно клан их именуется кланом Алпайн. Один из их родов по сей день сохраняет это имя. Он числится среди древнейших кланов Верхней Шотландии, и не подлежит сомнению, что племя это — кельтского происхождения и одно время владело обширными землями в Пертшире и Аргайлшире, которые оно неразумно продолжало удерживать в силу coir a glaive, то есть по праву меча. Между тем его соседи, графы Аргайлы и Бредалбейны, ухитрились включить занятые Мак-Грегорами земли в те дарственные грамоты, которые они легко получали от короля, и таким образом создали для себя юридическое право владения, не слишком сообразуясь с его справедливостью. Каждый раз, как представлялся случай потеснить или истребить соседей, они кое-что прирезали к своим владениям, присваивая под видом королевского дара земли менее цивилизованного соседа. В ограблении клана Мак-Грегоров, говорят, особенно преуспевал некий сэр Дункан Кэмбел из Лохоу, известный в Шотландских горах под именем Донаха Дунан Хуррейда, то есть Черного Дункана Капюшона, ибо ему угодно было щеголять таким головным убором.

Обреченный клан, постоянно несправедливо сгоняемый со своих земель, отстаивал свои права силой и не раз добивался победы, которой пользовался довольно жестоко. Такое поведение, хоть и естественное для той страны и того времени, нарочито изображалось в столице как следствие неукротимой и врожденной жестокости, против которой якобы не было другого средства, как только обрубить корни и ветви племени Мак-Грегоров.

Акт Тайного совета, изданный в Стерлинге 22 сентября 1563 года, в царствование королевы Марии, дает право самым могущественным лордам и предводителям кланов преследовать клан Мак-Грегоров огнем и мечом. Подобный приказ от 1563 года не только предоставляет те же полномочия сэру Джону Кэмбелу из Гленорхи, потомку Дункана Капюшона, но запрещает верноподданным принимать под свой кров кого бы то ни было из клана Грегоров, помогать им или давать под каким бы то ни было предлогом еду, питье или одежду.

Жестокое деяние клана Грегор, совершенное им в 1589 году, — убийство Джона Драммонда из Драммондерноха, лесничего королевских лесов в Гленартни, — приводится везде и всюду со всеми страшными подробностями. Голову убитого отрубили, и клан поклялся над нею нести круговую поруку за преступление. Это вызвало новый акт Тайного совета, с призывом к новому крестовому походу против «дурного клана Грегор, издавна погрязающего в крови, убийствах, воровстве и грабеже»: этим актом выдавались патенты на преследование клана огнем и мечом сроком на три года. Освещение этого частного факта читатель найдет во введении к «Легенде о Монтрозе».

Немало было и других случаев, когда Мак-Грегоры выказывали презрение к закону, который часто жестоко преследовал их и никогда не брал под защиту. Пусть они постепенно лишились своих владений и всех обычных средств добывать себе пропитание, но все же нельзя было ожидать, что они спокойно умрут с голода, пока у них оставалось последнее средство — отбирать у пришельцев то, что они по праву почитали своим. Так изощрились они в хищных набегах и свыклись с кровопролитием. Их страсти легко воспламенялись, и при некотором давлении со стороны могущественных соседей нетрудно было, по красочному шотландскому выражению, «натравить» их на любое беззаконие, из которого хитрые подстрекатели извлекали выгоду, а вся вина и кара оставалась на долю невежественных Мак-Грегоров. Эту политику подстрекательства диких горных и пограничных кланов к нарушению мира в стране историки считают опаснейшим знамением своего времени и видят в Мак-Грегорах ее послушное орудие.

Несмотря на суровые преследования, осуществлявшиеся точно так, как они были замышлены, кое-кто из Мак-Грегоров еще удерживал владения, и в 1592 году клан числит своим вождем Алластера Мак-Грегора из Гленстрэ. Говорят, он был смел и предприимчив, но, судя по его предсмертной исповеди, кажется, заводил частые и отчаянные ссоры; одна из них в конечном счете оказалась роковой для него и для многих его приверженцев. То была знаменитая битва при Гленфруне, у юго-западного берега Лох-Ломонда, в окрестностях которого Мак-Грегоры еще удерживали власть по coir a glaive, то есть по праву сильнейшего, как упоминалось выше.

Мак-Грегоры вели долгую кровную вражду с лэрдом Луссом, главою Колкухунов, могущественного рода, обитавшего у нижнего края Лох-Ломонда. Согласно рассказу Мак-Грегоров, ссора началась с пустяка. Два человека из клана Мак-Грегоров, застигнутые ночью в пути, попросили пристанища в доме, принадлежавшем вассалу Колкухунов, и получили отказ. Тогда они прошли во двор, захватили на овчарне легченого барана, зарезали его и зажарили себе на ужин, предложив будто бы плату его владельцу. Лэрд Лусс схватил обидчиков, совершил над ними быстрый суд на правах феодального владельца, вынес им приговор и обоих казнил. Объясняя так причину вражды, Мак-Грегоры ссылаются на свою ходовую поговорку, проклинающую день и час, когда овца объяснилась черным бараном с белым хвостом (Mult dhu an Carbail ghil). Мстя за эту обиду, лэрд Мак-Грегор собрал свой клан (человек триста — четыреста) и двинулся на Лусс с берегов Лох-Лонга через так называемый Рейд-на-Гэл, то есть Ущелье Горца.

Сэр Хамфри Колкухун заблаговременно узнал о нашествии и собрал большие силы, численностью более чем вдвое превосходившие противника. С ним были джентльмены из рода Бьюкэнан, Грэмы, некоторые другие дворяне из Леннокса и отряд горожан из Дамбартона с Тобиасом Смоллетом во главе, городским советником, или бейли, — предком знаменитого писателя.

Стороны встретились в Гленфруне, что означает Ложбина Печали, — название, предвосхищавшее, казалось, события этого дня, рокового для побежденных, но не менее скорбного и для победителей, ибо «нерожденные младенцы» клана Алпайн имели все причины пожалеть о нем. Мак-Грегоры оробели при виде превосходных сил неприятеля, но в них вдохнул бодрость их кудесник, или ясновидец, изрекши, что вместо противников он видит закутанных в саван мертвецов. Клан яростно обрушился в лоб на врага, в то время как Джон Мак-Грегор с сильным отрядом предпринял внезапную атаку с фланга. Войско Колкухунов состояло в своем большинстве из конницы, которая не могла развернуться в болотистой местности. Говорят, что они мужественно оспаривали поле, но в конце концов были наголову разбиты, и тогда началось нещадное избиение обращенного в бегство неприятеля, который потерял на поле сражения и при этом преследовании две или три сотни человек. Если верно предание, что Мак-Грегоры в этом бою потеряли убитыми только двух бойцов, то у них не было серьезного повода к слепой резне. Их ярость, говорят, распространилась на толпу студентов-богословов, неосторожно явившихся посмотреть на битву. Этот факт сомнителен, так как судебный приговор против вождя клана Мак-Грегоров умалчивает о нем, равно как и историк Джонстон и профессор Росс, описавший битву двадцать девять лет спустя. Однако местное предание неизменно утверждает свое, и скала, на которой совершилось это дело, зовется Лек-а-Министейр, то есть Могильный Камень Священников. Мак-Грегоры приписывают это злое дело жестокости одного человека из их племени, славившегося своим ростом и силой, некоего Дугалда, по прозвищу Киар-Мор, то есть Великан Мышиной Масти. Он был молочный брат Мак-Грегора, и вождь отдал юношей под его надзор, с наказом не отпускать их, пока не кончится битва. Из опасения ли, что они убегут, задетый ли их насмешками над его племенем или просто в жажде крови, этот дикарь, когда остальные Мак-Грегоры пустились преследовать неприятеля, заколол своих беспомощных и безоружных пленников. Когда предводитель, вернувшись, спросил, где юноши, Киар-Мор поднял свой окровавленный кинжал и сказал по-гэльски: «Спроси его — и да хранит меня Бог!» В этих последних словах заключен намек на призывы его жертв к Божьей мести в час убийства.

Поэтому похоже, что в этой своей страшной части предание основано на действительном происшествии, хотя число убитых юношей южношотландская версия, вероятно, преувеличила. В народе говорится, что кровь жертв Киар-Мора вовек не может быть смыта с камня. Когда Мак-Грегор узнал об их судьбе, он отозвался об этом с крайним отвращением и укорял своего молочного брата, что он совершил такой поступок, который навлечет гибель на него и на его клан. Этот убийца был предком Роб Роя, и к нему восходит та ветвь Мак-Грегоров, от которой он происходил. Киар-Мор похоронен в Фортингале, где по сей день показывают на погосте его гробницу, покрытую тяжелой плитой, и где ходит немало легенд о его великой силе и отваге.

В числе немногих убитых был брат Мак-Грегора. Он похоронен близ поля битвы, и место погребения отмечено нетесаным камнем, именуемым Серый Камень Мак-Грегора.

Сэр Хамфри Колкухун на добром своем коне ушел от погони и укрылся временно в замке Банохар, или Бенехра. Убежище, однако, оказалось ненадежным, и вскоре он был убит под сводами замка, как говорит семейная летопись — Мак-Грегорами, хотя другие версии обвиняют в этом убийстве Мак-Фарленов.

Битва при Гленфруне и жестокость, проявленная победителями в преследовании, были представлены королю Иакову VI в крайне неблагоприятном для Мак-Грегоров свете, а их слава отважных, но не признающих закона удальцов не могла в этом случае принести им пользу. Чтобы Иаков мог ясно представить себе размеры резни, в Стерлинг явилось более двухсот жен убитых, в глубоком трауре, верхом на белых конях, каждая неся на копье окровавленную рубашку мужа, и предстали так пред королем, необыкновенно чувствительным к подобным зрелищам ужаса и скорби, требуя отмщения за смерть своих мужей убийцам, повергшим их в безутешное горе.

Наказание было по меньшей мере столь же сурово, как те жестокости, которые оно должно было покарать. Актом Тайного совета от 3 апреля 1603 года имя Мак-Грегоров объявлено было уничтоженным и тем, кто до сих пор его носил, повелевалось изменить его на другие имена под угрозой смертной казни каждому, кто впредь станет называть себя по имени отцов Мак-Грегором. Под страхом той же казни всем, кто участвовал в битве при Гленфруне или был причастен к другим разбойным делам, перечисленным в акте, запрещалось носить какое бы то ни было оружие, кроме ножа для разрезания пищи. Следующий акт Тайного совета от 24 июня 1613 года обрекал смертной казни всех лиц из племени, называвшегося ранее Мак-Грегорами, если они вздумают собраться вместе в числе свыше четырех человек. Парламентский акт от 1617 года в главе 26-й снова подтвердил эти законы, распространив их и на подрастающее поколение, так как, по имевшимся сведениям, дети тех, против кого направлены были акты Тайного совета, уже в большинстве своем достигли совершеннолетия, и, если бы им разрешили принять имя их отцов, клан снова стал бы столь же сильным, как и раньше.

Исполнение этих суровых эдиктов возложили в западных областях на графа Аргайла и могущественный клан Кэмбелов, а на востоке, в горных областях Пертшира, — на графа Этола и его приверженцев. Мак-Грегоры оказывали сопротивление с неустрашимой отвагой, — и многие долины на западе и севере Горной Страны хранят память о жестоких битвах, в которых воины гонимого клана нередко одерживали временную победу и всегда дорого продавали свою жизнь. Наконец гордость Алластера Мак-Грегора, главы клана, была сломлена страданиями его народа, и он решил сдаться графу Аргайлу со своими ближайшими приверженцами на том условии, что они будут высланы из Шотландии. Если верить отчету несчастного вождя, он мог с полным основанием рассчитывать на благосклонность графа, чье поощрение и тайные указания навели его на многие из тех отчаянных дел, за которые его призвали теперь к суровому ответу. Но Аргайл, как выразился старый Биррел, сдержал свое обещание на кельтский лад, «исполнив его для уха, но нарушив для разумения»: Мак-Грегора под сильной охраной доставили к английской границе, и, поскольку он тем самым был в буквальном смысле слова выслан из Шотландии, считалось, что Аргайл не нарушил договора, когда тот же отряд, который проводил туда пленника, отвел его затем назад, в Эдинбургскую

тюрьму.

20 января 1604 года Мак-Грегор из Гленстрэ предстал перед судом и был признан виновным. По-видимому, его прямо из зала суда отправили на виселицу, так как Биррел, относя это событие к той же дате, сообщает, что Мак-Грегор был казнен у городских ворот и, отличия ради, повешен выше, чем двое его сподвижников и родичей. 18 февраля следующего года несколько человек из рода Мак-Грегоров были казнены после длительного тюремного заключения, а в начале марта — еще несколько.

В главе 16-й постановления от 1607 года парламент выражает благодарность графу Аргайлу, «который привел в покорность дерзкое и злое племя Мак-Грегоров, неисправимых правонарушителей, и отдал под суд Мак-Грегора со многими главарями клана, заслуженно казненными за их злодеяния», и жалует его двадцатью чолдерами зерна с земель клана Кинтайр.

Мак-Грегоры, невзирая на приказы о предании их огню и мечу, на все карательные экспедиции, высылаемые против них шотландскими властями, которые, казалось, утратили самообладание и чувство собственного достоинства и приходили в исступление при одном имени гонимого клана, — невзирая на все это, Мак-Грегоры не примирились с тем, что их вычеркивают из списка шотландских кланов. Правда, они подчинились закону и приняли имена соседних родов, среди которых им случилось проживать, превратившись номинально в Драммондов, Кэмбелов, Грэмов, Бьюкэнанов, Стюартов и т.д., как кому оказалось удобней; но по всему поведению, по взаимной приверженности и во всех своих замыслах они оставались кланом Грегор, сплоченным воедино на любое дело, доброе и злое, и грозившим мстить всем племенем каждому, кто затронет кого-либо из них.

Они по-прежнему терпели гонения и, нимало не колеблясь, наносили обиды, как и до попытки разъединить их в законодательном порядке — что явствует из главы 30-й вступления к статуту от 1633 года, где отмечается, что клан Грегор, подавленный и умиротворенный великими заботами покойного короля Иакова, снова поднял голову в графствах Перт, Стерлинг, Клакмэннен, Монтит, Леннокс, Ангюс и Мернс; а посему статут снова вводит в силу постановления о лишении клана прав и требует строгого соблюдения ранее изданных законов против злого и мятежного племени.

Как ни суровы были меры, принятые Иаковом I и Карлом I против несчастных людей, которых доводили до бешенства гонениями, а потом карали за то, что они уступали страстям, нарочито в них разжигаемым, Мак-Грегоры во время гражданской войны все как один стали под знамена изгнанного короля. Их барды объясняли это прирожденным уважением Мак-Грегоров к шотландской короне, которую носили некогда их предки, в доказательство ссылались на их герб, изображавший сосну, скрещенную в виде буквы X с обнаженным мечом, острие которого поддерживает королевскую корону. Не отрицая, что подобные соображения могли иметь некоторое значение, мы все же склоняемся к мысли, что война на стороне якобитов, открывавшая богатую равнину набегам горных кланов, была для Мак-Грегоров соблазнительней, чем все заигрывания ковенантеров, потому что, став на их сторону, клану пришлось бы иметь дело с горцами, такими же дикими, как они сами, и которым, так же как им, нечего было терять. Их возглавил Патрик Мак-Грегор, сын выдающегося вождя Дункана Аббараха, к которому Монтроз обращается в письмах как к своему поверенному и другу, говоря, что всецело полагается на преданность его и верность, и обещая, что со временем, когда дело его величества станет на твердую почву, клан Мак-Грегоров получит возмещение за все обиды.

Далее в ходе тех горестных времен мы видим, что клан Мак-Грегоров требует восстановления своей самостоятельности, когда шотландский парламент призвал его в 1651 году отразить — бок о бок с другими кланами — наступление республиканской армии. 31 марта указанного года Калум Мак-Кондахи Вих Юэн и Юэн Мак-Кондахи Юэн, от своего лица и от лица всех носителей имени Мак-Грегор, подают прошение королю и парламенту, отмечая в нем, что когда они, просители, повинуясь приказу парламента, вменившему в обязанность всем кланам явиться на службу под командой своих вождей для защиты веры,

короля и обоих королевств, стали стягивать свои силы на охрану горных проходов у истоков реки Форт, граф Этол и лэрд Бьюкэнан им в этом помешали, вытребовав в свои ряды многих воинов из клана Грегор. Это не могло бы случиться, если бы не было изменено имя Мак-Грегор, что дало основание графу Этолу и лэрду Бьюкэнану вербовать Мак-Грегоров под свои знамена, как носителей имен Мерри и Бьюкэнан. Ходатайство Мак-Грегоров о разрешении выступить самостоятельным отрядом, как выступали другие кланы, по-видимому, осталось без ответа. Но после Реставрации король Карл через первый шотландский парламент своего царствования (статут 164, глава 195) отменил ряд постановлений против клана Грегоров и вернул им право открыто носить свое родовое имя и пользоваться другими привилегиями верноподданных короля. Причиной такой снисходительности выдвигалось то обстоятельство, что те, кто некогда именовался Мак-Грегорами, проявили во время последней смуты такую преданность его величеству, что она по справедливости смывает память об их прежних провинностях и снимает с них всякую вину за прошлое.

Как ни странно, пресвитериане-нонконформисты, по-видимому, возмутились, когда несправедливые гонения, которым так недавно подвергали их самих, были ослаблены в отношении несчастных Мак-Грегоров: видно, не только худшие, но и лучшие из людей не способны судить беспристрастно об одних и тех же мерах в применении к себе и к другим. После Реставрации враждебное несчастному клану влияние *note 2* привело к восстановлению карательных законов против Мак-Грегоров. Причины, по которым вновь вводились в силу эти суровые законы, неизвестны, и нет никаких указаний на то, что клан в чем-либо провинился снова. Есть все основания думать, что статья закона, касавшаяся Мак-Грегоров, была нарочно составлена в такой форме, чтобы пройти незамеченной: хотя в ней заключались постановления, жестоко ущемлявшие права столь многих шотландских подданных, она не упомянута ни в общем заглавии, ни в подразделах того парламентского акта, в который введена, и дана в виде короткого добавления к главе 61-й статута 1693 года — в так называемом «Акте о судопроизводстве в Верхней Шотландии».

Однако после революции акты против клана соблюдались, по-видимому, не строго, а во второй половине восемнадцатого столетия и вовсе перестали соблюдаться. Члены палаты общин в парламенте именовались запретным именем Мак-Грегор, и многочисленные постановления суда и административные приказы подписывались этим именем. Однако, поскольку законы по-прежнему значились в книге статутов, Мак-Грегоры все еще страдали от запрета, наложенного на их исконное родовое имя, и делали попытки усвоить себе другое: предлагалось, чтобы в будущем весь клан именовался Мак-Алпайн или Грант. Однако соглашения достигнуть не удавалось; со злом мирились по необходимости, пока не было получено полное восстановление в правах: особый акт британского парламента раз навсегда отменил карательные законы, так долго тяготевшие над древним родом. Этот статут, вполне справедливый, так как многие джентльмены из клана Мак-Грегоров честно потрудились на пользу короля и родины, был наконец утвержден, и, опираясь на него, Мак-Грегоры повели свои действия в том же духе старины, которому они всегда оставались верны, жестоко страдая от стеснения в древних своих правах, когда большинство их соотечественников уже не придавало этим правам существенного значения.

Для начала они признали Джона Мерри из Ланрика, эсквайра (впоследствии сэра Джона Мак-Грегора, баронета), представителя семьи Гленкарнох, прямым потомком древнего племени и крови лэрдов и лордов Мак-Грегор, и посему избрали его своим вождем во всех делах общественного порядка. Акт был скреплен подписью восьмисот двадцати шести мужчин из рода Мак-Грегор, способных носить оружие. Во время последней войны большое число представителей клана объединилось в так называемый полк клана Алпайн, сформированный в 1799 году и возглавленный их вождем и его братом, полковником

Note2

возможно, то же, которым впоследствии была вызвана резня в Гленко

Мак-Грегором.

Дав краткую историю клана, являющую редкий и любопытный пример живучести патриархального строя, автор должен теперь сообщить некоторые сведения о человеке, по имени которого назвал он эту повесть.

Когда знакомишься с шотландским горцем, надо прежде всего рассмотреть его родословную. Роб Рой вел свой род от Киар-Мора, Великана Мышиной Масти, обвиненного преданием в убийстве юных студентов во время битвы при Гленфруне.

Чтобы не утруждать ни себя, ни читателя, мы не станем вдаваться в путаную генеалогию горцев; довольно будет сказать, что после смерти Алластера Мак-Грегора из Гленстрэ клан, преследуемый неослабной ненавистью врагов, как видно, пал духом и не счел возможным стать под начальство одного вождя. В соответствии с местожительством и происхождением группы семейств объединились под властью предводителя, как называют горцы главу отдельной ветви того или иного рода, в отличие от вождя, который возглавляет весь род в целом.

Семья и потомки Дугалда Киар-Мора жили по большей части в горах, между озерами Лох-Ломонд и Лох-Кэтрин, занимая там обширные земли, по праву ли меча, которое всегда небезопасно было у них оспаривать, с молчаливого согласия окружающих, или же на каких-либо законных основаниях — бесполезно спрашивать и нет нужды разбирать. Нам достаточно знать: там они жили, эти люди, и даже самые сильные соседи избегали с ними ссориться, потому что в мирное время дружба с ними была необходима для спокойствия всей округи, а в случае войны они оказывали помощь быструю и действенную.

Роб Рой Мак-Грегор Кэмбел (парламентские акты, запретившие его истинное имя, заставили его называться Кэмбелом) был младшим сыном Доналда Мак-Грегора из Гленгайла, полковника (вероятно, на службе у Иакова II); по матери же он был внуком Кэмбела из Гленфаллоха. К имени самого Роба добавлялось «из Инверснейда»; но он, кажется, имел какие-то права, благоприобретенные или наследственные, на поместье Крейг-Ройстон — леса и скалы на восточном берегу Лох-Ломонда, где это красивое озеро врезается в окутанные туманом Гленфаллохские горы.

Время рождения Роб Роя точно не установлено. Но говорят, он принимал участие в военных столкновениях и разбоях, последовавших за революцией; и предание утверждает, что он был вожаком при грабительском набеге на приход Киппен в Ленноксе, имевшем место в 1691 году. Дело прошло почти без кровопролития — был убит только один человек, но небывалые размеры грабежа надолго утвердили за ним название киппенского разгрома или разорения *note 3*. Время смерти Роб Роя тоже неизвестно; но так как он, говорят, пережил 1733 год и умер в преклонном возрасте, можно предположить, что при разгроме Киппена ему было лет двадцать пять, и тогда его рождение надо отнести к середине семнадцатого столетия.

В более спокойные времена, наступившие вслед за революцией, Роб Рой, или Красный Роберт, по-видимому, направил свою энергию и незаурядные дарования на промысел крупного гуртовщика, или торговца скотом. Надо думать, что в те дни ни один южношотландский гуртовщик, уже не говоря об английских, не рискнул бы вступить в пределы Горной Страны. Скот, главный предмет торговли в горных местностях, пригоняли на ярмарки в пограничной полосе Нижней Шотландии отряды бряцавших оружием горцев, которые, однако, обходились с покупателями-южанами честно и добросовестно. Правда, возникали иной раз ссоры, когда жители равнины, по преимуществу пограничной ее полосы, поставлявшие товары на английский рынок, окунали свои шапки в ближайший ручей и, натянув их на кулак, шли с дубинкой против обнаженного палаша, и тот далеко не всегда одерживал верх. Мне доводилось слышать от стариков, смолоду участвовавших в подобных схватках, что горцы вели себя в них с отменной честностью, никогда не пуская в ход острие клинка, ни тем более пистолет или кинжал.

Note3

Смотри «Статистические данные о Шотландии», т. XVIII, стр. 332. Приход Киппен. (Прим. автора.)

И гром и звон кругом стоят,
Скрестился с палицей булат.

Два-три ушиба или проломленный череп — такое дело легко улаживалось, и, поскольку торговля была выгодна для обеих сторон, мелким стычкам не давали нарушать ее мирное течение. Для горцев она представляла жизненный интерес, так как весь доход, какой они могли получить со своих земель, сводился к выручке от продажи скота, а толковый и опытный купец не только сам наживался на своих торговых операциях, но и давал кое-чем попользоваться своим друзьям и соседям. Дела Роб Роя в течение ряда лет шли так успешно, что он завоевал всеобщее доверие и пользовался известным почетом в стране, где жил.

Положение его еще более укрепилось после смерти отца, когда он получил в наследство опеку над имуществом своего племянника, Грегора Мак-Грегора из Гленгайла, а вместе с нею, как его наставник, и то влияние, каким должен был пользоваться в клане и его окружении представитель Дугалда Киара. Влияние было тем более полным, что эта ветвь рода Мак-Грегоров, по-видимому, отказалась от подчинения Мак-Грегору из Гленкарноха, предку нынешнего сэра Эвана Мак-Грегора, и утвердилась в известной самостоятельности.

К этому же времени Роб Рой приобрел права — через куплю, заклад или иным путем — на упомянутое нами поместье Крейг-Ройстон. В эту пору преуспевания он пользовался необычайной благосклонностью своего ближайшего и могущественного соседа Джеймса Монтроза, первого герцога этого имени, и тот не раз оказывал ему знаки внимания. Герцог соизволил передать в собственность его племяннику и ему самому поместья Гленгайл и Инверснейд, которыми они пользовались раньше только на правах льготной аренды. Кроме того, в интересах всего края и ради процветания собственных своих земель герцог поддерживал нашего авантюриста крупными денежными займами, дававшими ему возможность продолжать торговлю скотом.

К несчастью, этот вид торговли был тогда, как и в наши дни, подвержен резким колебаниям, и Роб Рой вследствие внезапного падения цен на скот и, как добавляет дружественное предание, из-за вероломства компаньона, некоего Мак-Доналда, которому он неосмотрительно доверил значительную сумму денег, оказался несостоятельным должником. Компаньон скрылся не с пустыми, конечно, руками — во всяком случае, в указе о его аресте говорилось, что он имел при себе до тысячи фунтов стерлингов, полученных от некоторых дворян и владетельных особ на закупку для них скота в Горной Стране. Объявление это появилось в июне 1712 года и не раз повторялось. Оно устанавливает время, когда Роб Рой сменил торговые сделки на операции совсем иного рода.

По-видимому, в эту пору он впервые перебрался из своего обычного жилища в Инверснейде за десять — двенадцать шотландских миль (английских, считай, вдвое) дальше в горы и стал вести тот беззаконный образ жизни, которому и следовал с тех пор. Герцог Монтроз, почтя себя обманутым и оскорбленным поведением Мак-Грегора, прибегнул к законным способам взыскания одолженных ему денег. Земельные владения Роб Роя были отняты у него обычным судебным порядком, а его стада и домашнее имущество проданы с молотка.

Говорят, что это вмешательство закона, как его именуют в Шотландии, а в Англии более грубо называют арестом имущества, было применено в этом случае с необычайной суровостью и судебные исполнители, и обычно-то люди далеко не мягкие, так надругались над женой Мак-Грегора, что это и более кроткому человеку внушило бы мысль о беспощадной мести. Елена Мак-Грегор была женщина гордого и неукротимого нрава, и очень возможно, что она вмешалась в действия должностных лиц, вследствие чего и подверглась грубому обращению, хотя гуманности ради хочется надеяться, что народное предание передает эту историю в преувеличенной версии. Достоверно одно: женщине было тяжело изгнание с берегов Лох-Ломонда, и она излила свои чувства в прекрасной музыке для волынки, известной и теперь среди любителей под названием «Жалоба Роб Роя».

Думают, что беглец нашел первое убежище в Глен-Дохарте, под покровительством графа Бредалбейна; правда, в свое время Бредалбейны усердно потрудились в деле разорения Мак-Грегоров, но за последние годы они дали пристанище многим носителям этого имени в их прежних владениях. В числе покровителей Роб Роя был и герцог Аргайл: он даже, как говорится у горцев, «предоставил ему лес и воду», то есть укрытие, какое давали леса и озера недоступного края.

В те времена знатные люди Горной Страны, помимо честолюбивого стремления поддержать своих так называемых приверженцев или вооруженных вассалов, старались иметь в своем распоряжении решительных людей, которые были бы не в ладу со светом и его законами и при случае могли бы время от времени опустошать земли и разорять арендаторов враждебного феодала, не навлекая ответственности на своих покровителей. Борьба между кланами Кэмбелов и Грэмов в течение гражданских войн семнадцатого столетия отмечена обоюдными потерями и закоренелой враждой. Смерть знаменитого маркиза Монтроза, с одной стороны, поражение при Инверлохи и жестокий разгром Лорна, с другой, — таковы были взаимные обиды, которые было нелегко забыть. Роб Рой поэтому был уверен, что найдет убежище в стране Кэмбелов, как принявший их имя, как родственник с материнской стороны семейства Гленфаллох и как недруг враждебного им дома Монтроза. Обширные владения Аргайла, куда он в крайнем случае мог отступить, позволяли Мак-Грегору строить дерзкие планы мести.

Теперь он рассчитывал на сильную поддержку в хищнической борьбе с герцогом Монтрозом, которого он полагал виновником всех своих бед: изгнания из общества, изданных против него «грамот о гонении и пленении» (как назывались соответственные указы), поставивших его вне закона, и, наконец, лишения имущества и прав на свои земли. Поэтому он намеревался досаждать герцогу, его арендаторам, друзьям, союзникам и родичам всеми доступными средствами. И, хотя ему открылся достаточный простор для грабительских подвигов, Роб, называвший себя якобитом, дерзко расширил область своей деятельности на всех тех, в ком ему угодно было видеть сторонников революционного правительства и самого ненавистного из мероприятий — соединения королевств. Под тем или другим предлогом он совершал набеги на соседей, живших в южной части Шотландии, если им было что терять или если они не соглашались откупиться от ограбления, ежегодно уплачивая некоторую сумму за помощь и покровительство.

Местность, где развертывалась эта война одного против всех и возводился в систему грабеж, в те времена, когда дороги еще не связали ее с остальным королевством, благоприятствовала целям Роб Роя. Населенная часть ее, раздробленная на узкие долины, была неизмеримо меньше пустынных лесов, скал и стремнин, которые ее окружали; к тому же край этот изобиловал непроходимыми ущельями, болотами и естественными твердынями, известными только его обитателям. Незначительный отряд, знакомый с местностью, столкнувшись с превосходными силами, мог без труда ускользнуть от преследования.

Воззрения и обычаи тех, кто жил по соседству с Горной Страной, также немало благоприятствовали Роб Рою в его замыслах. Большая часть окрестных жителей принадлежала к одному с ним клану — к Мак-Грегорам, притязавшим на Балквиддер и другие горные округа из тех, что составляли некогда их владения, хотя суровые законы, так жестоко каравшие клан, передали его права другим родам. Гражданские войны семнадцатого столетия приучили этих людей носить оружие, а воспоминания о перенесенных невзгодах распаляли в них злость и отвагу. К тому же соседство богатой Низины, или Лоуленда, представляло большой соблазн для набегов. Многие представители других кланов, привычные к оружию и презиравшие труд, двинулись к незащищенным границам, обещавшим легкую добычу; и вся страна, ныне мирная и спокойная, в те времена оправдывала мнение (с таким недоверием выслушанное доктором Джонсоном), что самыми беспокойными и беззаконными в Горной Стране были округа, непосредственно граничившие с Нижней Шотландией. Таким образом, для Роб Роя, принадлежавшего к роду, широко рассеянному по описанной нами стране, не представляло труда набрать сколько угодно приверженцев, которых он мог бы вести за собой

и содержать на доходы от грабежей и набегов.

Сам он, по-видимому, как нельзя лучше подходил к выбранному им ремеслу. Он был не слишком высок ростом, но необычайно силен и крепко сколочен. Наиболее примечательным в его сложении были широкие плечи и очень большие, несоразмерно длинные руки: говорят, он мог, не нагибаясь, завязать на себе подвязки чулок, которые находятся у шотландца на два дюйма ниже колена. Лицо у него было открытое, мужественное и хотя суровое в минуту опасности, но приветливое и ясное в часы веселья. Темно-рыжие волосы, густые и курчавые, вились вокруг лица. Покрой его платья оставлял, как водится, открытыми колени и верхнюю часть ноги, походившей, как мне рассказывали, на ногу шотландского быка: так же заросшая рыжей шерстью, она у него и по силе мускулов не уступала бычьей ноге. К этим отличительным приметам надо прибавить мастерское владение горским мечом. Большое преимущество давали ему в борьбе его длинные руки и превосходное знание всех глухих уголков дикой местности, где он укрывался, а также нрава тех людей, дружественных и враждебных, с которыми ему приходилось соприкасаться.

Особенности его нравственного облика тоже вполне соответствовали тем обстоятельствам, в какие был он поставлен. Потомок кровожадного Киар-Мора, он не унаследовал его лютости. Напротив, Роб Рой всемерно избегал проявлений жестокости, и не засвидетельствовано случая, когда бы он допустил ненужное кровопролитие или затеял бы дело, которое могло окончиться таковым. Предпринятые им набеги проводились не только смело, но и мудро и почти всегда бывали успешны благодаря искусному руководству, а также тайне и быстроте, с которой они выполнялись. Подобно английскому Робин Гуду, он был добрым и благородным грабителем и, отбирая у богатых, щедро оделял бедняка. Конечно, здесь мог быть и хитрый расчет, однако все предания страны говорят, что это делалось из лучших побуждений. С кем я ни беседовал, — а в дни юности я нередко встречал людей, знавших Роб Роя лично, — все отзывались о нем как о человеке «на свой лад» милосердном и гуманном.

Его понятия о нравственности были такие же, как у арабского вождя, — они, естественно, проистекали из его первобытного воспитания. Если бы Роб Рой стал оправдывать свой образ жизни, избранный им добровольно или по необходимости, — он, несомненно, считал бы себя храбрецом, которого лицеприятный закон лишает прирожденных прав и вынуждает отстаивать их вооруженной силой; таким очень удачно обрисовал его в своих вдохновенных стихах мой даровитый друг Вордсворт:

Итак, он был и мудр и смел,
С отвагой ум соединен…
В моральный принцип он возвел
Естественный закон.
Роб говорил: «Не надо книг!
Тома с законами сожги!
Они виной тому, что мы
Не братья, а враги!
Закон в границы ставит страсть,
Ведя нас ложною тропой.
Мы за такой закон идем
В ожесточенный бой!
В смятенье, в ослепленье мы
Заветов мудрых не храним…
Мне в сердце врезались они,
Я верю только им.
Те, кто живет в волнах, в лугах,
Кто режет воздух взмахом крыл,
Не знают войн, для них всегда

Мир высшим благом был.
А почему? Закон простой
Они хранят с былых времен:
Пусть тот берет, кто всех сильней,
И пусть владеет он.
Легко понятный всем урок,
Дающий всем на все ответ…
Тут для жестокости шальной
Соблазна сильным нет.
Тут своеволье не в чести,
Безумцев диких ждет беда!
Желанье мерит мерой сил
Любой из нас всегда.
Решает жизнь земных существ
Отвага, высота ума:
Так Бог решил — одним вся власть,
Другим — весь гнет ярма.
Закон, права дающий, прост,
А жизнь любая — раз мигнуть!
Чтоб защитить свои права,
Найдем кратчайший путь!»
И так он жил средь этих скал,
И в летний зной, и в зимней мгле…
Орел — властитель в облаках,
А Робин — на земле*note 4*

Все же не следует думать, что этот незаурядный человек, поставленный вне закона, был истинным героем, неотступно следовавшим в жизни тем нравственным воззрениям, какие прославленный бард, стоя над его могилой, приписывает ему в заботе о его добром имени. Напротив, Роб Рой, подобно многим диким вождям, по-видимому, примешивал к исповедовавшимся им принципам немало коварства и лицемерия, как убедительно показывает его поведение в гражданской войне. Отмечают также — и вполне справедливо, — что хотя учтивость и была одной из его отличительных черт, все же он нередко бывал заносчив и находились гордецы, не желавшие выносить такое обхождение; когда же дерзкий разбойник вступал с ними в ссору, он всегда выходил из нее победителем. Отсюда делали вывод, что Роб Рой был не столько героем, сколько драчуном, или, по крайней мере, что он подчас бывал, как говорится, скор на расправу. Кое-кто из стариков, хорошо знавших его, уверял, что он был сильнее в taich-tulzie, то есть в «домашних» драках, чем в смертельном бою. Однако это обвинение опровергается всем его образом жизни; скорее можно допустить, что самое его положение требовало осторожности и не позволяло вмешиваться в ссоры, когда он не мог ждать от них ничего, кроме несчастья, так как успех вооружил бы против него новых могущественных врагов в стране, где месть не считается преступлением и даже вменяется в обязанность. Способность обуздывать свои страсти в таких случаях не только не противоречила роли, поневоле принятой на себя Мак-Грегором, но была в те времена настоятельно необходима, если он не хотел слишком рано сложить свою голову.

Я позволю себе показать на двух-трех примерах, как Роб Рой бывал вынужден придерживаться подобного образа действий. Мой уважаемый покойный друг Джон Рэмзи из Охтертира, выдающийся знаток классической литературы и правдивая живая хроника древней истории и обычаев Шотландии, сообщил мне, что на празднике у костра в городе Дауне Роб

Note4
Перевод Б.Томашевского.

Рой чем-то задел Джеймса Эдмондстона из Ньютона, того самого джентльмена, который был, на свое несчастье, замешан в убийстве лорда Ролло (см. Мак-Лорин «Судебные процессы», № IX), и Эдмондстон принудил Мак-Грегора оставить город, пригрозив, что иначе он своими руками бросит его в костер. «Я уже раз намял тебе бока, — сказал он, — а теперь, Роб, если ты не перестанешь меня злить, я сверну тебе шею». Правда, не следует забывать, что Эдмондстон был влиятельным членом партии якобитов — он нес знамя короля Иакова VII в битве при Шериф-муре — и что дело происходило у дверей его дома, где его, вероятно, окружали друзья и приверженцы. Все же доброе имя Роб Роя пострадало, когда угроза вынудила его удалиться.

Другой достоверный случай — это случай с Каннингемом из Бокухана.

Генри Каннингем из Бокухана, эсквайр, был стерлингширским дворянином; подобно многим денди нашего времени, он соединял смелый и пылкий нрав с подчеркнуто учтивым обращением и фатовскими манерами. Его храбрость и подчеркнутое фатовство соединялись, как это не так уж часто бывает, с врожденной скромностью. Вот как его описывает лорд Биннинг в своей сатирической поэме «Утренний прием Аргайла»:

Шестой отвесил он поклон,
Но не подходит ближе;
И герцог ласково к нему:
«Видать, что был в Париже!
Манер изящней никогда
Я не видал, ей-богу!»
Тот покраснел — седьмой поклон -
И пятится к порогу.*note 5*

Ему случилось быть в одной компании с Роб Роем, и тот, то ли из презрения к мнимой изнеженности Бокухана, то ли полагая ссору с ним неопасной (что, по уверениям недругов Роба, он всегда принимал в соображение), оскорбил его так жестоко, что в ответ последовал вызов на поединок. Хозяйка спрятала меч Каннингема, и, в то время как он шарил по всему дому в поисках своего или какого-либо другого меча, Роб Рой отправился на Шиллингский холм — назначенное место поединка — и с величественным видом расхаживал там, ожидая противника. Между тем Каннингем отыскал какой-то меч и, поспешив к месту сражения, набросился на разбойника с такой неожиданной яростью, что прогнал его с поля битвы, и тот некоторое время избегал показываться в том селении. Мистер Мак-Грегор Стерлинг в новом издании своего «Nimmo's Stirlingshir» передает смягченную версию этого анекдота; однако и он отмечает поражение Роб Роя.

Время от времени Роб Роя постигали неудачи, и жизнь его подвергалась немалой опасности. Однажды он спасся лишь благодаря хладнокровию своего адъютанта Мак-Аналестера, или Флетчера, игравшего в его шайке роль Джона Маленького, ловкого, предприимчивого удальца и прославленного стрелка. Случилось так, что Мак-Грегор и его отряд были застигнуты врасплох и разбиты превосходными конными и пешими силами противника, и был дан приказ броситься врассыпную. Каждый изворачивался, как умел; один смельчак-драгун настойчиво преследовал Роба и, догнав его, ударил палашом. Железная пластина в шапке Мак-Грегора не дала раскроить ему череп, но все же удар был настолько силен, что свалил нашего героя на землю, и, падая, Роб воскликнул: «Мак-Аналестер, неужели в ней (то есть в пищали) нет ничего?» Солдат же с криком: «Вот дьявол! Чертова бабка сшила тебе этот колпак!» — уже занес палаш для второго удара, когда Мак-Аналестер выстрелил, и пуля поразила солдата в сердце.

Каков бы ни был Роб Рой, вот как описывает его деяния один талантливый и умный джентльмен, который проживал в той округе, где происходили его хищнические набеги, и,

---

Note5

См. «Сборник поэм шотландских джентльменов», т. II, стр. 125. (Прим. автора.)

вероятно, испытал на себе их тяжесть, а потому, как и следовало ожидать, говорит о них без той снисходительности, с какой смотрят на них теперь по причине их необычного и романтического характера:

«Этот человек (Роб Рой Мак-Грегор) был достаточно умен и отличался в военном деле как хитростью, так и ловкостью; всецело предавшись распущенности, он стал во главе всех бездельников и бродяг своего клана в западной части Пертшира и Стерлингшира и разорял страну грабежами, набегами и разбоем. Мало кто из живших в пределах досягаемости (то есть на расстоянии ночного перехода) мог считать в безопасности свою жизнь и свое имущество, если не соглашался платить ему тяжелый и постыдный налог — „черную дань“. В конце концов он дошел до такой дерзости, что среди бела дня на глазах у правительства грабил, собирал контрибуцию и завязывал драки во главе довольно большого отряда вооруженных людей» *note 6*

Размеры и успех этих набегов не вызовут у нас удивления, если мы вспомним, что они совершались в стране, где обычные законы не соблюдались и не уважались.

Отметив, что угон скота вошел в обычай и даже люди высших классов не брезговали этим делом, так что собственность, заключавшаяся преимущественно в стадах, стала очень ненадежной, мистер Грэм добавляет:

«Земли из-за этого не обрабатываются, выгоны не удобряются, и по той же причине нет ни мануфактур, ни промыслов — словом, нет промышленности. Население крайне плодовито и потому так многочисленно, что работы в этих местах, при настоящем хозяйственном устройстве, хватает только для половины жителей. Повсюду полно праздных людей, привычных к оружию и ленивых во всем, кроме грабежа и разбоя. А так как по всему краю можно где угодно увидеть буддели, или питейные дома, то в них они и убивают бесцельно время, зачастую растрачивая там доходы от своих беззаконных предприятий. Законы здесь никогда не применялись, никогда споры не решались властью судьи. Судебный исполнитель не смеет и не может выполнять здесь свои обязанности, и многие селения лежат милях в тридцати от местожительства людей, облеченных законной властью. Короче говоря, здесь нет порядка, нет власти, нет правительства».

Пора восстания, 1715 год, наступила вскоре после того, как Роб Рой стал знаменит. Теперь его якобитские симпатии пришли в столкновение с сознанием долга перед косвенным его покровителем, герцогом Аргайлом. Однако желание «потопить звук своих шагов в грохоте всеобщей битвы» принудило его примкнуть со своими людьми к графу Мару, хотя его патрон, герцог Аргайл, стал во главе армии, выступившей против мятежных горцев.

Мак-Грегоры — по крайней мере самый большой их род, Киар-Мор, — сражались на этот раз под началом не Роб Роя, а его племянника, о котором мы упоминали выше, Грегора Мак-Грегора, иначе называемого Джеймсом Грэмом из Гленгайла и еще более известного под гэльским прозвищем Глун Ду, то есть Черное Колено — по черному пятну на одном его колене (шотландская одежда оставляет колени открытыми). Однако, вне всякого сомнения, Гленгайл, тогда совсем еще юный, должен был во многих случаях действовать под руководством или по совету столь испытанного вождя, каким был его дядя.

В это время Мак-Грегоры собрались в большом числе и стали угрожать даже жителям Низины, у южного берега Лох-Ломонда. Они неожиданно захватили на озере все лодки и, вероятно, в каких-то собственных целях отвели их к Инверснейду, чтобы преградить путь большому отряду вигов западного края, поднявших оружие в защиту правительства и двинувшихся в этом направлении.

Виги предприняли вылазку, чтобы отбить лодки. Их силы составляли добровольцы из Пейсли, Килпатрика и других мест. С помощью отряда моряков они поднялись вверх по реке Левен в больших шлюпках с военных судов, стоявших тогда на Клайде. В Луссе к ним

Note6

Грэм Гартмор. Причины смут в Верхней Шотландии. Смотри также: Берт. Письма из Северной Шотландии (в издании Джеймисона). Приложения ко II тому, стр. 348. (Прим. автора.)

присоединились силы сэра Хамфри Колкухуна и Джеймса Гранта, его зятя, а также их сторонников, одетых в шотландское платье тех времен, что весьма картинно описывается у Гартмора note 7. Весь отряд переправился к Крейг-Ройстону, но Мак-Грегоры не вступили в сражение. Если верить рассказу о походе, как дает его историк Рэй, то виги неустрашимо выскочили на берег у Крейг-Ройстона, но неприятель не показывался, и они непрерывным боем в барабаны и пальбой из пушек и ружей настолько устрашили Мак-Грегоров, которых так и не увидели, что те оставили свои укрепления и в панике бежали до главного лагеря горцев у Страт-Филлана (Лох-Ломондская экспедиция была признана достойной рассмотрения в отдельной брошюре, которой я не видел; но, судя по цитатам у историка Рэя, она превосходна.

«Назавтра, то есть в четверг, 13-го, они вышли в поход и в полдень подошли к Инверснейду, месту опасному, где люди из Пейсли и Дамбартона и некоторые другие, всего до ста человек, отважно спрыгнули на берег, взобрались на горный кряж, и, так как неприятель не показывался, они пустились на поиски своих лодок, захваченных мятежниками, и, случайно наткнувшись на канаты и весла, спрятанные в кустах, нашли наконец лодки, вытащенные далеко на берег, и спустили их к озеру. Лодки, какие были не повреждены, они взяли с собой, а остальные потопили или изрубили в щепы. Той же ночью они вернулись в Лусс, а оттуда на следующий день в Дамбартон (откуда они и пришли), ведя с собой все лодки, найденные ими на обоих берегах озера, а также в заливчиках на островах, и поставили их на причал у замка под защитой пушки. Во время этого похода катера разрядили все свои кулеврины, а люди — все свои ружья. Это произвело такой гром, отдавшийся многократным эхом в горах по обе стороны озера, что Мак-Грегоры были повергнуты в уныние и бежали в ужасе к остальным мятежникам, стоявшим лагерем в Страт-Филлане» note 8. Жителям Низины удалось забрать свои лодки с изрядным шумом, с немалой отвагой, но безо всякой для себя опасности.

После этой временной смены пристанища Роб Рой был послан графом Маром в Эбердин — как полагают, затем, чтобы подбить на восстание ту часть клана Грегоров, которая обосновалась в этом округе. Люди эти были из одной с ним семьи (из рода Киар-Мор). Они были потомками тех трехсот Мак-Грегоров, которых граф Мерри около 1624 года переселил сюда из своих владений в Монтите для защиты от враждебных ему Мак-Интошей — такого же смелого и беспокойного племени, как и Мак-Грегоры.

В городе Эбердине Роб Рой встретил одного своего родственника, как нравом, так и положением отличного от тех, кого он послан был призвать к оружию. Это был доктор Джеймс Грегори (Мак-Грегор по происхождению), родоначальник целой династии профессоров, отмеченных литературным и научным дарованием, дед ныне покойного известного врача и выдающегося ученого, профессора Грегори из Эдинбурга. Этот джентльмен преподавал в то время медицину в королевском колледже в Эдинбурге, а его отец, доктор Джеймс Грегори, известен в науке изобретением отражательного телескопа. Казалось бы, у нашего друга Роба не могло быть ничего общего с такой семьей. Но превратности гражданской войны порой соединяют людей самым неожиданным образом. Доктор Грегори счел благоразумным в столь критический момент признать родство с влиятельным и грозным человеком. Он пригласил Роб Роя к себе в дом и был с ним так любезен, что пробудил в его великодушном сердце благодарность, которая поставила профессора в крайне

Note7

«Ночью они прибыли в Лусс, где к ним присоединились сэр Хамфри Колкухун из Лусса и Джеймс Грант из Пласкандера, зять его; их сопровождали сорок-пятьдесят статных молодцов в коротких чулках и перехваченных поясом пледах, каждый с отличным ружьем, а в левой руке — красивый крепкий щит с ввинченным посредине остроконечным стальным стержнем, длиною около пол-элла; на боку у каждого — тяжелый палаш, а за поясом заткнут один или два пистолета, нож и кинжал» (Рэй. История мятежа, т. IV, стр. 287). (Прим. автора.)

Note8

Рэй. История мятежа, т. IV, стр. 287.) (Прим. автора).

затруднительное положение.

У профессора был сын, мальчик лет восьми-девяти, живой и не по возрасту сильный, который всем своим видом очень приглянулся шотландскому Робин Гуду. Накануне отъезда из дома своего ученого родича Роб Рой, который долго ломал голову над тем, как отблагодарить доктора Грегори за теплый прием, отвел его в сторону и обратился к нему с такими словами:

— Любезный родственник, я все думал, что я могу сделать, чтобы показать вам, как я ценю ваше гостеприимство. Так вот, у вас есть сын, мальчик хороший и умный, а вы его портите, забивая ему голову бесполезной книжной премудростью; и я решил, в знак моего доброго расположения к вам и вашему семейству, взять его с собою и сделать из него мужчину.

Ученый профессор был просто ошеломлен, когда его воинственный сородич объявил ему о своем добром намерении в таких выражениях, которые не оставляли сомнения, что предложение должно быть принято с великой благодарностью. Задача, как отговориться или объясниться, была очень деликатного свойства: представлялось опасным, как бы Роб Рой не заметил, что в глазах отца покровительство, предложенное сыну, вело его прямой дорогой на виселицу. Между тем все отговорки, какие приходили ему на ум, — как, например, нежелание утруждать своего друга заботой о мальчике, воспитанном в Нижней Шотландии, и т.п., — только укрепляли вождя в решении взять юного родственника под свое покровительство, ибо ему казалось, что они подсказаны лишь скромностью отца. Он и слушать не хотел ни о каких извинениях и даже дал понять, что готов увести мальчика чуть ли не силой — согласится отец или нет. В конце концов смущенный профессор сослался на слишком нежный возраст сына и слабое здоровье, которое не позволит ему переносить суровые условия жизни в горах; но года через два, добавил отец, он надеется, здоровье мальчика окрепнет, и тогда он будет в состоянии сопровождать своего храброго сородича и пойти навстречу той блестящей судьбе, к которой тот открывает ему путь. Придя к такому согласию, родственники расстались. Роб Рой поручился честью, что возьмет юного кузена с собою в горы в следующее свое посещение Эбердиншира, а доктор Грегори, понятно, молился в душе, чтобы ему больше никогда не довелось увидеть кельтское лицо Роба.

Джеймс Грегори, еле избежавший опасности попасть в стан к своему родичу и, вероятно, сделаться его оруженосцем, стал впоследствии профессором медицины в колледже и, как и все почти в его семействе, отличился своими научными достижениями. Он был раздражительного и упрямого нрава, и нередко, когда он выказывал признаки этих недостатков, его друзья приговаривали: «Вот что значит не получить воспитания у Роб Роя!»

Отношения между Роб Роем и его ученым родственником не прекратились с окончанием недолгого могущества Роба. Через много лет после 1715 года он прогуливался по Замковой улице Эбердина рука об руку со своим гостеприимным хозяином, доктором Джеймсом Грегори, когда барабаны в казармах внезапно забили тревогу и показались выбегавшие из казарм солдаты.

— Раз вызвали этих молодцов, — сказал Роб, преспокойно покидая Джеймса Грегори, — значит, мне пора позаботиться о своей безопасности.

С этими словами он нырнул в подворотню и, как говорит Джон Беньян, «пошел своей дорогой, и больше его не видели». *note 9*

Мы уже отметили, что во время восстания 1715 года Роб Рой вел себя довольно

Note9

Первый из этих анекдотов, который ставит рядом представителей самой высокой цивилизации и полудикого народа, я слышал из уст небезызвестного доктора Грегори, ныне покойного, и члены его семьи были так любезны, что сличили рассказ с семейными документами и личными воспоминаниями, добавляя к нему достоверные подробности. Второй основан на воспоминаниях одного старика, присутствовавшего при том, как Роб, заслышав барабанный бой, удалился, не простившись со своим ученым родственником, и сообщившего эту деталь мистеру Александру Форбису, свойственнику доктора Грегори, здравствующего по сей день. (Прим. автора.)

двусмысленно. Сам он и его приверженцы состояли в армии горцев, но сердцем он был, по-видимому, с герцогом Аргайлом. И все же мятежники, хотя и говорили, что не могут на него положиться, были вынуждены вверяться Робу, как единственному проводнику, когда шли от Перта к Дамблену для переправы через Форт у так называемого Фрусского Брода.

Это движение на запад повлекло за собой битву при Шерифмуре, правда, не решившую дела, но герцог Аргайл сумел извлечь из нее достаточную выгоду. Следует вспомнить, что в этом сражении горцы обрушили свой правый фланг на левый фланг Аргайла и разгромили его, в то время как кланы на левом фланге армии Мара, хотя и состояли из Стюартов, Мак-Кензи и Камеронов, были наголову разбиты. Пока продолжались бегство и преследование, Роб Рой оставался на холме, в центре позиции горцев, и хотя говорят, что он мог бы, если бы пустился в атаку, решить исход битвы, его не удалось склонить к выступлению. Это было тем печальнее для инсургентов, что предводительство отрядом Мак-Ферсонов было также возложено на Мак-Грегора. Если верить преданию, это было сделано по причине преклонного возраста вождя Мак-Ферсонов, который, будучи не в силах сам предводительствовать кланом, не пожелал, чтобы его предполагаемый преемник, Мак-Ферсон из Норда, заменил его в этом деле; так что клан или часть его была объединена со своими союзниками Мак-Грегорами. Благоприятный для нападения момент был уже почти упущен, когда до Роб Роя дошел решительный приказ Мара — немедленно идти в атаку. На что он преспокойно возразил:

— Ну нет! Если они не могут выиграть битву без меня, они ее не выиграют и со мною.

Один из Мак-Ферсонов, по имени Александр, занимавшийся тем же, чем когда-то занимался Роб, то есть продажей скота, человек большой силы и отваги, видя бездействие своего временного вождя, так разгневался, что сбросил плед, обнажил меч и обратился к людям своего клана:

— Довольно мы терпели! Если он не поведет, я сам поведу вас.

Роб Рой с полным хладнокровием ответил:

— Когда бы дело шло о быках или баранах из Горной Страны, Сэнди, я бы склонился перед вашим высоким искусством, но, так как вопрос стоит о предводительстве людьми, надо признать, что в этом я лучший судья.

— Если бы дело шло о глен-эйгасских быках, — ответил Мак-Ферсон, — о Робе и говорить не пришлось бы, он был бы не позади, а впереди стада.

Рассерженный этой насмешкой, Мак-Грегор обнажил меч, и они тут же завязали бы драку, если бы их не разняли друзья с той и с другой стороны. Между тем момент для атаки был окончательно упущен. Роб все же и на этот раз не пренебрег своими личными интересами. В сумятице переменного боя его приверженцы занялись пополнением своих карманов, грабя обоз и обирая трупы павших на той и на другой стороне.

Прекрасная старинная баллада о битве при Шерифмуре не преминула высмеять поведение нашего героя в тот памятный день:

Роб Рой на горе
Стоит в стороне -
Караулит добычу, известно,
Закончился бой,
А наш-то Роб Рой -
Он так и не двинулся с места.

Хотя Роб Рой и дальше соблюдал в восстании относительный нейтралитет, он все же понес наказание. Его обвинили в государственной измене, и дом в Бредалбейне, место его пристанища, был сожжен лордом Кадоганом, когда этот генерал по окончании мятежа прошел по Горной Стране, карая восставшие кланы и отбирая у них оружие. Однако, придя в Инверэри с сорока или пятьюдесятью приверженцами, Роб Рой получил помилование благодаря мнимой сдаче оружия полковнику Патрику Кэмбелу Финнаху, который снабдил вождя и весь его отряд охранными грамотами за своею подписью. Достаточно оградив себя

таким образом от правительственных гонений, Роб Рой обосновался в Крейг-Ройстоне около Лох-Ломонда, среди своих сородичей и, не теряя времени, возобновил свою ссору с герцогом Монтрозом. Вскоре он собрал столько людей — и притом хорошо вооруженных, — сколько никогда еще не было под его началом. Он не выходил из дома иначе, как под охраной из десяти или двенадцати отборных телохранителей, и мог без труда довести их число до пятидесяти или шестидесяти.

Герцог не пожалел трудов, чтобы уничтожить беспокойного противника. Его светлость обратился к генералу Карпентеру, возглавлявшему военные силы в Шотландии, и по приказу последнего три отряда солдат были двинуты из трех различных пунктов — из Глазго, Стерлинга и Финларига близ Киллирна. Мистер Грэм из Киллирна, родственник и приказчик герцога Монтроза и к тому же еще шериф Дамбартоншира, сопровождал войска для того, чтобы они могли действовать от имени гражданских властей и иметь к услугам надежного проводника, хорошо знакомого с горами. Перед этими тремя отрядами была поставлена задача одновременно прибыть в окрестности пристанища Роб Роя и там захватить его самого и его приверженцев. Однако сильные дожди, трудные условия борьбы в горах и превосходная разведка Роб Роя расстроили эту неплохо задуманную операцию. Увидя, что птицы улетели, солдаты в отместку разорили гнездо. Они сожгли дом Роб Роя, хотя и не безнаказанно: Мак-Грегоры, укрывшиеся среди кустов и скал, открыли по ним огонь и убили одного гренадера.

Роб Рой отомстил за понесенную потерю необыкновенно дерзко. В середине ноября 1716 года Джон Грэм из Киллирна, ранее упоминавшийся нами как приказчик Монтроза, прибыл в местность, называвшуюся Чейпл-Эррок, куда созваны были арендаторы герцога для уплаты очередного взноса. Они прибыли согласно указанию, и приказчик успел уже получить фунтов триста наличными деньгами, когда в дом вторгся во главе вооруженного отряда Роб Рой. Приказчик, чтобы спасти вверенную ему собственность герцога, бросил деньги и расчетные книги в чулан, понадеявшись, что их не заметят. Однако искушенного разбойника не так-то просто было обмануть, когда пахло такой добычей. Он обнаружил и книги, и деньги, спокойно уселся в конторе, просмотрел записи, прикарманил деньги и выдал расписки от имени герцога, сказав, что предполагает рассчитаться с Монтрозом за потери, понесенные им по его милости, включая сюда все убытки как от гибели дома, сожженного генералом Кадоганом, так и от последнего налета на Крейг-Ройстон. Затем он приказал мистеру Грэму следовать за собой; обращался он с ним, по-видимому, безо всякой жестокости или грубости, хотя и заявил, что рассматривает его как заложника, и пригрозил сурово с ним обойтись в случае преследования или нападения. Редко когда свершались более дерзкие подвиги. После нескольких быстрых переходов с места на место (единственной неприятностью, на какую мог пожаловаться мистер Грэм, была усталость) Роб отвел пленника на остров среди озера Лох-Кэтрин и принудил его написать герцогу, что выкуп за него определен в три тысячи четыреста мерков.

Эта сумма составляла будто бы долг герцога Роб Рою за вычетом денег, которые тот получил с его арендаторов. Однако, продержав мистера Грэма дней пять или шесть под стражей на острове, который и поныне именуют тюрьмой Роб Роя и где в ноябрьские ночи едва ли уютно было жить, разбойник, видно, потерял надежду извлечь добавочную выгоду из дерзкого покушения и отпустил пленника, не причинив ему никакого вреда и отдав книги и расписки, выданные арендаторами, но не преминув удержать наличные деньги.

Рассказывают и о других проделках Роба, свидетельствующих о такой же смелости и находчивости, как при захвате Киллирна. Герцогу Монтрозу надоела такая дерзость, и он достал некоторое количество оружия и роздал его своим арендаторам для самозащиты в случае дальнейших нападений. Но оружие досталось не тем, кому оно предназначалось. Мак-Грегоры нападали на дома арендаторов и разоружали их всех, одного за другим, — надо думать, не без согласия многих из них.

Так как большая часть арендной платы выплачивалась герцогу натурой, в Мулине и прочих местах по всему поместью Бьюкэнан были построены амбары для ссыпки зерна. Роб

Рой завел обычай наведываться с значительными силами в эти места — конечно, когда его меньше всего ожидали, — и настаивать на отпуске ему изрядного количества зерна, иногда для его собственных нужд, а иногда для раздачи населению; при этом он всегда выдавал расписки от своего лица и уверял, что рассчитается за получаемое с герцогом в соответственной сумме.

Между тем правительство поставило гарнизон в прежнем владении Роб Роя — Инверснейде; развалины укреплений можно и сейчас еще видеть на полпути между Лох-Ломондом и Лох-Кэтрин. Но и это военное вмешательство не обуздало неугомонного Мак-Грегора. Он неожиданно напал на маленький форт, разоружил солдат и снес укрепления. Позднее форт был восстановлен и снова захвачен Мак-Грегорами под командой племянника Роб Роя, Глун Ду, накануне восстания 1745-1746 годов. Наконец, после прекращения гражданской войны форт Инверснейд был восстановлен в третий раз, и когда мы застаем там начальником знаменитого генерала Уолфа, воображение наше осаждают многообразные воспоминания о различных временах и событиях. Сейчас форт окончательно упразднен. *note 10*

Роб Рой продолжал теперь свои действия уже не как явный грабитель, а как своего рода агент полиции, сборщик «черной дани» — по выражению шотландцев. Сущность этого сбора описана в романе «Уэверли» и в примечаниях к настоящему труду. Здесь можно привести ее характерные особенности, как их рисует мистер Грэм Гартмор.

«Смута и беспорядки в стране были так велики, а правительство так мало было этим озабочено, что здравомыслящие люди вынуждены были прибегнуть к позорным и постыдным договорам о „черной дани“, чтобы до некоторой степени себя обезопасить. С лицом, держащим самую тесную связь с грабителями, заключается договор, в силу которого ему выплачивается ежегодно известная сумма денег, чтобы грабежи не касались помеченных в договоре земель. Из собранных таким образом средств человек платит одним ворам за то, чтоб они возвращали владельцам угнанный скот, а другим — за то, чтобы они воровали, создавая необходимость в соглашении о „черной дани“. Поместья дворян, отказывающихся заключить договор или поддерживать этот разорительный обычай, подвергаются ограблению со стороны той части „охраны“, которой положено грабить, и таким образом владельцев принуждают прибегнуть к ее покровительству. Главарь грабителей величает себя „капитаном охраны“, а его бандиты именуются „охраной“. И так как это дает им некое законное право свободно разъезжать по чужим владениям, они получают возможность свободно причинять любое зло. Рассеянные по горам отряды составляют довольно значительную вооруженную силу; это — люди, с детства привыкшие к трудам походной жизни и могущие при случае выступить в качестве войска.

Люди невежественные и восторженные, стоящие в полной зависимости от вождя или лендлорда, в делах совести руководимые католическим патером или священником-нонконформистом, не владеющие никакой собственностью, подобны глине — из них лепи что хочешь. Они ничего не боятся, так как им нечего терять, а потому их легко вовлечь в любое предприятие. Ничто не может ухудшить их положения; смута и беспорядки соблазняют их в их распущенности, потому что позволяют им улучшить его». *note 11*

Так как сбор «черной дани» явно поощрял грабеж и сильно препятствовал отправлению правосудия, то в главе 2-й статута 1567 года он был объявлен тяжким преступлением как со стороны взимающего эту дань, так и со стороны плательщика. Все же я думаю, что в каждом

Note10

Около 1792 года, когда автору во время путешествия по Горной Стране случилось там проезжать, в Инверснейде еще стоял гарнизон, состоявший из одного-единственного ветерана. Почтенный страж мирно и безмятежно жал ячмень на своем участке, и когда мы попросились переночевать, он сказал, что ключ от форта мы найдем под дверью. (Прим. автора.)

Note11

«Письма из Северной Шотландии», т. II, стр. 344-345. (Прим. автора.)

отдельном случае применению этого сурового закона мешала безвыходность положения, и люди по-прежнему предпочитали подчиняться незаконным поборам, нежели идти на риск полного разорения, — так же, как в наши дни трудно или невозможно помешать человеку, если у него украли крупную сумму денег, договориться с ворами о частичном возврате украденного.

В каком размере Роб Рой взимал дань, мне не довелось узнать; до нас, однако, дошел официальный договор, по которому его племянник в 1741 году обязался перед некоторыми владельцами поместий в графствах Перт, Стерлинг и Дамбартон возвращать украденный у них скот или уплачивать им его стоимость не позже чем через полгода после заявления о пропаже при условии, что такое заявление будет сделано достаточно быстро, за что владельцы, со своей стороны, обязались выплачивать пять процентов с оценочной стоимости своего имущества, — страховка не слишком тяжелая. Мелкие кражи в договор не включались; но кража лошади, или одной коровы, или свыше шести голов мелкого рогатого скота подпадала под соглашение.

Эти договоры приносили Роб Рою значительный доход как деньгами, так и скотом, и разбойник отдавал его на общественные нужды, ибо он так же любил показать себя щедрым в общественных делах, как благодетелем в частных. Священник прихода Балквиддер, по имени Робисон, одно время грозил прихожанам всяческими карами, если ему не повысят оклад. Роб Рой при первом же удобном случае уверил священника, что ему лучше воздержаться от новых вымогательств, и священник понял намек. Но в порядке некоторой компенсации Мак-Грегор каждый год дарил ему корову или жирную овцу; и говорят, сомнения в том, как достались они дарителю, не тревожили совесть почтенного джентльмена.

Следующий рассказ — о том, как вел себя Роб Рой, когда к нему обратился один из его контрактантов, — представил для меня большой интерес, потому что я услышал его от очевидца — одного старика из Леннокса. Но поскольку в рассказе нет ярких эпизодов и поскольку его, конечно, не будет сопровождать полуиспуганный-полусмущенный взгляд, с каким рассказчик передавал свои воспоминания, то, боюсь, перенесенный на бумагу, он не произведет впечатления.

Было ему пятнадцать лет (сообщил рассказчик), он жил с отцом в Ленноксе, в поместье одного джентльмена (имя которого я позабыл), работая подпаском. Ясным утром в конце октября — время года, когда надо особенно опасаться такого несчастья, — они обнаружили, что ночью у них побывали грабители-горцы и угнали голов десять — двенадцать скота. Послали за Роб Роем, и тот явился с отрядом в семь или восемь вооруженных удальцов. Внимательно выслушав все, что могли ему сообщить об обстоятельствах дела, он выразил уверенность, что «бешеные пастухи» *note 12* не могли далеко уйти со своей добычей и что он постарается их догнать. Он попросил послать с его отрядом двух местных жителей — потому что смешно же было рассчитывать, что кто-либо из его джентльменов возьмет на себя труд пригнать на место полученный обратно скот. Послали рассказчика и его отца. Им не очень-то хотелось идти, но все же, запасшись пищей и прихватив собаку, чтобы она помогла им управиться со скотом, они отправились с Мак-Грегором. Шли они целый день, держа путь на гору Бенворлих, и ночевали в ветхой лачуге. На следующее утро они снова пустились в путь через горы, причем вел их Роб Рой, находя дорогу по знакам и отметкам на вереске, непонятным для рассказчика.

Около полудня Роб Рой скомандовал вооруженному отряду остановиться и залечь в зарослях вереска, где он был особенно густ. «А вы оба с сыном смело идите на вершину холма, — обратился он к старшему из пастухов, — и там увидите, что в долине за перевалом пасется скот вашего хозяина — может быть, вместе с другим скотом; отберите свой скот (только постарайтесь не брать чужого) и гоните его сюда. Если кто-нибудь заговорит или станет грозить вам, скажите, что я здесь и что со мной отряд в двадцать человек». «А что, если

Note12

«Бешеными пастухами» называют воров, угоняющих скот. (Прим. автора.)

они набросятся на нас или убьют?» — спросил пастух, который вовсе не обрадовался, когда увидел, что на них с сыном возлагают обязанности послов. «Если они нанесут вам какой-либо вред, — сказал Роб, — я не прощу им до конца моих дней». Пастуха ничуть не успокоила такая гарантия, но спорить с Робом он побоялся.

Итак, он поднялся с сыном на холм, и они увидели оттуда глубокую ложбину, где паслось, как и предвидел Роб, большое стадо. Старательно отобрали они животных, уведенных у их хозяина, и приготовились погнать их по склону холма. Но только они пустились в путь, за их спиной поднялись крики и вопли; дрожа от страха, они оглянулись и увидели женщину, которая точно выросла из-под земли и обрушилась на них с руганью на гэльском языке. Однако же, когда они, собрав все, что знали по-гэльски, передали ей слова Роб Роя, она угомонилась и исчезла, не причинив им больше никакого беспокойства. Когда они вернулись, Роб выслушал их рассказ и стал с удовольствием говорить о том, что он владеет искусством улаживать такие дела без шума и неприятностей. Отряд двинулся в обратную дорогу, и всякая опасность была теперь позади, хотя трудов предстояло еще немало.

Они гнали скот почти без отдыха, пока не смерклось, и тогда Роб Рой предложил заночевать посреди широкой вересковой пустоши, где холодный северо-восточный ветер, неся мороз на крыльях, насвистывал песенку волынщиков из Страт-Дирна. note 13 Горцы, закутавшись в пледы, довольно удобно улеглись на вереске, а пастухам нечем было накрыться. Заметив это, Роб Рой приказал одному из приближенных уделить старику часть своего пледа, «а что до мальчишки, то он может, — добавил разбойник, — согреться, расхаживая вокруг и сторожа скот». Рассказчик выслушал эти слова с немалым огорчением; ледяной ветер пронизывал его все сильнее и, казалось, леденил кровь в его жилах. Всю жизнь приходилось ему переносить непогоду, говорил он, но никогда не мог он позабыть эту холодную ночь; с досады он ругал ясную луну за то, что она так ярко светит, а ничуть не греет. В конце концов холод и усталость сделались до того нестерпимы, что он решил покинуть свой пост, чтобы где-нибудь укрыться и заснуть. Вот он и прилег за спиной одного из самых рослых горцев, который был в отряде чем-то вроде адъютанта. Не довольствуясь защитой его широкой спины, он позарился еще на кусочек пледа и помаленьку, полегоньку натянул на себя один его конец и завернулся. Теперь он был почти как в раю и крепко проспал до зари, а когда проснулся, страшно перепугался, заметив, что своими ночными маневрами совсем открыл шею и плечи дунье-вассала, которые, лишившись защищавшего их пледа, покрылись инеем. Мальчик вскочил в страхе, что его по меньшей мере изобьют, когда обнаружится, как он со всеми удобствами устроился за счет главного лица в отряде. Но добрый господин адъютант встал и отряхнулся, отирая пледом иней и что-то бормоча про холодную ночь. Затем они погнали дальше скот, который и был возвращен владельцу без новых приключений. Вышеизложенное вряд ли можно назвать рассказом, но все же в нем кое-что найдут для себя и поэт и художник.

Около этого же времени, быстро продвинувшись с отрядом своих арендаторов в Балквиддерские горы, герцог Монтроз наконец захватил Роб Роя врасплох и взял его в плен. Его посадили в седло за спиной одного из приверженцев герцога, некоего Джеймса Стюарта, и связали обоих одной подпругой. Тот, кому таким образом вверили Роб Роя, был дедом одного смышленого человека (носившего то же имя и ныне умершего), который последнее время содержал трактир неподалеку от Лох-Кэтрин и услужал своим постояльцам в качестве проводника по этим живописным местам. От него я и слышал эту повесть еще задолго до того, как он стал трактирщиком и проводником, — в те времена он только изредка сопровождал охотников на тетеревов. Был вечер (я продолжаю рассказ), и герцог спешил перевести пленника, за которым так долго и безуспешно охотился, куда-нибудь в надежное место, когда при переправе через Тейт или Форт, точно не припомню, Мак-Грегор, улучив минуту, стал заклинать Стюарта всеми узами старой дружбы и добрососедских отношений дать ему

Note13

Так называют ветры горной долины в Баденохе. (Прим. автора.)

возможность спастись от верной гибели. Стюарта охватила жалость, а может быть, и страх. Он расстегнул подпругу, и Роб, соскользнув с крупа лошади, нырнул, поплыл и скрылся почти так, как это описано в романе. Когда Джеймс Стюарт вступил на берег, герцог сразу обратился к нему с вопросом, где пленник. Не получая ясного ответа, он тут же заподозрил Стюарта в содействии побегу разбойника и, вынув из-за пояса тяжелый пистолет, нанес ему по голове удар, от которого тот, по словам внука, никогда не мог вполне оправиться.

Когда ему несколько раз удалось уйти от преследования могущественного врага, Роб Рой стал и вовсе дерзок и заносчив. Он написал насмешливый вызов герцогу и пустил его по рукам, чтобы позабавить своих друзей за бутылкой. Этот документ читатель найдет в приложениях (Приложения к введению в данном издании опущены.). Написан он хорошим почерком и не особенно грешит против грамматики и правописания. Поясню читателям-южанам, что это была просто шутка потехи ради со стороны разбойника, слишком умного, чтоб на самом деле предлагать такую встречу. Письмо это было написано в 1719 году.

В следующем году Роб Рой сочинил другое послание, но не к чести своей, так как в нем он признается, что намеренно проигрывал игру во время гражданской войны 1715 года. Послание адресовано генералу Уэду, который был занят тогда разоружением горных кланов и прокладывал по стране военные дороги. Оно весьма примечательно. Автор его говорит, что он с искренней готовностью предложил бы свои услуги королю Георгу, если бы не опасался, что его по настоянию герцога Монтроза бросят в тюрьму за долги. Лишенный, таким образом, возможности встать за правое дело, он примкнул, признается он, к противной стороне — по правилу Фальстафа: в такое время, когда король испытывал недостаток в людях, а мятежники — в солдатах, постыдней было бы остаться праздным среди всей этой сумятицы, чем примкнуть к неправой стороне, будь она даже так черна, как только может быть черен мятеж. Невозможность для себя сохранить нейтралитет во время гражданской войны он выдвигает как нечто неоспоримое. В то же время, признаваясь, что вынужден принять участие в этом чудовищном мятеже против короля Георга, он приводит в свое оправдание то, что не только избегал выступать против войск его величества, но, напротив, доставлял им время от времени те сведения, какие мог собрать. Если требуется это подтвердить, он сошлется на его светлость герцога Аргайла. Как принял это послание Уэд, остается для нас неизвестным.

Роб Рой, по-видимому, продолжал вести свою прежнюю жизнь. Слава его между тем распространилась далеко за пределами того края, где он проживал. Еще при его жизни появилась в Лондоне его вымышленная биография под заглавием «Шотландский лиходей». Это грошовая брошюра, на обложке которой изображен великан-людоед с бородой чуть не по пояс; подвиги его так же преувеличены, как его внешность. Переданы лишь немногие наиболее известные похождения нашего героя, да и то не слишком правдиво, а большая часть книжонки — сплошной вымысел. Очень жаль, что за эту превосходную тему не взялся Дефо, который занимался в то время подобными сюжетами, хотя не столь занимательными.

С годами Роб Рой становился все более миролюбив, а его племянник Глун Ду и большая часть его рода отказались от мелочных ссор с герцогом Монтрозом, в которых так отличался дядя. Политика этого именитого дома состояла в последнее время в стараниях привлечь к себе дикий род лаской, а не насилием, к которому бесплодно прибегали до сих пор. За низкую плату была предоставлена аренда многим из Мак-Грегоров, прежде получавшим землю в горных владениях герцога только путем захвата; и Гленгайл (или Черное Колено), продолжая собирать «черную дань», теперь выступал как начальник охраны из горцев, снаряженной на средства правительства. Он, говорят, неукоснительно воздерживался от открытых и беззаконных набегов, какие предпринимал его родич.

Вероятно, после того как достигнуто было это временное спокойствие, Роб Рой стал подумывать о будущем. Он был воспитан в протестантской вере и долгое время придерживался ее; однако в последние годы жизни он принял католичество — может быть, следуя принципу миссис Кол, утверждавшей, что эта религия удобна для людей его профессии. Говорят, причиной своего обращения он выставлял желание уважить достойное семейство Перт, в то время строго державшееся католичества. Приняв, по его словам, имя

герцога Аргайла, первого своего покровителя, он не мог отблагодарить графа Перт иначе, как признав его религию. Когда его донимали вопросами по этому поводу, Роб даже не пытался отстаивать догматы католицизма и признавался, что миропомазание при соборовании ему всегда казалось лишней тратой ульзи, то есть масла. *note 14*

В последние годы жизни Роб Роя его клан был вовлечен в ссору с другим, более сильным кланом. Стюарт Аппин, один из вождей клана этого имени, владел фермой в горах Балквиддера, называемой Инверненти. Мак-Грегоры из рода Роб Роя, притязавшие на нее по праву стародавнего владения, объявили, что будут всеми силами противиться поселению на ферме кого бы то ни было не из их рода. Стюарты явились с хорошо вооруженным отрядом в двести человек, решив отстоять свое право в бою. Мак-Грегоры приняли вызов, но не могли выставить равную силу. Роб, убедившись в численном перевесе противника, вступил в переговоры, где утверждал, что, дескать, оба клана — верные друзья короля Иакова и он, Мак-Грегор, не желал бы, чтобы они ослабляли свои силы междоусобицей: таким образом, передачу Аппину спорной территории Инверненти он поставил себе же в заслугу. Аппин соответственно поселил там арендаторами на льготных условиях Мак-Ларенов — семейство, стоявшее в зависимости от Стюартов; и, так как они славились силой и отвагой, можно было ждать, что они отстоят свои права, если Мак-Грегоры нападут на них. Когда спор был полюбовно разрешен в присутствии обоих вооруженных кланов, сошедшихся во всеоружии близ Балквиддерской церкви, Роб Рой, должно быть, опасаясь, как бы его род не сочли слишком покладистым, вышел вперед и сказал, что там, где собралось так много вооруженных храбрецов, позорно будет разойтись, не испытав своего искусства, а потому он берет на себя смелость пригласить любого из Стюартов сразиться с ним за честь своего клана. Зять Аппина, второй предводитель клана, Алластер Стюарт из Инвернахила, принял вызов, и они сразились на палашах и с круглыми щитами пред лицом своих сородичей *note 15*. Поединок длился, пока Роб не был слегка ранен в руку, на чем и кончались обычно такого рода поединки — когда сражались не до смертельного исхода, а только «ради чести». Роб Рой опустил меч и поздравил своего противника — первого, кому довелось пролить его кровь. Победитель великодушно признал, что, не будь на его стороне преимущества молодости и ее спутника — ловкости, он едва ли одержал бы верх.

Это был, вероятно, последний воинский подвиг Роб Роя. Время его смерти точно неизвестно, но обычно считают, что он пережил 1738 год и умер в преклонном возрасте. Когда он увидел, что конец близок, он раскаялся в некоторых своих поступках. Его жена посмеялась над этими угрызениями совести и увещевала его умереть, как он жил, мужчиной. В ответ он стал ее укорять за неукротимые страсти и за те советы, какие она ему давала. «Ты сеяла раздор, — сказал он, — между мной и лучшими людьми страны, а теперь хочешь поселить вражду между мною и Богом».

Существует предание, вовсе не противоречащее вышеприведенному, если правильно понимать нрав Роб Роя, будто, лежа на смертном одре, он узнал, что его хочет навестить один человек, с которым он враждовал. «Подымите меня с постели, — сказал больной, — накиньте мне на плечи тартан и подайте мне меч, кинжал и пистолеты, чтобы никто не мог сказать, что враг видел Роб Роя Мак-Грегора беззащитным и невооруженным». Его недруг — как полагают, один из Мак-Ларенов (о которых речь уже была и еще будет ниже) — вошел и, рассыпаясь в любезностях, осведомился о здоровье своего грозного соседа. Роб Рой был холоден и надменно вежлив во время короткого свидания и, как только гость оставил дом,

---

Note14

Такое утверждение приписывается в «Уэверли» разбойнику Доналду Бин Лину. (Прим. автора.)

Note15

По другим версиям, противником Роб Роя был при этом случае сам Аппин. В тексте я привожу версию Инвернахила, как я ее помню. Но я получил эти сведения в такие далекие годы, что, возможно, я и ошибаюсь. Инвернахил был ростом невысок, но отличался атлетическим сложением и превосходно владел мечом. (Прим. автора.)

сказал: «Теперь все кончено — пусть волынщик сыграет Na til tulidh» («Мы больше не вернемся»); и, говорят, он отошел в лучший мир, прежде чем была доиграна прощальная песнь.

Этот необыкновенный человек умер в постели, в своем доме, в приходе Балквиддер. Его похоронили там же на кладбище, где его могилу можно различить лишь по грубо высеченному на плите изображению палаша.

Роб Рой, конечно, сложная натура. Его принципиальность, смелость и осторожность — качества, столь необходимые для военного успеха, — оборачивались иногда пороками, в зависимости от того, как они применялись. Однако надо признать, что беззакония, какие он постоянно совершал, можно отчасти извинить его воспитанием; а что касается его политического непостоянства в эти смутные времена, так тут он мог бы сослаться на пример людей гораздо более могущественных, которым труднее простить то, что они становились игрушкой обстоятельств, нежели бедному, доведенному до отчаяния отверженцу. С другой стороны, в нем нередко проявлялись добродетели тем более похвальные, что они как будто не вязались с основными свойствами его характера. Занимаясь ремеслом вожака грабителей — или, говоря современным языком, атамана бандитов, — Роб Рой не был особенно мстителен и бывал даже гуманен в случае удачи. Над памятью его не тяготеют нарекания в жестокости, и если проливал он кровь, то не иначе, как в сражениях. Этот грозный разбойник, напротив, был другом бедных, помогал, чем только мог, вдовам и сиротам, всегда держал данное слово и умер, оплакиваемый дикой своей страной, где было немало людей, чьи сердца благодарили его за оказанные благодеяния и чьи непросвещенные умы не могли осудить его заблуждения.

Здесь, может быть, автору надлежало бы остановиться; однако судьба некоторых членов семьи Роб Роя так необычайна, что соблазняет нас продолжить наш затянувшийся рассказ, ибо она представляет одну из интересных глав, рисуя нам не только нравы горцев, но и всю жизнь общества на той его стадии, когда первобытное полуцивилизованное племя вступает в соприкосновение с народом, у которого цивилизация и государственность достигли полного развития.

У Роба было пять сыновей — Кол, Роналд, Джеймс, Дункан и Роберт. С тремя из них не произошло ничего достопримечательного; но Джеймс, который был очень красив, кажется, унаследовал ум своего отца, а плащ Дугалда Киар-Мора покрыл, как видно, плечи Робина Оога, то есть юного Роба. Вскоре после смерти Роб Роя снова вспыхнула вражда между Мак-Грегорами и Мак-Ларенами, разжигаемая, говорят, вдовою Роба, которую муж ее, должно быть, по заслугам, называл неугомонной Атэ, подстрекающей к кровавым спорам. Робин Оог по ее наущению поклялся, что, как только он получит обратно ружье, принадлежавшее раньше его отцу и недавно отданное в починку в Дун, он застрелит Мак-Ларена за то, что тот осмелился поселиться на земле его матери *note 16*. Он сдержал слово и выстрелил в Мак-Ларена, когда тот шел за плугом, смертельно ранив его.

Прибегли к помощи лекаря-горца, который исследовал рану зондом, сделанным из кастока, то есть из кочерыжки или сурепицы. Ученый джентльмен объявил, что не решается прописать лечение, потому что не знает, какою пулей ранен пациент. Мак-Ларен умер, и вскоре за тем его коровам подрезали сухожилия, а весь мелкий скот перебили самым варварским способом.

Робин Оог после этого убийства, объясняемого одним из его биографов как нечаянный ружейный выстрел, удалился в дом своей матери, похваляясь, что первый пролил кровь в этой давней ссоре. Когда же подоспели милиция и отряд Стюартов (обязанных встать на защиту своего арендатора), Робин Оог скрылся, и его не нашли.

Note16

Много лет спустя, когда Робин Оог был захвачен властями, это злополучное ружье было у него отобрано. Оно осталось во владении судьи, к которому Робина привели на допрос, а теперь входит в небольшую коллекцию оружия, принадлежащую автору. Это ружье испанского образца, с меткою R.M.C. — то есть Роберт Мак-Грегор Кэмбел. (Прим. автора.)

Вышеупомянутого лекаря, по имени Каллам Мак-Инлестер, вместе с Джеймсом и Роналдом, братьями действительного виновника преступления, привлекли к суду. Им, однако, удалось представить дело как безрассудный поступок «полоумного парнишки Роба», за которого они не ответственны, и суд признал их соучастие в убийстве недоказанным. Обвинение в истреблении и изувечении скота Мак-Ларенов также отпало за отсутствием доказательств. Но так как было все же установлено, что оба брата, Роналд и Джеймс, слывут грабителями, их присудили внести залог в размере двухсот фунтов стерлингов в обеспечение их доброго поведения на ближайшие семь лет.

Так силен был в то время дух общности клана и так соблазнительно было приобрести крепких и отважных приверженцев — то, что у шотландцев называлось «порядочными людьми», — что представитель благородного семейства Перт соизволил открыто взять Грегоров под свою эгиду и выступил на суде в качестве их покровителя. Так по крайней мере сообщил автору покойный Роберт Мак-Интош, эсквайр и адвокат. Впрочем, возможно, что это произошло не в 1736 году, при первом судебном разбирательстве, а позднее.

Робин Оог некоторое время служил в 42-м полку и принимал участие в битве при Фонтенуа, где был ранен и взят в плен. Он был обменен, вернулся в Шотландию и вышел в отставку. Позднее он открыто появился в стане Мак-Грегоров и, невзирая на то, что был объявлен вне закона, женился на дочери Грэма из Дрэнки, довольно состоятельного джентльмена. Жена его умерла несколько лет спустя.

Вскоре после этого Мак-Грегоров снова призвало к оружию восстание 1745 года. Роберт Мак-Грегор из Гленкарноха, общепризнанный глава всего рода и дед сэра Джона, которого клан принял своим вождем, собрал полк Мак-Грегоров и встал под знамена кавалера. Однако склонное к независимости племя Киар-Мора, во главе которого стояли Гленгайл и его родственник Джеймс Рой Мак-Грегор, не примкнуло к полку своего клана, а временно — впредь до прибытия из Франции Уильяма Мак-Грегора Драммонда из Болхалдина, которого они считали главой их ветви клана Алпайн, — присоединилось к отрядам номинального герцога Перта. Чтобы скрепить союз, Джеймс, по обычаю горцев, отказался от имени Кэмбел и принял имя Драммонда, в честь лорда Перта. Его называли также Джеймс Рой по отцу и Джеймс Мор (то есть большой Джеймс) за высокий рост. Его отряд, собранный из остатков банды его отца Роба, развил бурную деятельность; с какими-нибудь двенадцатью молодцами сыну Роб Роя удалось захватить и сжечь во второй раз форт Инверснейд, сооруженный именно с целью обуздать Мак-Грегоров.

В точности неизвестно, какое воинское звание было присвоено Джеймсу Мак-Грегору. Сам он называет себя майором, а кавалер Джонстон называет его капитаном. Он, вероятно, был чином ниже Глун Ду, своего двоюродного брата, но деятельный и смелый нрав возвысил его над всеми его родными братьями. Многие из его сподвижников были невооружены: нехватку ружей и сабель он восполнял резаками кос, насаженными торчком на косовище.

В битве у Престонпенса Джеймс Рой отличился. «Горцы из его отряда, — говорит кавалер Джонстон, — своими косами нанесли противнику большой ущерб». Они подсекали ноги коням, а всадникам вспарывали животы. Мак-Грегор был смел и бесстрашен, но в то же время своенравен и чудаковат. Бросившись с отрядом в атаку, он получил пять ран, из них две огнестрельных; пули прошли навылет. Вытянувшись на земле и опираясь на руку, он громко закричал горцам своего отряда: «Ребята, я еще жив! Я, черт возьми, увижу, если кто из вас не выполнит свой долг!» Сражение, как известно, было быстро выиграно.

Из любопытных писем Джеймса Роя *note 17* явствует, что в этом деле он получил перелом берцовой кости, но, несмотря на это, присоединился к армии с шестью своими отрядами и участвовал в неудачной битве при Каллодене. После этого поражения клан Мак-Грегоров слил свои силы в один полк и не рассеивался до возвращения на родину. Джеймса Роя принесли на носилках; и ему без особых затруднений разрешили поселиться

Note17

Опубликованы в «Блэквудз мэгэзин», т. II, стр. 228. (Прим. автора.)

вместе с братьями в стране Мак-Грегоров.

Джеймс Мак-Грегор Драммонд, наравне с более значительными деятелями, был обвинен в государственной измене. Но он, видимо, вступил в сношения с правительством, так как в указанных выше письмах упоминает об охранной грамоте, полученной им в 1747 году от вице-президента Верховного суда и служившей ему достаточной защитой от милиции. Об этом говорится в одном из писем довольно смутно; однако, подкрепленное позднейшими происшествиями, это обстоятельство наводит на подозрение, что Джеймс, как и его отец, умел служить и нашим и вашим. Когда смута в стране утихла, Мак-Грегоры, подобно лисам, ускользнувшим от собак, забились в свои старые норы, где их никто не трогал. Но одно жестокое преступление, совершенное сыновьями Роб Роя, навлекло наконец на их дом кару закона.

Джеймс Рой был женат и имел четырнадцать детей. Брат же его, Робин Оог, овдовел; и было решено, что он попробует приобрести себе состояние, похитив какую-нибудь состоятельную женщину из Нижней Шотландии и женившись на ней — если понадобится, так силой.

Мысль о насилии такого рода не так возмущала умы полудиких горцев, как можно бы ожидать при той учтивости, какую они неизменно оказывали представительницам слабого пола, когда те входили в их собственную семью. Но, по их понятиям, они жили в состоянии войны; а на войне, со времени осады Трои и со дня, «когда Превиза пала» *note 18*, женщины-пленницы были для нецивилизованных победителей наиболее ценной частью добычи -

Богатому гибель, красивой — пощада.

Нам не нужно ссылаться ни на похищение сабинянок, ни на сходный случай, описанный в «Книге судей», для доказательства, что подобные насильственные действия совершались достаточно часто. Такого рода предприятия были настолько обычным делом в горной Шотландии, что они составили предмет множества песен и баллад. Летописи как Ирландии, так и Шотландии подтверждают, что такое преступление свершалось сплошь да рядом в наиболее беззаконных частях обеих стран; и если женщина приглянулась смелому человеку из хорошего дома, имевшему горсточку преданных друзей и убежище в горах, ей ничего не оставалось, как сказать «да». Более того, сами женщины, казалось бы, наиболее заинтересованные в неприкосновенности слабого пола, привыкли (особенно в низших слоях) смотреть на такие замужества как на то, что сейчас называют «обращением милой Фанни», а вернее бы сказать — «обращением Доналда с милой Фанни». Не так давно одна почтенная женщина — и отнюдь не из низшего класса общества — резко отчитала автора, когда он позволил себе осудить поведение Мак-Грегоров в этом случае. Незачем, заявила она, предоставлять невесте свободу выбора; в былые дни самыми счастливыми были браки, совершавшиеся на скорую руку. И в заключение она меня уверила, что ее собственная мать никогда не видела ее отца «до той ночи, когда он привез ее из Леннокса вместе со стадом крупного скота в десять голов, а не было пары счастливей по всей округе».

Джеймс Драммонд с братьями, придерживаясь того же мнения, что и старая знакомая автора, при обсуждении вопроса, как бы поправить расстроенные дела своего клана, решили закрепить за братом богатство через выгодный брак и для этого женить Робина Оога на некоей Джин Кей, или Райт, женщине лет двадцати, овдовевшей месяца два тому назад. Ее собственность оценивалась всего в шестнадцать — восемнадцать тысяч мерков, но представляла для этих людей достаточный соблазн, чтобы склонить их на тяжкое преступление.

Несчастная молодая женщина жила вместе с матерью в собственном доме в Эдинбилли, в приходе Балфрон, графства Стерлинг. В ночь на 3 декабря 1750 года сыновья Роб Роя с Джеймсом Мором и Робином Оогом во главе ворвались в дом, где проживал предмет их

Note18

«Паломничество Чайлд Гарольда», песнь II. (Прим. автора.)

притязаний, и, пригрозив ружьями, саблями и пистолетами мужскому составу семьи, нагнали страху на женщин угрозой взломать дверь, если им не выдадут Джин Кей, так как «брат его молод (слова Джеймса Роя) и решил разбогатеть». Вытащив наконец свою жертву из того места, где она укрылась, они отняли ее у матери, посадили на лошадь перед одним из участников набега и увезли, невзирая на вопли и стоны, которые слышались еще долго после того, как отряд скрылся с глаз перепуганных свидетелей похищения. Пытаясь бежать, несчастная женщина спрыгнула с лошади и сломала ребро. Тогда ее перекинули через седло и везли так по болотам и кочкам до тех пор, пока боль в боку, усилившаяся от неудобной позы, не принудила ее смириться и сесть прямо в седло. На обратном пути преступники останавливались во многих домах, но никто из обитателей не посмел вмешаться в их действия. Среди тех, кто их видел, известный знаток античной словесности профессор Уильям Ричардсон из Глазго, ныне покойный, который описал их дерзкое, шумное вторжение в его жилище как страшный сон. Горцы заполнили всю кухню, размахивали оружием, требовали, чего хотели, и получали все, что требовали. Джеймс Мор, по словам профессора, был высоким, суровым человеком воинственного вида; Робин Оог имел более привлекательную внешность: смуглый, с ярким румянцем — красивый молодой дикарь. Их жертва — в истерзанном платье, растерянная, жалкая на вид — была ни жива ни мертва.

Шайка отвезла несчастную женщину в Роуерденнан, где сыскался священник, не постеснявшийся совершить обряд венчания, пока Джеймс Мор силой удерживал невесту у алтаря; и священник объявил чету мужем и женой, как женщина ни возражала против его постыдного поведения. Понуждаемая теми же угрозами, с какими разбойники до сих пор выполняли свой замысел, несчастная жертва поселилась у самозваного супруга, силой навязанного ей. Преступники дерзнули даже привести ее при всем народе в Балквиддерскую церковь, где священник, отправлявший службу (тот самый, что был у Роб Роя на иждивении), спросил только об одном — состоят ли молодые в браке. Роберт Мак-Грегор ответил утвердительно, запуганная женщина промолчала.

В ту пору Горная Страна уже настолько подчинилась закону, что насильники, совершив свое гнусное дело, не смогли извлечь из него выгоду. По всем направлениям были разосланы воинские отряды для поимки Мак-Грегоров, которым пришлось в течение двух-трех недель переходить с места на место, каждый раз уводя с собой и несчастную Джин Кей. Между тем Верховный гражданский суд наложил секвестр на собственность Джин Кей, или Райт, лишив преступников возможности получить ожидаемую награду. Они, однако, еще питали надежду, что несчастная женщина, подавленная всеми этими бедствиями, предпочтет подчиниться и признать Робина Оога своим супругом, нежели покрыть себя позором, открыто явившись в суд с такого рода иском. Пойти на такое дело было и впрямь не просто, но их сородич Гленгайл, прямой глава их семьи, был врагом беззакония *note 19*; а так как друзья пленницы прибегли к его заступничеству, Мак-Грегоры убоялись, как бы он не лишил их своего покровительства, если они не отпустят Джин Кей на свободу.

Поэтому братья решили освободить свою пленницу, но предварительно испробовали все способы принудить ее, под влиянием страха и других побуждений, признать свой брак с Робином Оогом. Старые шотландские ведьмы давали ей снадобья, которые должны были подействовать как любовный напиток, но не принесли ничего, кроме вреда. Джеймс Мор одно время угрожал ей, что если она не признает брак, то в Горной Стране найдется достаточно мужчин, способных снести головы двум ее дядям, предъявившим гражданский иск. В другой раз он упал перед ней на колени и, признавшись, что причастен к похищению, умолял ее не губить его неповинную жену и все его многочисленное семейство. Ее заставили дать клятву,

---

Note19

Таким, во всяком случае, он прослыл, и когда Джеймс Мор во время нападения в Эдинбилли с целью запугать сопротивляющихся закричал, что Гленгайл залег поблизости с отрядом в сто человек, чтобы прийти ему на помощь, Джин Кей сказала, что он лжет, так как она никогда не поверит, чтобы Гленгайл потакал такому злодейскому поступку. (Прим. автора.)

что она не будет преследовать братьев судом за свою обиду; и разными угрозами принудили подписать поданные ей бумаги, где говорилось, что ее увезли в согласии с высказанным ею же самой пожеланием.

После этого Джеймс Мор Драммонд доставил свою мнимую невестку в Эдинбург, где некоторое время ее переводили из дома в дом, оставляя под присмотром хозяев и не разрешая ей ни выходить одной на улицу, ни хотя бы подходить к окну. Верховный гражданский суд, принимая в соображение необычайные обстоятельства дела и полагая, что Джин Кей по-прежнему действует по принуждению, взял ее под свою опеку и определил ей местопребывание в семье мистера Уайтмена из Молдсли, почтенного джентльмена, женатого на ее близкой родственнице. Двое часовых день и ночь охраняли дом — предосторожность едва ли излишняя, когда дело шло о Мак-Грегорах. Ей было дозволено ходить, куда она захочет, и видеть, кого пожелает, в том числе и стряпчих, выступавших в гражданском процессе с той и другой стороны. Когда она только что пришла в дом мистера Уайтмена, она казалась от страха и мучений крайне подавленной; лицом она настолько изменилась, что родная мать едва узнала ее, и настолько повредилась умом, что сама не сразу признала родителей. Долгое время ей не могли внушить, что она в безопасности. Когда же она наконец в этом уверилась, она подала в суд заявление, так называемое affidavit *note 20*, в коем изложила свои обиды, приписав страху прежнее свое молчание и высказав решение не преследовать своих обидчиков из уважения к клятве, которую вынудили у нее. Нарушение такой клятвы, пусть даже принудительной, ей облегчали самые формы шотландского правосудия, в этом отношении более беспристрастного, чем английское, так как уголовное преследование всегда производится от лица и за счет правительства, причем пострадавшая сторона не платит судебных издержек и не подвергается никаким неприятностям. Однако несчастная страдалица не дожила до дня, когда ей предстояло выступить истицей или свидетельницей против своих обидчиков.

Джеймс Мор Драммонд уехал из Эдинбурга, как только полумертвую добычу вырвали из его когтей. Миссис Кей, или Райт, освободили из ее своеобразного заключения и под охраной мистера Уайтмена привезли в Глазго. Проезжая с нею мимо горы Шотс, он заметил: «Место это очень дикое — что, если Мак-Грегоры нападут на нас?» «Боже упаси, — вырвалось у нее, — один вид их меня убьет!» Она осталась жить в Глазго, не решаясь вернуться в свой дом в Эдинбилли. Ее мнимый супруг несколько раз пытался добиться свидания с нею, но она неизменно отклоняла его просьбы. 4 октября 1751 года она умерла. В донесении суду говорится, что ее смерть, возможно, явилась следствием дурного обращения. Но есть сведения, что она умерла от оспы.

Тем временем Джеймс Мор, или Драммонд, попал в руки правосудия. Его признали зачинщиком всего дела. Более того, покойная в свое время сообщила друзьям, что в ночь похищения Робин Оог, тронутый ее слезами и стонами, уже почти согласился отпустить ее, но тут подоспел Джеймс с пистолетом в руке и спросил, неужели он такой трус, что выпустит из рук счастье, ради которого он, Джеймс, пошел на такой риск; и Робин подчинился брату.

Суд над Джеймсом состоялся 13 июля 1752 года и был проведен со всею честностью и беспристрастием. Несколько свидетелей, сплошь члены семьи Мак-Грегоров, присягнули, что венчание прошло, по всей видимости, при полном согласии невесты; а трое или четверо свидетелей, в том числе заместитель шерифа по округу, присягнули, что она могла при желании бежать; причем почтенный блюститель закона показал, что он даже предлагал ей помощь, буде она пожелает так поступить. Однако на вопрос, почему он, облеченный на то законным правом, не арестовал Мак-Грегоров, он только и смог сказать в ответ, что не располагал достаточными силами для такого предприятия.

В заявлениях Джин Кей, или Райт, указывалось, как жестоко с ней обращались при похищении; эти показания были подтверждены многими ее друзьями, которым она сообщала

Note20

письменное показание, подкрепленное только присягой (лат.).

подробности в частных беседах, а также самой ее смертью. И правда, факт ее увода (прибегаю к шотландскому судебному термину) был вполне доказан беспристрастными свидетелями. Несчастная женщина призналась, что несколько раз ей предлагали бежать, но она не доверяла своим доброжелателям, в том числе и заместителю шерифа, и отговаривалась тем, что она-де покорилась своей участи.

Суд присяжных подтвердил в приговоре, что Джин Кей, или Райт, была насильственно уведена из своего дома, как это указано в обвинительном акте, и что обвиняемый не смог доказать, что насилие было совершено с ее ведома и согласия. Однако насильственный брак и последующее жестокое обращение присяжные признали недоказанными, а вступительная часть их приговора особо отмечает как обстоятельство, смягчающее вину подсудимого, что Джин Кей впоследствии примирилась со своим положением. Одиннадцать человек из присяжных от своего имени и от имени четырех отсутствующих подписали письмо в Верховный суд, разъясняющее, что, вынося такой приговор, они преследовали целью изъять дело из разряда тяжких преступлений, караемых смертью.

Заключение высокоученых присяжных, которое нельзя не признать крайне мягким по тем обстоятельствам, было представлено в Верховный суд. Сей документ был весьма подробно обсужден в заключениях мистера Гранта, представителя короны, и небезызвестного мистера Локхарта — представителя защиты; но Джеймс Мор не стал дожидаться решения суда.

Поступили доносы о готовящемся будто бы побеге, и его перевели в Эдинбургский замок. И все же он сумел выбраться на свободу даже из этой крепости. Его дочь ухитрилась проникнуть в тюрьму, переодевшись сапожником, который якобы принес заказ. В то же платье сапожника поспешно переоделся ее отец. Часовые слышали, как жена и дочь заключенного накинулись на мнимого сапожника с бранью за плохую работу, когда он вышел, надвинув шляпу на глаза и ворча, — точно рассердившись на их неучтивое обращение. Заключенный прошел мимо всех часовых, не возбудив подозрений, и бежал во Францию. Позднее он был объявлен вне закона постановлением суда, который 15 января 1753 года приступил к разбирательству дела его брата, Дункана Мак-Грегора, или Драммонда. Обвиняемый, несомненно, участвовал в похищении Джин Кей; но, так как прямых улик против него не было, присяжные признали его невиновным; о его дальнейшей судьбе более ничего не известно.

О судьбе же Джеймса Мак-Грегора, который, если не по старшинству, то по дарованиям и рвению может считаться главой рода, долгое время существовало превратное представление, так как в судебных отчетах, да и повсюду, указывалось обычно, что объявление его вне закона было отменено и что он вернулся в Шотландию, где и умер. Однако любопытные документы, опубликованные в «Блэквудз мэгэзин» за декабрь 1817 года, показывают, что это неверно. Первый из этих документов — петиция к Карлу Эдуарду от 20 сентября 1753 года. В ней Джеймс Мак-Грегор ссылается на свои заслуги перед домом Стюартов, объясняя свое изгнание преследованием со стороны ганноверского правительства и ни словом не упоминая о деле Джин Кей и о приговоре Верховного суда. Установлено, что петицию подал Мак-Грегор Драммонд из Болхалди, которого, как упоминалось выше, Джеймс Мор признавал своим вождем.

Неизвестно, к чему привела эта петиция. Возможно, Джеймсу Мак-Грегору удалось добиться для себя временного облегчения. Но вскоре неугомонный авантюрист затеял самую черную интригу против одного изгнанника, который тоже был уроженцем Горной Страны и попал почти в такое же положение, как и он. Здесь стоит вкратце рассказать эту повесть, рисующую нравы горцев. Мистер Кэмбел из Гленура, назначенный уполномоченным правительства по управлению конфискованными имениями Стюарта Ардшила, был убит выстрелом из ружья, когда он, одолев переправу через реку у Баллихулиша, проходил по Леттерморскому лесу. Некий джентльмен, по имени Джеймс Стюарт, незаконный брат Ардшила, человек, лишенный прав, был привлечен к суду, как соучастник убийства, приговорен и казнен при наличии весьма сомнительных улик: самой веской из них было лишь

то, что подсудимый снабдил деньгами своего племянника, Аллана Брека Стюарта, бежавшего после убийства. Отомстив таким путем за убийство (что отнюдь не делало чести тогдашнему правосудию), друзья Гленура на этом не успокоились и стали добиваться ареста Аллана Брека Стюарта, предполагая в нем действительного убийцу. К Джеймсу Мору Драммонду тайно обратились с просьбой заманить Стюарта на берег моря и доставить в Англию, где его ждала верная смерть. Драммонд Мак-Грегор был родственником убитого Гленура; к тому же между Мак-Грегорами и Кэмбелами установились в последнее время дружественные отношения, тогда как Мак-Грегоры и Стюарты, как мы уже видели, состояли с недавнего времени во вражде; и, наконец, Роберт Оог содержался под стражей в Эдинбурге, и Джеймс хотел чем-нибудь выслужиться, чтобы спасти брата. Эти три побудительные причины при его своеобразных взглядах на добро и зло, возможно, оправдывали Джеймса в собственных глазах, когда он взялся за это предприятие, хотя было совершенно очевидно, что выполнить его он мог только с помощью коварного предательства. Мак-Грегор потребовал для себя разрешения вернуться в Англию, обещая привести с собой Аллана Брека. Однако двое соотечественников, разгадав намерения Джеймса, предостерегли намеченную жертву. Аллан спасся от похитителя, украв из его дорожного мешка, как утверждал Мак-Грегор, кое-какую одежду и четыре табакерки. Следует отметить, что такое обвинение становится правдоподобным только в том случае, если Джеймс и Аллан Брек были в дружеских отношениях и каждый имел доступ к вещам другого.

Хотя Джеймсу Драммонду и не удался его умысел против Аллана Брека Стюарта, все же он воспользовался разрешением и приехал в Лондон, где, как он сообщает, имел свидание с лордом Холдернесом. Лорд и товарищ министра задали ему ряд щекотливых вопросов и, по его словам, предложили теплое местечко на государственной службе. В смысле доходов место было выгодным, но, по мнению Джеймса Драммонда, принять его значило покрыть свое имя позором и стать бичом для родной страны. Если такое заманчивое предложение и решительный отказ и впрямь имели место, то речь, наверно, шла о шпионстве за якобитами: правительство попыталось, как видно, использовать в этих целях человека, показавшего себя не слишком разборчивым в деле Аллана Брека Стюарта. Драммонд Мак-Грегор учтиво изъявил готовность поступить на любое место, достойное джентльмена, но не иначе, — ответ, который, если вспомнить некоторые случаи его прошлой жизни, должен напомнить читателю преувеличенные заботы Пистоля о своей репутации.

Отклонив, таким образом, по его словам, предложения лорда Холдернеса, Джеймс Драммонд получил приказ немедленно покинуть Англию. Вернувшись во Францию, он, видимо, попал в очень бедственное положение. Он захворал лихорадкой, обнаружились камни в почках; больной телом, он ослаб духом и впал в уныние. Аллан Брек грозил убить его в отместку за его злые козни *note 21*. Клан Стюартов относился к нему весьма недружелюбно, а его недавнее путешествие в Лондон наводило на подозрения — и тем более естественные, что

Note21

Аллан Брек Стюарт был из тех людей, которые в этих случаях держат свое слово. Он и Джеймс Драммонд Мак-Грегор, подобно Катарине и Петруччо, составляли отличную «пару тихонь». Аллан Брек дожил до начала Великой французской революции. Около 1789 года один из моих друзей, живших тогда в Париже, был приглашен посмотреть на какую-то процессию, которая должна была его заинтересовать, из окон жилища, занимаемого бенедиктинским священником-шотландцем. Он увидел сидевшего у очага высокого, худого, костлявого, мрачного на вид старика с маленьким крестом святого Людовика на груди. У него были сильно выступающие скулы и подбородок, глаза серые. Седые волосы сохраняли признаки того, что были когда-то рыжими; лицо было обветренное и на редкость веснушчатое. Старик и мой друг перебросились несколькими любезными словами на французском языке, обменявшись замечаниями об улицах и площадях Парижа; затем старый солдат — таковым он казался, да и был на самом деле — глубоко вздохнул и с резким акцентом шотландского горца сказал: «Может ли хоть одна из них сравниться с главной улицей Эдинбурга!» Этот поклонник «Старого Дымокура», которого ему не суждено было увидеть вновь, оказался не кем иным, как Аланом Броком Стюартом. Он скромно жил на небольшую пенсию и за все эти долгие годы, до конца своих дней, ни разу не впадал в то состояние бешенства, в каком он, как принято думать, убил того, в ком видел врага и угнетателя своего рода и клана. (Прим. автора.)

он почему-то скрыл свои цели от предводителя клана Болхалди. Его сношения с лордом Холдернесом были подозрительны. Вероятно, якобиты, подобно дону Бернару де Кастель Бласо в «Жиль Бласе», не были расположены к тем, кто водил компанию с альгвасилами. Мак-Деннел из Лохгарри, джентльмен незапятнанной чести, заявил на Джеймса Драммонда в Дюнкирхене властям, обвиняя его в шпионаже, что и вынудило Драммонда с тринадцатью ливрами в кармане покинуть город и вернуться в Париж на полную нищету.

Мы не собираемся возбуждать в читателе сочувствие к осужденному вору, соучастнику убийства Мак-Ларена и вдохновителю насилия над Джин Кей, но нельзя без грусти смотреть на предсмертные терзания даже таких врагов человеческого рода, как волк или тигр; вот так же невольно чувствуешь жалость, когда думаешь о горестном конце этого человека, в чьих преступлениях повинна дикая система воспитания, поощрявшая его высокомерие и необузданный нрав. В последнем письме к Болхалди, помеченном «Париж, 25 сентября 1754 года», он описывает свою крайнюю нужду, выражая готовность, пока не подвернется что-нибудь получше, поступить на место берейтора, конюха или егеря. Англичанин, может быть, улыбнется, но шотландец вздохнет, прочтя постскриптум, в котором несчастный, умирающий с голоду изгнанник просит своего покровителя одолжить ему волынку, чтобы иногда наигрывать на ней грустные мелодии родной страны. Действие музыки во многом зависит от навеваемых воспоминаний; поэтому звуки, которые лондонцу или парижанину раздражают нервы, горцу напомнят высокую гору, ущелье, дикое озеро и подвиги его отцов. Чтобы доказать право Мак-Грегора на сострадание нашего читателя, мы приводим здесь последнюю часть этого письма:

Я, как видно, рожден для страданий, и, кажется, им не будет конца; мое печальное положение ныне таково, что я не знаю, что мне делать и куда податься, — мне просто не на что существовать. Я приехал сюда, имея за душой тринадцать ливров, и поселился в своем прежнем жилище — в гостинице Сен-Пьер на улице де Кордье. Обращаюсь к вам с просьбой: дайте мне знать через подателя этого письма, не будете ли вы вскоре в городе, чтобы я мог иметь удовольствие видеть вас, ибо мне не к кому прибегнуть, кроме вас; я прошу только одного: не можете ли вы подыскать для меня какое-либо занятие, чтобы я не впал в совершенную нищету? Сделать это, вероятно, нелегко, но если это не покажется вам слишком затруднительным, то вам не придется долго ломать над этим голову, ибо вы при вашей мудрости способны выполнять дела гораздо большей трудности и важности. Если вы переговорите об этом деле с вашим другом мистером Батлером, возможно, у него найдется та или другая должность, на которой я мог бы быть полезен, так как, полагаю, что вряд ли кто во Франции лучше меня умеет объезжать лошадей, а кроме того, я неплохой охотник, как в седле, так и пеший. О моем стесненном положении вы можете судить уже по тому, что я готов начать с самого ничтожного, пока не подвернется что-нибудь получше. Очень сожалею, что вынужден доставить вам столько беспокойства, однако я надеюсь, вы прекрасно знаете, как я благодарен за все, что вы сделали для меня, и предоставляю вам судить о настоящем моем бедственном положении. Остаюсь навсегда, дорогой вождь, готовый к услугам

Дж. Мак-Грегор.

P.S. Если вы пришлете с подателем сего вашу волынку и все принадлежности к ней, я соберу ее и буду наигрывать грустные мелодии — я теперь могу заниматься этим без опасения и от всей души. Простите, что я не пошел прямо к вам; но если бы даже я мог перенести минуту свидания с вами, мне было бы крайне тяжело, что мои друзья или просто знакомые видят меня в столь бедственном положении.

В то время как Мак-Грегор писал это безрадостное письмо, смерть — печальное, но верное лекарство против жизненных невзгод, разрешитель всех сомнении — уже парила над ним. Памятная запись на обороте письма гласит, что автор его умер примерно неделю спустя, в октябре 1754 года.

Остается теперь рассказать о судьбе Робина Оога, ибо остальные сыновья Роб Роя, по-видимому, не были ничем замечательны. Робин был арестован воинским отрядом из форта Инверснейд у подножия Гартмора и отвезен в Эдинбург 25 мая 1753 года. После некоторой отсрочки (вызванной, возможно, переговорами Джеймса о выдаче Аллана Брека Стюарта в обмен за брата) Робин Оог 24 декабря 1753 года предстал пред Верховным судом и был судим под именем Роберта Мак-Грегора, он же Кэмбел, он же Драммонд, он же Роберт Оог, и предъявленное ему обвинение в точности повторяло то, которое было выдвинуто на прошлом разбирательстве. Роберт был, видимо, в более благоприятном положении, чем его брат: будучи главным виновником насильственного брака, он мог, однако, сослаться на то, что при уводе Джин Кей выказал некоторую уступчивость, но ему помешали решительные протесты и угрозы его более жестокого брата Джеймса. К тому же со дня смерти несчастной женщины истекло четыре года — обстоятельство, которое всегда оборачивается в пользу подсудимого; ибо в вине есть нечто вроде перспективы, и стародавнее преступление кажется менее гнусным, чем совершенное только что. Тем не менее присяжные в деле Роберта не приложили никаких стараний к спасению его жизни, как они это сделали для Джеймса. Его признали виновным как зачинщика и соучастника в насильственном уводе Джин Кей из ее жилища. Судебные разбирательства дел сыновей Роб Роя, с добавлением рассказов о нем и его семействе, были опубликованы в Эдинбурге в декабре 1818 года. (Прим. автора.)]

Роберт Оог был приговорен к смертной казни и повешен 14 февраля 1754 года. Во время казни он держался с достоинством. Объявив себя католиком, он приписал все свои бедствия тому, что года за два перед тем отошел от истинной церкви. Он признался, что прибегнул к насильственному образу действий, чтобы получить в жены миссис Кей, или Райт, и выразил надежду, что его казнь прекратит дальнейшие преследования против его брата Джеймса. *note 22*

Газеты отметили, что его тело, провисев положенное время, было выдано друзьям, которые отвезли его в Горную Страну. Воспоминания уважаемого друга, недавно во цвете лет покинувшего нас, а в те годы учившегося в Линлитгоуской школе, позволяют автору добавить, что отряд Мак-Грегоров, гораздо больший, чем тот, который побеспокоился явиться в Эдинбург, встретил в Линлитгоу тело Робина Оога и с коронахом и прочими неистовыми изъявлениями скорби, принятыми среди горцев, проводил его до Балквиддера. Таким образом, мы можем заключить этот длинный рассказ о Роб Рое и его семействе классической фразой:

ITE, CONCLAMATUM EST.*note 23*

Добавлю только, что вышеизложенное я отобрал из многочисленных случаев жизни Роб Роя, какие рассказывались, а может быть, и по сей день рассказываются среди горцев, там, где он совершал свои подвиги; однако я не могу поручиться за полную их достоверность. Клановые интересы так же могли направлять язык и перо, как направляют они пистолет и палаш, и многое в рассказе чудесным образом смягчалось или же преувеличивалось — смотря по тому, кто его передавал, Мак-Грегор или Кэмбел.

ГЛАВА I

В чем грех мой, что легло такое горе
На плечи мне? Отныне у меня
Нет больше сына! Да сразит проклятье
Того, кто так тебя преобразил!
Ты хочешь путешествовать? Скорее

Note22

Джеймс умер месяца за три до того, но его семья вполне могла долго оставаться в неведении относительно этого события. (Прим. автора.)

Note23

Идите. Зов прозвучал (лат.).

Я в путешествие пошлю коня!
*Monsieur Thomas*note 24

Вы убеждали меня, дорогой мой друг, часть того досуга, которым провидение благословило закат моей жизни, посвятить описанию невзгод и опасностей, сопровождавших ее рассвет. Действительно, воспоминание о тех похождениях, как вам угодно было их назвать, оставило в моей душе сложное и переменчивое чувство радости и боли, смешанное, скажу я, с великой благодарностью к вершителю судеб человеческих, который вел меня вначале по пути, отмеченному трудами и превратностями, чтобы тем слаще казался при сравнении покой, ниспосланный мне под конец моей долгой жизни. К тому же как могу я сомневаться в том, о чем вы мне не раз твердили: что выпавшие мне на долю злоключения среди народа, до странности первобытного и по обычаям своим и по гражданскому строю, должны привлечь каждого, кто не прочь послушать рассказы старика о былых временах.

Все же вы не должны забывать, что повесть, рассказанная другу и другом выслушанная, утратит половину своей прелести, если ее изложить на бумаге, и что рассказы, за которыми вы с интересом следили, прислушиваясь к голосу того, кто все это пережил сам, окажутся не столь уж занимательны, когда вы станете их перечитывать в тиши своего кабинета. Но ваш еще не старый возраст и крепкое сложение обещают вам более долгие годы, чем может их выпасть на долю вашему другу. Бросьте же эти листы в какой-нибудь ящик вашего секретера до той поры, когда разлучит нас событие, которое грозит наступить в любую минуту и неизбежно наступит на протяжении немногих — очень немногих — лет. Когда мы расстанемся в этом мире, — чтобы встретиться, как я надеюсь, в лучшем, — вы станете, наверно, чтить больше, чем она заслуживает, память ушедшего друга; и в тех подробностях, что я собираюсь теперь поверить бумаге, вы найдете предмет для грустных, но не лишенных приятности размышлений.

Другие завещают своим закадычным друзьям портреты, изображающие внешние их черты, — я же передаю вам в руки верный список мыслей моих и чувствований, моих добродетелей и недостатков в твердой надежде, что безумства и своенравная опрометчивость моей молодости встретят ту же благосклонность, ту же готовность прощать, с какими вы так часто судили об ошибках моих зрелых лет.

Обращаясь в своих мемуарах (если можно так торжественно назвать эти листы) к дорогому и близкому другу, я в числе многих преимуществ приобретаю еще и ту выгоду, что могу опустить иные подробности, в этом случае излишние, но которые поневоле должен был бы изложить человеку постороннему, отвлекаясь от более существенного. Разве стану я докучать вам только потому, что вы в моей власти, что передо мной бумага и чернила и что времени у меня достаточно? Но все же трудно мне пообещать, что я не употреблю во вред этот соблазнительно представившийся случай поговорить о себе и о своих заботах, хотя мое повествование касается обстоятельств, известных вам так же хорошо, как и мне. Когда мы сами — герои событий, о которых говорим, то нередко, увлеченные рассказом, мы бываем склонны пренебречь заботой о времени и терпении наших слушателей, и часто лучшие и мудрейшие из нас уступали такому соблазну. Стоит мне только напомнить вам забавный пример с мемуарами Сюлли в той редкой и своеобразной их редакции, которую вы (в наивном тщеславии библиофила) упрямо предпочитаете другой, где они приведены в обычной для мемуаров удобочитаемой форме, тогда как, на мой взгляд, эта любимая вами редакция любопытна лишь одним: она показывает, до чего может дойти в своем самомнении даже такой большой человек, как их автор. Если память мне не изменяет, этот почтенный вельможа и государственный муж выбрал четырех джентльменов из своих приближенных и поручил им изложить события его жизни под заголовком: «Воспоминания о мудрых королевских деяниях, государственных, семейных, политических и военных, совершенных Генрихом IV…» и т.д.

Note24
Господин Тома (франц.).

Важные хроникеры, составив свою компиляцию, придали мемуарам о замечательных событиях жизни их господина форму рассказа, обращенного к нему самому in propria persona *note 25*. Таким образом, вместо того чтобы рассказать свою историю в третьем лице, как Юлий Цезарь, или в первом, как большинство тех, кто в гостиной или в кабинете затеет занять общество повествованием о себе самом, Сюлли вкушает утонченное, но необычное наслаждение: сам превратившись в слушателя, он внимает повести о событиях своей жизни в изложении своих секретарей, будучи в то же время героем, а может быть, и автором всей книги. Великолепное было, вероятно, зрелище: экс-министр, прямой, как палка, в накрахмаленных брыжах и в расшитом камзоле, помпезно сидит под балдахином и внемлет чтению своих компиляторов; а те, стоя перед ним с непокрытыми головами, самым серьезным образом ему сообщают: «Герцог сказал то-то, герцог поступил так-то; мнение вашей милости по этому сложному вопросу было таково; в другом же, не менее затруднительном случае ваши тайные советы королю были таковы», — хотя все эти обстоятельства, конечно, были лучше известны их слушателю, нежели им самим, и большую часть их они могли узнать только из его же доверительного сообщения.

Я не в таком смешном положении, как великий Сюлли, но все же покажется странным, если Фрэнк Осбалдистон станет давать Уиллу Трешему формальный отчет о своем рождении, воспитании и положении в обществе. Поэтому, поборов искушение поддаться увещаниям П.П., причетника нашего прихода, я постараюсь обойти в своем рассказе все то, что вам уже известно. Однако кое-какие события я должен восстановить в вашей памяти: если раньше вы их превосходно знали, то с течением времени могли забыть, а между тем они во многом определили мою судьбу.

Вы должны хорошо помнить моего отца: ведь ваш отец был компаньоном нашего торгового дома, так что вы с детства знали моего старика. Но вряд ли видели вы его в лучшие дни — до того, как годы и болезнь охладили в нем пламенный дух предприимчивости и сковали его деловой размах. Он был бы беднее, но, пожалуй, не менее счастлив, если бы посвятил науке ту неукротимую энергию и острую наблюдательность, которые направил на торговлю. Однако в приливах и отливах коммерческой удачи, независимо даже от надежды на прибыль, есть что-то захватывающее для искателя приключений. Кто пустился в плавание по этим неверным водам, должен обладать искусством кормчего и выносливостью мореплавателя — и все-таки может потерпеть крушение и погибнуть, если ветер счастья под конец не станет ему услужать. Напряженное внимание в соединении с неизбежным риском — постоянная и страшная неуверенность, победит ли осторожность игру случайностей, не опрокинет ли злая случайность расчеты осторожности, — занимает все силы и ума и чувства, и торговля, таким образом, заключает в себе все прелести азартной игры, не нанося ущерба нравственности.

В начале восемнадцатого столетия, когда мне с Божьей помощью едва исполнилось двадцать лет, я был внезапно отозван из Бордо к отцу по важному делу. Никогда не забуду нашей первой встречи. Вы помните его резкую, несколько суровую манеру выражать окружающим свою волю. Мне кажется, я и сейчас мысленно вижу его перед собою — прямую и крепкую фигуру, поступь быструю и решительную, острый и проницательный взгляд, лицо, на котором забота уже оставила морщины, — и слышу его скупую, сдержанную речь, его голос, помимо воли звучавший порою слишком жестко.

Я спрыгнул с почтовой лошади и поспешил в комнату отца. Он шагал из угла в угол в спокойном, глубоком раздумье, которого не мог нарушить даже мой приезд, хоть я и был у отца единственным сыном и мы не виделись четыре года. Я бросился ему на шею. Он был добрым, хотя и не очень нежным отцом, и в темных его глазах засверкали слезы; но лишь на одно мгновение.

— Дюбур пишет мне, что он доволен тобою, Фрэнк.

Note25

в его собственном лице (лат.).

— Я счастлив, сэр…

— А у меня меньше оснований быть счастливым, — перебил отец и сел к письменному столу.

— Я сожалею, сэр…

— «Я сожалею», «я счастлив»… Эти слова, Фрэнк, в большинстве случаев значат мало или вовсе ничего. Вот твое последнее письмо.

Он достал его из пачки других писем, перевязанных красной тесьмой, с замысловатыми наклейками и пометками на полях. Здесь оно лежало, мое бедное письмо, написанное на тему, в то время самую близкую моему сердцу, изложенное в словах, которые, думал я, если не убедят то пробудят сочувствие, — и вот, говорю, оно лежало, затерянное среди других писем о всевозможных торговых операциях, в которые вовлекали отца его будничные дела. Я не могу удержаться от улыбки, вспоминая, как я с оскорбленным тщеславием и раненым самолюбием глядел на свое послание, сочинить которое стоило мне, смею вас уверить, немалого труда, — глядел, как его извлекают из кипы расписок, извещений и прочего обыденного, как мне казалось тогда, хлама коммерческой корреспонденции. «Несомненно, — подумал я, — такое важное письмо (я даже перед самим собой не осмелился добавить: „и так хорошо написанное“) заслуживает особого места и большего внимания, чем обычные конторские бумаги».

Но отец не заметил моего недовольства, а если б и заметил, не посчитался бы с ним. Держа письмо в руке, он продолжал:

— Итак, Фрэнк, в своем письме от двадцать первого числа прошлого месяца ты извещаешь меня, — тут он стал читать письмо вслух, — что в таком важном деле, как выбор жизненного пути и занятий, я, по своей отцовской доброте, несомненно, предоставлю тебе если не право голоса, то хотя бы право отвода; что непреодолимые… да, так и написано: «непреодолимые» — я, кстати сказать, хотел бы, чтобы ты писал более разборчиво: ставил бы черточку над «т» и выводил петлю в «е», — непреодолимые препятствия не позволяют тебе принять предложенную мной программу. Это говорится и пересказывается на добрых четырех страницах, хотя при некоторой заботе о ясности и четкости слога можно бы уложиться в четыре строки. Ибо, Фрэнк, в конце концов все это сводится к одному: ты не хочешь следовать моему желанию.

— «Не хочу» — не то слово. При настоящих обстоятельствах, сэр, я не могу.

— Слова значат для меня очень немного, молодой человек, — сказал мой отец, в ком непреклонность всегда сочеталась с полным спокойствием и самообладанием. — «Не могу» — это, пожалуй, вежливей, чем «не хочу», но там, где нет налицо моральной невозможности, эти два выражения для меня равнозначны. Впрочем, я не сторонник поспешных действий; мы обсудим это дело после обеда. Оуэн!

Явился Оуэн — не в серебряных своих сединах, которые вы некогда чтили, ибо тогда ему было лет пятьдесят с небольшим, но одетый в тот же или в точности такой же костюм светло-коричневого сукна, в таких же жемчужно-серых шелковых чулках, в таких же башмаках с серебряными пряжками и в плиссированных батистовых манжетах, которые он в гостиной выпускал наружу, но в конторе старательно заправлял в рукава, чтобы не забрызгать чернилами, изводимыми им ежедневно в немалом количестве, — словом, Оуэн, старший клерк торгового дома «Осбалдистон и Трешем», важный, чопорный — и тем не менее благодушный, каким он оставался до самой своей смерти.

— Оуэн, — сказал отец, когда добрый старик горячо пожал мне руку, — вы сегодня отобедаете с нами и послушаете новости, которые Фрэнк привез нам из Бордо от наших друзей.

Оуэн с почтительной благодарностью отвесил церемонный поклон: в те дни, когда расстояние между высшими и низшими подчеркивалось с чуждой нашему времени резкостью, подобное приглашение означало немаловажную милость.

Памятным остался для меня этот обед. Глубоко встревоженный и даже несколько недовольный, я был не способен принять в разговоре живое участие, какого ждал от меня,

по-видимому, отец, и слишком часто отвечал неудачно на вопросы, которыми он меня осаждал. Оуэн, колеблясь между почтением к своему патрону и любовью к юноше, которого он когда-то качал на коленях, старался, подобно робкому, но преданному союзнику государства, подвергшегося нападению врага, найти оправдание каждому моему промаху и прикрыть мое отступление, но эти маневры только пуще раздражали отца и, не защищая меня, навлекали его досаду также и на доброго моего заступника. Проживая в доме Дюбура, я вел себя не совсем так, как тот конторщик, осужденный

Гневить и в вечности отцовский дух,
Исписывая стансами гроссбух, -

но, сказать по правде, я посещал контору не чаще, чем это казалось мне необходимым, чтобы обеспечить себе добрые отзывы со стороны француза, давнишнего корреспондента нашей фирмы, которому отец поручил посвятить меня в тайны коммерции. Главное свое внимание я уделял литературе и физическим упражнениям. Отец мой отнюдь не порицал стремлений к развитию как умственному, так и телесному. Человек трезвого ума, он не мог не видеть, что они служат каждому к украшению, и понимал, насколько они облагораживают нрав и способствуют приобретению доброго имени. Но он тешил свое честолюбие мечтою завещать мне не только свое состояние, но также планы и расчеты, которыми надеялся приумножить и увековечить оставляемое им богатое наследство.

Любовь к своему занятию была мотивом, который он счел наиболее удобным выдвинуть, настойчиво призывая меня стать на избранный им путь; но были у него и другие причины, которые я узнал лишь позднее. Искусный и смелый, он был неукротим в своих замыслах, каждое новое предприятие в случае удачи давало толчок — а также и средства — к новым оборотам. Он, казалось, испытывал потребность, подобно честолюбивому завоевателю, идти от достижения к достижению, не останавливаясь для того, чтобы закрепить свои приобретения и — еще того менее — чтобы насладиться плодами побед. Постоянно бросая все свое состояние на весы случая, он всегда умело находил способ склонить их стрелку на свою сторону, и, казалось, его здоровье, решительность, энергия возрастали, когда он, воодушевленный опасностью, рисковал всем своим богатством; он был похож на моряка, привыкшего смело бросать вызов и волнам и врагам, потому что вера в себя возрастает у него накануне бури, накануне битвы. Однако он понимал, что годы или внезапная болезнь когда-нибудь сокрушат его крепкий организм, и стремился заблаговременно подготовить в моем лице помощника, который сменит его у руля, когда его рука ослабеет, и поведет корабль согласно советам и наставлениям старого капитана. Итак, любовь к сыну и верность своим замыслам приводили его к одному и тому же решению. Ваш отец, хоть и вложил свой капитал в наш торговый дом, был, однако, как говорится у коммерсантов, «сонным компаньоном»; Оуэн, безупречно честный человек, превосходный знаток счетного дела, был неоценим в качестве старшего клерка, но ему не хватало знаний и способностей для проникновения в тайны общего руководства всеми предприятиями. Если бы смерть внезапно сразила моего отца, что сталось бы со всеми его многообразными начинаниями? Оставалось одно: вырастить сына Геркулесом коммерции, способным принять на плечи тяжесть, брошенную падающим Атлантом. А что сталось бы с самим сыном, если б он, новичок в такого рода делах, был вынужден пуститься в лабиринт торговых предприятий, не имея в руках путеводной нити знаний, необходимой, чтобы выбраться на волю? Вот по каким соображениям, высказанным и не высказанным, отец мои решил, что я должен избрать для себя его поле деятельности. А в своих решениях мой отец был непреклонен, как никто другой. Но следовало все-таки посоветоваться и со мною; я же с унаследованным от него упрямством принял как раз обратное решение.

Отпор, оказанный мною желаниям отца, можно, я надеюсь, извинить в какой-то мере тем, что я не совсем понимал, на чем они основаны и как сильно зависит от моего согласия все его счастье. Я воображал, что мне обеспечено большое наследство, а до поры до времени

щедрое содержание; мне и в голову не приходило, что ради упрочения этих благ я должен буду сам трудиться и терпеть ограничения, противные моим вкусам и характеру. В стараниях моего отца сделать из меня коммерсанта я видел только стремление стяжать новые богатства в добавление к уже приобретенным. И, воображая, что мне лучше судить, какая дорога приведет меня к счастью, я не видел нужды приумножать капитал, и без того, по-моему, достаточный, и даже более чем достаточный, для удовлетворения всех потребностей, для удобной жизни и для изысканных увеселений.

Итак, повторяю: я проводил время в Бордо совсем не так, как хотелось бы моему отцу. Те занятия, которые он полагал главной целью моего пребывания в этом городе, я забрасывал ради всяких других, и, когда бы смел, я вовсе пренебрег бы ими. Дюбур, извлекавший для себя немало благ и пользы из сношений с нашим торговым домом, был слишком хитрым политиком, чтобы давать главе фирмы такие отзывы о его единственном сыне, какие возбудили бы недовольство и у меня и у отца; возможно также, как вы поймете из дальнейшего, что он имел в виду свою личную выгоду, потворствуя мне в пренебрежении теми целями, ради которых я был отдан на его попечение. Я держался в границах приличия и добропорядочности, так что до сих пор он не имел оснований давать обо мне дурные отзывы, если б даже был к тому расположен; но поддайся я и худшим наклонностям, чем нерадивость в торговом деле, лукавый француз проявил бы, вероятно, ту же снисходительность. Теперь же, поскольку я уделял немало времени любезным его сердцу коммерческим наукам, он спокойно смотрел, как часы досуга я посвящаю совершенствованию в другой, более классической области, и не попрекал меня тем, что я зачитываюсь Корнелем или Буало, предпочитая их Постлтвейту (вообразим, что его объемистый труд в то время уже существовал и что Дюбур умел произносить это имя), и Савари, и всякому другому автору трудов по коммерции. Он позаимствовал откуда-то удобную формулу и каждое письмо обо мне заканчивал словами, что я «в точности таков, каким желательно отцу видеть своего сына».

Как бы часто она ни повторялась, отца моего никогда не раздражала фраза, если казалась ему четкой и выразительной; и сам Аддисон не нашел бы выражений, более для него приемлемых, чем слова: «Письмо ваше получено, прилагаемая расписка заприходована».

И вот, так как мистер Осбалдистон превосходно знал, к чему меня готовит, излюбленная фраза Дюбура не пробуждала в нем сомнений, таков ли я на деле, каким он желал бы меня видеть, — когда в недобрый час он получил мое письмо с красноречивым и подробным обоснованием моего отказа от почетного места в торговом доме, от конторки и табурета в углу темной комнаты на Журавлиной улице — табурета, превосходящего высотой табуреты Оуэна и прочих клерков и уступающего только треножнику моего отца. С этой минуты все разладилось. Отчеты Дюбура стали казаться такими подозрительными, точно его векселя подлежали опротестованию. Я был срочно отозван домой и встретил прием, уже описанный мною.

ГЛАВА II

*Я в своей прозорливости начинаю подозревать молодого человека в страшном пороке — Поэзии; и если он действительно заражен этой болезнью лентяев, то для государственной карьеры он безнадежен. Коль скоро он предался рифмоплетству, на нем как на полезном члене общества нужно поставить крест — actum est.*note 26

Бен Джонсон, «Варфоломеевская ярмарка»

Мой отец, вообще говоря, умел владеть собой в совершенстве и редко давал своему гневу излиться в словах, выдавая его лишь сухим и резким обхождением с теми, кто вызвал

Note26

Здесь в смысле: кончено (лат.).

его недовольство. Никогда не прибегал он к угрозам или шумному выражению досады. Все у него подчинено было системе, и он в каждом частном случае придерживался правила: «делать, что нужно, не тратя лишних слов». Так и на этот раз с язвительной улыбкой выслушал он мои сбивчивые ответы о состоянии французской торговли и безжалостно позволял мне углубляться все дальше и дальше в тайны тарифов, нетто, брутто, лажей, скидок и надбавок; но, насколько я помню, ни разу в его глазах не отразилась прямая досада, пока не обнаружилось, что я не могу толково объяснить, какое действие оказало обесценение золотого луидора на кредитное обращение. «Самое замечательное историческое событие за всю мою жизнь, — сказал отец (который как-никак был свидетелем революции!), — а он знает о нем не больше, чем фонарный столб на набережной!»

— Мистер Фрэнсис, — осмелился сказать Оуэн робким и примирительным тоном, — вероятно, не забыл, что мораторием от первого мая тысяча семисотого года французский король предоставил держателям десять льготных дней, по истечении коих…

— Мистер Фрэнсис, — прервал его мой отец, — несомненно, тотчас же припомнит все, что вы будете любезны подсказать ему. Но, Боже мой, как мог Дюбур это допустить! .. Скажите, Оуэн, что представляет собой его племянник, Клеман Дюбур, этот черноволосый юноша, работающий у нас в конторе?

— Один из самых толковых клерков нашего торгового дома, сэр. Для своих лет он удивительно много успел, — ответил Оуэн (веселый нрав и обходительность молодого француза покорили его сердце).

— Так, так! Он-то, я полагаю, кое-что смыслит в законах кредитного обращения. Дюбур решил, что мне нужно иметь около себя хоть одного конторщика, который разбирался бы в делах. Но я вижу, куда он гнет, и дам ему убедиться в этом, когда он просмотрит баланс. Оуэн, распорядитесь выплатить Клеману его жалованье по первое число, и пусть отправляется назад в Бордо на корабле своего отца, что отходит на днях.

— Рассчитать Клемана Дюбура, сэр? — проговорил, запинаясь, Оуэн.

— Да, сэр, рассчитать его немедленно. Довольно, если есть в конторе один глупый англичанин, который будет делать промахи; мы не можем держать в придачу ловкого француза, который будет извлекать выгоду из этих промахов.

Достаточно пожив во владениях Grand Monarque *note 27*, я не мог без возражений допустить, чтобы ни в чем не повинный и достойный юноша расплачивался за то, что он приобрел познания, которых отец желал для меня.

— Прошу извинения, сэр, — начал я, дав мистеру Осбалдистону договорить, — но я почел бы справедливым, если я пренебрегал занятиями, самому нести за то расплату; у меня нет оснований винить господина Дюбура — он предоставлял мне все возможности совершенствоваться, но я недостаточно пользовался ими. В отношении же господина Клемана Дюбура…

— В отношении его и тебя я приму те меры, какие найду нужным, — отрезал мой отец. — Но ты честно поступаешь, Фрэнк, что сам хочешь нести наказание за свою вину, вполне честно, этого нельзя отрицать. Однако я не могу оправдать старика Дюбура, — продолжал он, глядя на Оуэна, — если он только предоставлял Фрэнку возможность приобретать полезные знания, не следя, чтобы юноша этой возможностью пользовался, и не доводя до моего сведения, когда он ею пренебрегал. Вы видите, Оуэн, у моего сына врожденные понятия о справедливости, приличествующие британскому купцу.

— Мистер Фрэнсис, — сказал старший клерк, как всегда учтиво наклоняя голову и приподнимая правую руку — жест, усвоенный им вместе с привычкой закладывать перо за ухо, перед тем как заговорить, — мистер Фрэнсис, по-видимому, вполне постиг основной принцип всех моральных взаимоотношений, великое тройное правило этики: пусть А поступает с Б так, как хотел бы, чтобы Б поступал с ним; отсюда легко вывести искомую

Note27

Великого монарха (франц.) — то есть французского короля Людовика XIV.

формулу поведения.

Отец мой улыбнулся при этой попытке Оуэна облечь золотое правило этики в математическую форму, однако тотчас продолжал:

— Но это не меняет сути, Фрэнк; ты, как мальчик, впустую тратил время; в будущем ты должен научиться жить как взрослый. На несколько месяцев я отдам тебя в учение к Оуэну, чтобы ты наверстал упущенное.

Я собрался возразить, но Оуэн сделал жест предостережения и поглядел на меня с такой мольбой, что я помимо воли промолчал.

— Вернемся, — продолжал отец, — к содержанию моего письма от первого числа прошлого месяца, на которое ты послал мне необдуманный и невразумительный ответ. Наполни, Фрэнк, свой стакан и подвинь бутылку Оуэну.

Меня никогда нельзя было обвинить в недостатке храбрости или, если вам угодно, дерзости. Я ответил твердо, что «сожалею, если мое письмо оказалось невразумительным, — необдуманным его назвать нельзя; предложение, великодушно сделанное мне отцом, я подверг немедленному и тщательному рассмотрению и с болью убедился, что вынужден его отклонить».

Отец остановил на мне острый взгляд, но тотчас же его отвел. Так как он не отвечал, я почел себя обязанным продолжать, хоть и не без колебания; он же перебивал меня лишь односложными замечаниями.

— Ни к одному роду деятельности, сэр, я не мог бы относиться с большим уважением, чем к деятельности купца, даже если бы вы не избрали ее для себя.

— Вот как?

— Торговля сближает между собою народы, облегчает нужду и способствует всеобщему обогащению; для всего цивилизованного мира она то же, что в частной жизни повседневные сношения между людьми, или, если угодно, то же, что воздух и пища для нашего тела.

— Ну и что же, сэр?

— И все-таки, сэр, я вынужден настаивать на отказе от этого поприща, на котором я едва ли способен преуспеть.

— Я позабочусь, чтобы ты приобрел все данные. Ты больше не гость и ученик Дюбура.

— Но, дорогой сэр, я жалуюсь не на дурное обучение, а на собственную мою неспособность извлечь из уроков пользу.

— Вздор! Ты вел дневник, как я того желал?

— Да, сэр.

— Будь любезен принести его сюда.

Вытребованный таким образом дневник представлял собой обыкновенную тетрадь, которую я завел по настоянию отца и куда мне полагалось записывать всевозможные сведения, приобретаемые мною во время обучения. Предвидя, что отец возьмет тетрадь для просмотра, я старался вносить в нее такого рода сведения, какие он, по моему разумению, должен был одобрить; но слишком часто перо мое делало свое дело, не очень-то слушаясь головы. И случалось также, что я, раскрыв дневник, благо он у меня всегда под рукой, нет-нет да и внесу в него запись, имеющую мало общего с торговым делом. И вот я вручил тетрадь отцу, робко надеясь, что он не натолкнется в ней на что-нибудь такое, от чего могло усилиться его недовольство. Лицо Оуэна, несколько омрачившееся при вопросе отца, сразу прояснилось при бойком моем ответе и расцвело улыбкой надежды, когда я принес из своей комнаты и положил перед отцом книгу конторского типа, в ширину больше, чем в длину, с медными застежками и в переплете из сыромятной телячьей кожи. От книги повеяло чем-то деловым, и это совсем приободрило моего доброжелателя. Он просто сиял от удовольствия, когда отец стал на выборку читать вслух отдельные страницы, бормоча свои критические замечания.

— «Водки — бочками и бочонками (barils, barricants, также tonneaux). В Нанте — 29; Velles — маленькими бочонками, в Коньяке и Ла-Рошели — 27, в Бордо — 32». Правильно, Фрэнк. «Грузовые и таможенные сборы — смотри в таблицах Саксби». А вот это нехорошо: следовало сделать выписку, так оно лучше запоминается. «Ввоз и вывоз.

— Расписки на закупленный хлеб. — Таможенные сертификаты. — Полотно: изингамское, гентское. — Вяленая треска — ее разновидности: титлинг, кроплинг и лабфиш». Следовало бы отметить, что они иногда именуются все словом «титлинг». Сколько дюймов в длину имеет титлинг?

Оуэн, видя мое замешательство, рискнул подсказать мне шепотом, и я, на свое счастье, уловил подсказку.

— Восемнадцать дюймов, сэр…

— Так. А лабфиш — двадцать четыре. Очень хорошо. Это важно запомнить на случай торговли с Португалией. А это что такое? «Бордо основан в… таком-то году… Замок Тромпет — дворец Галлиена». Ничего, ничего — все в порядке. Это ведь своего рода черновая тетрадь, Оуэн, в которую заносится без разбору все, с чем пришлось столкнуться за день: погашения, заказы, выплаты, переводы, получки, планы, поручения, советы — все подряд.

— Чтобы затем аккуратно разнести по журналу и главной книге, — подхватил Оуэн. — Меня радует, что мистер Фрэнсис так методичен.

Я увидел, что быстро завоевываю расположение отца, и стал опасаться, как бы он теперь не утвердился еще более в своем намерении сделать из меня купца; а так как сам я задумал нечто прямо противоположное, я пожалел, выражаясь словами доброго мистера Оуэна, о своей излишней методичности. Но мои опасения оказались преждевременными. Из книги выпал на пол листок бумаги, покрытый кляксами. Отец его поднял и, прервав Оуэна на замечании, что оторвавшиеся листки следует подклеивать хлебным мякишем, провозгласил:

— «Памяти Эдварда, Черного принца». Что такое? Стихи! Видит небо, Фрэнк, ты еще больший болван, чем я полагал!

Мой отец, надо вам сказать, как человек деловой, с презрением смотрел на труд поэта и, как человек религиозный да еще убежденный диссидент, почитал стихотворство занятием пустым и нечестивым. Прежде чем осудить за это моего отца, вы должны припомнить, какую жизнь вели очень многие поэты конца семнадцатого столетия и на что обращали они свои таланты. К тому же секта, к которой он принадлежал, питала — или, может быть, только проповедовала — пуританское отвращение к легкомысленным жанрам изящной словесности. Так что было много причин, усиливших неприятное удивление отца при столь несвоевременной находке этого злополучного листка со стихами. А что до бедного Оуэна… Если бы локоны на его парике могли распрямиться и встать дыбом от ужаса, я уверен, что утренние труды его парикмахера пропали бы даром, — так ошеломлен был мой бедный добряк чудовищным открытием. Взлом несгораемого шкафа, или замеченная в гроссбухе подчистка, или неверный итог в подшитом документе едва ли могли его поразить более неприятным образом. Отец мой стал читать строки, то делая вид, что ему трудно уловить их смысл, то прибегая к ложному пафосу, но сохраняя все время язвительно-иронический тон, больно задевавший самолюбие автора:

Звени, мой рог! Еще идет потеха…
Не так ли потревоженное эхо
Фонтаравийских диких скал
Повергло Карла в бездну скорби гневной,
Когда в Иберии полдневной
Роланд, сраженный, пал!

— «Фонтаравийское эхо»! — продолжал отец, сам себя прерывая. — «Фонтаравийская ярмарка» была бы здесь более уместна. «Когда в Иберии полдневной…» Что за Иберия такая? Не мог ты просто сказать: «в Испании», — и писать по-английски, если тебе уж непременно нужно городить чепуху?

Гремя над гребнями волны соленой,
Летит, летит к утесам Альбиона

Молва: Британии оплот,
Гроза французов, тот, чей реял стяг
Над Пуатье, над Креси, — ах,
В Бордо от ран умрет!

«Креси» имеет ударение неизменно на втором слоге; не вижу оснований ради размера искажать слова.

«Откройте шире, — молвит он, — оконце:
Хочу в последний раз увидеть солнце,
О сквайры добрые мои!
Хочу увидеть в зареве заката
Гаронны, пламенем объятой,
Зеркальные струи…»

«Оконце» явно притянуто для рифмы. Так-то, Фрэнк, ты мало смыслишь даже в таком жалком ремесле, которое избрал для себя.

«Как я, ты гаснешь, солнце золотое,
И плачет вечер о тебе росою.
Из глаз английских дев и жен
Так будут литься слезы непокорно:
Погиб Эдвард, их рыцарь Черный,
Рукой врага сражен!
Моя, как солнце, закатилась слава.
Но знаю, будет: в час борьбы кровавой,
Воспев погибшего меня,
Взойдет Британии герой могучий
Звездою новою сквозь тучи
И крови и огня».

«Туча огня» — это что-то новое. А! С добрым утром, уважаемые, всем вам веселого Рождества! Право, наш городской глашатай сочиняет вирши получше.

С видом предельного пренебрежения он отбросил листок и в заключение повторил:

— По чести скажу, Фрэнк, ты еще больший болван, чем я думал сперва.

Что мог я ответить, дорогой мой Трешем? Я стоял обиженный и негодующий, в то время как мой отец глядел на меня спокойным, но строгим взором презрения и жалости; а бедный Оуэн поднял к небу руки и глаза, и на лице его застыл такой ужас, словно бедняга прочитал только что имя своего патрона в «Газете». Наконец я набрался храбрости и заговорил, стараясь по мере возможности не выдать голосом владевших мною чувств:

— Я вполне сознаю, сэр, как мало я пригоден к исполнению той видной роли в обществе, которую вы мне прочили; но, к счастью, я не честолюбив и не льщусь на богатства, какие мог бы приобрести. Мистер Оуэн будет вам более полезным помощником.

Последние слова я добавил не без лукавого умысла, так как полагал, что Оуэн слишком быстро от меня отступился.

— Оуэн? — сказал мой отец. — Мальчишка рехнулся, решительно сошел с ума! Разрешите, однако, сэр, задать вам вопрос: столь хладнокровно рекомендуя мне обратиться к Оуэну (я, впрочем, от кого угодно могу ждать больше внимания, чем от родного сына), какие мудрые планы строите вы для самого себя?

— Я хотел бы, сэр, — отвечал я, призвав все свое мужество, — на два-три года отправиться в путешествие, если будет на то ваше соизволение; в противном случае хоть и с опозданием, но я охотно провел бы то же время в Оксфорде или Кембридже.

— Во имя здравого смысла! Где это слыхано? Сесть на школьную скамью с педантами и якобитами, когда ты можешь пробивать себе дорогу к богатству и почету! Коли на то пошло, почему тебе сразу не отправиться в Уэстминстер или Итон — долбить грамматику по учебнику Лилли и отведать березовой каши?

— Тогда, сэр, если вы полагаете, что учиться мне поздно, я охотно вернулся бы на континент.

— Вы и так провели там слишком много времени с очень малой пользой, мистер Фрэнк.

— Хорошо, сэр. Если я должен выбирать практическую деятельность в жизни, я предпочел бы пойти в армию.

— Хоть к дьяволу! — вырвалось у отца. Но затем, совладав с собою, он сказал: — Ты, я вижу, считаешь меня таким же дураком, как ты сам. Ну разве не может он кого угодно свести с ума, Оуэн?

Бедняга Оуэн покачал головой и потупил глаза.

— Слушай, Фрэнк, — продолжал отец, — долго я с этим возиться не стану. Я был как раз в твоем возрасте, когда мой отец выставил меня за дверь и передал мое законное наследство моему младшему брату. Верхом на дряхлом гунтере, с десятью гинеями в кошельке я оставил Осбалдистон-холл. С тех пор я ни разу не переступил его порога — и не переступлю. Не знаю и не желаю знать, жив ли еще мой брат или свернул шею на лисьей охоте; но у него есть дети, Фрэнк, и один из них станет моим сыном, если ты и дальше будешь мне перечить.

— Распоряжайтесь вашим имуществом так, как вам будет угодно, — ответил я, и, боюсь, в моем голосе прозвучало больше угрюмого равнодушия, чем почтительности.

— Да, Фрэнк, если труд приобретения и забота об умножении приобретенного дают право собственности, мое имущество — действительно мое: мною приобретено и мною приумножено в неустанных трудах и заботах! И я не позволю трутню кормиться от моих сотов. Подумай об этом хорошенько: то, что я сказал, сказано не наобум, и то, что решу, я исполню.

— Почтенный сэр, дорогой сэр! — воскликнул Оуэн, и слезы выступили у него на глазах. — Не в вашем обычае поступать опрометчиво в важных делах. Дайте мистеру Фрэнсису просмотреть баланс перед тем, как вы ему закроете счет, — он, я уверен, любит вас, и когда он запишет свое сыновнее повиновение на per contra, оно, я уверен, перевесит все его возражения.

— Вы полагаете, — сурово сказал мой отец, — что я буду дважды просить его сделаться моим другом, моим помощником и поверенным, разделить со мною мои заботы и мое достояние? Оуэн, я думал, вы меня знаете лучше!

Он посмотрел на меня, как будто хотел что-то добавить, но тотчас же резко отвернулся и вышел из комнаты. Меня, признаться, задели за живое последние слова отца: ведь до сих пор мне не приходило в голову взглянуть на дело под таким углом, и, возможно, отцу не пришлось бы жаловаться на меня, начни он спор с этого довода.

Но было поздно. Я унаследовал то же упорство в своих решениях, и мне суждено было понести кару за свое ослушание, — хотя, может быть, и не в той мере, как я того заслуживал. Когда мы остались вдвоем, Оуэн долго глядел на меня грустным взором, время от времени застилавшимся слезой, словно высматривая, перед тем как выступить в роли посредника, с какой стороны легче повести атаку на мое упрямство. Наконец прерывающимся голосом он сокрушенно начал:

— О Боже! Мистер Фрэнсис! .. Праведное небо, сэр! .. Звезды небесные, мистер Осбалдистон! .. Неужели я дожил до такого дня? И вы еще совсем молодой джентльмен, сэр! Ради Господа Бога, взгляните на обе стороны баланса. Подумайте, что вы готовы потерять — такое прекрасное состояние, сэр! .. Наш торговый дом был одним из первых в Лондоне, еще когда фирма называлась «Трешем и Трент»; а теперь, когда она зовется «Осбалдистон и Трешем»… Вы могли бы купаться в золоте, мистер Фрэнсис. Знаете, дорогой мистер Фрэнк, если бы какая-нибудь сторона дела пришлась вам особенно не по душе, я мог бы, — тут он понизил голос до шепота, — приводить ее для вас в порядок каждый месяц, каждую неделю,

каждый день, если вам угодно. Не забывайте, дорогой мистер Фрэнсис: вы должны чтить вашего отца, и тогда продлятся дни ваши на земле.

— Я вам очень признателен, мистер Оуэн, — сказал я, — в самом деле очень признателен. Но моему отцу лучше судить, как ему распорядиться своими деньгами. Он говорит об одном из моих двоюродных братьев. Пусть располагает своим богатством, как ему угодно; я никогда не променяю свободу на золото.

— На золото, сэр? Если бы вы только видели сальдо нашего баланса за последний месяц! Пятизначные цифры — сумма в десятки тысяч на долю каждого компаньона, мистер Фрэнк! И все достанется паписту, какому-то мальчишке из Нортумберленда, да к тому же бунтовщику… Это разобьет мне сердце, мистер Фрэнсис! А ведь я работал не как человек — как пес, из любви к нашему торговому дому. Подумайте, как прекрасно звучало бы: «Осбалдистон, Трешем и Осбалдистон» или, может быть — кто знает? — тут он понизил голос: — «Осбалдистон, Осбалдистон и Трешем», ведь мистер Осбалдистон может откупить у них хоть все паи.

— Но, мистер Оуэн, мой двоюродный брат тоже носит имя Осбалдистонов, так что название торгового дома будет так же приятно звучать для вашего слуха.

— Ох, стыдно вам, мистер Фрэнсис! Вам ли не знать, как я вас люблю! Ваш двоюродный брат! Уж и скажете! Он, без сомнения, такой же папист, как и его отец, и к тому же противник нашего протестантского королевского дома, — это совсем другая статья!

— Есть немало хороших людей и среди католиков, мистер Оуэн, — возразил я.

Оуэн только собрался ответить с необычным для него жаром, как в комнату снова вошел мой отец.

— Вы были правы, Оуэн, — сказал он, — а я не прав: отложим решение на более длительный срок. Молодой человек, приготовьтесь дать мне ответ по этому важному предмету через месяц, число в число.

Я молча поклонился, весьма обрадованный отсрочкой, пробудившей во мне надежду, что отец поколеблен в своем упорстве.

Испытательный срок протекал медленно, без особых событий. Я уходил и приходил и вообще располагал своим временем, как мне было угодно, не вызывая со стороны отца ни нареканий, ни вопросов. Я даже редко видел его — только за обедом, когда он старательно обходил предмет, обсуждение которого сам я, как вы легко поймете, отнюдь не старался приблизить. Мы вели беседу о последних новостях или на общие темы — как разговаривают далекие друг другу люди; по нашему тону никто не распознал бы, что между нами оставался неразрешенным столь важный спор. Предо мной, однако, не раз возникало, как кошмар, тяжелое сомнение: возможно ли, что отец сдержит слово и наследство своего единственного сына передаст племяннику, в существовании которого он даже не был уверен? Трезво взглянув на дело, я должен был бы понять, что поведение моего деда в подобном же случае не предвещало ничего доброго. Но я составил себе ложное понятие о характере моего отца, помня, какое место занимал я в его сердце и в его доме до отъезда во Францию. Я не знал тогда, что иной отец балует своих детей в их раннем возрасте, потому что для него это занятно и забавно, но может впоследствии оказаться очень суровым, когда эти дети в более зрелую пору не оправдают возлагавшихся на них надежд. Напротив, я убеждал самого себя, что самое страшное, чего я должен опасаться, — это временного охлаждения ко мне с его стороны, может быть, даже ссылки на несколько недель в деревенскую глушь, а такое наказание, думал я, будет мне только приятно: оно мне даст возможность довести до конца начатый мною перевод «Orlando Furioso» *note 28* — поэмы, которую я мечтал перевести в стихах на английский язык. Я так свыкся с этой уверенностью, что в одно прекрасное утро достал свои черновики и углубился в поиски повторных рифм спенсеровой строфы, как вдруг услышал негромкий и осторожный стук в дверь моей комнаты.

Note28

«Неистового Роланда» (итал.).

— Войдите, — сказал я и увидел мистера Оуэна.

Достойный человек был так педантичен во всех своих привычках и поступках, что, вероятно, впервые поднялся сейчас на второй этаж дома своего патрона, как ни часто посещал он нижний; и я до сих пор не могу понять, как он нашел мою дверь.

— Мистер Фрэнсис, — сказал он, перебивая мои излияния радости и удивления, — не знаю, хорошо ли я делаю, что прихожу к вам со своим сообщением: не годится болтать о делах конторы за ее дверьми; говорят, что нельзя шепнуть даже стропилам пакгауза, сколько записей внесено в гроссбух. Но скажу вам: молодой Твайнол уезжал из дому на две недели и только два дня как вернулся.

— Прекрасно, дорогой сэр! А нам-то какое дело?

— Постойте, мистер Фрэнсис. Ваш отец дал ему секретное поручение, и я уверен, что ездил он не в Фальмут для закупки сельдей и не в Экзитер, потому что с «Блэкуэлом и Компанией» счеты у нас улажены; корнваллийские горнопромышленники Тривэньон и Трегуильям выплатили все, на что можно было рассчитывать, и все другие дела также должны были бы пройти сперва через мои книги… Короче сказать, я убежден, что Твайнол ездил на север.

— Вы в самом деле так думаете? — сказал я с некоторым смущением.

— С самого своего приезда, сэр, он только и говорит что о своих новых сапогах, о риппонских шпорах да о петушином бое в Йорке — это верно, как таблица умножения. Итак, с Божьего благословения, дитя мое, постарайтесь угодить вашему отцу и решите, что вам пора стать взрослым человеком, и притом купцом.

В ту минуту я почувствовал сильное желание покориться и охотно осчастливил бы Оуэна поручением сообщить отцу, что я повинуюсь его воле. Но гордость — источник стольких и хороших и дурных деяний в нашей жизни, — гордость удержала меня. Слова примирения застряли у меня в горле, и пока я откашливался, стараясь вытолкнуть их оттуда, мой отец позвал Оуэна. Тот поспешно вышел из комнаты, и случай был упущен.

Отец мой отличался во всем методичностью. В то же время дня, в той же комнате, тем же тоном и в тех же выражениях, к каким прибег он ровно месяц тому назад, он повторил свое предложение принять меня компаньоном в свой торговый дом и отдать под мое начало одно из отделений конторы, повторил и потребовал моего окончательного ответа. Что-то слишком жесткое послышалось мне в его словах. Я до сих пор думаю, что отец повел себя со мной неразумно. При некоторой уступчивости он, по всей вероятности, достиг бы цели. Но тут я уперся на своем и как мог почтительней отклонил сделанное мне предложение. Возможно — кому судить о движениях собственного сердца? — я счел унизительным для моего мужского достоинства уступить по первому требованию и ждал дальнейших уговоров, чтобы иметь по крайней мере предлог для отказа от своего решения. Но меня ждало разочарование. Отец холодно повернулся к Оуэну и сказал только:

— Видите, вышло, как я говорил. Отлично, Фрэнк, — обратился он ко мне, — ты почти достиг совершенных лет и вряд ли с годами научишься лучше судить о том, что надобно тебе для счастья, чем судишь сейчас. Итак, не стану с тобою спорить. Но я так же не обязан способствовать твоим планам, как не обязан ты подчиняться моим. Разреши мне, однако, спросить, есть у тебя какой-либо план, для осуществления которого нужна моя поддержка?

Сильно смущенный, я ответил, что, не будучи подготовлен воспитанием ни к какому занятию и не имея собственных средств, я, очевидно, лишен возможности существовать без некоторой денежной помощи со стороны отца; что потребности мои очень скромны и что, я надеюсь, мое отвращение к занятию, избранному им для меня, не послужит для него основанием окончательно лишить меня отцовской помощи и покровительства.

— Иными словами, ты хочешь опереться на мою руку и все-таки идти своим путем? Вряд ли это осуществимо, Фрэнк. Однако ты, как я понимаю, готов подчиняться моим указаниям в той мере, в какой они не будут идти вразрез с твоими пожеланиями?

Я приготовился возразить, но он меня остановил:

— Нет, прошу тебя, помолчи, — и продолжал: — Предположим, что так. В таком случае

ты тотчас отправишься на север Англии, навестишь твоего дядю и познакомишься с его семьей. Я избрал из его сыновей (у него их, кажется, шестеро) одного, который, думается мне, наиболее достоин занять в моей конторе место, предназначавшееся мною для тебя. Но дальше может возникнуть необходимость в некоторых дополнительных мерах, для чего понадобится, наверно, твое присутствие. Дальнейшие мои указания ты получишь в Осбалдистон-холле, где я прошу тебя остаться впредь до новых распоряжений. Завтра утром все будет готово к твоему отъезду.

С этими словами отец вышел из комнаты.

— Что все это значит, мистер Оуэн? — обратился я к своему доброму другу, который стоял предо мною в глубоком унынии.

— Вы погубили себя, мистер Фрэнк, вот что: когда ваш отец говорит таким спокойным, решительным тоном, значит, ничего не изменишь, итог подведен.

Так и оказалось. Наутро, в пять часов, я уже ехал по дороге в Йорк верхом на довольно приличной лошади, с пятьюдесятью гинеями в кармане, ехал, как мне казалось, с целью помочь другому занять мое место в доме и в сердце моего отца и, насколько я понимал, отнять у меня при случае отцовское наследство.

ГЛАВА III

Забился парус, бот креня,
Руль сорван, стонут русленя,
И весла сломаны висят, -
Корабль несется наугад.
Гей, «Басни»

Я оснастил рифмованными и белыми стихами разделы этой столь значительной повести с целью прельстить ваше неотступное внимание силой сочинительского дара, более пленительного, чем мой. Вышеприведенные строки относятся к злополучному пловцу, самонадеянно спустившему с причала лодку, которой он не мог управлять, и отдавшемуся на волю течения судоходной реки. Никакой школьник, отважившийся ради озорства на ту же опрометчивую проделку, уносимый течением, не мог бы чувствовать себя более беспомощным, чем оказался я, когда пустился без компаса по океану жизни. С такой неожиданной легкостью разрубил мой отец ту связь, которая считается обычно основной, скрепляющей общество, и позволил мне уехать изгнанником из родного дома, что вера моя в собственные достоинства, дававшая мне до сих пор поддержку, теперь странно ослабела. Принц-красавчик, вдруг обратившийся из принца в сына рыбака, не мог больнее чувствовать унижение. В слепом себялюбии мы привыкаем считать все те дары, которыми балует нас жизненное благополучие, чем-то постоянным и неотъемлемо нам присущим, а после, как только, предоставленные собственным силам, мы увидим, как мало мы стоим, это открытие кажется нам невыразимо обидным. Когда шум Лондона замолк в моих ушах, отдаленный звон его колоколов еще не раз прозвучал мне вещим «Вернись», — как некогда услышал это слово будущий лорд-мэр. И когда я оглянулся с вершины Хайгетского холма на сумрачное великолепие Лондона, у меня возникло чувство, точно я оставляю позади удобства, роскошь, соблазны света и все удовольствия цивилизованной жизни.

Но жребий был брошен. В самом деле, представлялось маловероятным, чтобы вялое и неохотное повиновение воле отца могло восстановить меня в утраченных правах. Напротив, такого твердого человека, как он, всегда неотступно идущего к намеченной цели, скорее отвратило бы, чем примирило, мое запоздалое, вынужденное согласие подчиниться его воле и заняться торговлей. Пришло на помощь и врожденное упрямство, а гордость нашептывала, что я буду жалок, если прогулка на четыре мили от Лондона развеет по ветру решение, которое я вынашивал целый месяц. К тому же и надежда, никогда не оставляющая юного и стойкого, приукрасила своим блеском мои виды на будущее. Вряд ли, думал я, отец всерьез намерен лишить меня наследства, как он, не колеблясь, объявил. Своим приговором он,

наверно, хочет только испытать мою стойкость; если я терпеливо и твердо выдержу испытание, это возвысит меня в его глазах и приведет к полюбовному разрешению спора. Я даже мысленно намечал, как далеко пойду я в уступках и в каких пунктах нашего предполагаемого договора буду твердо стоять на своем; после чего, по моим расчетам, я буду вполне восстановлен в сыновних правах и только уплачу легкий штраф в виде некоторого показного покаяния в проявленной непокорности.

А пока что я был сам себе господин и упивался тем чувством независимости, которое волнует молодую грудь и радостью и опасениями. Кошелек мой, хоть и не туго набитый, позволял мне удовлетворять все нужды и прихоти путешественника. Живя в Бордо, я приучился обходиться без слуги; мой конь был молод и ретив; и вскоре присущая мне бодрость духа взяла верх над печальными помыслами, владевшими мною в начале пути.

Я был бы рад совершить свое путешествие по дороге, рассчитанной доставить больше пищи любопытству, или по местности, более занимательной для путешественника. Но северная дорога была тогда — да, пожалуй, осталась и теперь — в этом отношении удивительно скудной: вряд ли где-нибудь еще можно проехать по Англии столь длинный конец и встретить по пути так мало такого, что привлекло бы внимание. Хоть я и отбросил прежнее уныние, мысли мои были не всегда одинаково радостны. Муза, игривая обольстительница, завлекшая меня в эту глушь, тоже с чисто женским непостоянством покинула меня в беде, и я был бы обречен на безысходную скуку, когда бы не вступал по временам в разговоры с незнакомцами, которым случалось проезжать той же дорогой. Однако в попутчики мне попадались люди заурядные и малопримечательные; деревенский пастор, добирающийся домой по отправлении требы; фермер или скотовод, возвращающийся с далекого рынка; какой-нибудь приказчик, посланный своим хозяином в провинцию взыскать долги, да изредка офицер, отправленный на вербовку солдат, — вот с какими людьми приходилось в ту пору иметь дело стражникам у застав и кабатчикам. Беседы наши, стало быть, шли о вере и церковной десятине, о скоте и хлебе, о самых различных продуктах и товарах, о платежеспособности розничных торговцев, изредка лишь оживляясь описанием какой-нибудь осады или битвы во Фландрии, возможно, передаваемым мне рассказчиком с чужих слов. А когда разговор иссякал, являлась на смену неистощимая и волнующая тема о разбойниках; имена Золотого Фермера, Летучего Пирата, Джека Нидхема и прочих героев «Оперы нищих» звучали в наших устах, точно самые обиходные слова. И, как дети жмутся к очагу, когда близится самое страшное место рассказа о привидениях, так всадники при этих разговорах старались держаться ближе друг к другу, посматривали по сторонам, оглядывались, проверяли замки своих пистолетов и клялись не оставлять друг друга в беде — соглашения, которые, подобно многим наступательно-оборонительным союзам, нередко изглаживались из памяти при первом появлении действительной опасности.

Из всех попутчиков, одержимых такого рода страхами, больше всех потешал меня один несчастный, с которым я ехал вместе полтора суток. К седлу его был привязан маленький, но, видимо, очень увесистый чемодан, о сохранности которого он чрезвычайно заботился, ни на минуту не доверяя его чужому попечению и неукоснительно отклоняя услужливое рвение слуг и конюхов, предлагавших помочь ему внести поклажу в дом. С той же осторожностью старался он скрыть не только цель своего путешествия и место назначения, но даже свой маршрут на каждый день. Ничто его так не тревожило, как заданный кем-либо вопрос, в какую сторону поедет он дальше и где собирается сделать привал. С величайшей осмотрительностью выбирал он место ночлега, равно избегая одиночества и того, что казалось ему дурным соседством; в Грэнтеме он, кажется мне, просидел всю ночь, лишь бы не спать в смежной комнате с приземистым косоглазым человечком в черном парике и выцветшем, расшитом золотым позументом камзоле. При всех этих гнетущих заботах попутчик мой, судя по его мышцам, больше многих других мог бы безнаказанно пренебрегать опасностью. Он был сильный, рослый человек и, как показывали золотой позумент на шляпе и кокарда, служил когда-то в армии или, во всяком случае, принадлежал к военному сословию. Речь его, всегда несколько грубоватая, обличала человека рассудительного, когда удавалось на минуту

отвлечь его от мысли о грозных разбойниках, преследовавшей его воображение. Однако каждая мелочь тотчас вновь напоминала о них. Открытая равнина и дремучий лес одинаково тревожили его подозрительность, а посвист мальчишки-пастуха мгновенно превращался в сигнал грабителя. Даже вид виселицы, указывая, что с одним разбойником правосудие благополучно расправилось, неизменно напоминал ему, как много их оставалось еще не повешенными.

Мне скоро наскучило бы общество такого попутчика, если бы не надоели еще больше мои собственные мысли. Однако некоторые из рассказанных им удивительных историй были довольно занятны, а одно смешное проявление его чудачества не раз доставляло мне случай позабавиться на его счет. По его рассказам, несчастные путники, попавшие в руки воров, часто сами навлекали на себя беду, связавшись в дороге с прилично одетым и любезным попутчиком, в обществе которого они думали найти покровительство и развлечение; тот увеселял их в пути рассказами и песнями, заступался за них, когда бесчестный кабатчик запрашивал лишнее или подсовывал неправильный счет, но в конце концов предложив сократить тропинкой путь в пустынной местности, заманивал доверчивую жертву с проезжей дороги в мрачное ущелье, где на его внезапный свист выбегали из тайников его товарищи, и тут он открывал свое истинное лицо — лицо атамана разбойничьей шайки, а неосторожный путник платился кошельком, если не жизнью. По мере приближения развязки, когда мой незнакомец собственным рассказом приведет себя, бывало, в состояние тревоги, он, замечал я, начинал коситься на меня, точно побаиваясь, что и сам в эту минуту находится в обществе такой же опасной личности, о какой повествовал его рассказ. И то и дело, когда подобное предположение всплывало в мыслях этого изощренного самоистязателя, он, отъезжая от меня к другому краю дороги, озираясь по сторонам, осматривал свое оружие и, казалось, готовился к бегству или защите — как потребуют обстоятельства.

Подозрение, возникавшее у него в таких случаях, казалось мне лишь мимолетным и настолько смешным, что оно не могло меня оскорбить. В одежде моей и обхождении не было ничего подозрительного, но почему нельзя было принять меня за разбойника? В те дни человек мог быть во всем похож на джентльмена и все-таки оказаться грабителем. Поскольку разделение труда в каждой отрасли еще не наметилось тогда так отчетливо, как впоследствии, профессия вежливого и образованного авантюриста, который выманивает у вас деньги в Уайте или избавляет вас от них в Мерибоне, часто соединялась с ремеслом грабителя, который где-нибудь в Лисьем Логу или Зябликовой Роще приказывал такому же щеголю, как и он сам: «Кошелек или жизнь!» К тому же в те времена обращение отличалось некоторой грубостью и резкостью, которые впоследствии значительно смягчились. Мне кажется, я припоминаю, как отчаянные люди более беззастенчиво прибегали тогда к рискованным способам приобретения богатства. Правда, и тогда уже отошли в прошлое те времена, когда Энтони-э-Вуд мог сокрушаться о казни двух молодцов — людей неоспоримой отваги и чести, но которых безжалостно повесили в Оксфорде по той лишь причине, что нужда заставила их собирать дань на большой дороге. Еще дальше были от нас дни Бешеного Принца и его приспешника Пойнса. Но все же и тогда обширные пустоши под Лондоном и малонаселенные окраины давали прибежище тем рыцарям большой дороги, которые со временем, возможно, выведутся вовсе, — всадникам-грабителям, промышлявшим своим ремеслом не без учтивости; подобно Гиббету в «Хитроумном плане щеголя», они кичились тем, что слывут самыми благовоспитанными разбойниками на всю округу и совершают свои дела с подобающей вежливостью. Поэтому молодому человеку в моих обстоятельствах не следовало приходить в негодование, если его ошибочно принимали за представителя этого почтенного сословия.

Я и не обижался. Напротив, я находил развлечение, попеременно возбуждая и усыпляя подозрительность своего робкого попутчика, и нарочно действовал так, что еще больше приводил в замешательство мозг, от природы не слишком ясный и затуманенный вдобавок страхом. Когда моя непринужденная беседа убаюкивала его и совершенно успокаивала, довольно мне было спросить у попутчика как бы невзначай, куда он держит путь или по какому делу, и тот снова настораживался. Вот какой оборот принял у нас, например, разговор

о силе и резвости наших лошадей.

— Право, сэр, — сказал мой попутчик, — в галопе я с вами тягаться не стал бы, но позвольте вам заметить, что ваш мерин (хоть он и очень красив, что и говорить) слишком мелкокост и вряд ли достаточно вынослив в беге. Рысь, сэр, — тут он пришпорил своего буцефала, — мелкая рысь — вот самый правильный аллюр для доброго коня, и будь мы поближе к какому-нибудь городу, я взялся бы обогнать вашего красавчика на ровной дороге (только не вскачь!) за две пинты кларета в ближайшей харчевне.

— Я согласен, сэр, — был мой ответ. — Кстати, и местность здесь подходящая.

— Хм, э… гм… — замялся мой приятель. — Я поставил себе за правило во время поездки не переутомлять коня на середине перегона: никогда нельзя знать, не понадобится ли вдруг вся его прыть. Кроме того, сэр, утверждая, что мой конь не отстал бы от вашего, я хотел сказать — при равной нагрузке; вы же весите на добрых четыре стона меньше, чем я.

— Прекрасно! Я согласен взять добавочный груз. Сколько весит ваш чемодан?

— Мой ч-ч… чемодан? — переспросил он растерянно. — Он у меня совсем легкий, как перышко: рубашки да чулки.

— На вид он довольно тяжел. Ставлю две пинты кларета, что он покроет разницу в весе между нами.

— Вы ошибаетесь, сэр. Уверяю вас, глубоко ошибаетесь, — возразил мой приятель и отъехал к самому краю дороги, как он это делал каждый раз в минуту тревоги.

— Ладно, я готов рискнуть бутылкой вина, или, если хотите, я поставлю десять золотых против пяти, что привяжу к седлу ваш чемодан и все-таки обгоню вас рысью.

Это предложение довело тревогу моего приятеля до предела. Нос его изменил свою обычную медную окраску, сообщенную ему многочисленными чарками белого и красного вина, на бледно-оловянную, а зубы выбивали дробь от ужаса перед откровенной дерзостью моего предложения, которое, казалось, разоблачило перед несчастным дерзкого грабителя во всей его свирепости. Пока он, запинаясь, искал ответа, я несколько успокоил его вопросом о показавшейся вдали колокольне и замечанием, что теперь нам уже недалеко до селения и мы можем не опасаться неприятной встречи в дороге. Лицо его прояснилось, но я видел, что он еще не скоро забудет мое предложение, показавшееся ему столь подозрительным. Я докучаю вам такими подробностями о своем попутчике и о моем подтрунивании над ним, потому что эти мелочи, как ни пустячны они сами по себе, оказали большое влияние на дальнейшие события, о которых мне придется рассказать в моей повести. В то время поведение попутчика внушило мне только презрение к нему и утвердило меня в давнишнем моем убеждении, что из всех наклонностей, побуждающих человека терзать самого себя, наклонность к беспричинному страху — самая нудная, хлопотная, мучительная и жалкая.

ГЛАВА IV

«Шотландец ниц!» — кричит кичливый бритт,
И это сам шотландец подтвердит,
Но в Англию приходит он к чему?
Чтобы верней набить свою суму!
Черчил

В те дни, о которых я пишу, существовал на английских дорогах старомодный обычай, ныне, думается мне, или вовсе забытый, или соблюдаемый только в простонародье. Так как дальние поездки совершались всегда верхом и, понятно, с частыми привалами, было принято на воскресенье останавливаться в каком-либо городе, где путешественник мог сходить в церковь, а конь его — насладиться однодневным отдыхом, — обычай, равно человечный в отношении наших тружеников-животных и полезный для нас самих. С этим добрым правилом находился в соответствии и другой обычай, пережиток старого английского гостеприимства: хозяин главной гостиницы города на воскресенье слагал с себя обязанности торговца и приглашал всех постояльцев, оказавшихся в этот день под его кровом, разделить с ним его

семейную трапезу — жаркое из говядины и пудинг. Приглашение это обычно принималось всеми, кто только не мнил унизительным для своего высокого сана его принять; и единственной платой, какую разрешалось предложить или взять, была бутылка вина, распиваемая после обеда за здоровье хозяина.

Я родился гражданином мира, и мои наклонности постоянно приводили меня туда, где я мог пополнить свое знание людей; и не было у меня притязаний, заставлявших держаться общества людей высшего сословия, а потому я редко отклонял воскресное гостеприимство хозяина гостиницы — под знаком ли Подвязки, Льва или Медведя. Почтенный трактирщик, всегда достаточно важный, а тут еще более возвысившийся в собственных глазах оттого, что занял председательское место среди гостей, которым обычно должен был прислуживать, сам по себе представлял занимательное зрелище; а вокруг него, озаряемые его благосклонными лучами, вращались планеты менее значительные. Острословы и шутники, виднейшие лица города или деревни — аптекарь, юрист и даже священник — не гнушались этого еженедельного празднества. Гости, попавшие сюда из самых разных мест, представители самых разных занятий, по языку, по манерам, по образу мыслей являли странный контраст, весьма любопытный для того, кто желает познать человеческую природу во всем ее многообразии.

И вот в такой день и по такому именно случаю мне и моему трусливому попутчику предстояло почтить своим присутствием стол краснощекого владельца «Черного медведя» в городе Дарлингтоне, Дарэмского епископства. Хозяин сообщил нам, как бы извиняясь, что к обеду приглашен среди прочих один шотландский джентльмен.

— Джентльмен? Какого рода джентльмен? — поспешил осведомиться мой попутчик, подумавший, наверно, о джентльменах с большой дороги, как их тогда величали.

— Какого рода? Шотландского, как я уже сказал, — ответил хозяин. — Они там все, доложу вам, джентльмены, хоть на ином и рубашки-то нет прикрыть наготу; но этот как раз довольно приличный плут — самый большой ловкач с севера Британии, какого только встретишь по сю сторону Бервикского моста. Он, сдается мне, торгует скотом.

— Превосходно! Пусть разделит с нами компанию, — сказал мой попутчик и, повернувшись ко мне, стал излагать свои воззрения: — Я уважаю шотландцев, сэр; люблю и почитаю этот народ за его нравственные устои. Часто приходится слышать, что у них будто бы грязь и нищета, но я хвалю неподкупную честность, даже когда она ходит в отрепьях, как сказал поэт. Я знаю из верного источника, сэр, — от людей, на которых можно положиться, — что в Шотландии совершенно неизвестно, что такое разбой на большой дороге.

— Вероятно, потому, что у них там грабить нечего, — вставил владелец гостиницы и рассмеялся, приветствуя собственное остроумие.

— Ну нет, любезный хозяин, — прогудел за его спиной сильный, сочный голос, — скорее потому, что ваши английские акцизники и ревизоры *note 29*, которых вы послали на север, за Твид, прибрали грабительский промысел к своим рукам.

— Прекрасно сказано, мистер Кэмбел! — подхватил хозяин. — Я не знал, что ты от нас так близко. Но ты знаешь, я истый йоркширец. Как идут дела на южных рынках?

— Как обычно, — ответил мистер Кэмбел, — умные покупают и продают, дураки покупаются и продаются.

— Но и умные и дураки не отказываются отобедать, — сказал наш радушный хозяин. — А вот как раз нам несут самый великолепный говяжий огузок, в какой только доводилось втыкать вилку голодному человеку.

Сказав это, он со сладострастием наточил нож, занял свое королевское место за верхним концом стола и весело принялся наполнять тарелки своих разношерстных гостей.

В этот день я впервые в жизни услышал шотландский говор и близко встретился с

Note29

Посылка в Шотландию акцизников, ревизоров и оценщиков вызвала среди населения Шотландии сильное недовольство, хотя явилась естественным следствием соединения королевств. (Прим. автора.)

представителем древней народности, которой этот говор свойствен. Шотландцы с ранних лет занимали мое воображение — мой отец, как вам хорошо известно, происходил из старинной нортумберлендской семьи, и в тот час, сидя за воскресным обедом, я находился в нескольких милях от ее родового поместья. Но ссора между ним и его родственниками зашла так далеко, что он неохотно упоминал о своем происхождении и считал самым жалким видом тщеславия ту слабость, которая обычно именуется фамильной гордостью. В своем честолюбии он хотел быть только Уильямом Осбалдистоном, первым купцом в Сити — или одним из первых; и если бы доказали, что он прямой потомок Вильгельма Завоевателя, это меньше польстило бы его тщеславию, чем суматоха и гомон, которыми встречали обычно его появление на Биржевой улице «быки», «медведи» и маклеры. Он, бесспорно, хотел бы оставить меня в неведении о моих родичах и происхождении, чтобы тем вернее обеспечить согласие между моим образом мыслей и своим собственным. Однако его намерения, как это случается порой с умнейшими людьми, были разрушены — если не полностью, то частично — человеческим существом, которое он в своей гордости привык считать слишком незначительным и потому не опасался его влияния на меня. Няня, старая нортумберлендка, растившая его с самого раннего детства, была единственным человеком на родине, к которому он сохранил какие-то чувства; и когда фортуна улыбнулась ему, первой его заботой было дать старой Мэйбл Рикетс приют в своем доме. После смерти моей матери Мэйбл взяла на себя уход за мною и во время моих детских болезней уделяла мне те нежные заботы, какие дарит ребенку теплое женское сердце. Так как мой отец запрещал ей говорить при нем о холмах, о долинах и болотах ее возлюбленного Нортумберленда, она вливала яд своей тоски в мои детские уши, описывая те места, где протекала ее молодость, и попутно повествуя о событиях, которые связывало с ними предание. Эти рассказы я слушал внимательней, чем наставления других моих учителей, более серьезные, но менее увлекательные. Я и сейчас словно вижу перед собою добрую Мэйбл, ее слегка трясущуюся от старческой слабости голову в большом белоснежном чепце, лицо, покрытое морщинами, но сохранившее еще здоровые краски деревенской жительницы, и, кажется мне, вижу, как она растерянно смотрит то в одно, то в другое окно на кирпичные стены и узкую улицу, закончив со вздохом свою любимую старую песенку, которую я тогда предпочитал и — к чему таить мне правду? — по сей день предпочитаю всем оперным ариям, какие только зарождались в капризном мозгу итальянского маэстро Д.:

Дуб, да плющ, да светлый ясень,
Старый добрый вяз, -
Вы нигде так не цветете,
Как на севере у нас!

О шотландском народе в легендах Мэйбл говорилось каждый раз со всем пафосом ненависти, на какой только была способна рассказчица. Обитатели зарубежной страны выступали в ее повествованиях на тех ролях, какие играют в обычной детской сказке людоеды и великаны в семимильных сапогах. Да и как могло быть иначе? Кто, как не Черный Дуглас, собственной рукой заколол наследника рода Осбалдистонов на другой день после того, как тот вступил во владение своим поместьем, — напал врасплох на него и на его вассалов, когда они справляли подобающий случаю пир? Кто, как не Уот Сатана, угнал всех нестриженых овец с нагорных лугов Лэнторн-сайда еще совсем недавно — при жизни моего прадеда? И разве мы сами не стяжали множество трофеев (добытых, однако, по рассказам старой Мэйбл, более честным путем) в доказательство того, что наши обиды отомщены? Разве сэр Генри Осбалдистон, пятый барон этого имени, не похитил прекрасную девицу из Фернингтона, как Ахилл Хрисеиду и Брисеиду, и не держал ее в своем замке, отбиваясь от соединенных сил ее друзей, которым помогали самые могущественные вожди воинственных шотландских кланов? И разве наши мечи не сверкали в первых рядах почти на всех полях сражения, где Англия побеждала соперницу? В северных войнах наша семья стяжала всю свою славу, из-за северных войн терпела все свои бедствия.

Распаленный такими рассказами, я в детстве смотрел на шотландцев как на племя, по самой природе своей враждебное обитателям южной половины острова, и это предубеждение не могли поколебать отзывы моего отца, когда в разговоре заходила речь о шотландцах. Покупая дубовый лес, он заключал контракты с землевладельцами Верхней Шотландии и пришел к выводу, что они проявляют больше усердия при подписании договора и взыскивании авансов, нежели аккуратности при выполнении взятых на себя обязательств. Шотландские негоцианты, чье посредничество по необходимости приходилось принимать в таких случаях, тоже умудрялись, как подозревал отец, тем или иным путем обеспечить себе больше прибыли, нежели причиталось на их долю. Словом, если Мэйбл жаловалась на шотландское оружие в прошлые времена, то мистер Осбалдистон не меньше злобствовал на коварство Синонов современности; без всякого намерения они, каждый со своей стороны, внушали моему юному уму глубокое отвращение к северным жителям Британии как к народу кровожадному на войне, коварному во время перемирия, корыстному, себялюбивому, скупому, лукавому в житейских делах и обладающему очень немногими достоинствами — такими, что лучше и не упоминать: жестокостью, похожей в бою на храбрость, и хитростью, заменяющей ум при обычных, мирных сношениях между людьми. В оправдание тем, кто придерживался этого предрассудка, я должен заметить, что в те времена шотландцы грешили такой же несправедливостью по отношению к англичанам и огульно клеймили их всех как надменных эпикурейцев, кичившихся толстой мошной. Такие семена национальной розни между обеими странами сохранились как естественный пережиток того времени, когда Англия и Шотландия существовали на положении двух отдельных враждующих государств. Мы недавно были свидетелями того, как демагогия на время раздула эти искры в огонь, который, как я горячо надеюсь, погас теперь в собственной золе. Это написано, по-видимому, вскоре после дней Уилкса и Свободы. (Прим. автора.)]

Итак, я смотрел недружелюбно на первого шотландца, с каким мне довелось повстречаться в обществе. Многое в нем соответствовало моим прежним представлениям: у него были жесткие черты лица и атлетическое сложение, характерные будто бы для его соотечественников, и говорил он с шотландской интонацией, медлительно и педантично, стараясь избегать неправильностей речи и неанглийских оборотов. Я мог отметить также свойственную его племени осторожность и проницательность во многих его замечаниях и в его ответах на вопросы. Но неожиданным было для меня его самообладание и тон превосходства, которым утверждал он свое верховенство в той среде, куда его забросил случай. Его одежда была хоть и прилична, но до крайности проста; а в те времена, когда самый скромный человек, притязавший на звание джентльмена, тратил крупные деньги на свой гардероб, это указывало если не на бедность, то на стесненность в средствах. Из его разговора явствовало, что он ведет торговлю скотом, — занятие не слишком почтенное. И все же в обращении с остальным обществом он соблюдал ту холодную и снисходительную вежливость, которая подразумевает действительное или воображаемое превосходство человека над другими. О чем бы ни высказывал он свое мнение, в голосе его звучала спокойная самоуверенность — как будто говорил он с людьми, стоящими ниже его по званию и по общественному положению, и сказанное им исключает всякое сомнение или спор. Хозяин и его воскресные гости после двух-трех попыток поддержать свое достоинство шумными возгласами и смелыми утверждениями постепенно преклонились перед авторитетом мистера Кэмбела, который таким образом безраздельно завладел нитью разговора. Я сам любопытства ради попробовал было потягаться с ним, положившись на свое знание света, данное мне жизнью за границей, и на те сведения, которыми изрядное образование обогатило мой ум. В этом он оказался слабым противником, и нетрудно было видеть, что его врожденные способности не развиты образованием. Но я убедился, что он гораздо лучше меня знает настоящее положение дел во Франции, личные качества герцога Орлеанского, который только что сделался регентом королевства, и нравы окружающих его государственных людей; а его меткие, язвительные и несколько иронические замечания показывали, что о наших заморских соседях он мог судить как близкий наблюдатель.

Когда речь шла о внутренней политике, Кэмбел хранил молчание или высказывался сдержанно, что, быть может, подсказывала ему осторожность. Раздоры между вигами и тори потрясали в то время Англию до самых основ, а могущественная партия, преданная интересам якобитов, угрожала ганноверской династии, только что утвердившейся на троне. По всем кабакам горланили спорящие политиканы; а так как наш хозяин придерживался либерального правила не ссориться ни с одним хорошим клиентом, его воскресные гости зачастую так непримиримо расходились во взглядах, как если бы он чествовал за своим столом весь городской совет. Приходский священник и аптекарь да еще один маленький человечек, который не хвалился своим ремеслом, но, судя по розовым цепким пальцам, был, как я подумал, цирюльником, твердо держались Высокой церкви и дома Стюартов. Сборщик податей по долгу службы и юрист, подбиравшийся к теплому местечку при казне, а с ними и мой попутчик, горячо ввязавшийся в спор, яро отстаивали короля Георга и дело протестантизма. Громки были возгласы, грозны проклятия! Каждая сторона взывала к мистеру Кэмбелу, словно домогаясь его высокого одобрения.

— Вы шотландец, сэр, джентльмены вашей страны должны бороться за попранные права законного наследника! — кричали они.

— Вы пресвитерианин, — твердили спорщики другого толка, — вы не можете стоять за власть произвола!

— Джентльмены, — сказал наш шотландский оракул, улучив не без труда минуту тишины, — я ничуть не сомневаюсь, что король Георг вполне заслуживает приверженности своих друзей; и если он усидит на троне, он, конечно, сделает присутствующего здесь сборщика податным ревизором и возведет нашего друга мистера Квитама в ранг старшего прокурора; и точно так же не обойдет он милостью или наградой этого честного джентльмена, который сидит здесь на своем чемодане, предпочитая его стулу. И, несомненно, король Иаков — тоже благородный человек, и когда возьмет верх в игре, он может, если ему заблагорассудится, сделать уважаемого нашего викария архиепископом Кентерберийским, а доктора Миксита — своим старшим врачом и поручить свою королевскую бороду заботам моего друга Ладерама. Но так как я не очень-то надеюсь, что хоть один из этих соперничающих государей поднесет Робу Кэмбелу чарку водки, когда он будет в ней нуждаться, я подаю голос за Джонатана Брауна, нашего хозяина. Да будет он королем и первым виночерпием, но с одним условием: он поставит нам еще бутылку столь же доброго вина, как и то, что мы только что выпили.

Эта выходка была встречена шумным одобрением, к которому искренне присоединился и сам хозяин. Распорядившись о выполнении поставленного условия, от коего зависело его возведение на трон, он не преминул сообщить нам, что мистер Кэмбел, «будучи самым мирным джентльменом, как он это только что доказал, отличается в то же время храбростью льва: недавно он один победил семерых разбойников, напавших на него по пути из Уитсон-Триста».

— Тебе наврали, друг Джонатан, — перебил его Кэмбел. — Их было двое, и таких трусов, с какими только можно пожелать человеку встретиться в пути.

— Но вы, сэр, — сказал мой попутчик, подвигая стул (вернее сказать, чемодан) поближе к мистеру Кэмбелу, — так-таки взаправду справились один с двумя разбойниками?

— Да, сэр, — ответил Кэмбел, — и, мне кажется, не такой это великий подвиг, чтоб о нем трубить.

— Честное слово, сэр, — ответил мой знакомый, — для меня было бы истинным удовольствием путешествовать в вашем обществе! Я держу путь на север, сэр.

Это добровольное сообщение о своем маршруте, впервые, насколько я мог судить, сделанное моим попутчиком, не вызвало шотландца на ответную откровенность.

— Вряд ли мы сможем ехать вместе, — ответил он сухо. — Вы, сэр, едете, несомненно, верхом на хорошей лошади, а я сейчас путешествую пешком или же на горном шотландском пони, что не многим быстрее.

Говоря это, он приказал подать ему счет за вино и, бросив на стол деньги за добавочную

бутылку, которую вытребовал сам, встал, как будто собираясь нас покинуть.

Мой попутчик подбежал к нему и, взяв за пуговицу, отвел его в сторону, к одному из окон. Я невольно подслушал, как он упрашивал о чем-то шотландца, — судя по всему, он просил его сопутствовать ему в дороге, на что мистер Кэмбел отвечал, очевидно, отказом.

— Я возьму на себя ваши путевые расходы, сэр, — сказал путешественник таким тоном, точно ждал, что этот довод опрокинет все возражения.

— Это совершенно невозможно, — ответил Кэмбел с презрением в голосе, — у меня дело в Ротбери.

— Да я не очень спешу: я могу свернуть немного в сторону и не пожалею, ежели ради хорошего попутчика потеряю в дороге день-другой.

— Говорят вам, сэр, — сказал Кэмбел, — я не могу оказать вам услугу, о которой вы просите. Я еду, — добавил он, гордо выпрямившись,

— по своим личным делам. И если вы последуете моему совету, сэр, вы не станете связываться в пути с чужим человеком или сообщать свой маршрут тому, кто вас о нем не спрашивает.

Тут он довольно бесцеремонно отвел пальцы собеседника от своей пуговицы и, подойдя ко мне, когда гости уже расходились, заметил:

— Ваш друг, сэр, слишком разговорчив, если принять во внимание данное ему поручение.

— Этот джентльмен, — возразил я, указывая глазами на путешественника, — вовсе мне не друг — случайное дорожное знакомство, не более; мне не известно ни имя его, ни род его занятий, и вы, по-видимому, завоевали у него больше доверия, чем я.

— Я только хотел сказать, — поспешил ответить мистер Кэмбел, — что он, по-моему, слишком опрометчиво навязывается в спутники тем, кто не ищет этой чести.

— Джентльмен, — возразил я, — лучше знает свои дела, и мне совсем нежелательно высказывать о них свое суждение с какой бы то ни было стороны.

Мистер Кэмбел воздержался от дальнейших замечаний и только пожелал мне счастливого пути. Надвигался вечер, и общество уже разошлось.

На другой день я расстался с моим боязливым попутчиком, так как свернул с большой северной дороги на запад, в направлении к замку Осбалдистон, где жил мой дядя. Не могу сказать, был ли он обрадован или огорчен, что наши пути разошлись, — моя личность рисовалась ему в довольно сомнительном свете. Меня же его страхи давно перестали забавлять, и, сказать по правде, я был искренне рад избавиться от него.

ГЛАВА V

В груди забьется сердце, если нимфа
Прелестная, краса моей страны,
Пришпорит благородного коня
И он помчит ее по горной круче
Иль унесет в широкие поля.
«Охота»

Я приближался к северу — к родному северу, как я называл его в мыслях, — преисполненный той восторженности, какую романтический и дикий пейзаж внушает любителям природы. Болтовня попутчика не докучала мне больше, и я мог наблюдать местность, выгодно отличавшуюся от той, где пролегал до сих пор мой путь. Реки теперь больше заслуживали этого названия: явившись на смену сонным заводям, дремавшим среди камышей и ракит, они шумно катились под сенью несаженых рощ: то неслись они стремительно под уклон, то струились, лениво журча, но все же сохраняя живое движение, по маленьким уединенным долинам, которые, открываясь порой по дороге, казалось, приглашали путника заняться исследованием их тайников. В угрюмом величии высились предо мною Чевиотские горы. Они, правда, не пленяли взора величественным многообразием

скал и утесов, отличающим более высокие хребты, но все же, массивные и круглоголовые, одетые в красно-бурую мантию, горы эти своим диким и мощным видом действовали на воображение: нелюдимый и своеобразный край.

Замок моих дедов, к которому я приближался теперь, расположился в логу, или узкой долине, поднимавшейся некруто вверх между предгорьями. Обширные поместья, некогда принадлежавшие роду Осбалдистонов, были давно утрачены или промотаны моими неудачливыми предками, но все же при старом замке оставалось еще достаточно угодий, чтобы сохранить за моим дядей звание крупного землевладельца. Имущество свое (как выяснил я из расспросов, производимых мною в дороге) он расточал на широкое гостеприимство, которое почитал обязательным — для сохранения доброго имени среди северных сквайров.

С вершины холма я мог уже различить вдали Осбалдистон-холл — большое старинное строение, выглядывавшее из рощи могучих друидических дубов, и я направил к нему свой путь поспешно и прямо, насколько это позволяли извивы неровной дороги, когда вдруг мой утомленный конь запрядал ушами, услышав заливчатый лай своры гончих и веселое пение французского рожка — в те дни неизменный аккомпанемент охоты. Я не сомневался, что то была свора моего дяди, и придержал коня, чтобы охотники могли проехать мимо, не заметив меня; не желая представляться им среди отъезжего поля, я решил пропустить их, последовать дальше своей дорогой к замку и там дождаться возвращения его владельца с охоты. Итак, я остановился на пригорке и, не чуждый любопытства, которое, естественно, должны внушать эти сельские забавы (хотя мой ум в тот час был не слишком восприимчив к впечатлениям такого рода), нетерпеливо ждал появления охотников.

Из заросли кустов, покрывавшей правую сторону ложбины, показалась загнанная, еле живая лисица. Опущенный хвост, замызганная шерсть и вялый бег предвещали ее неминуемую гибель, и жадный до падали ворон уже кружил над беднягой Рейнардом, видя в нем добычу. Лисица переплыла поток, пересекавший ложбину, и пробиралась дальше, вверх по овражку, на левый берег, когда несколько собак, опередив остальную заливавшуюся лаем свору, выскочили из кустов, а за ними егерь и еще три или четыре всадника. Собаки безошибочным чутьем находили лисий след, и охотники очертя голову неслись за ними по бездорожью. Это были высокие, плотные юноши на прекрасных конях, одетые в зеленое и красное — костюм охотничьего общества, существовавшего под эгидой старого сэра Гилдебранда Осбалдистона. «Мои двоюродные братья!» — решил я, когда всадники пронеслись мимо. И тут же подумалось: «Какой же прием окажут мне эти достойные потомки Немврода? Чуждый сельских утех, смогу ли я найти покой и счастье в семье моего дяди?» Возникшее предо мной видение прервало эти думы.

То была юная леди с замечательными чертами лица, вдвойне прелестного от возбуждения, сообщенного ему охотничьим азартом и быстрой ездой. Под нею была красивая лошадь, сплошь вороная, только на удилах белели клочья пены. Всадница была одета в довольно необычный по тому времени костюм мужского покроя, получивший впоследствии название амазонки. Эта мода была введена, пока я жил во Франции, и оказалась для меня новинкой. Длинные черные волосы наездницы развевались по ветру, выбившись в пылу охоты из-под сдерживавшей их ленты. Крайне неровный грунт, по которому она с поразительной ловкостью и присутствием духа вела лошадь, замедлял ее продвижение и заставил проехать ближе от меня, чем пронеслись другие всадники, поэтому я мог хорошо разглядеть ее удивительно тонкое лицо и весь ее облик, которому придавали невыразимую прелесть буйное веселье этой сцены, романтичность своеобразного наряда и самая неожиданность появления. Едва она поравнялась со мной, как ее разгоряченная лошадь сделала неверное движение в тот самый миг, когда наездница, выехав на открытую дорогу, снова дала ей шпоры. Это послужило мне поводом подъехать ближе, как будто на помощь. Причин к беспокойству, однако, не было — лошадь не споткнулась и не оступилась; а если бы и оступилась, у прекрасной всадницы было достаточно самообладания, чтобы при этом не растеряться. Все же она поблагодарила меня улыбкой за доброе мое намерение, и я, осмелев, пустил коня тем же

аллюром и старался держаться в непосредственной близости к ней. Крики: «Хью! Убита, убита!» — и соответственная трель охотничьего рога вскоре известили нас, что спешить больше не к чему, так как охота завершилась. Один из виденных мною раньше юношей приближался к нам, размахивая лисьим хвостом, — как бы в укор моей прелестной спутнице.

— Вижу, — отозвалась та, — вижу, но нечего так кричать. Если бы Феба не завела меня на скалистую тропу, вам было бы нечем похвастаться, — добавила она, потрепав по шее свою красивую лошадь.

Они съехались, пока она говорила, и я видел, что оба поглядывали на меня и с минуту совещались вполголоса, причем молодая леди как будто уговаривала охотника что-то сделать, а тот опасливо и угрюмо оглядывался. Затем она повернула голову лошади в мою сторону со словами:

— Прекрасно, Торни, не вы, так я, только и всего! Сэр, — продолжала она, обратившись ко мне, — я убеждала этого цивилизованного джентльмена спросить у вас, не довелось ли вам проездом слышать что либо о нашем друге, мистере Фрэнсисе Осбалдистоне, которого мы со дня на день ждем в Осбалдистон-холл.

С искренней радостью я поспешил признаться, что я сам и есть то лицо, о котором спрашивают, и выразил благодарность молодой леди за ее беспокойство обо мне.

— В таком случае, сэр, — отвечала амазонка, — так как учтивость моего родича еще не очнулась от дремоты, разрешите мне (хоть это, может быть, и не совсем прилично) взять на себя совершение церемониала и представить вам юного сквайра Торнклифа Осбалдистона, вашего двоюродного брата, и Ди Вернон, которая также имеет честь быть бедной родственницей вашего несравненного кузена.

В тоне, которым мисс Вернон произнесла эти слова, звучала смесь дерзости, иронии и простодушия. Достаточное знание света позволило мне, приняв соответственный тон, поблагодарить ее за лестное внимание и выразить свою радость по поводу встречи с родственниками. Откровенно говоря, я облек свой комплимент в такие выражения, что леди легко могла принять его почти целиком на свой счет, так как Торнклиф казался настоящим деревенским увальнем, неуклюжим, застенчивым и довольно угрюмым. Однако он пожал мне руку и тут же высказал желание оставить меня, чтобы помочь егерям и своим братьям сосворить собак; впрочем, это было сказано скорее к сведению мисс Вернон, чем в извинение предо мною.

— Ускакал! — сказала молодая леди, провожая кузена взглядом, в котором отразилось откровенное презрение. — Первейший знаток петушиного боя, король конюхов и лошадников. Но они все один другого лучше. Читали вы Маркхема? — добавила она.

— Кого, сударыня? Я что-то не припомню такого писателя.

— О несчастный! На какой же берег вас забросило! — ответила молодая леди. — Бедный заблудший и невежественный чужеземец, незнакомый даже с алькораном того дикого племени, среди которого вам придется жить! Вы никогда не слышали о Маркхеме, знаменитейшем авторе руководства для коновалов? Если так, я боюсь, вам равным образом неизвестны и более новые имена — Гибсона и Бартлета?

— Поистине так, мисс Вернон.

— И вы, не краснея, в этом признаетесь? Мы, кажется, должны будем от вас отречься. В довершение всего вы, конечно, не умеете приготовить коню лекарство, задать ему резки и расчистить стрелку?

— Признаться, эти дела я доверяю конюху или слуге.

— Непостижимая беспечность! И вы не умеете подковать лошадей, подстричь ей гриву и хвост? Не умеете выгнать глистов у собаки, подрезать ей уши, отрубить ей «лишний палец»? Не умеете вабить сокола, дать ему слабительного, посадить на диету, когда его крепит?

— Короче, чтобы выразить в двух словах всю глубину моего невежества, — ответил я, — сознаюсь, что я абсолютно лишен каких бы то ни было сельских совершенств.

— Но, во имя всего святого, мистер Фрэнсис Осбалдистон, что же вы умеете делать?

— В этой области очень немногое, мисс Вернон. Все же, осмелюсь сказать, когда слуга

оседлает мне лошадь, я могу на ней ездить, и когда сокол мой в поле, могу его спустить.

— А это вы можете? — сказала молодая леди, пуская вскачь коня.

Дорогу нам преградила грубая, перевитая поросшими ветками изгородь с воротами из нетесаных бревен; я поскакал вперед, собираясь отворить их, когда мисс Вернон плавным прыжком взяла барьер. По долгу чести я вынужден был последовать ее примеру; мгновение — и мы снова скакали бок о бок.

— Вы все-таки подаете кое-какие надежды, — сказала она. — Я боялась, что вы настоящий выродок среди Осбалдистонов. Но что загнало вас в Волчье Логово, ибо так окрестили соседи наш охотничий замок? Ведь вы, я полагаю, не приехали бы сюда по доброй воле?

К этому времени я уже чувствовал себя на дружеской ноге с моим прелестным видением и поэтому, понизив голос, ответил доверительно:

— В самом деле, милая мисс Вернон, необходимость прожить некоторое время в Осбалдистон-холле я мог бы счесть наказанием, если обитатели замка таковы, как вы их описываете; но я убежден, что есть среди них одно исключение, которое вознаградит меня за недостатки всех остальных.

— О, вы имеете в виду Рэшли? — сказала мисс Вернон.

— Сказать по совести, нет; я думал, простите меня, об особе, находящейся неподалеку.

— Полагаю, приличней было бы не понять вашей любезности, но это не в моем обычае; не отвечаю вам реверансом, потому что сижу в седле. Однако вы заслуженно назвали меня исключением, так как в замке я единственный человек, с которым можно разговаривать, не считая еще старого священника и Рэшли.

— Ради всего святого, кто же этот Рэшли?

— Рэшли — человек, который задался целью расположить к себе всех и каждого. Он младший сын Гилдебранда, юноша вашего примерно возраста, только не такой… словом, он некрасив, но природа дала ему в дар крупицу здравого смысла, а священник прибавил к этому с полбушеля знаний, — он слывет очень умным человеком в наших краях, где умные люди наперечет. Его готовили к служению в церкви, но он не спешит с посвящением в сан.

— Какой церкви? Католической?

— Конечно, католической! А какой же еще? — сказала леди. — Но я забыла: меня предупреждали, что вы еретик. Это правда, мистер Осбалдистон?

— Не могу отвести ваше обвинение.

— А между тем вы жили за границей, в католических странах?

— Жил. Почти четыре года.

— И бывали в монастырях?

— Случалось; но не много видел в них такого, что говорило бы в пользу католической религии.

— Разве несчастливы их обитатели?

— Некоторые, безусловно, счастливы — те, кого привели к отрешению глубокая религиозность, или изведанные в миру гонения и бедствия, или природное бесстрастие. Но те, что постриглись в случайном и нездоровом порыве восторженности или под воздействием первого отчаяния после какого-нибудь разочарования или удара, — те беспредельно несчастны. Чувства быстро оживают вновь, и эти люди, точно дикие животные в зверинце, изнывают в заточении, в то время как другие предаются мирным размышлениям или просто жиреют в своих тесных кельях.

— А что происходит, — продолжала мисс Вернон, — с теми жертвами, которых заточила в монастырь не собственная воля, а чужая? С кем их сравнить? И в особенности если они рождены наслаждаться жизнью и радоваться всем ее дарам?

— Сравните их с посаженными в клетку певчими птицами, — отвечал я,

— обреченными влачить свою жизнь в заточении. На утеху себе они развивают там свой дар, который служил бы украшением обществу, если б их оставили на воле.

— А я буду похожа, — отозвалась мисс Вернон, — то есть, — поправилась она, — я

была бы похожа скорее на дикого сокола, который, скучая по вольному полету в облаках, бьется грудью о решетку клетки, пока не изойдет кровью. Но вернемся к Рэшли, — сказала она с живостью.

— Вы будете считать его самым приятным человеком на земле, мистер Осбалдистон, — по крайней мере первую неделю знакомства. Найти бы ему слепую красавицу, он, несомненно, покорил бы ее; но глаз разбивает чары, околдовавшие слух… Ну вот, мы въезжаем во двор старого замка, такого же нелюдимого и старомодного, как любой из его обитателей. В Осбалдистон-холле, надо вам знать, не принято много заботиться о своем туалете; все же я должна сменить это платье — в нем слишком жарко, да и шляпа давит мне лоб, — весело продолжала девушка и, сняв шляпу, тряхнула густыми, черными, как смоль, кудрями; пальцами она отстранила локоны от своего красивого лица и проницательных карих глаз. Если и была в этом доля кокетства, ее отлично замаскировала простодушная непринужденность манеры. Я не удержался и сказал, что если судить о семье по тем ее представителям, которых я вижу пред собою, то здесь, мне думается, забота о туалете была бы излишней.

— Вы очень вежливо это выразили, хотя, быть может, мне не следует понимать, в каком смысле сказаны ваши слова, — ответила мисс Вернон. — Но вы найдете лучшее оправдание для некоторой небрежности туалета, когда познакомитесь с Орсонами, среди которых предстоит вам жить и которым не скрасить свой облик никаким нарядом. Но, как я уже упоминала, с минуты на минуту зазвонит к обеду старый колокол или, вернее, задребезжит — он треснул сам собою в тот день, когда причалил к острову король Уилли, и дядя мой из уважения к пророческому дару колокола не разрешает его залить. Итак, изобразите учтивого рыцаря и подержите мою лошадь, пока я не пришлю какого-нибудь не столь высокородного сквайра избавить вас от этой неприятной обязанности.

Она бросила мне поводья, точно мы были знакомы с детства, выпрыгнула из седла, побежала через весь двор и скрылась в боковую дверь. Я глядел ей вслед, плененный ее красотой и пораженный свободой обращения, тем более удивительной, что в ту пору правила учтивости, диктуемые нам двором великого монарха Людовика XIV, предписывали прекрасному полу крайне строгое соблюдение этикета. Она оставила меня в довольно неловком положении: я оказался посреди двора старого замка верхом на лошади и держа другую в поводу.

Здание не представляло большого интереса для постороннего наблюдателя, если б даже я и был расположен внимательно его осматривать; четыре его фасада были различны по архитектуре и своими решетчатыми окнами с каменными наличниками, своими выступающими башенками и массивными архитравами напоминали внутренний вид монастыря или какого-нибудь старого и не слишком блистательного оксфордского колледжа.

Я пробовал вызвать слугу, но долгое время никто не являлся, и это казалось тем более досадным, что я был явно предметом любопытства нескольких слуг и служанок, которые выглядывали из всех окон, — высунут голову и тотчас втянут назад, точно кролики в садке, прежде чем я успевал обратиться непосредственно к кому-либо из них. Но вот наконец вернулись егеря с собаками, и это меня выручило: я, хоть и не без труда, заставил все же одного олуха принять лошадей, а другого бестолкового парня — проводить меня в апартаменты сэра Гилдебранда. Эту услугу он оказал мне с грацией и готовностью крестьянина, принужденного выполнять роль проводника при отряде вражеской разведки; подобным же образом и я вынужден был следить в оба, чтоб он не сбежал, бросив меня в лабиринте низких сводчатых коридоров, которые вели в Каменный зал, где мне суждено было предстать пред моим дядей.

Наконец мы добрались до длинной комнаты с каменным полом и сводчатым потолком, посреди которой стоял ряд уже накрытых к обеду дубовых столов, таких тяжелых, что не сдвинуть с места. Этот почтенный зал, видевший пиршества нескольких поколений Осбалдистонов, свидетельствовал также и об их охотничьих подвигах. Большие оленьи рога — быть может, трофеи богатырей «Чеви Чейс» — висели по стенам, а между ними — чучела

барсуков, выдр, куниц и других зверей. Среди старых, разбитых доспехов, служивших, возможно, в боях с шотландцами, находились более ценимые здесь орудия — самострелы, ружья всех систем и конструкций, сети, лески, гарпуны, рогатины и множество других хитроумных приспособлений для поимки или убиения дичи.

С немногих старых картин, побуревших от дыма, забрызганных мартовским пивом, смотрели рыцари и дамы, в свое время, несомненно, пользовавшиеся славой и почетом: бородатые рыцари грозно хмурились из-под огромных париков; дамы деланно улыбались, любуясь розой, которую небрежно держали в руке.

Только что успел я оглядеться в этой обстановке, как в зал с шумом и гомоном ввалились человек двенадцать слуг в синих ливреях; они как будто больше старались наставлять друг друга, чем выполнять свои обязанности. Одни подкидывали дров в огонь, который ревел, полыхал и вздымал клубы дыма в огромной печи с такой большой топкой, что под ее просторным сводом примостилась каменная скамья, а над нею лепились, наподобие доски камина, тяжелые архитектурные украшения: геральдические чудовища, вызванные к жизни резцом какого-то нортумберлендского ваятеля, щерились и выгибали спины в красном песчанике, отполированном дымом столетий. Другие из этих старозаветных прислужников тащили громадные дымящиеся блюда, на которых горой лежали сытные кушанья; третьи несли бокалы, графины, бутылки, даже бочонки с напитками. Все они топотали, спотыкались друг о друга, сновали, толкались, падали, точно норовили сделать с наибольшей суетой как можно меньше дела. Когда наконец после премногих усилий обед был подан, «нестройный глас людей и псов», щелканье арапников (долженствовавшее устрашить последних), громкий говор, шаги, отбиваемые тяжелыми сапогами на толстых каблуках, громоподобные, как поступь статуи в пьесе «Festin de Pierre» *note 30*, возвестили о прибытии тех, ради кого совершены были приготовления. С наступлением критической минуты суматоха среди слуг не только не уменьшилась, но еще увеличилась — одни поторапливали, другие кричали, что надо подождать; те увещевали расступиться и очистить дорогу сэру Гилдебранду и молодым сквайрам, эти, напротив, звали стать цепью вокруг стола и загородить дорогу; те орали, что нужно открыть, эти — что лучше закрыть двустворчатую дверь, соединявшую зал, как я узнал позднее, с соседним помещением — чем-то вроде галереи, отделанной черной панелью.

Дверь наконец распахнулась, и в зал ворвались псы и люди — восемь гончих, капеллан, деревенский лекарь, шесть моих двоюродных братьев и мой дядя.

ГЛАВА VI

Идут, идут! Трясется свод
От грома голосов. И вот,
Обличием многообразны,
В кирасах разных, в шлемах разных,
Шагают, полные гордыни и соблазна
Пенроуз

Если сэр Гилдебранд Осбалдистон не спешил приветствовать своего племянника, о приезде которого его, несомненно, давно оповестили, он мог сослаться в свое оправдание на важные причины.

— Я бы вышел к тебе раньше, дружок, — воскликнул он, сердечно со мной поздоровавшись и крепко пожав мне руку, — но должен был сперва присмотреть, как загоняют собак. Добро пожаловать в Осбалдистон-холл! Знакомься со своими двоюродными братьями: это — Перси, это — Торни, это — Джон, а это — Дик, Уилфред и… стой, где же Рэшли? Ага, вот и он! Отодвинь-ка, Торни, свое длинное туловище и дай поглядеть на брата.

Note30
«Каменный пир» (франц.).

Изволь — твой двоюродный брат Рэшли. Итак, твой отец вспомнил наконец о старом замке и о старом сэре Гилдебранде. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Добро пожаловать, дружок, вот и все… Но где же моя маленькая Ди? Ага, вот она идет. Это моя племянница. Ди — дочь моего шурина, самая красивая девушка у нас на севере: кого ни взять, с нею здесь ни одна не сравнится. Ну, а теперь за стол, пока не остыло жаркое.

Чтобы составить представление о лице, произнесшем эту речь, вы должны вообразить себе, мой милый Трешем, человека лет шестидесяти, в охотничьем кафтане, некогда богато расшитом, но утратившем свой блеск в ноябрьских и декабрьских бурях. Сэр Гилдебранд, несмотря на резкость его теперешних манер, вращался в былые годы при дворе и живал в королевском лагере; до революции он занимал высокую должность при армии, стоявшей под Хаунслоу-Хисом, а затем, очевидно, как католик, получил от несчастного, окруженного дурными советниками Иакова II право именоваться «сэром». Но мечты сэра Гилдебранда о дальнейшем положении, если и были они у него, угасли при перевороте, свергнувшем его покровителя с престола, и с той поры он жил уединенной жизнью в родовом поместье. При своем деревенском облике сэр Гилдебранд во многом сохранил черты джентльмена, и среди своих сыновей он выделялся, как обломок коринфской колонны — пусть обитой и замшелой — среди нетесаных каменных глыб Стонхенджа или другого какого-нибудь друидического храма. Сыновья и впрямь похожи были на тяжелые, нетесаные глыбы. Высокие, крепкие, благообразные, все пятеро старших, казалось, были лишены как Прометеевской искры ума, так и внешнего изящества и лоска, которые у воспитанного человека скрадывают иногда недостаток умственного развития. Казалось, самыми ценными их нравственными качествами были благодушие и довольство своей жизнью, отражавшиеся в их тяжелых чертах, и все честолюбие их было направлено к утверждению своей славы искусных звероловов. Внешним видом своим силач Персиваль, силач Торнклиф, силач Джон, Ричард и Уилфред Осбалдистоны так же мало рознились между собою, как мало рознятся у поэта силач Гиас и силач Клоант.

Зато, создавая Рэшли Осбалдистона, госпожа Природа пожелала, видно, вознаградить себя за такое однообразие, столь не свойственное ее творениям: лицом и манерами, а также, как я узнал впоследствии, характером и дарованиями он был разительно несхож не только со своими братьями, но и с большинством людей, каких знавал я до той поры. Если Перси, Торни и компания поочередно кивали головой, ухмылялись и выдвигали скорее плечо, чем руку, по мере того как отец представлял их новому родственнику, — Рэшли выступил вперед и приветствовал мое прибытие в старый замок Осбалдистонов со всей учтивостью светского человека. Внешность его сама по себе отнюдь не располагала в его пользу. Он был мал ростом, тогда как братья его казались потомками Енака, и в то время как те отличались редкой статностью, Рэшли при большой физической силе был кособок, голова сидела у него на короткой бычьей шее, и вследствие повреждения, полученного в раннем детстве, в его походке чувствовалась неправильность, столь похожая на хромоту, что это, как многие утверждали, служило прямым препятствием к его посвящению в сан: римско-католическая церковь, как известно, не допускает в ряды своего духовенства людей, страдающих телесными недостатками. Другие, однако, приписывали этот недостаток просто плохой выправке и утверждали, что он не может помешать младшему Осбалдистону сделаться священником.

Лицо Рэшли было таково, что, раз его увидев, вы напрасно старались бы его забыть, — оно врезалось в память, пробуждая мучительное любопытство, хотя и вызывало в вас неприязнь и даже отвращение. Это впечатление, очень сильное, зависело, если разобраться, не от безобразия его лица — черты его, хоть и неправильные, были нисколько не грубы, а проницательные темные глаза под косматыми бровями и вовсе не позволяли назвать это лицо просто некрасивым, — но в глазах его таилось выражение хитрости и коварства, а при случае и злобы, умеряемой осторожностью, злобы, которую природа сделала явной для каждого рядового физиономиста, может быть, с тем же намерением, с каким надела она гремучие кольца на хвост ядовитой змеи. Как бы в вознаграждение за такую невыгодную внешность Рэшли Осбалдистон был наделен самым мягким голосом, самым звучным, сочным и богатым,

какой мне доводилось слышать, и подлинным даром слова, чтобы этот тонкий инструмент не пропадал напрасно. Едва успел Рэшли договорить первую фразу приветствия, как я уже мысленно согласился с мисс Вернон, что мой новый родственник мгновенно покорил бы любую женщину, если бы она могла судить о нем только при посредстве ушей. Он хотел уже сесть со мною рядом за стол, но мисс Вернон, которая, как единственная женщина в семье, полновластно распоряжалась в таких делах, поспешила посадить меня между собою и Торнклифом; а я, понятно, не стал возражать против этого приятного соседства.

— Мне нужно с вами поговорить, — сказала она, — и я нарочно посадила между вами и Рэшли честного Торни. Он послужит

Периной меж стеною замка
И огнедышащим ядром,

покуда я — первая, с кем вы познакомились в этой блещущей умом семье, — расспрошу вас, как мы вам понравились.

— Очень затруднительный вопрос, мисс Вернон, если принять в соображение, как мало времени провел я в Осбалдистон-холле.

— О, философия нашей семьи вся как на ладони. Есть, правда, небольшие оттенки, отличающие ту или другую особь (так, мне кажется, называют это натуралисты?), но уловить их может только глаз тонкого наблюдателя; зато вид можно распознать и охарактеризовать сразу же.

— Если так, пять старших моих кузенов получат, я полагаю, почти одинаковую характеристику.

— Да, каждый из них представляет собой счастливое сочетание пьяницы, собачника, задиры, лошадника и дурака. Но как нельзя, говорят, найти на дереве два в точности схожих листка, так и здесь у каждого из них эти счастливые свойства смешаны в несколько иной пропорции, доставляя приятное разнообразие для тех, кто любит изучать характеры.

— Сделайте милость, мисс Вернон, дайте мне хотя бы набросок.

— Вы получите сейчас семейный портрет в полном объеме — так легко сделать это одолжение, что отказать в нем невозможно. В Перси, старшем сыне и наследнике, больше от пьяницы, нежели от собачника, задиры, лошадника и дурака. Мой милейший Торни более задира, нежели пьяница, собачник, лошадник и дурак. Джон, который семь дней в неделю ночует в горах, тот прежде всего собачник. Лошадник ярче всего представлен в Дике, который готов лететь за двести миль, не слезая с седла, чтобы поспеть на скачки, где его облапошит каждый кому не лень. В Уилфреде же глупость настолько преобладает над всеми прочими качествами, что его можно назвать просто дураком.

— Недурная коллекция, мисс Вернон, и представленные в ней разновидности принадлежат, в общем, к весьма любопытному виду. Но разве на вашем холсте не найдется места для сэра Гилдебранда?

— Дядю я люблю, — был ответ. — Я в долгу перед ним, он делал мне добро (или думал, что делает), и я предоставлю вам самому написать его портрет, когда вы ближе его узнаете.

«Прекрасно, — подумал я про себя, — рад, что она проявила все-таки хоть некоторую снисходительность. Кто ожидал бы такой злой сатиры от такого юного и такого необыкновенно красивого создания!»

— Вы думаете обо мне, — сказала она и подняла на меня темные глаза, словно желала проникнуть взором в мою душу.

— Да, я думал о вас, — отвечал я, несколько смущенный прямотой ее вопроса; и затем, стараясь превратить в комплимент свое откровенное признание, добавил: — Как мог я думать о ком-нибудь другом, имея счастье сидеть рядом с вами?

Мисс Вернон улыбнулась с гордым высокомерием, какого никогда не встречал я на таком прелестном лице.

— Должна теперь же вас предупредить, мистер Осбалдистон, что на меня напрасно

тратить комплименты, а потому не швыряйтесь учтивыми словами, — у изящных джентльменов, путешествующих в этой стране, они заменяют погремушки, бусы и браслеты, какими мореплаватели задабривают диких обитателей новонайденных земель. Не истощайте запасов вашего товара — в Нортумберленде вы найдете туземцев, которых ваши безделушки расположат в вашу пользу; на меня же вы их потратите даром, так как я случайно знаю их подлинную цену.

Я в смущении молчал.

— Вы напомнили мне сейчас, — продолжала молодая леди, вернувшись к прежнему живому и равнодушному тону, — того человека из волшебной сказки, который принес на рынок деньги, а они у него на глазах обратились в угольки. Одним злосчастным замечанием я обесценила и уничтожила весь запас ваших любезностей. Но ничего, не горюйте: если я не обманываюсь на ваш счет, мистер Осбалдистон, вы умеете говорить вещи поинтереснее, чем эти fadeurs *note 31*, которые каждый джентльмен с тупеем на голове считает себя обязанным преподносить несчастной девице только потому, что она одета в шелк и кружева, а он носит тончайшее, шитое золотом сукно. Ваша обычная рысь, как мог бы сказать любой из моих пяти кузенов, куда предпочтительней иноходи ваших комплиментов. Постарайтесь забыть, что я женщина, зовите меня, если вам угодно, Томом Вернон, но говорите со мной как с другом и товарищем; вы представить себе не можете, как я вас тогда полюблю.

— В самом деле? Большой соблазн! — отвечал я.

— Опять! — остановила меня мисс Вернон и предостерегающе подняла палец. — Вам уже сказано, что я не потерплю и намека на комплимент. Выпейте за здоровье моего дяди, который идет на вас, как он выражается, с полным кубком, а затем я скажу вам, что вы думаете обо мне.

Я, как почтительный племянник, осушил за здоровье дяди большой бокал; последовали новые здравицы, и разговор за столом стал более общим. Но вскоре он сменился непрерывным и деловитым лязгом ножей и вилок. А так как кузен Торнклиф, мой сосед справа, и кузен Дикон, сидевший по левую руку мисс Вернон, были увлечены говядиной, которую горой накладывали на свои тарелки, они, как два бастиона, отделяли нас от остального общества и обеспечивали нам спокойный tete-a-tete. *note 32*

— А теперь, — сказал я, — разрешите мне спросить вас откровенно, мисс Вернон: как вы полагаете, что я думаю о вас? Я сам сказал бы вам, но вы запретили мне возносить вам хвалы.

— Я не нуждаюсь в вашей помощи. Моего ясновидения достанет на то, чтобы проникнуть в ваши мысли. Вам ни к чему раскрывать передо мною сердце: я и в закрытом могу читать. Вы меня считаете странной, дерзкой девчонкой, полукокеткой-полусорванцом, девушкой, которая хочет привлечь внимание вольностью манер и громким разговором, понятия не имея о том, что «Зритель» называет нежной прелестью слабого пола. И, может быть, вы думаете, что я преследую особую цель поразить вас и увлечь. Мне не хотелось бы уязвить ваше самолюбие, но, думая так, вы бы очень обманулись. То доверие, которое я вам оказала, я так же охотно оказала бы и вашему отцу, если бы считала, что он может меня понять. В этом счастливом семействе я так же лишена понимающих слушателей, как был лишен их Санчо в Сиерра-Морене, и когда представляется случай, я, хоть умри, не могу не говорить. Уверяю вас, вы не услышали бы от меня ни полслова из этих смешных признаний, если бы меня хоть сколько-нибудь заботило, как они будут приняты.

— Очень жестоко, мисс Вернон, что вы, делая мне ценные сообщения, не хотите проявить и тени благосклонности; но я рад, что вы все-таки уделяете мне какое-то внимание.

Note31
пошлости (франц.).

Note32
разговор или свидание с глазу на глаз (франц.).

Однако вы не включили в ваш семейный портрет мистера Рэшли Осбалдистона.

Мне показалось, мисс Вернон вся съежилась при этом замечании. Сильно понизив голос, она поспешила ответить:

— Ни слова о Рэшли! Когда он чем-либо заинтересован, слух его становится так остер, что звуки достигают его ушей сквозь тушу Торнклифа, даже если она, как сейчас, плотно начинена говядиной, паштетом из оленины и пудингом.

— Учту, — отвечал я. — Но, перед тем как задать свой вопрос, я заглянул через разделяющую нас живую ширму и удостоверился, что кресло мистера Рэшли не занято — он вышел из-за стола.

— На вашем месте я не была бы в этом так уверена, — ответила мисс Вернон. — Мой вам совет: когда вы захотите говорить о Рэшли, поднимитесь на Оттерскоп, откуда видно на двадцать миль вокруг, станьте на самой вершине и говорите шепотом — и все же не будьте слишком уверены, что перелетная птица не донесет Рэшли ваших слов. Он четыре года был моим наставником, мы устали друг от друга и оба искренне радуемся нашей близкой разлуке.

— Как, мистер Рэшли оставляет Осбалдистон-холл?

— Да, через несколько дней. Разве вам не известно? Значит, ваш отец лучше умеет хранить тайну своих решений, чем сэр Гилдебранд. Когда дяде сообщили, что вы на некоторое время пожалуете к нему в гости и что ваш отец желает предоставить одному из своих многообещающих племянников выгодное место в своей конторе, свободное в силу вашего упрямства, мистер Фрэнсис, наш славный рыцарь, созвал семейный совет в полном составе, включая дворецкого, ключницу и псаря. Это почтенное собрание пэров и придворных служителей дома Осбалдистонов созвано было, как вы понимаете, не для выбора вашего заместителя, потому что один только Рэшли знает арифметику в большем объеме, чем это необходимо для расчета ставок в петушином бою, так что никого другого из братьев нельзя было выдвинуть в кандидаты на предложенное место. Но требовалась торжественная санкция для такой перемены в судьбе Рэшли, которому вместо полуголодной жизни католического священника предлагают карьеру богатого банкира. Однако не так-то легко собрание дало свое согласие на этот унизительный для дворянина акт.

— Вполне представляю, какие тут возникли сомнения! Но что помогло преодолеть их?

— Я думаю, общее желание спровадить Рэшли подальше, — ответила мисс Вернон. — Хоть и младший в семье, он как-то умудрился взять главенство над всеми остальными, и каждый тяготится своим подчиненным положением, но не может сбросить его. Если кто попробует воспротивиться Рэшли, то и года не пройдет, как он непременно в этом раскается; а если вы окажете ему важную услугу, вам придется раскаяться вдвойне.

— В таком случае, — сказал я с улыбкой, — мне нужно быть начеку: ведь я хоть и ненамеренно, но все же послужил причиной перемены в его судьбе.

— Да! И все равно, сочтет ли он эту перемену выгодной для себя или невыгодной, он вам ее не простит… Но подошел черед сыра, редиски и тостов за церковь и за короля — намек, что капелланам и дамам пора уходить; и я, единственная представительница дамского сословия в Осбалдистон-холле, спешу удалиться.

С этими словами мисс Вернон исчезла, оставив меня в удивлении от ее разговора, в котором так чудесно сочетались проницательность, смелость и откровенность. Я не способен дать вам хотя бы слабое представление о ее манере говорить, как ни старался воспроизвести здесь ее слова настолько точно, насколько позволяет мне память. На самом деле в ней чувствовались ненаигранная простота в соединении с врожденной проницательностью и дерзкой прямотой, и все это смягчала и делала привлекательным игра лица, самого очаровательного, какое доводилось мне встречать. Разумеется, ее свободное обращение должно было мне показаться странным и необычным, но не следует думать, что молодой человек двадцати двух лет способен был бы осудить красивую восемнадцатилетнюю девушку за то, что она не держит его на почтительном расстоянии. Напротив, я был обрадован и польщен доверием мисс Вернон, несмотря на ее заявление, что она оказала бы такое же доверие первому слушателю, способному ее понять. Возрасту моему было свойственно

самомнение, а долгая жизнь во Франции нисколько его не ослабила; поэтому я воображал, что мои изящные манеры и красивая наружность (я не сомневался, что наделен ими) должны были завоевать расположение юной красавицы. Таким образом, самое мое тщеславие говорило в пользу мисс Вернон, и я никак не мог сурово осудить ее за откровенность, которую, как полагал я, до некоторой степени оправдывали мои собственные достоинства; а пристрастность суждения, внушаемая красотою девушки и необычным ее положением, еще возрастала, когда я думал о ее проницательности в выборе друга.

Едва мисс Вернон оставила зал, бутылка стала беспрерывно переходить, или, вернее, перелетать, из рук в руки. Воспитание за границей внушило мне отвращение к невоздержанности — пороку, слишком распространенному среди моих соотечественников в те времена, как и теперь. Разговоры, которыми приправляются такие оргии, были мне также не по вкусу, а то, что собутыльники состояли между собой в родстве, могло лишь усугубить отвращение. Поэтому я почел за благо при первом же удобном случае выйти в боковую дверь, еще не зная, куда она ведет: мне не хотелось быть свидетелем того, как отец и сыновья равно предаются постыдному невоздержанию и ведут те же грубые и отвратительные речи. За мной, разумеется, тотчас погнались, чтобы вернуть меня силой, как дезертира из храма Бахуса. Услышав рев, и гиканье, и топот тяжелых сапог моих преследователей по винтовой лестнице, по которой я спускался, я понял, что меня перехватят, если я не выберусь наружу. Поэтому я распахнул на лестнице окно, выходившее в старозаветный сад, и, так как оно оказалось всего в шести футах над землей, выпрыгнул без колебания и вскоре услышал уже далеко позади крики моих растерявшихся преследователей: «Го-го-го! Да куда же он скрылся?» Я пробежал одну аллею, быстро прошел по другой и, наконец, убедившись, что опасность преследования миновала, умерил шаг и стал спокойно прогуливаться на свежем воздухе, вдвойне благодатном после выпитого вина и моего стремительного отступления.

Прохаживаясь, я набрел на садовника, усердно исполнявшего свою вечернюю работу, и, остановившись поглядеть, что он делает, обратился к нему с приветом:

— Добрый вечер, приятель.

— Добрый вечер, добрый вечер, — отозвался садовник, не поднимая глаз, и я по выговору сразу узнал в нем шотландца.

— Прекрасная погода для вашей работы, приятель.

— Жаловаться особенно не приходится, — ответил он с той сдержанной похвалой, с какой обычно садовники и землепашцы отзываются о самой хорошей погоде. Подняв затем голову, чтобы видеть, кто с ним говорит, он почтительно дотронулся до своей шотландской шапочки и сказал: — Господи помилуй, глазам своим не поверишь, как увидишь в нашем саду в такую позднюю пору шитый золотом джейстикор! *note 33*

— Шитый золотом… как вы сказали, дружок?

— Джейстикор. Это значит, кафтанчик вроде вашего — в обтяжку. У здешних господ другой обычай — им бы скорей распоясаться, чтобы дать побольше места говядине да жирным пудингам, ну и, разумеется, вину: так тут принято вместо вечернего чтения — по эту сторону границы.

— В вашей-то стране не повеселишься, приятель, — отвечал я, — нет у вас изобилия, нет и соблазна засиживаться за столом.

— Эх, сэр, не знаете вы Шотландии! За продовольствием дело б не стало — у нас вдосталь самой лучшей рыбы, и мяса, и птицы, уж не говоря о луке, редисе, репе и прочих овощах. Но мы блюдем меру и обычай, мы не позволим себе обжираться; а здесь что слуги, что господа — знай набивают брюхо с утра до ночи. Даже в постные дни… Они это называют поститься! Возами везут им по сухопутью морскую рыбу из Хартлпула, из Сандерленда, да прихватят мимоездом форелей, лососины, семги и всего прочего, — самый пост обращается в излишество и мерзость. А все эти гнусные мессы да заутрени — сколько ввели они во грех

Note33

Вероятно, от французского Juste-au-corps. (Прим. автора.)

несчастных обманутых душ! .. Но мне не след так об этом говорить — ведь и ваша честь, надо думать, из католиков, как и все они тут?

— Ошибаетесь, друг мой, я воспитан в пресвитерианской вере, точнее сказать — я диссидент.

— Ежели так, позвольте протянуть вашей чести руку, как собрату, — торжественно проговорил садовник, и лицо его озарилось радостью, какую только могли выразить его жесткие черты. И, как будто желая на деле доказать мне свое благоволение, он извлек из кармана громадную роговую табакерку — муль, как он ее называл, — и с широкой дружеской улыбкой предложил мне понюшку.

Поблагодарив за любезность, я спросил, давно ли он служит в Осбалдистон-холле.

— Я сражаюсь с дикими зверями Эфеса, — ответил он, подняв глаза на замок, — вот уже добрых двадцать четыре года; это верно, как то, что меня зовут Эндрю Ферсервис. *note 34*

— Но, любезнейший Эндрю Ферсервис, если для вашей веры и для вашей воздержанности так оскорбительны обычаи католической церкви и южного гостеприимства, вы, кажется мне, подвергали себя все эти годы напрасным терзаниям: разве вы не могли бы найти службу где-нибудь, где меньше едят и где исповедуют более правильную веру? Вы, я уверен, искусны в своем деле и легко нашли бы для себя более подходящее место.

— Не к лицу мне говорить о своем уменье, — сказал Эндрю, с явным самодовольством кинув взгляд вокруг, — но, спору нет, в садоводстве я кое-что смыслю, раз я вырос в приходе Дрипдейли, где выращивают под стеклом брюссельскую капусту и в марте месяце варят суп из парниковой крапивы. По правде говоря, я двадцать с лишним лет в начале каждого месяца собираюсь уходить, но как подходит срок, смотришь — надо что-нибудь сеять, либо косить, либо убирать, и хочется самому приглядеть за посевом, за косьбой, за уборкой; не заметишь, как год пройдет, — и так вот остаешься из года в год на службе. Я бы сказал наверняка, что уйду на Сретенье, но я так же твердо говорю это вот уже двадцать четыре года, а сам и до сих пор копаю здесь землю. А кроме того, уж признаюсь по совести вашей чести: ни разу что-то не предложили бедному Эндрю лучшего места. Но я был бы очень обязан вашей чести, если бы вы определили меня куда-нибудь, где бы можно было послушать хорошую проповедь и где бы мне дали домик, лужок для коровы, да клочок земли под огород, да жалованья положили фунтов десять, не меньше, да где бы не наезжали из города разные мадамы считать поштучно каждое яблоко…

— Браво, Эндрю! Вы, я вижу, ищете покровительства, но притом не упускаете случая набить себе цену.

— А чего бы ради я стал упускать случай? — возразил Эндрю. — Ведь прождешь до могилы, пока другие оценят тебя по заслугам.

— И вы, я заметил, не дружите с дамами?

— Признаться, не дружу. Садовники с ними искони не в ладу, и я тоже — как и самый первый садовник. С ними нам беда: лето ли, зима ли

— подавай им во всякое время года абрикосы, груши, сливы; но у нас тут, на мое счастье, нет ни одного осколка от лишнего ребра, никого, кроме старой ключницы Марты, а ей много ли надо? Только бы не гнали из малинника ребятишек ее сестры, когда они приходят к старухе попить чаю на праздник, да изредка спросит печеных яблок себе на ужин.

— Вы забыли вашу молодую госпожу.

— Какую такую госпожу я позабыл? Не пойму.

— Молодую госпожу, мисс Вернон.

— Ах, эту девочку Вернон! Надо мной, сударь, она не госпожа. Хорошо, кабы она была госпожа над самой собой. Лучше б ей как можно дольше не быть ни над кем госпожой. Уж такая непутевая!

— В самом деле? — сказал я, заинтересованный живее, чем хотел признаться самому

Note34

Fair service — честная служба (англ.).

себе или показать собеседнику. — Вы, Эндрю, знаете, видно, все тайны дома.

— Если и знаю, то умею хранить их, — сказал Эндрю. — Они не бунтуют у меня в животе, как пивные дрожжи в бочке, будьте спокойны. Мисс Ди, она… Но что мне до того? Не моя забота! — И он с напускным усердием принялся копать землю.

— Что вы хотели сказать о мисс Вернон, Эндрю? Я друг семьи и хотел бы знать.

— С ней, я боюсь, неладно, — сказал Эндрю и, сощурив один глаз, покачал головой с важным и таинственным видом. — Водится за нею кое-что. Понимаете, ваша честь?

— Признаться, не совсем, — отвечал я, — но я попросил бы вас, Эндрю, объяснить понятней.

С этим словом я сунул в заскорузлую руку садовника крону.

Почувствовав прикосновение серебра, Эндрю хмуро ухмыльнулся и, слегка кивнув головой, опустил монету в карман своих штанов; потом, отлично понимая, что деньги даны не даром, он выпрямился, оперся обеими руками на лопату и выразил на лице своем торжественность, точно собирался сообщить нечто очень важное.

— В таком случае, скажу вам, молодой джентльмен, раз уж вам так нужно это знать, что мисс Вернон…

Не договорив, он так втянул свои впалые щеки, что его скулы и длинный подбородок приобрели сходство со щипцами для орехов, еще раз подмигнул, насупился, покачал головой — и, видимо, решил, что его физиономия дополнила то, чего не досказал язык.

— Боже праведный, — проговорил я, — такая молодая, такая красивая и уже погибла!

— Поистине так. Она, можно сказать, погибла телом и душой; мало того, что она папистка, она, по-моему, еще и…

Но осторожность северянина взяла верх, и он опять замолчал.

— Кто же, сэр? — проговорил я строго. — Вы должны объяснить мне все ясно и просто. Я настаиваю.

— Самая ярая якобитка во всем графстве.

— Фью! .. Якобитка? Только и всего!

Услышав, как легко я отнесся к его сообщению, Эндрю посмотрел на меня несколько удивленно, и, пробормотав: «Как хотите! Хуже этого я ничего за девчонкой не знаю!» — он снова взялся за свою лопату, подобно королю вандалов в последнем романе Мармонтеля.

ГЛАВА VII

Бардольф. Шериф стоит у двери, и с ним преогромная стража.
«Генрих IV», ч. I

Не без труда отыскал я отведенную мне комнату, и, обеспечив себе доброе расположение и внимание со стороны слуг моего дяди — пользуясь для этого самыми для них убедительными средствами, — я уединился до конца вечера, полагая, что мои новые родственники вряд ли могут составить подходящее общество для трезвого человека, если судить по тому состоянию, в каком я их оставил, и по отдаленному шуму, все еще доносившемуся из Каменного зала.

Чего хотел отец, отправляя меня в эту странную семью? — таков был мой первый и вполне естественный вопрос. Дядя, очевидно, принял меня как человека, приехавшего к нему погостить на неопределенный срок; а он в своем простодушном гостеприимстве, подобно королю Галю, не глядел, сколько людей кормится за его счет. Но было ясно, что мое присутствие или отсутствие имело в глазах его так же мало значения, как появление и уход любого из лакеев. Мои двоюродные братья были просто бездельники, в обществе которых я забыл бы, если б захотел, приобретенные до сих пор пристойные манеры и все свои светские навыки, но не смог бы получить взамен никаких познаний, кроме умения выгонять глистов у собак, продевать заволоку да травить лисиц. Я мог представить себе только одну причину, казавшуюся мне правдоподобной: отец, по-видимому, считал образ жизни, какой вели в

Осбалдистон-холле, естественным и непременным для всякого дворянина-помещика и желал дать мне случай понаблюдать эту жизнь своими глазами, полагая, что я получу отвращение к ней и примирюсь с необходимостью стать его деятельным помощником. Мое место в конторе займет тем временем Рэшли Осбалдистон. Но у отца были сотни способов предоставить ему выгодное место, как только он захотел бы избавиться от племянника. Итак, хоть меня и грызла совесть, что по моей вине Рэшли Осбалдистон, такой, каким описала его мисс Вернон, войдет в дело моего отца, а может быть, и в его доверие, однако я успокоил свои сомнения доводом, что мой отец сам себе хозяин, что он не из тех, кого легко обмануть или подчинить. Своему влиянию, и что все, что я знаю предосудительного о молодом джентльмене, внушено мне странной и взбалмошной девушкой; ее неразумная, думал я, откровенность позволяла предположить, что все свои суждения она составляла слишком поспешно и необоснованно. Затем мысли мои, естественно, обратились к самой мисс Вернон. Ее необычайная красота, ее исключительное положение в этом доме, где ей не на кого опереться и где только собственный разум руководит ею и дает ей защиту, ее живой, полный противоречий характер — все это помимо воли возбуждало любопытство и завладевало вниманием. Однако я еще не вовсе потерял голову — я понял, что соседство этой странной девушки, возможность постоянного и близкого с нею общения делали для меня Осбалдистон-холл менее скучным и тем самым более опасным. Но при всем своем благоразумии я не мог заставить себя слишком сожалеть о том, что случай подверг меня этому новому и необычному риску. С этой тревожной мыслью я справился, как справляются молодые люди со всеми трудностями такого рода: буду, решил я, очень осмотрителен, всегда настороже; в мисс Вернон я стану искать скорее товарища, нежели близкого друга, и тогда все обойдется благополучно. Додумавшись до этого, я уснул, и, конечно, мой последний помысел был о Диане Вернон.

Снилась мне она или нет, не могу вам сказать, так как я был утомлен и спал очень крепко, но о ней подумал я о первой, когда меня разбудил на заре веселый звук охотничьего рога. Я тотчас вскочил и распорядился, чтобы мне оседлали коня, а через несколько минут я уже спустился во двор, где люди, собаки и лошади были в полном сборе. Дядя, едва ли ожидавший встретить ревностного охотника в племяннике, воспитанном как-никак за границей, несколько удивился, увидев меня, и мне показалось, поздоровался со мной не так сердечно и приветливо, как накануне:

— И ты здесь, мальчик? Да, молодость проворна; но смотри… Помни, мальчик, старую песню:

Кто над Черным Оврагом промчится вскачь.
Тот может и шею сломать.

Мне кажется, всякий юноша, если он не завзятый моралист, предпочтет услышать обвинение в каком-нибудь грехе против нравственности, чем в неумении ездить верхом. И так как у меня не было недостатка в ловкости и отваге, дядины слова меня задели, и я заверил его, что не отстану от собак.

— Не сомневаюсь, мальчик, — последовал ответ, — ты отличный ездок, спору нет, но будь осторожен. Твой отец прислал тебя ко мне, чтобы тут тебя взнуздали, и лучше уж я сам буду держать тебя в узде, покуда кто другой не набросил тебе на шею аркан.

Так как эта речь была для меня совершенно невразумительна и так как она вдобавок не предназначалась, по-видимому, для моих ушей, а сказана была как бы в сторону и мой достопочтенный дядюшка только выразил вслух нечто пронесшееся у него в уме, я решил, что он намекает на мое вчерашнее бегство от бутылки или что на дядином утреннем настроении сказалось похмелье после вчерашней попойки. Все же я подумал, что если он станет разыгрывать нелюбезного хозяина, то я у него не загощусь, и поспешил поздороваться с мисс Вернон, которая, радушно улыбаясь, приближалась ко мне. С двоюродными братьями мы также обменялись чем-то вроде приветствия; но, видя, что они склонны зло критиковать всю мою экипировку, от шляпы до стремян, и высмеивать все, что было в моей наружности для

них непривычного, неанглийского, я избавил себя от труда уделять им много внимания и, напустив на себя равнодушно-презрительный вид, чтобы отомстить за их ухмылки и перешептывания, присоединился к мисс Вернон как к единственному человеку в этой компании, которого считал достойным своего общества. Мы поскакали бок о бок к намеченному месту — лесистой лощине у края большого выгона. На скаку я сказал Диане, что не вижу в поле своего кузена Рэшли, на что она ответила: «О, не беспокойтесь! Он искусный охотник, но следует вкусам Немврода — дичью служит ему человек».

Собаки под гиканье охотников ринулись в кусты; все закипело в деловитой суматохе. Мои двоюродные братья, слишком увлеченные своим утренним занятием, вскоре перестали обращать на меня внимание; только раз донеслось до моих ушей, как Дик-лошадник шепнул Уилфреду-дураку:

— Увидишь, при первом же выстреле француз наш сразу спасует.

На что Уилфред ответил:

— Похоже на то: недаром у него на шляпе эта глупая заграничная лента.

Но Торнклифа, как ни был он груб, не оставила совсем равнодушным красота его родственницы, и он решил, по-видимому, держаться к нам поближе, чем прочие братья, — то ли желая наблюдать, что происходит между мной и мисс Вернон, то ли надеясь позабавиться моими промахами на охоте. Его, однако, постигло разочарование. После долгой облавы, занявшей большую часть утра, лису наконец подняли, и на два часа пошел гон, в котором я, несмотря на злосчастную французскую ленту на шляпе, показал себя искусным наездником — к удивлению моего дяди и мисс Вернон и к тайной досаде тех, кто ждал моего позора. Мистер Рейнард, однако, оказался слишком хитер для преследователей, и собаки сплоховали. К этому времени, наблюдая за мисс Вернон, я заметил, что ее раздражает навязчивое внимание Торнклифа Осбалдистона; и так как девушка со свойственной ей живостью никогда не колебалась перед самыми решительными способами достичь того, что ей желательно в данную минуту, она сказала ему с укором:

— Не понимаю, Торни, чего ради вы все утро вертитесь под хвостом моей лошади, когда вам известно, что над Вулвертонской мельницей норы не забиты.

— Ничего такого мне не известно, мисс Ди: мельник клялся Богом и дьяволом, что забил там все норы еще к полуночи.

— Как не стыдно, Торни! Вы верите мельнику на слово? Когда мы за эту осень три раза упускали в тех норах лису. На вашей серой кобыле вы бы галопом за десять минут обернулись туда и назад!

— Хорошо, мисс Ди, я поскачу к Вулвертону и, если норы не забиты, переломаю Дику-мельнику все кости.

— Пожалуйста, Торни, милый, отхлещите бездельника как следует. Живо, одним духом, и тотчас обратно (Торнклиф пустился в галоп), или пусть тебя самого отхлещут, что будет для меня куда приятней. Мне приходится учить их всех дисциплине — чтобы слушались команды. Я, надо вам знать, формирую полк. Торни будет у меня сержантом, Дикон — инструктором по верховой езде, а Уилфреда с его густым басом, которым он произносит не свыше трех слогов кряду, заставлю бить в литавры.

— А Рэшли?

— Рэшли будет нести разведочную службу.

— А для меня у вас найдется должность, прелестный полковник?

— Вам предоставляется на выбор — стать полковым казначеем или главным казнокрадом… Но смотрите, собаки плутают. Вот что, мистер Фрэнк, след остыл — лису не скоро отыщут. Едемте со мной, я покажу вам красивый вид.

С этими словами она поскакала к вершине отлогого холма, откуда видна была вся окрестность, потом кинула взор вокруг, как бы желая удостовериться, что поблизости никого нет, и подвела свою лошадь к березовой рощице, закрывавшей нас от остальных охотников.

— Видите вы ту гору с острой вершиной, бурую, поросшую вереском, на одном склоне — белесое пятно?

— Ту, что замыкает длинный кряж холмов, пересекаемых болотами? Вижу ясно.

— Белесое пятно — это скала, именуемая Ястребиным Камнем, а Ястребиный Камень лежит в Шотландии.

— В самом деле? Я не думал, что Шотландия так близко от нас.

— Могу вас уверить, что это именно так, и ваш жеребец домчит вас туда за два часа.

— Но к чему мне мучить коня? Туда добрых восемнадцать миль по птичьему полету.

— Берите мою кобылу, если думаете, что она резвее. Говорю вам, через два часа вы будете в Шотландии.

— А я вам говорю, что у меня нет ни малейшего желания туда попасть; если бы голова моего коня оказалась по ту сторону границы, я не принудил бы его ступить еще хоть на шаг вперед, чтоб и хвост оказался там же. Зачем мне ехать в Шотландию?

— Чтоб укрыться от опасности, если я должна говорить откровенно. Теперь вы меня понимаете, мистер Фрэнк?

— Ничуть. Вы говорите темно, как оракул.

— Если так, скажу прямо: или вы не доверяете мне самым незаслуженным образом и в искусстве притворяться превзошли самого Рэшли Осбалдистона, или вы не знаете, в чем вас обвиняют, и тогда неудивительно, что вы так торжественно на меня уставились, — я не могу смотреть на вас без смеха.

— Честное слово, мисс Вернон, — сказал я, досадуя на ее ребяческую веселость, — я даже отдаленно не представляю себе, на что вы намекаете. Я счастлив доставить вам лишний случай позабавиться, но мне непонятно, над чем вы смеетесь.

— Правда, шутки здесь неуместны, — сказала молодая леди, и лицо ее стало спокойным, — но уж очень смешной вид у человека, когда он в непритворном недоумении. Однако дело тут серьезное. Знакомы ли вы с неким Мореем, или Моррисом, что-то в этом роде?

— Насколько я припоминаю, нет.

— Подумайте. Не было ли у вас недавно в поездке попутчика по имени Моррис?

— Единственный попутчик, с которым я проехал довольно долго, был смешной человек, так дрожавший за свой чемодан, точно в нем была спрятана его душа.

— Значит, он был подобен лисенсиату Педро Гарсия, чья душа лежала среди дукатов в его кожаном кошельке. Этот самый Моррис был ограблен, и он показал на вас как на соучастника учиненного над ним насилия.

— Вы шутите, мисс Вернон!

— Нисколько. Уверяю вас, это истинная правда.

— И вы, — сказал я в негодовании, которого даже не пробовал подавить, — вы полагаете, что я заслуженно навлек на себя такое обвинение?

— Я полагаю, вы меня вызвали бы на дуэль, будь я мужчиной. Попробуйте, если хотите, — я подстреливаю птицу на лету так же легко, как перескакиваю через пятирядную изгородь.

— И к тому же вы командуете конным полком, — добавил я, подумав, как бесполезно на нее сердиться. — Но разъясните мне эту шутку.

— Какие тут шутки! — сказала Диана. — Вас обвиняют в ограблении Морриса, и дядя верит обвинению, как поверила было и я.

— Честное слово, я весьма обязан моим друзьям за доброе мнение!

— Если можете, бросьте фыркать, таращить глаза и поводить носом, точно вспугнутая лошадь! Здесь нет ничего, как вы думаете, оскорбительного: вас обвиняют не в мелком жульничестве или низкой краже, отнюдь нет. Этот человек вез деньги из казначейства — ассигнациями и звонкой монетой — для выплаты войскам в Шотландии; и, говорят, у него похитили также очень важные документы.

— Следовательно, я обвинен не просто в разбое, а в государственной измене?

— Именно. А это, как вы знаете, считалось во все времена преступлением, вполне совместимым с дворянской честью. В нашей стране вы найдете множество людей, которые

поставят себе в заслугу, если им удастся навредить чем ни на есть ганноверскому дому, — и один такой человек стоит возле вас.

— Ни политические воззрения мои, ни нравственные, мисс Вернон, не отличаются подобной гибкостью.

— Я начинаю думать, что вы и вправду преданы пресвитерианской церкви и ганноверскому дому. Но как же вы намерены поступить?

— Немедленно опровергнуть чудовищную клевету. Кому, — спросил я, — подана на меня эта странная жалоба?

— Старому сквайру Инглвуду, который принял ее довольно охотно. Судья, я думаю, сам постарался уведомить об этом сэра Гилдебранда, чтобы дать ему возможность переправить вас контрабандой в Шотландию, где приказ об аресте теряет силу. Но дядя понимает, что его религия и старые связи и без того бросают на него тень в глазах правительства, и если теперь он окажется замешан в историю с грабежом, власти отберут у него оружие, а может быть, и лошадей (что было бы худшим из зол), объявив его якобитом, папистом и подозрительной личностью. *note 35*

— Вполне допускаю, что он, чем терять своих гунтеров, скорее выдаст племянника.

— Племянника, племянницу, сыновей, дочерей, если б имел их, — весь свай род и племя, — сказала Диана. — А потому не полагайтесь на него ни на одну минуту и спешите в дорогу, покуда приказу об аресте не дан ход.

— Так я и поступлю, но поеду я прямо к сквайру Инглвуду. Где он живет?

— Милях в пяти отсюда, в ложбине за рощей, — видите, где башня с часами?

— Я буду там через десять минут, — сказал я и дал шпоры коню.

— Я поеду с вами и покажу вам дорогу, — сказала Диана, тоже пуская рысью свою Фебу.

— Ни в коем случае, мисс Вернон, — возразил я. — Неудобно, — разрешите мне дружескую откровенность, — неудобно и, пожалуй, неприлично было бы вам отправиться со мною по такому делу.

— Понимаю вас, — сказала мисс Вернон, и легкая краска залила ее гордое лицо, — вы высказались откровенно и, я полагаю, из добрых чувств, — добавила она после краткой паузы.

— Так и есть, мисс Вернон. Неужели вы думаете, я не ценю вашего участия или не благодарен вам за него? — сказал я более прочувствованно, чем хотел. — Оно продиктовано истинной дружбой, проявленной из лучших побуждений в час нужды. Но я не могу, ради вас самой… во избежание кривотолков… я не могу позволить, чтобы вы последовали голосу великодушия. Это дело слишком гласное — почти то же самое, что идти открыто в суд.

— Когда потребовалось бы не «почти», а прямо идти в суд, вы думаете, я не пошла бы, если бы считала дело правым и желала бы защитить друга? За вас никто не заступится, вы чужой; а здесь, на окраинах королевства, местные суды творят порой самые нелепые дела. Дядя не хочет впутываться; Рэшли сейчас нет, а если бы он и был здесь, нельзя знать, чью он принял бы сторону; остальные один другого глупее и грубее. Я еду с вами и не боюсь оказать вам услугу. Я не светская леди, меня не пугают до полусмерти своды законов, грозные слова и огромные парики.

— Но, дорогая мисс Вернон…

— Но, дорогой мистер Фрэнсис, запаситесь терпением и спокойствием и не мешайте мне идти моей дорогой: когда я закусила удила, меня ничто не остановит.

Мне, конечно, льстило участие к моей судьбе со стороны столь прелестного создания, но я в то же время боялся, что покажусь смешным, если приведу вместо адвоката восемнадцатилетнюю девушку, и меня тревожила мысль, как бы ее побуждения не были ложно истолкованы. Поэтому я всячески старался сломить ее решение сопровождать меня к

Note35

В начале восемнадцатого столетия в случае каких-либо волнений в стране у католиков часто реквизировали лошадей, так как правительство всегда считало католиков в любую минуту готовыми к мятежу. (Прим. автора.)

сквайру Инглвуду. Но своевольная Диана прямо сказала, что мои уговоры напрасны, что она — истая Вернон, которую никакие соображения, ни даже невозможность оказать существенную помощь не побудят покинуть друга в беде; доводы мои, быть может, хороши для миловидной, благовоспитанной, благонравной девицы из столичной школы-пансиона, но непригодны для нее, привыкшей сообразовываться только со своим собственным мнением.

Пока она это говорила, мы быстро приближались к усадьбе Инглвуда, и Диана, как будто затем, чтоб отвлечь меня от дальнейшего спора, стала рисовать мне карикатурный портрет судьи и его секретаря. Инглвуд был, по ее словам, «прощеный якобит», то есть он, подобно большинству местных дворян, долго отказывался принести присягу новому государю, но недавно все-таки принес и занял должность судьи.

— Он это сделал, — сказала Диана, — уступив настоятельным уговорам своих собратьев-сквайров, опасавшихся, что ограда лесной потехи, охотничьи законы того и гляди утратят свою силу за отсутствием блюстителя, способного их внедрять, ибо ближайшим представителем судебной власти оставался мэр города Ньюкасла, а тот, будучи более склонен к уничтожению жареной дичи, чем к охране живой, понятно, ревностней отстаивал интересы браконьеров, нежели охотников. Поэтому нортумберлендские сквайры, признав необходимым, чтобы кто-либо из их среды поступился своей якобитской совестью на благо всего общества, возложил эту задачу на Инглвуда, который никогда не отличался чрезмерной щепетильностью и мог, по их мнению, без особого отвращения мириться с любыми политическими взглядами. Приобретая таким образом подходящего судью (так сказать, тело правосудия), они постарались, — продолжала мисс Вернон, — снабдить его также и душой в образе хорошего секретаря, который направлял бы его действия и вдыхал в них жизнь.

И вот они нашли в Ньюкасле ловкого юриста, по имени Джобсон, который (внесем разнообразие в метафору) не стесняется торговать правосудием под вывеской сквайра Инглвуда; и так как его личные доходы зависят от количества проходящих через его руки дел, он умудряется выискивать для своего принципала гораздо больше занятий по судейской части, чем хотел бы этого сам честный сквайр; на десять миль вокруг ни одна торговка яблоками не может произвести свой расчет с разносчиком, не представ пред лицо ленивого судьи и его проворного секретаря, мистера Джозефа Джобсона. Но самые смешные сцены происходят, когда разбирается дело с политической окраской, вроде нашего сегодняшнего случая. Мистер Джозеф Джобсон (имея к тому, несомненно, свои особые, очень веские причины) является ревностным поборником протестантской религии и ярым сторонником новейших государственных и церковных установлений. А принципал его, сохраняя подсознательную приверженность к тем политическим убеждениям, которые он открыто исповедовал, пока не отступился от них в патриотических целях охраны законов, направленных против неправомочных истребителей болотной птицы, зайцев, глухарей, куропаток и рябчиков, чувствует себя крайне неловко, когда судейское рвение его помощника втягивает его в процессы против недавних единоверцев; и, вместо того чтобы поддержать это рвение, он норовит противопоставить ему удвоенную дозу снисходительности и потворства. И его бездеятельность происходит вовсе не от тупости. Напротив, для человека, главные радости которого состоят в еде и питье, сквайр Инглвуд — бодрый, веселый и живой старик. Но тем забавней выглядит его напускная вялость. В таких случаях Джобсон бывает похож на заезженного рысака, принужденного тянуть перегруженную телегу: он пыхтит, сопит и брызжет слюной, силясь дать движение правосудию; но хотя колеса со стоном и скрипом и вертятся понемногу, слишком тяжелая поклажа воза делает тщетными старания добросовестной лошадки и не дает ей пуститься быстрой рысью. Мало того — от злополучного коняги, как мне говорили, можно услышать жалобу, что та самая колесница правосудия, которую иногда так трудно бывает сдвинуть с места, при других обстоятельствах, когда представляется случай услужить старым друзьям сквайра Инглвуда, может по собственному почину быстро катиться под гору и тянуть за собою коня, сколько бы тот ни упирался. И тогда мистер Джобсон заводит разговоры в том смысле, что он-де донес бы на своего принципала министру внутренних дел, если б не питал высокого уважения и дружеских

чувств к мистеру Инглвуду и его семье.

Когда мисс Вернон закончила свой причудливый очерк, нашим взорам представился Инглвуд-плейс, красивое, хотя и старомодное строение, всем своим видом говорившее о родовитости владельца.

ГЛАВА VIII

«По чести, — молвил адвокат, -
Обида ваша просто клад!
Из гордых гордому пристало бы
Явиться в суд с подобной жалобой!»
Батлер

Во дворе принял у нас лошадей ливрейный слуга сэра Гилдебранда, и мы вошли в дом. Я был поражен, а моя прелестная спутница еще того больше, когда в прихожей мы увидели Рэшли Осбалдистона, который тоже не скрыл своего удивления при встрече с нами.

— Рэшли, — сказала мисс Вернон, не дав ему времени задать вопрос,

— вы услышали о деле мистера Фрэнсиса Осбалдистона и переговорили о нем с судьей?

— Разумеется, — спокойно сказал Рэшли, — для того я сюда и приехал. Я старался, — добавил он с поклоном в мою сторону, — сослужить кузену посильную службу. Но я огорчен, что вижу его здесь.

— Как другу и родственнику, мистер Осбалдистон, вам уместней было бы огорчиться, встретив меня где-нибудь еще в такой час, когда позорное обвинение требовало от меня спешно явиться сюда.

— Правильно. Но, судя по тому, что мы услышали от отца, вам, полагал я, неплохо бы удалиться на время в Шотландию, покуда здесь полегоньку замнут это дело…

Я ответил с жаром, что не вижу оснований для мер предосторожности и не хочу ничего заминать; напротив, я сюда явился требовать опровержения гнусной клеветы и решил разоблачить ее.

— Мистер Фрэнсис Осбалдистон невиновен, Рэшли, — сказала мисс Вернон, — он требует расследования по возведенному на него обвинению. И я намерена его поддержать.

— В самом деле, прелестная кузина? Но, мне думается, мистеру Фрэнсису Осбалдистону мое присутствие окажет не меньшую помощь, чем ваше, и оно будет более совместимо с приличием.

— О, несомненно! Но ум хорошо, а два, как вы знаете, лучше.

— В особенности такой ум, как ваш, моя прелестная Ди, — сказал Рэшли и, подойдя, взял ее за руку с ласковой фамильярностью; и в эту минуту он показался мне во сто раз безобразнее, чем его создала природа.

Но мисс Вернон отвела его в сторону. Они совещались вполголоса, и она, по-видимому, настаивала на каком-то требовании, на которое он не хотел или не мог согласиться. Никогда не видал я столь резкой противоположности в выражении двух лиц. Серьезность на лице мисс Вернон сменилась негодованием, глаза и щеки ее пылали; она стиснула маленький свой кулачок и, постукивая об пол крохотной ножкой, казалось, слушала с презрением и гневом оправдательные доводы Рэшли, которые, как я заключил по его любезно-снисходительному тону, по его спокойной и почтительной улыбке, по наклону его тела скорее вбок, чем вперед, и по другим внешним признакам, собеседник слагал к ее стопам. Наконец она отпрянула от него со словами: «Я так хочу».

— Это не в моей власти. Нет никакой возможности… Как вам это нравится, мистер Осбалдистон? — обратился он ко мне.

— С ума вы сошли? — перебила она его.

— Как вам это нравится! — продолжал он, не обратив внимания на ее слова. — Мисс Вернон уверена в том, что мне не только известна ваша невиновность (в которой действительно никто не может быть сильнее убежден, чем я), но что я должен также знать, кто

на самом деле совершил ограбление — конечно, если оно и впрямь имело место. Ну есть ли в этом здравый смысл, мистер Осбалдистон?

— Ваше обращение к мистеру Осбалдистону недопустимо, Рэшли, — сказала молодая леди, — он не знает, как знаю я, насколько широко простирается ваша осведомленность во всем и как она точна.

— Скажу как джентльмен: вы мне оказываете больше чести, чем я заслуживаю.

— Не чести, только справедливости, Рэшли, и только справедливости я жду от вас.

— Вы деспот, Диана, — ответил он со вздохом, — своенравный деспот, и управляете вашими друзьями железной рукой. Приходится подчиниться вашему желанию. Но вам не следовало бы оставаться здесь, вы это знаете. Лучше бы вам уехать со мной.

Потом, отвернувшись от Дианы, которая стояла словно в нерешительности, он подошел ко мне с самым дружественным видом и сказал:

— Не сомневайтесь в моем участии к вам, мистер Осбалдистон. Если я покидаю вас в этот час, то лишь затем, чтобы действовать в ваших же интересах. Но вы должны оказать свое влияние и убедить нашу кузину вернуться домой: ее присутствие вам не сослужит службы, а ей навредит.

— Уверяю вас, сэр, — был мой ответ, — я в этом убежден не менее, чем вы. Я уговаривал мисс Вернон возвратиться со всею настоятельностью, какую она могла мне позволить.

— Я все обдумала, — сказала, помолчав, мисс Вернон, — и я не уеду, пока не увижу вас освобожденным из рук филистимлян. У кузена Рэшли, я не сомневаюсь, добрые намерения, но мы с ним хорошо друг друга знаем. Рэшли, я не поеду. Я знаю, — добавила она более мягким тоном, — если я останусь здесь, это будет для вас лишним основанием действовать быстро и энергично.

— Что ж, оставайтесь, безрассудная упрямица, — сказал Рэшли. — Вы знаете слишком хорошо, на кого положились.

Он поспешил удалиться из прихожей, и минутой позже мы услышали частый стук копыт.

— Слава Богу, ускакал! — сказала Диана. — А теперь идем, разыщем судью.

— Не лучше ли позвать слугу?

— О, ни в коем случае. Я знаю, как пройти в его берлогу. Мы должны нагрянуть неожиданно. Идите за мной.

Я послушно последовал за нею. Она вбежала по ступенькам темной лестницы, прошла сквозь полумрак коридора и вступила в приемную или нечто в этом роде, сплошь завешенную старыми картами, архитектурными чертежами и изображениями родословного древа. Две двустворчатые двери вели в приемную мистера Инглвуда, откуда доносилась обрывками старинная песенка, исполняемая кем-то, кто в свое время, вероятно, неплохо певал за бутылкой вина веселые куплеты:

О, Скриптон-ин-Кравен
Не тихая гавань, -
Он сведался с бурей суровой.
Кто красотке в ответ
Скажет глупое «нет»,
Пусть галстук наденет пеньковый!

— Вот те и на! — сказала мисс Вернон. — Веселый судья, видно, уже отобедал. Я не думала, что так поздно.

Она не ошиблась. Так как судебные разбирательства разожгли у него аппетит, мистер Инглвуд назначил обед раньше положенного времени и сел за стол в двенадцать, а не в час, как было принято в то время по всей Англии. Разнообразные происшествия этого утра задержали нас, и мы прибыли в Инглвуд-плейс несколько позже этого часа, самого важного,

по мнению судьи, из всех двадцати четырех, и он не преминул использовать свободное время.

— Постойте здесь, — сказала Диана. — Я знаю дом и пойду позову кого-нибудь из слуг: если вы войдете неожиданно, старик, чего доброго, подавится с перепугу.

И она убежала, оставив меня в нерешительности — двинуться ли мне вперед или отступить. Я не мог не слышать урывками того, что говорилось в столовой, в частности неловкие отказы гостя петь, произносимые скрипучим голосом, который показался мне не совсем незнакомым.

— Не хотите петь, сэр? Матерь Божья! Но вы должны. Как! Вы у меня выхлестали бокал мадеры — полный бокал из кокосового ореха в серебряной оправе, а теперь говорите, что не можете петь! Сэр, от моей мадеры запела бы и кошка, даже заговорила бы. Живо! Заводите веселый куплет — или выметайтесь за порог. Вы, кажется, вообразили, что вправе занять все мое драгоценное время своими проклятыми кляузами, а потом заявить, что не можете петь?

— Ваше превосходительство совершенно правы, — сказал другой голос, который, судя по звучавшей в нем дерзкой и самодовольной нотке, мог принадлежать секретарю, — истец должен подчиниться решению суда: на его лбу рукою судьи начертано: «Canet». *note 36*

— Значит, баста, — сказал судья, — или, клянусь святым Кристофером, вы у меня выпьете полный бокал соленой воды, как предусмотрено на подобный случай особой статьей закона.

Сдавшись на уговоры и угрозы, мой бывший попутчик — я больше не мог сомневаться, что он и был истец, — поднялся и голосом преступника, поющего на эшафоте свой последний псалом, затянул скорбную песню. Я услышал:

О добрые люди — вниманья на час!
Прошу вас послушать правдивый рассказ
О разбойнике грозном, который
Грабил путников всех без разбору
И свистал: фудль-ду, фа-людль-лю!
И этот висельник лихой,
Со шпагой в руке, с пистолетом — в другой,
Меж Брендфордом и Кенсингтоном однажды
К честным шести подошел отважно,
Засвистал: фудль-ду, фа-людль-лю!
А честные в Брендфорде плотно поели
Да выпили каждый по пинте эля.
Со словом, какое повторит не всякий,
Вор кричит: «Кошелек или жизнь, собаки!»
И свистит: фудль-ду, фа-людль-лю!

Едва ли честные путники, о чьем несчастье повествует эта жалобная песня, больше испугались при виде дерзкого вора, чем певец при моем появлении: ибо, наскучив ждать, пока обо мне кто-нибудь доложит, и полагая не совсем для себя удобным стоять и подслушивать у дверей, я вошел в комнату и предстал пред ним как раз в то мгновение, когда мой приятель, мистер Моррис (так он, кажется, прозывался) приступил к пятой строфе своей скорбной баллады. Голос его задрожал и оборвался на высокой ноте, с которой начинался мотив, когда исполнитель увидел прямо перед собой человека, которого он считал чуть не столь же подозрительным, как и героя своей баллады, и он замолчал, разинув рот, точно я держал перед ним в руке голову Горгоны.

Мистер Инглвуд, смеживший было веки под усыпляющее журчание песни, заерзал на стуле, когда она внезапно оборвалась, и в недоумении глядел на незнакомца, неожиданно

Note36

Пусть поет (лат.).

присоединившегося к их обществу, покуда дремало бдительное око судьи. Секретарь — или тот, кого я принимал за него по наружности, — также утратил спокойствие; он сидел напротив мистера Морриса, и ужас честного джентльмена передался ему, хоть он и не знал, в чем дело.

Я прервал молчание, водворившееся при моем появлении:

— Мистер Инглвуд, меня зовут Фрэнсис Осбалдистон. Мне стало известно, что какой-то негодяй возбудил против меня обвинение в связи с потерей, которую он якобы понес.

— Сэр, — сказал сварливо судья, — в такие дела я после обеда не вхожу. Всему свое время, и мировому судье так же нужно поесть, как и всякому другому человеку.

Гладкое лицо мистера Инглвуда и впрямь показывало, что он отнюдь не изнуряет себя постами ни в судейском рвении, ни в религиозном.

— Прошу извинения, сэр, что являюсь в неурочный час, но затронуто мое доброе имя, а так как вы, по-видимому, уже отобедали…

— Отобедал, сэр, но это еще не все, — возразил судья. — Наравне с едой необходимо хорошее пищеварение, и я заявляю, что пища не пойдет мне впрок, если мне после плотного обеда не дадут мирно посидеть часа два за веселой беседой и бутылкой вина.

— Извините, ваша честь, — сказал мистер Джобсон, успевший за этот короткий срок, пока длился наш разговор, принести чернильницу и очинить перо, — поскольку дело идет о тяжком преступлении и джентльмену, видимо, не терпится, лицо, обвиненное в действиях contra pacem domini regis… *note 37*

— К черту доминия регис! — сказал с раздражением судья. — Надеюсь, эти слова не составляют государственной измены? Но, право, можно взбеситься, когда тебя так донимают! Дадут ли мне отдохнуть хоть минуту от арестов, приказов, обвинительных актов, порук, заключений, дознаний? Заявляю вам, мистер Джобсон, что я не сегодня, так завтра пошлю к дьяволу и вас и звание судьи!

— Ваша честь, несомненно, вспомнит, каким достоинством облечена эта должность, должность одного из quorum *note 38* и custos rotulorom *note 39*, о которой сэр Эдвард Кок мудро сказал: «Весь христианский мир не имеет ей подобной, а потому да исполняется она добросовестно».

— Ладно! — сказал судья, несколько успокоенный этим панегириком своему званию, и утопил остаток недовольства в огромном кубке вина. — Приступим к разбирательству и постараемся поскорее свалить дело с плеч. Скажите нам, сэр, — вы, Моррис, вы, рыцарь печального образа, — скажите, признаете ли вы в мистере Фрэнсисе Осбалдистоне того джентльмена, на которого вы возводите обвинение как на соучастника грабежа?

— Я, сэр? — возразил Моррис, все еще не оправившийся от испуга. — Никакого обвинения я не возвожу. Я ничего не могу сказать против джентльмена.

— Тогда мы прекращаем обсуждение вашей жалобы, сэр, и делу конец. Без хлопот. Подвиньте-ка бутылку. Угощайтесь, мистер Осбалдистон!

Джобсон, однако, решил, что Моррис так легко не отвертится.

— Как же так, мистер Моррис! Тут у меня ваше собственное заявление, чернила еще не просохли, а вы позорно берете его назад!

— Почем я знаю, — дрожащим голосом пробормотал обвинитель, — сколько еще негодяев укрывается в сенях и готово ему помочь? Я читал о таких случаях у Джонсона в «Жизнеописаниях разбойников». Того и гляди раскроется дверь…

Дверь раскрылась, и вошла Диана Вернон.

Note37
Буквально: против спокойствия царствующего государя (лат.).

Note38
Буквально: тех, которые… (лат.); здесь представитель высшего общества.

Note39
страж закона (лат.).

— Хорошие у вас порядки, судья, — не видать и не слыхать ни одного слуги!

— А! — воскликнул судья, поднимаясь с несвойственной ему живостью, которая показывала, что в служении Фемиде и Комосу он не настолько отяжелел, чтобы забыть поклонение красоте. — Вот и она! Ди Вернон, нежный вереск Чевиота, цветок пограничного края, приходит поглядеть, как ведет свой дом старый холостяк? «Привет тебе, дева, как в мае цветам!»

— У вас прекрасный, открытый, гостеприимный дом, судья, но надо признать — посетитель напрасно стал бы здесь звать прислугу.

— Ах, подлецы! Все разбежались, сообразив, что часа два я их тревожить не буду. Жаль, что вы не пришли пораньше. Ваш двоюродный брат Рэшли отобедал со мной и сбежал, как трус, после первой бутылки. Но вы-то не обедали; сейчас распоряжусь, и нам мигом подадут чего-нибудь приятное для леди — что-нибудь легкое и нежное, как вы сами.

— Меня сейчас соблазнила бы и сухая корка, — ответила мисс Вернон,

— я сегодня в седле с раннего утра. Но я не могу долго у вас оставаться, судья. Я приехала сюда с моим кузеном, Фрэнком Осбалдистоном, которого вы видите здесь, и я должна проводить его обратно в замок, не то он заблудится в наших лощинах.

— Фью! Так вот откуда ветер! — сказал судья, -

Его провожала и путь указала -

Прямую тропу к сватовству…

Нам, старикам, не на что, значит, надеяться, моя нежная роза пустыни?

— Не на что, сквайр Инглвуд. Но если вы окажетесь добрым судьей, быстро разберете дело Фрэнка и отпустите нас домой, я на той неделе привезу к вам дядю, и вы, надеюсь, угостите нас отменным обедом.

— Не сомневайтесь, жемчужина Севера… По чести, моя девочка, я не завидую молодым людям, когда они несутся верхом сломя голову, но как увижу вас, тут меня разбирает зависть к ним. Так вы просите не задерживать вас? Я вполне удовлетворен объяснениями мистера Фрэнсиса Осбалдистона. Здесь просто недоразумение, которое мы разрешим как-нибудь на досуге.

— Простите, сэр, — сказал я, — но я еще не слышал, в чем сущность обвинения.

— Да, сэр, — подхватил секретарь, который при появлении мисс Вернон отчаялся чего-нибудь добиться, но сразу осмелел и приготовился к новому натиску, встретив поддержку с той стороны, откуда никак ее не ждал. — Вспомним слова Дальтона: «Если кто заподозрен в преступлении, он не должен быть освобожден по чьему бы то ни было заступничеству, но может только быть отпущен на поруки или же взят под стражу с уплатой секретарю мирового судьи установленной суммы в залог или же на иждивение».

Судья, припертый к стене, согласился наконец кратко объяснить мне суть дела.

Видимо, шутки, которые я разыгрывал с Моррисом, произвели на того сильное впечатление; я убедился, что он ссылается на них в своих показаниях против меня — со всеми преувеличениями, какие может подсказать распаленное воображение труса. Выяснилось, что в тот день, когда мы с ним расстались, его остановили в пустынном месте два вооруженных молодца в масках и на борзых конях и разлучили с его возлюбленным дорожным товарищем — чемоданом.

Один из нападавших, как ему показалось, напоминал меня видом и осанкой, а когда грабители шепотом переговаривались между собой, пострадавший слышал, как второй грабитель назвал первого Осбалдистоном. Далее в заявлении указывалось, что, наведя справки о нравах семьи, носящей это имя, он, истец, установил, что нравы эти самые предосудительные, ибо все поголовно члены семьи были со времен Вильгельма Завоевателя якобитами и папистами, — так сообщил ему священник-диссидент, в чьем доме он остановился после злополучной встречи.

По совокупности всех этих веских улик он обвинил меня в причастности к насилию, учиненному над ним, когда он, истец, ехал по особому правительственному поручению, имея при себе важные бумаги, а также крупную сумму наличными для выплаты некоторым лицам в

Шотландии, влиятельным и облеченным доверием правительства.

Выслушав это необычайное обвинение, я ответил, что доводы, на которых оно основано, отнюдь не дают права судебным или гражданским властям лишать меня свободы.

Я признал, что слегка запугивал мистера Морриса, когда мы ехали вместе, однако так невинно, что не возбудил бы никаких опасений в человеке менее трусливом и подозрительном. Но я добавил, что не видел его после того, как мы с ним разъехались, и если его действительно постигло то, чего он все время боялся, то я никоим образом не причастен к деянию, столь несообразному с моею честью и положением в обществе. Что одного из грабителей звали будто бы Осбалдистоном или что имя это было упомянуто в переговорах между ними — вздор, которому нельзя придавать значения. А что касается недоброжелательных отзывов о моей семье, то я готов, к удовлетворению судьи, секретаря и самого истца, доказать, что исповедую ту же религию, что и его друг, диссидентский пастор, воспитан в принципах революции как верноподданный короля и в качестве такового требую личной неприкосновенности и защиты закона, которую обеспечил англичанину великий переворот.

Судья заерзал, взял понюшку из табакерки и был, казалось, в сильном смущении, тогда как великий законник мистер Джобсон со всею своею профессиональной велеречивостью стал распространяться о статье тридцать четвертой статутов Эдуарда III, по которой мировой судья полномочен задержать и засадить в тюрьму всякого, против кого у него есть улики или подозрения. Негодяй умудрился даже обернуть против меня мои же показания, утверждая, что коль скоро я сам, по собственному моему заверению, принял обличье разбойника или злоумышленника, то я тем самым добровольно подверг себя подозрениям, на которые жалуюсь, и подвел себя под действие закона, «намеренно облачив свое поведение в цвета и одежды преступности».

Все его доводы и его судейский жаргон я отразил негодованием и насмешкой и добавил, что могу, если нужно, представить поручительство моих родных, которое судья не может отвести, не совершив тем самым правонарушения.

— Извините меня, мой добрый сэр, извините, — сказал несчастный секретарь, — перед нами тот случай, когда закон не допускает ни поручительства, ни залога: преступник, задержанный на основании тяжелых улик, по статье третьей статутов короля Эдуарда, не может быть отпущен на поруки, причем в законе сделана особая оговорка о лицах, обвиненных в грабеже, или в покушении на грабеж, или же в содействии таковому. Его милости, — добавил он, — следует помнить, что такие лица никак не могут быть освобождены ни по устному, ни по письменному поручительству.

В этом месте разговор был прерван появлением слуги, который вошел и передал мистеру Джобсону письмо. Едва пробежав его глазами, секретарь напустил на себя вид человека, который хочет показать, что досадует на помеху и сознает, какую ответственность налагают на него его многообразные обязанности, и воскликнул:

— Боже праведный! Этак у меня не будет времени блюсти ни общественные интересы, ни мои личные — не дают ни отдыху, ни сроку! От души хотел бы, чтобы в этих краях поселился еще один джентльмен нашей профессии!

— Боже упаси! — взмолился вполголоса судья. — Вполне довольно и одного из вашего племени.

— С разрешения вашей милости, здесь дело идет о жизни и смерти.

— Бог ты мой! Надеюсь, не судебное! — сказал встревоженный блюститель закона.

— Нет, нет, — ответил с важным видом мистер Джобсон. — Дедушка Рутледж из Граймз-хилла собирается отойти в лучший мир; он послал одного нарочного за доктором Кил-Дауном, чтобы тот взял его на поруки, а *note 40* другого — за мной, чтобы я уладил его земные дела.

Note40

Kill-Down — убей на месте (анг.).

— Ну что ж, поезжайте, — сказал торопливо мистер Инглвуд, — случай может оказаться из тех, когда закон поручительства не допускает, или обернется так, что смерть-судья сочтет лекаря неплатежеспособным и отклонит его поручительство.

— Но как же быть? — сказал Джобсон, обернувшись на полпути к дверям. — Ведь и здесь мое присутствие необходимо. Я могу сейчас же составить приказ об аресте, а констебль стоит внизу. Вы слышали, — добавил он, понижая голос, — мнение мистера Рэшли.

Остального, сказанного шепотом, я не разобрал.

Судья ответил громко:

— Нет, любезный, нет, мы подождем вашего возвращения — тут каких-нибудь четыре мили. Эй, дайте сюда бутылку, мистер Моррис! Не унывайте, мистер Осбалдистон. И вы, моя роза пустыни, — стаканчик легкого вина освежит румянец на ваших щеках.

Диана вздрогнула, очнувшись от задумчивости, в которую, казалось, была погружена, пока между нами шел этот спор.

— Нет, судья, боюсь, как бы румянец не перешел на другую часть лица, где вряд ли он послужит к украшению. Но я охотно выпью чего-нибудь прохладительного.

И, наполнив стакан водой, она торопливо сделала несколько глотков. Ее порывистые движения плохо вязались с напускной веселостью.

Мне, однако, было некогда наблюдать за ее поведением, так как я был слишком занят борьбою с новыми и новыми препятствиями к немедленному расследованию возведенного на меня позорного и наглого обвинения. Но судья не поддавался на уговоры разобрать дело до возвращения секретаря: отъезд Джобсона, видно, радовал его, как школьника праздник. Он упорно старался развеселить общество, хоть всем нам было не до веселья — мы были озабочены кто собственным своим делом, кто тревогой за другого.

— Полно, мистер Моррис, вас не первого ограбили и, верно, не последнего. И сколько теперь ни горюй, пропажу не вернешь. А вы, мистер Осбалдистон, тоже не первый сорванец, остановивший на дороге честного человека. В молодые дни был у меня друг-приятель Джек Уинтерфилд, лучший в мире товарищ: скачки ли, петушиный ли бой — он тут как тут; нас, бывало, водой не разольешь. Подвиньте бутылку, мистер Моррис, всухую не поговоришь. Много чарок вина опрокинули мы с бедным Джеком, много ставили ставок на боевых петухов. Был он из хорошей семьи… острослов… умница, и честнейший был человек, даром что помер такой смертью! Выпьем в его память, джентльмены. Бедный Джек Уинтерфилд! А раз уж мы заговорили о нем и о таких вещах, — благо этот окаянный секретарь отправился рыскать по собственным нуждам и мы сидим уютно в своей теплой компании, — скажу вам, мистер Осбалдистон: послушайте моего совета и прекратите такие дела. Закон суров, очень суров. Бедного Джека Уинтерфилда повесили в Йорке, невзирая на все его родственные связи и всяческие хлопоты, а всего лишь за то, что он отобрал у одного жирного прасола из западной стороны выручку за двух-трех быков. Вы уже видели, честный мистер Моррис испугался до полусмерти, и все такое… Довольно, черт возьми! Верните бедняге его чемодан и кончайте шутку.

У Морриса сразу посветлели глаза, и он, запинаясь, начал уверять, что не жаждет ничьей крови, когда я пресек для него всякую надежду на полюбовную сделку, объявив, что я оскорблен предложением судьи, который, очевидно, считает меня виновным, тогда как меня привело в его дом намерение опровергнуть клевету. В эту неловкую для всех минуту отворилась дверь, и слуга сказал:

— Вашу честь дожидается неизвестный джентльмен.

Тот, о ком он так доложил, без долгих церемоний вошел в комнату.

ГЛАВА IX

Вор крадется назад! Поближе стану.
Здесь, возле дома, не посмеет он
Меня обидеть, — а кричать не стоит,

Покуда он не покушался.
«Вдова»

— Неизвестный? — отозвался судья. — Надеюсь, не по делу, потому что я сейчас…

Но гость его перебил.

— Дело мое довольно беспокойное и щекотливое, — сказал мой старый знакомец Кэмбел, ибо это был он, тот самый шотландец, с которым я встретился в Норталлертоне, — и я прошу вашу честь немедленно и внимательно его разобрать. Полагаю, мистер Моррис, — добавил он, остановив на моем обвинителе необычайно твердый, почти свирепый взгляд, — полагаю, вы превосходно знаете, кто я такой; вы, полагаю, не забыли, что произошло при нашей последней встрече на дороге?

Лицо у Морриса вытянулось, стало белым, как сало, зубы его стучали, весь его вид говорил о крайнем испуге.

— Бросьте праздновать труса, любезный, — сказал Кэмбел, — не щелкайте вы зубами, точно кастаньетами! Для вас, я думаю, не составит большого труда сказать господину судье, что вы встречались со мною раньше и знаете меня за человека состоятельного и почтенного. Вы отлично знаете, что вам предстоит прожить некоторое время по соседству со мной, и там у меня будет возможность и желание оказать вам ту же услугу.

— Сэр… сэр… я считаю вас почтенным человеком и, как вы говорите, состоятельным… Да, мистер Инглвуд, — добавил он кашлянув,

— я в самом деле так думаю об этом джентльмене.

— А мне какое дело до этого джентльмена? — раздраженно ответил судья. — Один приводит за собой другого, точно рифмы в «Доме, который построил Джек», а мне не дают ни отдохнуть, ни с друзьями побеседовать.

— Скоро мы вам дадим отдохнуть и побеседовать, сэр, — сказал Кэмбел. — Я пришел избавить вас от одного хлопотного дела, а не утруждать вас новым.

— Вот как! В таком случае вы здесь желанный гость, каким не часто бывает шотландец в Англии. Но не будем мешкать! Послушаем, что вы можете нам сообщить.

— Надеюсь, этот джентльмен, — продолжал шотландец, — говорил вам, что ехал в компании с человеком по имени Кэмбел, когда имел несчастье потерять свой чемодан?

— Он ни разу не упомянул в своих показаниях этого имени, — сказал судья.

— Ага! Понимаю, понимаю, — подхватил Кэмбел. — Мистер Моррис по своей деликатности остерегся втягивать чужестранца в судебный процесс на английской земле; но я отбросил всякую осторожность, когда узнал, что мое свидетельство необходимо, чтобы оправдать тут одного честного джентльмена, Фрэнсиса Осбалдистона, на которого пало ложное подозрение. А потому, — добавил он строго, остановив на Моррисе тот же твердый взгляд, — не будете ли вы любезны подтвердить судье Инглвуду, что мы действительно в нашем путешествии проехали вместе несколько миль по собственной вашей настойчивой просьбе, которую вы повторяли снова и снова в тот вечер, когда мы стояли в Норталлертоне, и что я вашу просьбу сперва отклонил, но позже, когда я вас нагнал на дороге близ Клоберри Аллерз, я сдался на ваши уговоры и, отказавшись от намерения продолжать путь на Ротбери, согласился, на свое несчастье, поехать с вами дальше, куда вам было нужно.

— Как ни печально, это правда, — отозвался Моррис, не поднимая головы, которую держал склоненной в знак покорного подтверждения всех фактов, подсказываемых ему Кэмбелом в этом длинном наводящем вопросе.

— Полагаю, вы можете также клятвенно подтвердить перед его милостью, что я наилучший свидетель по вашему делу, так как неотступно держался рядом с вами или близко от вас во время всего происшествия.

— Наилучший свидетель, несомненно, — сказал Моррис с глубоким и тяжелым вздохом.

— Если так, почему же, черт возьми, вы ему не помогли? — спросил судья. — Ведь разбойников, по словам мистера Морриса, было только двое. Вас было, значит, двое против

двоих, и оба вы крепкие молодцы.

— Сэр, позвольте мне заметить вашей милости, — сказал Кэмбел, — что я всю свою жизнь отличался тихим, миролюбивым нравом, никогда не вмешивался в ссоры и драки. Вот мистер Моррис, который, как я догадываюсь, состоит или состоял в армии его величества, мог бы с полным для себя удовольствием оказать сопротивление грабителям, тем более что ехал он, как я опять-таки догадываюсь, с крупными деньгами; а я — мне нечего было особенно защищать, и как человек мирных занятий я не хотел подвергаться риску в этом деле.

Я поглядел на Кэмбела. Думается, никогда не доводилось мне видеть такого, как у него, разительного несоответствия между словами и выражением лица, когда, с твердой, дерзкой суровостью в резких чертах, он заговорил о своем миролюбии. Легкая ироническая улыбка играла в углах его рта, помимо воли выражая как будто тайное презрение к человеку мирного нрава, за какого он счел уместным себя выдавать, и улыбка эта наводила на странную мысль, что он был причастен к ограблению Морриса отнюдь не как пострадавший вместе с ним попутчик и даже не как зритель.

Может быть, то же подозрение мелькнуло и у судьи, потому что у него вырвалось восклицание:

— Ну и ну! Странная, однако, история!

Шотландец, видно, разгадал его мысли — он скинул маску лицемерного простодушия, под которой таилось нечто подозрительное, и заговорил более откровенным и непринужденным тоном:

— Сказать по правде, я принадлежу к тем благоразумным людям, которые не прочь и подраться, если есть за что; когда же на нас напали эти мерзавцы, драться мне было не из-за чего. Но чтоб ваша милость удостоверилась, что я человек доброго имени и нрава, я попрошу вас взглянуть на это свидетельство.

Мистер Инглвуд взял у него из рук бумагу и прочитал вполголоса:

— «Настоящим удостоверяется, что предъявитель сего, Роберт Кэмбел из… (из какого-то места, которого мне не выговорить, — вставил судья), человек хорошего происхождения и мирного поведения, отправляется в Англию по личным делам…» — и так далее, и так далее. «Дано сие за нашей собственноручной подписью в нашем замке Инвер… Инвера… рара… Аргайл».

— На всякий случай я счел нужным получить это свидетельство достойного вельможи (здесь он поднял руку, словно прикладывая ее к полям шляпы) — Мак-Каллумора.

— Мак-Каллум… кого, сэр? — переспросил судья.

— У того, кого южане зовут герцогом Аргайлом.

— Я очень хорошо знаю, что герцог Аргайл знатный и доблестный дворянин и горячо любит свою родину. Я был в числе тех, кто держал его сторону в тысяча семьсот четырнадцатом году *note 41*, когда он выбил из седла герцога Марлборо и занял пост главнокомандующего. Побольше бы таких, как он, среди нашей знати! В те дни он был честным тори, другом и соратником Ормонда. А к нынешнему правительству он пошел на службу, как и я, ради мира и спокойствия в своей стране; ибо я не допускаю мысли, что великим человеком руководила, как утверждают иные горячие головы, боязнь лишиться своих земель и полка. Его свидетельства, как вы это называете, мистер Кэмбел, вполне для меня достаточно. Что же вы можете сказать по поводу ограбления мистера Морриса?

— С вашего разрешения, сэр, скажу кратко, что мистер Моррис с тем же основанием мог бы обвинить еще не родившегося на свет младенца или даже меня самого, как обвинил он этого молодого джентльмена, мистера Осбалдистона. Я свидетельствую, что разбойник, которого он принял за него, был не только меньше его ростом и толще его, но в чертах лица,

---

Note41

Анахронизм или просто описка: Джон Аргайл (один из членов шотландского феодального рода Кэмбелов) занял пост главнокомандующего шотландской армии в 1712, а не в 1714 году. Ошибка тем явственней, что действие настоящего романа развивается в 1714-1715 годах (Прим. автора.)

ибо я успел разглядеть его лицо, когда у него съехала маска… словом, он не имел ничего общего с мистером Осбалдистоном. И я полагаю, — добавил он с непринужденным, но строгим видом, повернувшись к мистеру Моррису, — джентльмен согласится, что я лучше его мог разглядеть участников происшествия, так как из нас двоих я, думается мне, сохранил больше хладнокровия.

— Согласен, сэр, вполне с вами согласен, — сказал Моррис, подавшись назад, в то время как Кэмбел, как бы в подтверждение своих слов, стал надвигаться на него вместе со стулом. — И я готов, сэр, — добавил он, обращаясь к мистеру Инглвуду, — взять назад свои показания касательно мистера Осбалдистона. Я прошу вас, разрешите ему, сэр, отправиться по его делам, а мне — по моим. У вашей милости есть, верно, дело к мистеру Кэмбелу, а я тороплюсь.

— Значит, направим ваше заявление куда следует, — сказал судья и швырнул бумагу в огонь. — Вы свободны, мистер Осбалдистон. И вы, мистер Моррис, надеюсь, вполне довольны?

— Еще бы! — сказал Кэмбел, не сводя глаз с Морриса, который уныло улыбался судье. — Доволен, как жаба под бороной. Но не бойтесь ничего, мистер Моррис, мы с вами выйдем вместе. Я хочу проводить вас до большой дороги, чтобы с вами не стряслось беды. (Надеюсь, вы верите, что я вам это говорю как честный человек?) А там мы с вами расстанемся, и если мы не встретимся добрыми друзьями в Шотландии, это будет не по вашей вине.

Медленно озираясь исполненным ужаса взглядом, как осужденный на казнь преступник, когда ему сообщают, что его ждет повозка, Моррис стал подниматься. Но, встав, все-таки, видно, поддался сомнению.

— Говорят тебе, голубчик, не бойся, — повторил Кэмбел. — Я сдержу слово. Эх, овечья душа! Будто не знаешь: надо слушаться доброго совета, иначе мы никогда не нападем на след твоего чемодана. Лошади наши готовы. Попрощайся с судьей, любезный, покажи свое южное воспитание.

Ободряемый таким образом, Моррис откланялся и вышел в сопровождении мистера Кэмбела. Но он еще не оставил дом, как им, по-видимому, овладели новые сомнения и страхи, ибо я слышал, как Кэмбел повторял в прихожей свои уверения и увещания: «Клянусь спасением моей души, ты можешь быть спокоен, как на огороде у своего папаши. Тьфу! У этого детины с черной бородой сердце точно у куропатки! Идем, парень! Ну, собрались с духом и пошли!»

Голоса замерли на лестнице, и вскоре стук копыт возвестил нам, что Моррис с шотландцем оставили резиденцию судьи.

Радость мистера Инглвуда по поводу благополучного окончания дела, сулившего блюстителю законов некоторые хлопоты, омрачалась мыслью о том, как посмотрит на такое разрешение вопроса его секретарь, когда вернется.

— Насядет на меня теперь Джобсон из-за этих окаянных бумаг! Мне, пожалуй, не следовало их уничтожать. А, к черту! Уплатим ему «судебные издержки», и он угомонится. А теперь, мисс Ди Вернон, всех я освободил, а вас не отпущу: сейчас мы подпишем приказ и сдадим вас на этот вечер под стражу матушке Блейкс, моей старой ключнице, и мы пошлем за моей соседкой Масгрейв, и за мисс Докинс, и за вашими двоюродными братьями, и позовем старого Кобза, скрипача; а мы с Фрэнком Осбалдистоном разопьем бутылочку и через полчаса составим вам приличную компанию.

— Искренне вас благодарим, — возразила мисс Вернон, — но мы, к сожалению, должны спешить назад, в Осбалдистон-холл, где никто не знает, что с нами сталось. Надо успокоить дядю относительно Фрэнка, о котором он тревожится не меньше, чем если бы дело шло о любом из его сыновей.

— Охотно верю, — сказал судья. — Когда его старшего сына Арчи постиг дурной конец в злополучном деле сэра Джона Фенвика, старый Гилдебранд выкликал его, бывало, по имени наравне с остальными шестью, а потом жаловался, что вечно забывает, которого из его сыновей повесили. Так что, правда, раз уж вам нужно ехать — спешите домой и успокойте его

отеческую тревогу. Но слушай, мой Дикий Вереск, — сказал он тоном благодушного предостережения и за руку притянул мисс Вернон к себе поближе, — в другой раз предоставь закону идти своим путем и не суй свой изящный пальчик в его старое, прокисшее тесто, в которое накрошена всякая тарабарщина, французская и латинская. И пускай уж, Ди, моя красавица, пускай молодцы показывают друг другу дорогу в болотах, а то еще ты сама собьешься с пути, провожая их, мой прелестный Блуждающий Огонек.

Сделав это предостережение, он пожелал мисс Вернон всего хорошего и столь же любезно распростился со мною:

— Ты, мне кажется, хороший юноша, мистер Фрэнк. Я помню также твоего отца — мы с ним были школьные товарищи. Слушай, дружок, не рыскай ты поздно ночью и не болтай со случайным проезжим на королевской дороге. Помни, друг мой: не каждый верноподданный короля обязан понимать дурачества, и преступление — плохой предмет для шутки. А тут еще бедная Ди Вернон! Она, можно сказать, брошена одна среди мирского простора — скачи, лети куда хочешь, куда влечет тебя безрассудная воля. Ты не обидишь Ди, или, честное слово, для такого случая я тряхну стариной и сам выйду драться с тобою, хотя, признаюсь, нелегко мне будет раскачаться. Ну, отправляйтесь с Богом, а я закурю трубку и предамся размышлениям. Вспомним, как в песне поется:

Индийский лист за миг истлеет;
Так сила в мышцах ослабеет,
Так молодость сгорит дотла.
И ляжет старость, как зола.
Куря табак, об этом помышляй!

Обрадованный проблеском чувства и разума у судьи, казалось, облениившегося и привыкшего потакать всем своим слабостям, я обещал не забывать его предостережения и дружески распрощался с честным блюстителем закона и его гостеприимным домом.

В приемной для нас была приготовлена еда, но мы только слегка перекусили; а во дворе нам вышел навстречу тот самый слуга сэра Гилдебранда, который раньше принял у нас лошадей; его, как сообщил он мисс Вернон, прислал мистер Рэшли, наказав подождать нас и проводить до дому. Мы ехали некоторое время молча. Сказать по правде, я был так ошеломлен событиями этого дня, что не решался первый прервать молчание. Наконец мисс Вернон заговорила, как будто высказывая вслух свои мысли:

— Да, Рэшли может внушать страх, удивление — что угодно, только не любовь. Он делает что пожелает и превращает всех в своих марионеток. Есть у него актеры, готовые исполнить любую роль, какую он для них придумает, есть изобретательность и присутствие духа, благодаря которым он находит выход в самых трудных положениях.

— Значит, вы думаете, — сказал я, отвечая скорее на ее мысль, чем на высказанные слова, — что мистер Кэмбел, явившийся так удивительно кстати и унесший моего обвинителя, как сокол куропатку, был агентом мистера Рэшли Осбалдистона?

— Так я предполагаю, — ответила Диана. — Мало того — я сильно подозреваю, что едва ли ваш сокол прилетел бы вовремя, если бы я не встретила случайно Рэшли в прихожей судьи.

— В таком случае я обязан благодарностью главным образом вам, моя прелестная покровительница?

— Да, пожалуй, — был ответ Дианы. — И прошу вас, считайте, что вы уже принесли мне свою благодарность и я ее приняла с благосклонной улыбкой, потому что не люблю выслушивать всерьез докучные слова и, чего доброго, отвечу зевком, а не пристойными случаю любезностями. Словом, мистер Фрэнк, я захотела вам помочь, и, к счастью, это оказалось в моих силах; и со своей стороны я прошу вас об одной только милости — больше об этом не вспоминать. Но кто ж это едет нам навстречу?

Летит, румянцем огненным горя,
В коня кровавые вонзая шпоры!

Неужели сам усерднейший служитель закона? Не кто иной, как мистер Джозеф Джобсон?

Так и оказалось: навстречу нам скакал в отчаянной спешке и, как тотчас выяснилось, в крайне дурном расположении духа мистер Джозеф Джобсон. Он подлетел к нам и осадил коня, когда мы уже хотели с легким поклоном проскакать мимо.

— Так, сэр, мисс Вернон… Гм! Гм! Вижу, вижу, — поручительство принято в мое отсутствие. Понимаю. Но я хотел бы знать, кто составил бумагу, только и всего. Если его милость намерен часто прибегать к такой форме судопроизводства, советую ему подыскать другого секретаря, потому что я, разумеется, подам в отставку.

— Но разве нет другого выхода, мистер Джобсон? — сказала Диана. — Судья мог бы предложить своему теперешнему секретарю не отлучаться ни на час. Кстати, мистер Джобсон, как вы нашли фермера Рутледжа? Надеюсь, он был в силах подписаться, приложить печать и передать вам завещание из рук в руки?

Этот вопрос, казалось, еще больше разжег бешенство законника. Он глядел на мисс Вернон с таким возмущением, с такой злобой, что я чуть не поддался искушению ударом хлыста выбить его из седла, и только мысль о его ничтожестве удержала меня.

— Фермер Рутледж, сударыня? — отозвался служитель закона, как только негодование позволило ему издать членораздельные звуки. — Фермер Рутледж находится в столь же добром здравии, как и вы. Его болезнь, сударыня, — обман, сплошной обман и подвох; и если вы не знали этого раньше, так знайте теперь.

— Вот тебе и на! — отозвалась мисс Вернон с видом крайнего и простодушного изумления. — Нет, вы шутите, мистер Джобсон!

— Отнюдь не шучу, сударыня, — возразил разгневанный писец, — мало того: доложу вам, что этот жалкий старый дуралей обозвал меня кляузником — кляузником, сударыня! — и сказал, что я пришел вынюхивать работу, сударыня, когда я имею не больше оснований выслушивать о себе такие вещи, сударыня, чем всякий другой джентльмен моей профессии, особенно ежели вспомнить, что я секретарь мирового суда и утвержден в этой должности согласно Trigesimo Septimo Henrici Octavi, а также Primo Gulielmi *note 42* — по первой статье статутов короля Вильгельма, сударыня, вечной памяти короля Вильгельма, бессмертного нашего избавителя от папистов и лженаследников, от деревянных башмаков и грелок, мисс Вернон.

— Да, скучная штука — деревянные башмаки, а грелка еще того скучнее, — ответила девушка, которой явно доставляло удовольствие распалять его ярость. — Приятно, что вы сейчас, по-видимому, не нуждаетесь в грелке, мистер Джобсон. Боюсь, дедушка Рутледж в своей неучтивости не ограничился руганью. Вы уверены, что он вас не побил?

— Побил, сударыня? Никто, — вскричал он запальчиво, — никто на свете меня не побьет, смею вас уверить, сударыня!

— Бьют, сэр, по заслугам, — сказал я, — ваша манера разговаривать с молодою леди так непристойна, что, если вы не измените тона, я не поленюсь собственноручно вас проучить!

— Проучить, сэр? .. И кого — меня, сэр? Вы знаете, кому вы это говорите, сэр?

— Да, сэр, — ответил я. — По вашим словам, вы секретарь здешнего мирового суда, а по разъяснению дедушки Рутледжа — кляузник. Ни то, ни другое не дает вам права дерзить молодой и знатной леди.

Мисс Вернон, положив руку мне на плечо, воскликнула:

— Оставьте, мистер Осбалдистон, я не допущу избиения мистера Джобсона. Я не настолько к нему благосклонна, чтоб разрешать вам коснуться его особы хотя бы кончиком

Note42

Тридцать седьмому параграфу статутов Генриха VIII и первому — Вильгельма (лат.).

хлыста: он на это ведь жил бы по крайней мере три месяца. К тому же вы и так достаточно задели его самолюбие — вы его назвали дерзким.

— Я не придаю значения его словам, мисс, — сказал секретарь, немного присмирев. — К тому же, «дерзкий» такое слово, за которое едва ли можно привлечь к ответу. Но «кляузник» — это злейшая клевета, и старик Рутледж поплатится за нее, как и все те, кто злорадно ее повторяет, нарушая тем самым общественное спокойствие, а лично меня лишая доброго имени.

— Не тревожьтесь, мистер Джобсон, — сказала мисс Вернон, — вы же знаете: где нет улик, там, как признает ваш собственный закон, сам король бессилен. Что же касается вашего доброго имени — право, я от всей души желаю вам счастья его утратить и жалею того бедняка, которому оно достанется в добычу.

— Превосходно, сударыня… пожелаю вам доброго вечера, сударыня, больше мне вам нечего сказать — разве только, что есть законы против папистов и что было бы хорошо для Англии, если б они строже соблюдались. Есть третье и четвертое постановление Эдуарда Шестого о католических антифонах, требниках, псалтырях, обрядных книгах, молитвенниках, о житиях, облатках для причастия и о лицах, имеющих в своем владении всяческие там дароносицы, мисс Вернон; и есть приказ о приведении папистов к присяге; и есть закон, осуждающий на каторгу непокорных католиков, — статут первый его величества ныне царствующего короля — да! — и о наказуемости слушания мессы: смотри статут двадцать третий королевы Елизаветы и том третий законов Иакова Первого, глава двадцать пятая. И многие поместья подлежат внесению в особые списки, многие купчие и завещания подлежат пересмотру, и по многим делам надлежит взыскивать удвоенный сбор согласно актам, предусматривающим…

— … смотри новое издание свода законов, тщательно пересмотренное и проредактированное Джозефом Джобсоном, джентльменом, секретарем мирового суда, — сказала мисс Вернон.

— А кроме того и прежде всего, — продолжал Джобсон, — скажу вам в предуведомление: вы, Диана Вернон, девица, не будучи femme couverte *note 43*, но будучи зато осужденной католичкой, отказывающейся от присяги, обязаны отправиться в свое жилище, притом наикратчайшей дорогой, дабы не пало на вас обвинение в государственной измене; и вы должны для переправы через воду добросовестно искать общественных паромов и не задерживаться там более, как на время одного отлива и прилива; а если в том месте вы не найдете парома, то вы должны ежедневно входить в воду по колена, пытаясь перейти вброд.

— Это, как я понимаю, нечто вроде епитимьи, налагаемой на меня протестантами за мои католические заблуждения? — рассмеялась мисс Вернон. — Хорошо. Благодарю вас за справку, мистер Джобсон. Помчусь домой как можно быстрее и впредь постараюсь быть хорошей домоправительницей. Доброй ночи, дорогой мой мистер Джобсон, светлое зерцало канцелярской учтивости!

— Доброй ночи, сударыня. Помните: с законом не шутят.

И мы разъехались в разные стороны.

— Поскакал строить дальше свои козни, — сказала мисс Вернон, оглядываясь на него. — Как это грустно, что родовитые люди, люди с положением и состоянием, должны терпеть чиновничью наглость какого-то презренного проныры — и только потому, что они верят, так, как верил весь крещеный мир сто с небольшим лет тому назад, ибо, во всяком случае, нельзя не признать за нашей католической верой преимущества древности.

— У меня было сильное искушение проломить негодяю череп, — ответил я.

— Вы поступили бы как опрометчивый юнец, — сказала мисс Вернон. — И все же, будь моя собственная рука хоть на унцию потяжелее, я, конечно, дала б ему почувствовать ее вес! Не подумайте, что я жалуюсь, но есть три вещи, за которые меня бы следовало пожалеть, если

Note43

Буквально: женщиной, состоящей под покровительством, то есть под опекой мужа или отца (франц.).

б кто-нибудь счел меня достойной сострадания.

— Какие же это три вещи, мисс Вернон, разрешите спросить?

— А вы обещаете отнестись ко мне с искренним сочувствием, если я скажу?

— Конечно. Неужели вы сомневаетесь? — ответил я и подъехал к ней ближе, произнося эти слова тоном глубокого участия, которого и не пытался скрыть.

— Ну хорошо, соблазнительно, когда тебя жалеют! Так вот мои три беды: во-первых, я девушка, а не юноша, и меня заперли бы в сумасшедший дом, вздумай я совершить хоть половину того, что хочу; а между тем, если б я пользовалась вашим счастливым преимуществом делать все, что вам угодно, мир сходил бы с ума, подражая мне и восторгаясь мною.

— В этом я не могу вам посочувствовать, — отвечал я, — это несчастье настолько общее, что его разделяет с вами половина рода человеческого, другая ж половина…

— … пользуется настолько лучшим положением, что ревниво оберегает свои прерогативы, — перебила меня мисс Вернон. — Я забыла, что вы заинтересованная сторона. Нет, — добавила она, видя, что я собираюсь возразить, — ваша мягкая улыбка предназначена быть предисловием к очень изящному комплименту относительно особых преимуществ, коими наслаждаются друзья и родственники Ди Вернон благодаря тому, что она принадлежит от рождения к их илотам. Не тратьте даром слов, мой добрый друг. Посмотрим, не удастся ли нам прийти к соглашению по второму пункту моего иска к судьбе, как выразился бы наш любезный крючкотвор. Я исповедую старую веру, принадлежу к гонимой секте и не только не пользуюсь уважением за свою набожность, как всякая добропорядочная девушка, но мой добрый друг судья Инглвуд может посадить меня в исправительный дом только за то, что я не отступилась от веры моих предков; посадить и сказать, как сказал старый Пемброк уилтонской аббатисе *note 44*, когда захватил ее монастырь и земли: «Ступай и пряди пряжу, старая ведьма, пряди пряжу».

— Это зло можно излечить, — сказал я убежденно. — Обратитесь к кому-либо из наших ученых богословов или спросите ваш собственный светлый разум, мисс Вернон, и я уверен, особенности, отличающие нашу религию от той, в которой воспитаны вы…

— Ни слова! — сказала Диана и приложила палец к губам. — Ни слова больше! Изменить вере моих славных предков? Это для меня то же, что для мужчины изменить своему знамени во время битвы, когда оно дрогнуло под натиском врага, и перейти малодушным наймитом на сторону победившего противника.

— Я уважаю ваше мужество, мисс Вернон, а неприятности, которым оно вас подвергает, — о них я могу сказать лишь одно: раны, которые мы сами себе наносим по велению совести, заключают в себе целительный бальзам.

— Да, и все же они горят и причиняют боль. Но я вижу, то, что мне придется мять коноплю или прясть из льна чудесную суровую нитку, так же мало трогает ваше черствое сердце, как то, что я осуждена носить прическу и чепец вместо касторовой шляпы с кокардой. Я лучше воздержусь от напрасного труда называть вам третью причину моих страданий.

— Нет, моя дорогая мисс Вернон, не лишайте меня вашего доверия, и я обещаю тройное сочувствие, какого заслуживают ваши необычайные несчастья, отдать вам сполна по поводу третьего, если вы мне поручитесь, что вы не разделяете его со всеми женщинами или со всеми католиками в Англии, которые, с благословения Божьего, все еще представляют собой более

Note44

Уилтонский женский монастырь после его роспуска был пожалован графу Пемброку самовластным распоряжением Генриха VIII или его сына Эдуарда VI. Когда взошла на престол Мария Католичка, граф нашел нужным снова предоставить монастырь аббатисе и ее прелестным затворницам, что он и сделал с усердными изъявлениями своего раскаяния, униженно преклоняя колена перед весталками, приглашая их вернуться в монастырь и пользоваться землями, с которых он их согнал. Когда же на престол вступила Елизавета, граф опять «приспособился», принял снова протестантскую веру и во второй раз выгнал монахинь из их обители. Упреки аббатисы, напомнившей графу его покаянные речи, вызвали у него лишь тот ответ, который приведен в тексте: «Ступай и пряди пряжу, старая ведьма, пряди пряжу». (Прим. автора.)

многочисленную секту, чем желали бы мы, протестанты, в нашей преданности церкви и короне.

— Третье мое несчастье, — сказала Диана совсем другим и таким серьезным тоном, какого я еще не слышал от нее, — поистине заслуживает сострадания. Я принадлежу, как вы можете легко заметить, к прямым, непосредственным натурам — простая, бесхитростная девушка, которой хотелось бы действовать открыто и честно перед всем миром; а судьба меня затянула в такие запутанные сети, козни, интриги, что едва смею вымолвить слово из боязни тяжелых последствий — не для себя, для других.

— Это в самом деле несчастье, мисс Вернон, и я вам искренне сочувствую, хотя едва ли мог бы предположить что-либо подобное.

— О, мистер Осбалдистон, если бы вы знали… если бы кто-нибудь знал… как трудно мне бывает иногда скрывать боль сердца под маской спокойствия, вы бы меня и вправду пожалели! Мне, может быть, даже и этого не следовало говорить вам о своем положении, но вы умный и проницательный юноша. Очень скоро вы стали бы задавать мне сотни вопросов о происшествиях этого дня — о том, какую роль сыграл Рэшли в избавлении вас от этой маленькой неприятности, об очень многом, что не могло не привлечь вашего внимания, — а я не могла бы отвечать вам необходимой ложью и хитростями. Я лгала бы неуклюже и лишилась бы вашего доброго мнения, если сейчас я хоть немного пользуюсь им. Так уж лучше сразу сказать: не задавайте мне никаких вопросов, я не властна отвечать на них.

Мисс Вернон проговорила эти слова таким прочувствованным тоном, какой не мог не произвести на меня впечатления. Я уверил ее, что ей нечего опасаться с моей стороны ни назойливых выспрашиваний, ни ложного толкования, когда она отклонит те вопросы, которые могут сами по себе казаться вполне разумными или по меньшей мере естественными. Я слишком обязан ей, сказал я, за помощь в моем деле и не стану злоупотреблять возможностью вмешиваться в ее дела — возможностью, которую мне доставила ее доброта; но я надеюсь, и я настаиваю: если когда-нибудь ей понадобятся мои услуги, пусть она без стеснения и колебания потребует их от меня.

— Благодарю, благодарю, — отвечала она. — В вашем голосе звучит не пустая любезность — так говорит человек, который знает, что он берет на себя обязательство. Если… — это невозможно, но все же, — если представится случай, я вам напомню ваше обещание, и уверяю вас, я не рассержусь, когда увижу, что вы его забыли: с меня довольно, что сейчас вы искренни в ваших намерениях. Многое может изменить их, прежде чем я призову вас (если вообще когда-нибудь придет такой час!) помочь Диане Вернон, как если бы вы были Диане братом.

— Если бы я был Диане братом, — сказал я, — это не увеличило б мою готовность прийти вам на помощь. А теперь я все-таки должен спросить, по своей ли воле Рэшли оказал мне сегодня содействие?

— Только не у меня. Вы можете спросить у него самого и будьте уверены, он скорее скажет «да», чем допустит, чтобы доброе деяние гуляло по свету, как несогласованное прилагательное в плохо построенном предложении, — он всегда предпочтет пристегнуть к нему существительным свое собственное имя.

— И я не должен спрашивать, не сам ли мистер Кэмбел помог мистеру Моррису освободиться от чемодана? И письмо, полученное нашим любезным юристом, — не было ли оно подослано нарочно с целью удалить его со сцены, чтоб он не помешал моему благополучному избавлению? Не должен спрашивать…

— Вы не должны спрашивать меня ни о чем, — сказала мисс Вернон, — а потому излишне продолжать ваш перечень. И придется вам думать обо мне не хуже, чем если б я ответила на все эти вопросы и на двадцать других так же бойко, как мог бы ответить Рэшли. И заметьте себе: каждый раз, как я дотронусь вот так до своего подбородка, это послужит вам знаком, что я не могу говорить о предмете, привлекшем ваше внимание. Я должна установить условные сигналы для сношений с вами, потому что вы будете моим поверенным и советчиком, но только при этом вы не должны ничего знать о моих делах.

— Что может быть логичней! — рассмеялся я. — Мудрость моих советов — уж поверьте! — сравнима будет только с полнотой вашего доверия.

В таких разговорах мы подъехали, довольные друг другом, к Осбалдистон-холлу, где вечернее пиршество хозяев было уже в разгаре.

— Принесите обед мне и мистеру Осбалдистону в библиотеку, — сказала мисс Вернон слуге. — Я должна сжалиться над вами, — добавила она, обратившись ко мне, — и позаботиться, чтоб вы не умерли с голоду в этом дворце обжорства, хотя мне, пожалуй, и не следовало бы открывать вам свое прибежище. Библиотека — моя берлога, единственный уголок в замке, где я могу укрыться от племени орангутангов, от моих двоюродных братьев. Они не осмеливаются туда заглядывать, я думаю, из страха, что старые фолианты упадут с полки и проломят им череп: иного действия на их головы книги оказать не могут. Итак, идите за мной.

Я последовал за нею по прихожей и гостиной, по сводчатому коридору и витой лестнице, пока наконец мы не добрались до комнаты, куда она распорядилась подать нам обед.

ГЛАВА X

Есть уголок в просторном доме том:
Забытый всеми, он лишь ей знаком;
Там ниши темные и полок ряд
Отраду для души тоскующей таят.
Неизвестный автор

Библиотека Осбалдистон-холла была мрачной комнатой, где старинные дубовые полки гнулись под грузом тяжелых фолиантов, столь милых семнадцатому столетию; мы же, так сказать, извлекли из них посредством перегонки материал для наших in quarto, in octavo, а наши сыновья, быть может, превзойдут нас в легкомыслии и дальнейшей перегонкой сведут их к in duodecimo *note 45* и к небольшим брошюрам. Здесь были классики, книги по древней и европейской истории, но главным образом — по богословию. Содержались они в беспорядке. Долгие годы в библиотеку никто не заходил, кроме священников, сменявших друг друга на должности капеллана при замке, пока пристрастие Рэшли к чтению не побудило его нарушить покой достопочтенных пауков, затянувших книжные полки гобеленами своей работы. Поскольку Рэшли готовился к духовному званию, его поведение показалось отцу не столь странным, как если бы такую наклонность проявил кто-либо из прочих братьев; так что сэр Гилдебранд разрешил произвести в библиотеке некоторые переделки и превратить ее в жилую комнату. Все же в этом просторном помещении чувствовалась обветшалость, явная и неуютная, — признак небрежения, от которого его не могли уберечь собранные в этих стенах сокровища знаний. Повисшие клочьями обои; полки, тронутые червоточиной; большие, неуклюжие, шаткие столы, конторки и стулья; ржавая решетка в камине, который редко баловали дровами или каменным углем, — все выдавало презрение владетелей Осбалдистон-холла к науке и книгам.

— Это место покажется вам, пожалуй, довольно унылым? — сказала Диана, когда я обвел взглядом запущенный зал. — Но мне оно представляется маленьким раем, потому что оно мое и здесь я не боюсь ничьих вторжений. Раньше, покуда мы были друзьями, я владела им совместно с Рэшли.

— А теперь вы больше не друзья? — задал я вполне естественный вопрос.

Она тотчас приложила указательный палец к ямочке на подбородке и лукаво на меня взглянула, как бы запрещая вопрос.

Note45

Форматы книг. Самый большой формат — in folio (фолиант) — книга в целый лист; in quarto, in octavo, in duodecimo — книги в 1/4, 1/8 и 1/12 долю листа.

— Мы остаемся союзниками, — продолжала она, — и связаны, как две союзные державы, обоюдными интересами; но боюсь, наш союзный договор, как это нередко бывает, оказался более стойким, чем то дружественное расположение, которым он порожден. Во всяком случае, мы теперь меньше времени проводим вместе, и когда Рэшли входит в одну дверь, я выхожу в другую. Таким образом, убедившись, что нам вдвоем в этом помещении тесно, как оно ни просторно на вид, он великодушно отступился в мою пользу от своих прав, тем более что обстоятельства часто отзывают его из замка. Так что теперь я стараюсь продолжать одна те занятия, в которых прежде он был моим руководителем.

— В чем же состоят эти занятия, если позволите спросить?

— Позволю, и не опасайтесь, что опять приложу палец к подбородку. Самые любимые мои предметы — естественные науки и история. Но я изучаю также поэзию и древних авторов.

— Древних? Вы их читаете в подлиннике?

— Непременно. Рэшли, обладая сам значительными знаниями, выучил меня греческому, и латыни, и многим современным европейским языкам. Смею вас уверить, на мое образование положено немало трудов, хоть я и не умею вышивать ни гладью, ни крестом, не умею готовить пудинг и «не обучена ни одному полезному делу на свете», как соизволила выразиться на мой счет толстая жена викария. Что ж, ее замечание столь же справедливо, сколь изящно, вежливо и доброжелательно.

— А кто установил для вас предметы занятий — Рэшли или вы сами, мисс Вернон? — спросил я.

— Гм! — отозвалась она, как будто не зная, отвечать на вопрос или нет. — Не стоит поднимать палец по каждому пустяку. Частично он, частично я. Научившись за стенами замка ездить верхом на коне, а в случае нужды седлать его, и взнуздывать, и перемахивать через высокую изгородь, не моргнув стрелять из ружья, — словом, усвоив все мужские совершенства, по которым сходят с ума мои неотесанные кузены, я пожелала, как мой ученый кузен Рэшли, в стенах замка читать по-гречески и по-латыни и приобщиться в меру сил моих к древу познания, которым вы, мужчины, хотели бы завладеть безраздельно, — в отместку, как мне кажется, за соучастие нашей праматери в первородном грехе.

— И Рэшли охотно поощрял вашу склонность к учению?

— Понятно, ему хотелось, чтобы я стала его ученицей, а учил он меня только тому, что знал сам, — вряд ли он мог посвятить меня в таинства стирки кружевных манжет или подрубания батистовых платков.

— Я понимаю, как соблазнительно было приобрести такую ученицу, и не сомневаюсь, что наставник очень сообразовался с этим.

— О, если вы начнете разбираться в побуждениях Рэшли, мне придется опять приложить палец к подбородку. Я могу отвечать откровенно, только когда меня спрашивают о моих. Но подведу итог: он отказался в мою пользу от библиотеки и никогда не входит в эту комнату, не испросив на то разрешения; и я в конце концов позволила себе вольность перенести сюда кое-что из моего личного имущества, в чем вы убедитесь, если осмотрите комнату.

— Извините, мисс Вернон, но я не вижу здесь ни одной вещи, за которой признал бы я право назваться вашей собственностью.

— Потому, я полагаю, что вы не видите пастушка или пастушки, вышитых гарусом и вправленных в рамку из черного дерева; или чучела попугая; или клетки с канарейками; или дамской шкатулки с отделкой из вороненого серебра; или туалетного столика со множеством лакированных ящичков, многоугольного, как рождественский пирог; или спинета со сломанной крышкой; лютни о трех струнах; не видите ни прялки, ни вязанья, ни шитья — никакого рукоделья; ни комнатной собачки с выводком слепых щенят. Из таких сокровищ у меня ничего не найдется, — продолжала она, сделав паузу, чтобы перевести дыхание после этого длинного перечня. — Но здесь стоит меч моего предка, сэра Ричарда Вернона, павшего в битве при Шрусбери и жестоко оклеветанного недостойным человеком по имени Уилл Шекспир, чья приверженность к ланкастерской династии и умение отражать свои пристрастные взгляды в трагедиях и хрониках поставили, по-моему, историю вниз головой

или, вернее, вывернули ее наизнанку. А рядом с этим грозным оружием висит кольчуга еще более древнего Вернона, который был оруженосцем Черного Принца. Его постигла судьба, обратная той, какая выпала его потомку, так как бард, взявший на себя труд его прославить, отнесся к нему благосклонно, но талантом не обладал:

Лихого рыцаря узрели вы в строю бы,
По имени Вернон, в гербе, что носит трубы.
Он демоном летит, тела врагов кроша,
Другому уступив утеху грабежа.

Затем тут есть образец изобретенного мною нового подуздка, значительно улучшающего изобретение герцога Ньюкаслского; вот колпачок и бубенчики моего кречета Чевиота, которого проткнула своим клювом цапля у Конской Топи. Бедный Чевиот! Против него лучшая птица на наших насестах — просто дикий коршун или ястребок. Вот мое собственное охотничье ружье, очень легкое, с усовершенствованным кремнем, — десятки сокровищ, одно ценнее другого. А вот это говорит само за себя.

Она указала на портрет во весь рост кисти Ван Дейка, в резной дубовой раме, на которой готическими буквами были написаны слова: «Vernon semper viret» note 46. Я глядел на Диану и ждал объяснений.

— Разве вам не известен, — сказала она удивленно, — наш девиз — девиз Вернонов, в котором

… как маска важная Порочность,
Два смысла мы в одно вложили слово.

И разве вы не узнаете нашей эмблемы — боевых труб? — добавила она, указывая на геральдические знаки, вырезанные по дубовому щиту герба, вокруг которого вилась латинская надпись.

— Трубы? Да они похожи скорее на грошовые свистульки! Но, прошу вас, не гневайтесь на мое невежество, — продолжал я, видя, что краска залила ее лицо. — У меня и в мыслях не было оскорбить ваш герб — ведь я не знаю даже своего собственного.

— Вы, Осбалдистон, решаетесь на такое признание? — воскликнула она. — Перси, Торни, Джон, Дикон, даже Уилфред могут вас поучить. Они, воплощенное невежество, вдруг оказываются на голову выше вас!

— Со стыдом признаюсь, моя дорогая мисс Вернон: тайны мрачных иероглифов геральдики для меня не светлее тех, что скрыты в египетских пирамидах.

— Как! Возможно ли? Даже дядя изредка, зимними вечерами, прочитывает Гвиллима. Вы не знаете знаков геральдики? О чем же думал ваш отец?

— Об арифметических знаках, — ответил я. — Самую ничтожную гербовую марку он ставит выше всех рыцарских гербов. Но при всем моем неописуемом невежестве у меня достаточно знаний и вкуса, чтобы отдать должное этому великолепному портрету, в котором я, кажется, распознаю семейное сходство с вами. Какая непринужденность, какое достоинство в позе! Какое богатство красок! Какая смелость светотени!

— Так, значит, это и вправду хорошая картина? — спросила она.

— Я видел много работ прославленного Ван Дейка, — отвечал я, — но эта мне нравится больше всех.

— В живописи я смыслю так же мало, как вы в геральдике, — сказала мисс Вернон, — но у меня перед вами преимущество: я, даже и не понимая ценности этой картины, всегда любовалась ею.

Note46

«Вернон процветает всегда». Или, иначе разделив слова (Ver non semper viret) — «Не всегда цветет весна».

— Не уделяя внимания трубам, и литаврам, и всем прихотливым эмблемам рыцарства, я все же знаю, что они реяли над полями древней славы. Но вы должны согласиться, что своим внешним видом они не так захватывают непосвященного зрителя, как хорошая картина. Кто здесь изображен?

— Мой дед. Он делил невзгоды Карла I и, добавлю с грустью, невоздержанную жизнь его сына. Расточительность деда нанесла большой ущерб нашим родовым владениям, а что осталось — утратил его наследник, мой несчастный отец. Но мир тем, кому все это досталось: наш дом лишился своего богатства в борьбе за дело справедливости.

— Ваш отец, как я понимаю, пострадал в недавних политических распрях?

— Именно; он потерял все свое достояние. И потому его дочь живет сиротой: ест чужой хлеб, должна подчиняться прихотям чужих людей, вынуждена применяться к их вкусам. И все же я горжусь своим отцом и не хотела бы, чтоб он вел более благоразумную, но менее честную игру и оставил бы мне в наследство все богатые ленные земли, которыми владел когда-то род.

Только она это сказала, как явились слуги и принесли обед. Наш разговор перешел на более обыденные предметы.

Когда мы покончили наспех с едой и подано было вино, лакей передал нам, что «мистер Рэшли просит доложить, когда уберут со стола».

— Передайте ему, — ответила мисс Вернон, — что мы будем рады его видеть, если он соизволит спуститься сюда. Подайте еще один стакан, придвиньте стул и оставьте нас. Вам придется удалиться вместе с Рэшли, когда он уйдет, — продолжала она, обратившись ко мне. — Даже моя щедрость не может уделить джентльмену свыше восьми часов из двадцати четырех, а мне кажется, мы провели вместе никак не меньше этого срока.

— Время, старый косец, двигалось так быстро, — ответил я, — что я не успевал считать его шаги.

— Тише! — остановила меня мисс Вернон. — Идет Рэшли!

И она отодвинула свой стул подальше, как бы намекая мне, что я придвинулся к ней слишком близко.

Тихий стук в дверь, мягкое движение, которым Рэшли Осбалдистон отворил ее на приглашение войти, заученная вкрадчивость походки и смиренность осанки указывали, что мой двоюродный брат получил в колледже Сент-Омер воспитание, вполне отвечавшее внушенным мне представлениям о повадках законченного иезуита. Излишне добавлять, что эти представления у меня, как и у всякого истого протестанта, были не очень лестны.

— К чему вы разводите церемонии и стучите, — сказала мисс Вернон, — когда вам известно, что я не одна?

В голосе ее прозвучала досада, словно девушка угадала в осторожно сдержанной манере Рэшли скрытый и дерзкий намек.

— Вы сами приучили меня стучать в эту дверь, прелестная кузина, — отвечал, не меняя ни тона, ни манеры, Рэшли, — и привычка стала для меня второй натурой.

— Я ценю искренность выше вежливости, сэр, и вам это известно, — был ответ мисс Вернон.

— Вежливость — приятная особа, царедворец по призванию, — сказал Рэшли, — и потому в будуаре леди ей честь и место.

— А искренность — верный рыцарь, — возразила мисс Вернон, — и потому я приветствую ее вдвойне, мой любезный кузен. Но бросим спор, не слишком-то занимательный для нашего родственника и гостя. Садитесь, Рэшли, и разделите компанию с мистером Фрэнсисом Осбалдистоном за стаканом вина. Что же касается обеда, то тут я сама поддержала честь Осбалдистон-холла.

Рэшли сел и наполнил свой стакан, переводя взгляд с Дианы на меня в замешательстве, которого не могли скрыть все его усилия. Он, казалось мне, был не уверен, как далеко простиралось ее доверие ко мне, и спешил ввести разговор в новое русло и развеять свое подозрение, что Диана, быть может, выдала какие-либо тайны, существовавшие между ними.

— Мисс Вернон, — сказал я, — дала мне понять, мистер Рэшли, что быстрым

опровержением нелепых обвинений Морриса я обязан вам; и, несправедливо опасаясь, что я могу забыть о долге, налагаемом на меня благодарностью, мисс Вернон подстрекнула мое любопытство, предложив мне обратиться к вам за отчетом о событиях нынешнего дня, или, вернее, за их разъяснением.

— В самом деле? — отозвался Рэшли, устремив на мисс Вернон проницательный взгляд. — А я ждал, что леди сама найдет возможным все вам объяснить.

Он перевел взгляд с ее лица на мое, словно стараясь прочесть в моих чертах, действительно ли Диана ограничилась в своих обещаниях лишь этим немногим. Его инквизиторский взгляд мисс Вернон встретила взглядом нескрываемого презрения; я же, не зная, нужно ли успокоить его явное подозрение или с негодованием отвергнуть, сказал:

— Если вам приятно, мистер Рэшли, оставлять меня в неведении, как это сделала мисс Вернон, я поневоле должен подчиниться. Но прошу вас, не отказывайте мне в разъяснениях, воображая, что я их уже получил. Уверяю вас как человек чести: о событиях, свидетелем которых я был сегодня, мне известно не больше, чем этой картине; я только понял со слов мисс Вернон, что вы любезно оказали мне содействие.

— Мисс Вернон переоценила мои скромные услуги, — сказал Рэшли, — хотя я прошу вас не сомневаться в искренней моей готовности помочь вам. Дело было так. Когда я поскакал домой с намерением привлечь кого-нибудь еще из нашей семьи к поручительству за вас (а это казалось мне самым естественным способом помочь вам или, сказать по правде, единственным пришедшим тогда в мою глупую голову), я повстречал дорогой этого самого Комила… Колвила… Кэмбела или как его там! Из слов Морриса я понял, что тот присутствовал при нападении грабителей, и я уговорил его — признаться, не без труда — дать обеляющие вас показания, которые, как я догадываюсь, и вызволили вас из неприятного положения.

— Вот как? Я вам очень обязан, что вы так своевременно доставили мне полезного свидетеля. Но не понимаю: если Кэмбел, как сам он утверждает, вместе с Моррисом пострадал от грабителей, почему же вы с трудом убедили его принести показания и тем самым помочь установлению действительного грабителя и освобождению невиновного?

— Вы не живали на родине этого человека, сэр, — ответил Рэшли, — и не знаете ее обычаев: скрытность, благоразумие, осмотрительность — вот основные достоинства шотландца; и только ограниченный, но пламенный патриотизм вносит разнообразие в эти черты, образуя как бы самый внешний из кольцевых бастионов, за которыми окопался шотландец, спасаясь от требований щедрой филантропии. Взберитесь на этот вал, и вы увидите за ним новый, еще более неприступный барьер — любовь к своей местности, своей деревне или, всего вероятнее, к своему клану; опрокиньте эту вторую преграду, и вас встречает третья — его привязанность к своей семье: к отцу и матери, к сыновьям и дочерям, к дядьям и теткам и ко всем родичам до девятого колена. Этими пределами и ограничивается социальное чувство шотландца, и он никогда их не преступит, коль скоро не исчерпаны все возможности найти ему применение внутри крепостных стен. И внутри этих стен бьется его сердце — бьется все слабее и слабее по мере приближения к внешним бастионам, пока у самого наружного биение не станет уже едва ощутимым. Но что хуже всего: когда вам удалось преодолеть все эти кольцевые укрепления, вы натыкаетесь на внутреннюю цитадель с самой высокой стеной, самым глубоким рвом, на самую несокрушимую твердыню — любовь шотландца к самому себе.

— Все это очень красноречиво и образно, Рэшли, — сказала мисс Вернон, слушавшая с нескрываемой досадой, — но есть два возражения: во-первых, это неверно; во-вторых, если это и верно, то вовсе неуместно.

— Нет, это верно, моя прелестная Диана, — возразил Рэшли, — и не только верно, но и в высшей степени уместно. Это верно, ибо вы не можете отрицать, что я близко знаком со страной и народом и очертил характер их на основании глубоких и точных наблюдений; и это уместно, так как дает ответ на вопрос мистера Фрэнсиса Осбалдистона и объясняет, почему осторожный шотландец, учтя, что наш кузен не является ни его соотечественником, ни

Кэмбелом, ни родичем его хотя бы по тем неизъяснимо сложным расчетам, путем которых шотландцы устанавливают родство, а главное — видя, что вмешательство не обещает ему личной выгоды и, напротив, сулит бесполезную потерю времени и задержку в делах…

— … а вдобавок, может быть, и другие неприятности, более грозного свойства… — перебила мисс Вернон.

— … каких, конечно, может быть немало… — подхватил Рэшли, не меняя взятого тона. — Словом, моя теория объясняет, почему этот человек, не надеясь на какие-либо выгоды и опасаясь кое-каких неприятностей, не так-то легко сдался на просьбу выступить свидетелем в пользу мистера Осбалдистона.

— Мне показалось удивительным еще и другое, — заметил я. — В заявлении, в жалобе — или как это назвать? — мистера Морриса, которую я бегло просмотрел, он ни разу не упоминает, что имел попутчиком Кэмбела, когда его остановили грабители.

— Кэмбел дал мне понять, что он взял с Морриса честное слово не упоминать об этом обстоятельстве, — ответил Рэшли. — Причины, побудившие шотландца к такому уговору, вы поймете, припомнив, что я сказал вам раньше: он хотел вернуться в родные края без помех и задержек, а его обязательно потянули бы в суд, если бы факт его присутствия при грабеже обнаружился до того, как он перешел бы шотландскую границу. Но дайте только ему добраться до берегов Форта, и Моррис, ручаюсь вам, выложит все, что знает о нем, и, пожалуй, прибавит сверх того еще немало. К тому же Кэмбел ведет крупную торговлю скотом, и ему нередко приходится перегонять в Нортумберленд большие гурты; а раз уж он занимается таким промыслом, было бы крайне безрассудно с его стороны ввязываться в ссору со здешними ворами — нет на свете людей более мстительных, чем нортумберлендские разбойники.

— Могу подтвердить под присягой, — сказала мисс Вернон, и в тоне ее прозвучало нечто большее, чем простое согласие с замечаниями Рэшли.

— Отлично, — сказал я, возвращаясь к своему предмету. — Я признаю, что у Кэмбела были веские основания желать, чтоб Моррис молчал о его присутствии при грабеже. Но все же мне невдомек, как мог он приобрести такое влияние на беднягу Морриса; как он заставил его скрыть это обстоятельство в своих показаниях с явным риском лишить убедительности весь свой рассказ?

Рэшли согласился со мною, что все это было очень странно, и выразил сожаление, что не расспросил шотландца более подробно об этой истории: она и ему самому, признался он, показалась крайне загадочной.

— Однако, — добавил он тут же, едва досказав свое признание, — так ли вы уверены, что Моррис в своих показаниях действительно не упоминает о Кэмбеле как о своем попутчике?

— Я только бегло просмотрел бумагу, — сказал я, — однако у меня создалось твердое убеждение, что ни о каком свидетеле в ней не упомянуто; то есть, может быть, и упомянуто, но настолько глухо, что это ускользнуло от моего внимания.

— Вот-вот, — подхватил Рэшли, обращая в пользу собственных выводов мои же слова, — я склонен допустить вместе с вами, что о свидетеле там в самом деле упомянуто, но очень глухо, так что это ускользнуло от вашего внимания. Что же касается влияния на Морриса, я склонен предположить, что Кэмбел его приобрел, играя на трусости своего попутчика. Этот детина с цыплячьим сердцем едет, как я понимаю, в Шотландию, куда он послан правительством на мелкую чиновничью должность; а так как храбрости у него не больше, чем у разгневанной голубицы или у доблестной мыши, то он, вероятно, побоялся ссоры с таким молодцом, как этот Кэмбел, который одним своим видом мог так его напугать, что он растерял последние крохи своего умишка. Заметили вы, как у мистера Кэмбела иногда зажгутся вдруг глаза и что-то воинственное появится в голосе и осанке?

— Сознаюсь, — ответил я, — его лицо поражало меня временами жестоким и зловещим выражением, плохо вязавшимся с его притязаниями на миролюбие. Он, верно, служил в армии?

— Да… то есть, собственно говоря, не служил; но он, я думаю, как большинство его соотечественников, обучен владеть оружием. В самом деле, горцы носят оружие с детских лет и до могилы. Так что если вы хоть немного знаете вашего бывшего попутчика, вы легко поймете, что, отправляясь в такую страну, он старается по мере возможности избегать ссоры с ее уроженцами. Но вы, я вижу, отодвинули стакан; я тоже в отношении выпивки выродок среди Осбалдистонов. Если вы не откажетесь пойти в мою комнату, я сразился бы с вами в пикет.

Мы встали, чтобы проститься с мисс Вернон, которая время от времени подавляла — и, видно, с трудом — сильное искушение перебить Рэшли на том или ином слове. Наконец, когда мы собрались уходить, тлеющее пламя вырвалось наружу.

— Мистер Осбалдистон, — сказала она, — ваши собственные наблюдения позволяют вам проверить, справедливы ли суждения Рэшли о таких личностях, как мистер Кэмбел или мистер Моррис. Но, черня Шотландию, он оклеветал целую страну; настоятельно прошу вас, не придавайте значения его свидетельству.

— Боюсь, — ответил я, — мне будет довольно трудно подчиниться вашему приказу, мисс Вернон, ибо, должен сознаться, я воспитан в не слишком благоприятных представлениях о наших северных соседях.

— Не доверяйте в этом вашим воспитателям, сэр, — возразила она, — дочь шотландки просит вас питать уважение к стране, где родилась ее мать, покуда личные наблюдения не докажут вам, что эта страна не заслуживает вашего доброго мнения. Направьте свое презрение и ненависть на притворство, низость, лживость, где бы они ни повстречались вам, — их вы найдете вдоволь, не выезжая из Англии. До свиданья, джентльмены, желаю вам доброго вечера! — И она указала на дверь жестом принцессы, отпускающей свою свиту.

Мы удалились в комнату Рэшли, куда слуга принес нам кофе и карты. Я пришел к решению ничего не выпытывать больше у двоюродного брата о происшествиях дня. Тайна — и, как мне казалось, неприятная — окутывала его поведение. Но для того, чтобы проверить справедливость моих догадок, необходимо было обмануть его бдительность. Мы сдали карты, и вскоре игра не на шутку нас увлекла. Мне думалось, в этой легкой забаве (Рэшли предложил пустяковые ставки) он открывал предо мной в какой-то мере свою необузданную и честолюбивую натуру. Он, видимо, превосходно знал избранную нами изящную игру, но, как бы из принципа, отступал от общепринятых приемов, предпочитая смелые и рискованные ходы, и, пренебрегая более твердыми шансами выигрыша на мелочах, он рисковал всем в расчете на крупный куш при пике или капоте. Когда три-четыре кона, подобно музыкальному антракту между действиями драмы, окончательно перебили прежнее направление разговора, пикет, по-видимому, надоел Рэшли, и карты были забыты в беседе, течение которой он сам теперь легко направлял.

Отличаясь скорее ученостью, чем глубиной суждений, более знакомый со свойствами ума, чем с правилами нравственности, которыми должен руководствоваться ум, Рэшли владел в совершенстве даром речи: не многих встречал я, кто мог с ним в этом сравниться, — никого, кто его превосходил бы. Этот дар придавал некоторую нарочитость его манере говорить; по крайней мере, мне казалось, что Рэшли немало поработал, совершенствуя свои природные преимущества — мелодический голос, плавную, с гибкими оборотами речь, меткий язык и пылкое воображение. Никогда не говорил он слишком громко, не подавлял чересчур собеседника, никогда не преступал границ его терпения или его понимания. Мысли его следовали одна за другой ровным, непрерывным течением обильного и щедрого ключа; между тем у других, кто притязает на высокое искусство разговора, речь льется подобно мутному потоку с мельничной плотины — несется так же стремительно, но так же быстро иссякает. Лишь поздно вечером я расстался с моим обаятельным собеседником; когда же я перешел в свою комнату, мне стоило немалых усилий восстановить в памяти облик Рэшли, каким он рисовался мне раньше, до нашего tete-a-tete.

Так успешно, дорогой Трешем, умение собеседника ублажить и позабавить нас притупляет нашу зоркость в распознавании характера! Я могу это сравнить только со вкусом

иных плодов, приторным и терпким, который отнимает у нашего нёба способность различать и оценивать блюда, предложенные нам на пробу после них.

ГЛАВА XI

Что приумолкли, удальцы?
Иль в замок Бэлуэри
Опять наведалась беда
И гонит смех за двери?
Старинная шотландская баллада

Следующий день был воскресенье — самый тягостный день в Осбалдистон-холле, потому что по окончании заутрени, на которой неизменно присутствовала вся семья, трудно было сказать, кем из обитателей замка (исключая Рэшли и мисс Вернон) дьявол скуки овладевал сильнее, чем другими. Пересуды о моих вчерашних мытарствах позабавили на несколько минут сэра Гилдебранда, и он поздравил меня с избавлением от морпетской или хексхемской тюрьмы таким тоном, точно речь шла об удачном падении с лошади при попытке перескочить через изгородь.

— Ты счастливо отделался, юноша, но в другой раз не рискуй понапрасну головой. Помни, любезный: королевская дорога свободна для всех — как для вигов, так и для тори.

— Честное слово, сэр, я и не думал никому ее преграждать. Для меня крайне оскорбительно, что все и каждый считают меня причастным к преступлению, которое во мне вызывает глубокое отвращение и к тому же нещадно и заслуженно карается законами нашей страны.

— Ладно, ладно, юноша, что бы там ни было, я тебя ни о чем не спрашиваю. Никто не обязан сам себя оговаривать, — так оно по правилам игры, если дьявол чего не напутает.

Тут мне на помощь пришел Рэшли. Но я невольно подумал, что его хитроумные доводы скорее подсказывали сэру Гилдебранду, чтобы тот сделал вид, будто соглашается с заявлением о моей невиновности, но отнюдь не способствовали полному ее установлению.

— В вашем собственном доме, дорогой сэр, вы не станете, конечно, оскорблять чувства своего родного племянника, показывая, что вы не верите его утверждениям. Вы, бесспорно, имеете право на полное доверие с его стороны, и если бы вы могли чем-нибудь ему помочь в этом необычном деле, он, разумеется, стал бы искать прибежища в вашей доброте. Но кузена Фрэнка отпустили с миром, как невиновного, и никто не вправе подозревать за ним вину. Я, со своей стороны, ничуть не сомневаюсь в его непричастности к преступлению; и честь нашей семьи требует, кажется мне, чтобы мы со шпагою в руках и словом и делом отстаивали его невиновность пред лицом всей страны.

— Рэшли, — сказал дядя, пристально глядя на него, — ты тонкая бестия. Ты всегда был слишком хитер для меня и слишком хитер для большинства людей. Смотри не перехитри самого себя — геральдика не любит двух голов под одним шлемом. А раз уж мы заговорили о геральдике — пойду почитаю Гвиллима.

Он сообщил это, неудержимо зевая, как богиня в «Дунсиаде», и великаны сыновья один за другим разинули в зевоте рты и разбрелись по замку, стараясь убить время каждый соответственно своим наклонностям. Перси пошел в кладовую распить с дворецким бочонок мартовского пива; Торнклиф отправился нарезать палок для рогатин; Джон — насадить наживку на удочки; Дикон — поиграть сам с собой в орлянку правая рука против левой; а Уилфред — без помехи сосать палец и дремать вплоть до обеда, усыпляя самого себя мурлыканьем. Мисс Вернон удалилась в библиотеку.

Мы с Рэшли остались вдвоем в старом зале, откуда слуги с обычной своей неторопливостью и суетой умудрились наконец убрать остатки нашего обильного завтрака. Пользуясь случаем, я стал укорять кузена за тон, каким он говорил с дядей о моем деле, — крайне оскорбительный для меня тон, заявил я: как будто Рэшли старался убедить сэра Гилдебранда, чтобы тот лишь затаил свои подозрения, а не вовсе от них отказался.

— Что могу я сделать, дорогой друг? — возразил Рэшли. — Отец до крайности упрям во всяком своем подозрении, когда оно засядет ему в голову (что, по справедливости сказать, случается не так-то часто); я давно убедился, что в таких случаях спорить с ним бесполезно, — лучше промолчать. А раз нельзя вырвать плевелы с корнем, я их подсекаю каждый раз, как они покажутся из земли, пока наконец они не отомрут сами собой. Неразумно и бесполезно вступать в спор с человеком такого склада, как сэр Гилдебранд: он упрямо отклоняет все доводы и верит собственному убеждению так же твердо, как верит добрый католик в римского папу.

— Что ж, очень грустно, что мне придется жить в доме человека, и притом моего близкого родственника, который будет упорно считать меня виновным в грабеже на большой дороге.

— Глупое суждение моего отца (если этот эпитет уместен в устах сына) не опорочивает вашей действительной невиновности; а что до позора… поверьте, это деяние с политической и моральной точки зрения представляется сэру Гилдебранду доблестным подвигом: оно ослабляет врага, наносит ущерб амалекитянам — ваше мнимое участие в этом только возвышает вас в его глазах.

— Я не стремлюсь, мистер Рэшли, купить чье бы то ни было уважение такой ценой, которая унизит меня в моих собственных глазах; я думаю, эти оскорбительные подозрения дают мне отличный предлог покинуть Осбалдистон-холл, и я им воспользуюсь, как только спишусь с отцом.

На темном лице Рэшли, хоть оно и не привыкло выдавать чувства своего хозяина, отразилась улыбка, которую он поспешил прикрыть вздохом.

— Вы счастливец, Фрэнк, — приходите и уходите, как ветер, который гуляет, где захочет. С вашими изящными манерами, вкусом, дарованиями вы быстро найдете круг, в котором их лучше оценят, чем здесь, среди скучных обитателей этого замка; тогда как я…

Он замолк, не договорив.

— Неужели так печален ваш удел? Неужели вы, неужели кто бы то ни было может завидовать мне — изгнаннику, каким я вправе себя назвать, лишенному родного крова и благосклонности своего отца?

— Да, — ответил Рэшли, — но подумайте об отрадном чувстве независимости, которую вы получаете ценой кратковременной жертвы, потому что ваши лишения, я уверен, долго не продлятся; подумайте — вы вольны делать что хотите, вы можете развивать свои таланты в том направлении, куда влечет вас ваш собственный вкус и где вы скорее способны отличиться. Вы дешево покупаете славу и свободу за несколько недель пребывания на севере — пусть даже местом вашего изгнания назначен Осбалдистон-холл. Второй Овидий во Фракии, вы не имеете, однако, никакого основания писать свои «Tristia». *note 47*

— Не понимаю, — сказал я, покраснев, как подобает молодому поэту, — откуда вы так хорошо осведомлены о моих праздных опытах?

— К нам сюда пожаловал недавно посланник вашего отца, юный хлыщ, некто Твайнол, — он-то и сообщил мне о вашем тайном служении музам, добавив, что некоторые ваши стихотворения стяжали восторженную похвалу самых авторитетных судей.

Я уверен, Трешем, что вы неповинны ни в единой попытке слагать рифмованные, выспренние строки; но в свое время вы, должно быть, знавали немало учеников и подмастерий, если не мастеров — строителей Аполлонова храма. Все они страдают тщеславием — от художника, воспевавшего сень туикнэмских садов, до жалкого рифмоплета, которого он отхлестал в своей «Дунсиаде». Я разделял эту общую слабость и, не подумав даже, как неправдоподобно то, что Твайнол, при его вкусах и обычаях, познакомился с двумя-тремя стихотворениями, которые я успел к тому времени прочитать в кофейне Баттона, или же с отзывами критиков, посещавших это скромное пристанище остроумия и изящного

Note47

«Печали» (лат.).

вкуса, — я тотчас же пошел на приманку, а прозорливый Рэшли поспешил еще более укрепить свою позицию робкой, но как будто бы очень настоятельной просьбой познакомить его с моими неизданными произведениями.

— Вы должны как-нибудь прийти ко мне и провести со мною целый вечер, — сказал он в заключение, — ведь скоро мне придется променять чары литературного общества на скучные будни коммерции и грубые мирские заботы. Повторяю: уступая желанию отца, я поистине приношу своей семье большую жертву, особенно если принять в соображение, что мое воспитание готовило меня к поприщу тихому и мирному.

Я был тщеславен, но не вовсе глуп и не мог проглотить такую сильную дозу лицемерия.

— Вы не станете меня уверять, — отвечал я, — что вам и вправду жаль променять жизнь безвестного католического священника, полную всяческих лишений, на богатство и веселье света.

Рэшли увидел, что хватил через край, расписывая свою скромность, и, сделав вторую паузу, во время которой прикидывал, по-видимому, какая степень искренности необходима со мною (он не любил расточать ее без нужды), он ответил с улыбкой:

— Человеку моих лет приговор, обрекающий, как вы говорите, на богатство и светские радости, не представляется столь суровым, каким, вероятно, я должен был бы его считать. Но, разрешите заметить, вы ошиблись касательно моего прежнего предназначения. Стать католическим священником. Да, если угодно, но отнюдь не безвестным. Нет, сэр, Рэшли Осбалдистон будет более безвестен, если станет богатейшим лондонским негоциантом, чем он был бы, став одним из служителей церкви, священники которой, по словам поэта,

… ногой
В сандалию обутой, наступают
На выи гордые мирских князей.

Моя семья в почете при дворе некоего изгнанного венценосца, а этот двор должен пользоваться в Риме — и пользуется — еще большим почетом; и способности мои как будто соответствуют тому воспитанию, какое я получил. Рассуждая трезво, я могу предвидеть, что достиг бы в церкви высокого сана, а мечтать могу и о наивысшем…

Почему бы и нет? — добавил он со смехом, ибо часто прибегал к этому приему: держаться в своих речах на грани шутки. — Разве не мог бы кардинал Осбалдистон, при его высоком рождении и высоких связях, управлять судьбами царств, как выходец из низов Мазарини или как Альберони, сын итальянского садовника?

— Я не стану убеждать вас в противном; но на вашем месте я не слишком жалел бы, теряя возможность подняться на столь неверную и недостойную высоту.

— Не жалел бы и я, — ответил Рэшли, — будь я уверен, что мое настоящее положение более твердо; но это должно зависеть от условий, которые я узнаю только из опыта, — хотя бы, к примеру, от нрава вашего отца.

— Сознайтесь, Рэшли, напрямик, без хитростей: вам хотелось бы что-нибудь выпытать о нем у меня?

— Если вы, подобно Диане Вернон, хотите стать под знамя доблестного рыцаря, имя которому Искренность, что ж, я отвечу: да.

— Так вот: в моем отце вы найдете человека, пошедшего по путям наживы не только из любви к золоту, которым они усыпаны, сколько ради применения своих дарований. Его кипучий ум рад любому положению, дающему простор для деятельности, хотя бы она находила награду лишь в себе самой. Но богатства его умножились, потому что он бережлив и умерен в своих привычках и не увеличивает своих трат по мере роста доходов. Он ненавидит притворство в других и, никогда не прибегая к нему сам, удивительно умеет разгадать побуждения человека по оттенкам его речи. Сам по складу своему молчаливый, он не терпит говорунов, тем более что предметы, наиболее его занимающие, не дают большого простора для болтовни. Он исключительно строг в отправлении религиозного долга; но вы не должны

опасаться с его стороны вмешательства в дела вашей совести, потому что он считает веротерпимость священным принципом политической экономии. Однако, если вы питаете симпатию к якобитам, как естественно предположить, мой вам совет: не проявляйте ее в присутствии моего отца и не показывайте ни малейшей приверженности к надменным взглядам крайних тори — отец мой глубоко презирает и тех и других. Добавлю, что он раб своего слова, а для его подчиненных оно должно быть законом. Он всегда исполняет свои обязанности в отношении каждого и не позволит никому пренебречь обязанностями по отношению к нему самому; чтобы снискать его милость, вы должны исполнять его приказания, а не поддакивать его словам. Главные его слабости проистекают из предрассудков, связанных с его рода занятиями, или, вернее, из его исключительной преданности своему делу, которая не позволяет ему считать достойным похвалы или внимания что бы то ни было, если оно не связано в какой-то мере с торговлей.

— Ого! Портрет написан кистью мастера! — воскликнул Рэшли, когда я умолк. — Ван-Дейк жалкий пачкун перед вами, Фрэнк. Я вижу перед собою вашего почтенного родителя со всеми его достоинствами и со всеми его слабостями: он любит и чтит короля, который ему представляется лорд-мэром империи или же главой департамента торговли; благоговеет перед палатой общин за акты, регулирующие ввоз и вывоз, и уважает пэров, потому что лорд-канцлер сидит на мешке с шерстью.

— Я дал верное подобие, Рэшли, а вы карикатуру. Но в уплату за carte du pays *note 48* оторую я развернул перед вами, осветите немного и вы для меня географию неведомых берегов…

— … куда вас забросило кораблекрушение, — подхватил Рэшли. — Не стоит труда, это не остров Калипсо, осененный таинственными рощами и опутанный лабиринтом лесных дорог; это лишь голое, жалкое нортумберлендское болото, где ничто не возбудит любопытства, не пленит ваших глаз; за полчаса наблюдения вы его распознаете во всей наготе, как если бы я дал вам его чертеж, сделанный при помощи линейки и циркуля.

— Ну, кое-что здесь достойно более внимательного изучения. Что вы скажете о мисс Вернон? Разве она не представляет собою интересное явление среди ландшафта, где все вокруг уныло, как берег Исландии?

Я видел ясно, что Рэшли не нравится предложенная мною тема, но моя откровенность дала мне выгодное право, в свою очередь, начать расспросы. Рэшли это почувствовал и не счел возможным уклониться, как ни трудно казалось ему вести с успехом эту игру.

— С некоторых пор, — сказал он, — я меньше общаюсь с мисс Вернон, чем бывало раньше. В юные годы она была моей ученицей; но когда она превратилась из ребенка во взрослую девушку, мои разнообразные занятия, высокое призвание, к которому я готовился, те особенные условия, в которые поставлена Диана, — словом, обоюдное наше положение сделало тесное и постоянное общение опасным и неуместным. Я думаю, мисс Вернон обижена тем, что я от нее отдалился, но этого требовал мой долг. Мне было так же тяжело, как, видимо, и ей, когда я вынужден был внять голосу благоразумия. Но безопасно ли поддерживать близкие отношения с красивой, увлекающейся девушкой, которой предстоит — предупреждаю вас — или отдать свое сердце предназначенному супругу, или же постричься в монахини.

— Брак по принуждению или монастырь! — повторил я. — Неужели для мисс Вернон нет иного выхода?

— Увы, нет! — сказал со вздохом Рэшли. — Мне, я полагаю, излишне предупреждать, что для вас было бы рискованно завязывать слишком тесную дружбу с мисс Вернон. Вы светский человек и сами знаете, как далеко позволяют вам зайти в общении с нею ваша собственная безопасность и забота о чести девушки. Но предостерегаю вас, что вы, сообразуясь с пылким нравом Дианы, должны призвать на помощь весь свой житейский опыт

Note48
карту местности (франц.).

в защиту и ей и себе, потому что вчерашний пример достаточно показывает вам легкомыслие нашей кузины и ее пренебрежение к условностям.

Во всем этом, я сознавал, было много правды и здравого смысла, и сообщалось это, по-видимому, в порядке дружеского предостережения, — я не вправе был обижаться; однако же, пока он говорил, я все время испытывал сильное желание проткнуть шпагой Рэшли Осбалдистона.

«Черт побери его наглость! — подумал я про себя. — Уж не хочет ли он внушить мне, что мисс Вернон влюбилась в его длинный острый нос и пала так низко, что потребовалась его застенчивость для исцеления ее безрассудной страсти? Заставлю его сказать напрямик, что он думает, — решил я, — хотя бы мне пришлось тянуть из него слова клещами».

С этой целью я насколько мог взял себя в руки и заметил спокойно, что у такой разумной и образованной девицы, как мисс Вернон, в самом деле досадно видеть грубоватые и резкие манеры.

— Или, по меньшей мере, до крайности откровенные и несдержанные, — ответил Рэшли. — Но, поверьте мне, у нее прекрасное сердце. Сказать по правде, если она не захочет в конце концов пойти в монастырь или выйти замуж за назначенного ей жениха (а сейчас ей противна мысль о том и о другом) и если, с другой стороны, мои труды на копях Плутоса обеспечат мне достаточную независимость, я стану думать о возобновлении наших отношений и о соединении своей судьбы с судьбою мисс Вернон.

«При всем своем обаятельном голосе и округленных периодах, — подумал я, — Рэшли Осбалдистон — самый уродливый и самонадеянный волокита, какого только видел свет!»

— Но, с другой стороны, — продолжал Рэшли, как бы раздумывая вслух, — мне не хочется оттеснять Торнклифа.

— Оттеснять Торнклифа! Неужели ваш брат Торнклиф, — спросил я в изумлении, — предназначен в супруги Диане Вернон?

— Да, желание ее отца и заключенный между нашими семьями договор обязывает Диану выйти замуж за одного из сыновей сэра Гилдебранда. Из Рима получено было разрешение Диане Вернон сочетаться браком с — имярек — Осбалдистоном, эсквайром, сыном сэра Гилдебранда Осбалдистона из Осбалдистон-холла, баронета и так далее; дело только за выбором счастливца, чье имя должно заполнить пробел в документе. Так как Перси редко бывает трезв, отец мой избрал Торнклифа, как второго по старшинству и потому наиболее достойного продолжать род Осбалдистонов.

— Но молодая леди, — сказал я, принуждая себя принять шутливый тон, что мне едва ли удалось, — может быть, облюбовала для себя на вашем родословном древе ветку пониже?

— Не могу сказать, — ответил Рэшли. — Выбор в нашей семье небогат: Дик — игрок, Джон — мужлан, а Уилфред — осел. Я сказал бы, мой отец в конце концов правильно наметил супруга для бедной Ди.

— О присутствующих, — сказал я, — мы, как водится, не говорим.

— О, мое предназначение к духовному сану исключало вопрос обо мне; иначе, скажу без стеснения, я, как наиболее способный по своему воспитанию быть для мисс Вернон наставником и руководителем, я скорей заслуживал быть избранным, чем любой из моих старших братьев.

— И молодая леди держалась, конечно, того же мнения?

— Этого вы думать не должны, — ответил Рэшли тем притворным отрицанием, которое явно должно было подтвердить все возможные в этом случае подозрения. — Узы дружбы, одной лишь дружбы соединяли нас, а также нежная привязанность развивающегося ума к своему единственному наставнику. Любовь не подкралась к нам; я сказал вам уже, что вовремя вспомнил о благоразумии.

Я был не слишком расположен продолжать этот разговор и, отделавшись от Рэшли, удалился в свою комнату, где, помнится мне, принялся шагать из угла в угол в яростном возбуждении, громко повторяя те слова, какие меня больше всего задели: «Увлекающаяся девушка… пылкий нрав… нежная привязанность… любовь! ..» Диана Вернон, самое

прелестное создание, какое я только встречал, влюблена в него, в колченогого урода с бычьей шеей, в хромого мерзавца! .. Настоящий Ричард Третий, не хватает только горба! .. Впрочем, у Рэшли было столько возможностей во время его проклятых уроков… И эта легкая и плавная речь и крайнее одиночество Дианы — вокруг ни от кого не дождешься разумного слова; она к нему питает нескрываемую злобу, восхищаясь притом его талантами, — это очень похоже на проявление отвергнутого чувства… Хорошо! Но какое мне дело? Я-то отчего беснуюсь и злюсь? Разве Диана Вернон будет первой хорошенькой девушкой, полюбившей урода и вышедшей за него замуж? Если бы даже она не была связана ни с одним из этих Осбалдистонов — что мне в том нужды? Католичка, якобитка да еще в придачу полковник в юбке… Увлечься такой девицей было бы истинным сумасбродством.

Швырнув эти размышления в костер своей досады, я дал им догореть, но в сердце медленно тлела горячая зола, и я сошел к обеду угрюмый и злой.

ГЛАВА XII

Напиться пьяным? Нести вздор?.. Затевать ссору?.. Бушевать?
Ругаться? И высокопарно разговаривать с собственной тенью?
«Отелло»

Я вам уже говорил, мой добрый Трешем, — и для вас это едва ли оказалось новостью, — что главным моим недостатком было непреодолимое болезненное самолюбие, причинявшее мне немало огорчений. Я еще не признался самому себе, что люблю Диану Вернон, но как только Рэшли заговорил о ней как о милой безделушке, валяющейся под ногами, которую он по произволу мог подобрать или оставить на дороге, каждый шаг бедной девушки, в простоте своего чистого сердца искавшей моей дружбы, стал казаться мне самым оскорбительным кокетством. «Вот как! Она, стало быть, думает приберечь меня про запас — на худой конец, если мистер Рэшли Осбалдистон не соизволит сжалиться над нею! Но я ей докажу, что меня не так-то легко завлечь, — она поймет, что я вижу насквозь все ее уловки и презираю их!»

Ни на миг не пришло мне на ум, что негодовать я не вправе, и если все же негодую — значит, далеко не равнодушен к чарам мисс Вернон. Я сел за стол в озлоблении против нее и всех дочерей Евы.

Мисс Вернон слушала с удивлением мои неучтивые ответы на игриво-насмешливые замечания, которые она роняла со свойственной ей вольностью; однако, не подозревая, что я намеренно стараюсь обидеть ее, она отражала мои грубые выпады шутками в том же роде, но смягченными добрым расположением духа и сверкающими остроумием. Наконец она заметила, что я и впрямь сердит, и на мою очередную грубость ответила так:

— Говорят, мистер Фрэнк, что можно и у дураков поучиться уму-разуму! Я слышала на днях, как наш кузен Уилфред отказался продолжать с кузеном Торни драку на дубинках, потому что Торни разозлился и ударил, кажется, сильней, чем допускают правила этой мирной забавы. «Захоти я всерьез проломить тебе голову, — сказал наш добрый Уилфред, — плевал бы я на то, что ты злишься: мне было бы только легче; но чтоб меня дубасили по башке, а я бы только для виду размахивал палкой — это уж нечестно!» Мораль вам ясна, Фрэнк?

— До сих пор я не испытывал нужды, сударыня, вылавливать жалкие крохи здравого смысла из речей моих милых сородичей.

— «Не испытывал нужды», «сударыня»! Вы меня удивляете, мистер Осбалдистон.

— Очень сожалею, если так.

— Должна ли принимать всерьез ваш капризный тон? Или вы прибегаете к нему, чтобы тем выше ценили ваше хорошее настроение?

— Вы пользуетесь правом на внимание стольких благородных рыцарей в этом замке, что не стоит вам доискиваться, отчего я не в духе и вдруг поглупел.

— Как! — сказала она. — Неужели вы даете мне понять, что изменили моему знамени и перешли на сторону противника?

Затем, посмотрев через стол на сидевшего напротив нее Рэшли и заметив, что тот следит за нами с напряженным вниманием, отразившимся в резких чертах его лица, она добавила:

О, мысль ужасная! .. Иль это правда?
Глядит, угрюмо улыбаясь, Рэшли
И указует на тебя: «Мое!»

— Но, слава Богу, мое беззащитное положение научило меня терпеливо сносить многое, и я не обидчива; чтобы мне не пришлось волей-неволей рассориться с вами, я удаляюсь раньше, чем обычно. Желаю вам благополучно переваривать ваш обед и ваше дурное расположение духа.

С этими словами она встала из-за стола. Когда мисс Вернон ушла, мне стало стыдно за мое поведение: я оттолкнул сердечное участие, всю искренность которого так полно доказали недавние события, и был готов оскорбить прелестную и, как сама она подчеркивала, беззащитную девушку, предложившую мне его. Мое поведение казалось мне самому скотски грубым. Желая побороть или отстранить эти мучительные мысли, я чаще обычного подливал в свой бокал вина, оживлявшего наш обед. Тревога моя и непривычка к излишествам привели к тому, что вино быстро бросилось мне в голову. Завзятые пьяницы, думается мне, приобретают способность нагружаться вином в изрядном количестве, и оно лишь слегка затуманивает их рассудок, который и в трезвом состоянии не слишком-то ясен; но люди, чуждые пороку пьянства, как постоянной привычке, в большей мере подвержены действию хмеля. Возбужденный, я быстро потерял над собою власть: много говорил, спорил о вещах, в которых ничего не смыслил, рассказывал анекдоты, забывая их развязку, и потом безудержно смеялся над собственной забывчивостью; я бился об заклад, сам не понимая, по какому поводу; вызвал на борьбу великана Джона, хотя он второй год удерживал первенство по Хэксхему, а я ни разу не участвовал в состязаниях.

К счастью, мой добрый дядя воспротивился и не дал осуществиться этой пьяной затее, которая могла окончиться только одним: мне сломали бы шею.

Злые языки утверждали, что я под действием винных паров пел какую-то песню; но так как я ничего такого не припоминаю и так как за всю свою жизнь, ни до того, ни после, никогда не пытался что-либо спеть, мне хочется думать, что эта клевета не имела никаких оснований. Я и без того вел себя достаточно глупо. Не утрачивая окончательно сознания, я быстро потерял всякую власть над собой, и бурные страсти закружили меня в своем водовороте. Я сел за стол угрюмый, недовольный, склонный к молчаливости, вино же сделало меня болтливым, придирчивым, расположенным к спорам. Что бы кто ни высказывал, я всему противоречил и, забыв всякое уважение к хлебосольному хозяину, нападал на его политические и религиозные убеждения. Притворная снисходительность Рэшли, которой он умел придать оскорбительный характер, раздражала меня больше, чем шумное бахвальство его буянов-братьев. Дядя, отдам ему должное, пытался нас утихомирить, но в пьяном разгуле страстей с ним никто не считался. Наконец, взбешенный каким-то оскорбительным намеком, действительным или мнимым, я не выдержал и хватил Рэшли кулаком. Ни один философ-стоик, взирающий с высоты на собственные и чужие страсти, не мог бы встретить обиду большим презрением. Однако если сам он счел ниже своего достоинства выказывать негодование, за него вознегодовал Торнклиф. Мы обнажили шпаги и сделали два-три выпада, но остальные братья поспешили нас разнять. Никогда не забуду дьявольской усмешки, покривившей изменчивые черты Рэшли, когда два юных титана поволокли меня из зала. Они доставили меня в мою комнату и для верности заперли дверь на ключ, и я, к своей невыразимой ярости, слышал, как они благодушно смеялись, спускаясь по лестнице. В бешенстве я пробовал вырваться на волю, но решетки в окнах и железный переплет двери устояли против моих усилий. Наконец, я бросился на кровать и, поклявшись нещадно отомстить на следующий день, забылся тяжелым сном.

Утренняя прохлада принесла раскаяние. С острым чувством стыда вспомнил я свое

буйное и неразумное поведение и вынужден был признаться, что вино и страсть поставили меня по умственным способностям ниже самого Уилфреда Осбалдистона, которого я так презирал. Мое неприятное душевное состояние усугублялось мыслью, что нужно будет извиниться за свою неприличную выходку и что мисс Вернон неизбежно будет свидетельницей моего покаяния. Сознание, как непристойно и неучтиво я вел себя по отношению лично к ней, еще тяжелее угнетало меня, тем более что в этой своей провинности я не мог прибегнуть даже к такому жалкому оправданию, как действие хмеля.

Подавленный чувством стыда и унижения, я спустился к завтраку, как преступник, ожидающий приговора. Точно назло, из-за сильного холода пришлось отменить псовую охоту, и мне выпала на долю сугубая мука: встретить в полном сборе всю семью, за исключением Рэшли и мисс Вернон. Все сидели за столом, уничтожая холодный паштет из дичи и говяжий филей. Когда я вошел, веселье было в полном разгаре, и сама собой напрашивалась мысль, что предметом шуток служил не кто иной, как я. На самом же деле то, о чем я думал с мучительным стыдом, представлялось моему дяде и большинству моих двоюродных братьев милой, невинной проделкой. Сэр Гилдебранд, напомнив мне мои вчерашние подвиги, клялся, что по его суждению молодому человеку лучше напиваться пьяным трижды в день, чем, подобно пресвитерианину, заваливаться спать трезвым, оставив приятную компанию и нераспитую кварту вина. В подкрепление своих утешительных слов он налил мне громадный кубок водки, убеждая проглотить «волос укусившей меня собаки» — иначе говоря, опохмелиться.

— Ты не смотри на моих зубоскалов, племянник, — продолжал он, — они бы выросли такими же, как ты, тихонями, если бы я не вскормил их, можно сказать, на пиве и на водке.

У моих двоюродных братьев были, в сущности, не злые сердца: они видели, что я с болью и терзанием вспоминаю о вчерашнем, и с неуклюжей заботливостью старались рассеять мое тяжелое настроение. Один только Торнклиф глядел угрюмо и непримиримо. Он с самого начала невзлюбил меня; с его стороны я никогда не встречал знаков внимания, какие, при всей их неотесанности, проявляли ко мне иногда остальные братья. Если было правдой (в чем, однако, я стал сомневаться), что в семье на него смотрели как на будущего мужа Дианы Вернон, или если сам он считал себя таковым, в его душе, естественно, могла загореться ревность из-за явного расположения, каким угодно было девушке дарить человека, в котором Торнклиф мог, пожалуй, видеть опасного соперника.

Вошел наконец и Рэшли, с темным, как траур, лицом, раздумывая — я в том не сомневался — о непростительной и позорной обиде, которую я ему нанес. Я мысленно уже решил, как мне держаться в этом случае, и убедил себя, что истинная честь требует, чтобы я не оправдывался, а извинился за оскорбление, столь несоразмерное с причиной, на которую я мог сослаться.

Итак, я поспешил навстречу Рэшли и выразил свое величайшее прискорбие по поводу грубой выходки, допущенной мною накануне вечером.

— Никакие обстоятельства, — сказал я, — не могли бы вырвать у меня ни единого слова извинения, если бы сам я не понимал, что вел себя недостойно.

В добавление я выразил надежду, что мой двоюродный брат примет искренние изъявления моего раскаяния и поймет, что виною моего непристойного поведения отчасти было слишком широкое гостеприимство Осбалдистон-холла.

— Он помирится с тобою, мальчик, — воскликнул от всего сердца добрый баронет, — или, клянусь спасением души, он мне не сын! Как, Рэшли, ты все еще стоишь, точно пень? «Очень сожалею» — вот и все, что может сказать джентльмен, если ему случится сделать что-нибудь неподобающее, особенно за бутылкой вина. Я служил в Хаунслоу и кое-что смыслю, думается мне, в вопросах чести. Итак, ни слова больше об этой истории! Поедемте-ка на Березовую Косу и выкурим из норы барсука.

Лицо Рэшли, как я уже отмечал, не походило ни на одно из тех, какие мне доводилось встречать. Но особенность эта заключалась не в чертах его, а в том, как оно меняло свое выражение. Другие лица при переходе от печали к радости, от гнева к спокойствию требуют

некоторого промежутка времени, прежде чем выражение победившего чувства окончательно вытеснит следы предыдущего. Наступает полоса сумерек — как между ночью и восходом солнца, — покуда смягчаются напряженные мускулы, темный взор проясняется, лоб разгладится и лицо, утратив угрюмые тени, станет спокойным и ясным. Лицо Рэшли изменялось без всякой постепенности: за выражением одной страсти едва ли не мгновенно следовало выражение страсти противоположной. Я могу сравнить это только с быстрой сменой декораций на сцене, где по свистку суфлера исчезает пещера и появляется роща.

На этот раз это свойство меня особенно поразило. Когда Рэшли только вошел в зал, он «стоял чернее самой ночи». С тем же мрачным, непреклонным видом выслушал он мои извинения и увещания отца; и только когда сэр Гилдебранд договорил, облако тотчас сбежало с его лица и он в любезнейших и самых учтивых словах объявил, что вполне удовлетворен моими «изящными извинениями».

— В самом деле, — сказал он, — у меня у самого очень слабая голова и не выдерживает ни капли сверх моих обычных трех стаканов, так что я, подобно честному Кассио, сохранил лишь смутное воспоминание о вчерашнем недоразумении, — помню какой-то общий сумбур, но никаких отчетливых подробностей; я знаю, мы сцепились, но не помню даже, из-за чего. А потому, дорогой кузен, — продолжал он, ласково пожимая мне руку, — вы сами поймете, какое облегчение для меня услышать, что я должен принять извинения, а не принести их. Не хочу вспоминать об этом ни единым словом; было бы крайне глупо с моей стороны настаивать на проверке счета, коль скоро я ожидал, что итог будет против меня, а он так приятно и неожиданно обернулся в мою пользу. Вы видите, мистер Осбалдистон, я уже упражняюсь в языке Ломбардской улицы и готовлюсь к своей новой профессии.

Я только что собрался ответить и с этой целью поднял глаза, как встретился взглядом с мисс Вернон: она вошла незамеченная в комнату во время разговора и слушала его с пристальным вниманием. В замешательстве и смущении я потупился и поспешил отойти к столу, где мои двоюродные братья деловито расправлялись с завтраком.

Дядя, извлекая нравственный урок из событий минувшего дня, воспользовался случаем дать мне и Рэшли настоятельный совет разделаться с нашими «бабьими привычками», как он это называл, и постепенно приучиться употреблять подобающее джентльмену количество спиртного, не теряя головы, не затевая драк и не проламывая череп собутыльнику. Он предложил нам для начала выпивать регулярно по кварте белого вина в день, что с добавлением мартовского пива и водки составляло изрядную дозу для новичка в высоком искусстве пьянства. Желая нас приободрить, он добавил, что знавал джентльменов, которые дожили до нашего возраста, не умея выпить в один присест и пинты вина, но потом, втянувшись в честную компанию и следуя похвальному примеру, попали в число первых удальцов своего времени и могли спокойно опрокинуть в себя шесть бутылок, после чего не буянили, не заговаривались, а наутро вставали бодрые, не чувствуя тошноты.

Совет был мудрый и открывал предо мною отрадную перспективу, но все же я не спешил воспользоваться им — отчасти, может быть, потому, что, поднимая глаза от своей тарелки, я каждый раз встречал устремленный на меня взор мисс Вернон, в котором, мне казалось, я прочел глубокое участие, смешанное с сожалением и укором. Я стал придумывать способ объясниться с нею и принести свои извинения, когда она дала мне понять, что решила облегчить мне эту задачу, и назначила свидание сама.

— Кузен Фрэнсис, — обратилась она ко мне, назвав меня так же, как называла остальных Осбалдистонов, хотя, по справедливости, я не имел права числить себя ее родичем, — я нынче утром встретила трудный текст у Данте в «La Divina Commedia» *note 49* не окажете ли вы мне любезность пройти со мной в библиотеку и помочь мне разобрать его? Когда же вы раскроете для меня неясную мысль загадочного флорентинца, мы догоним остальных на Березовой Косе и посмотрим, удастся ли нашим охотникам выследить барсука.

Note49

Божественной комедии» (итал.).

Я, разумеется, изъявил готовность услужить ей, Рэшли предложил нам свою помощь.

— Я лучше владею, — сказал он, — искусством выслеживать мысль Данте среди метафор и элизий его дикой и мрачной поэмы, чем выгонять безобидного маленького пустынника из его пещеры.

— Прошу извинить меня, Рэшли, — сказала мисс Вернон, — но так как вам предстоит занять место мистера Фрэнсиса в конторе торгового дома, вы должны передать ему обязанности по обучению вашей ученицы в Осбалдистон-холле. Впрочем, мы позовем вас, если в том появится надобность, так что, прошу вас, не смотрите так сумрачно. К тому же стыдно вам так мало смыслить в охоте. Что вы ответите, если ваш дядя с Журавлиной улицы спросит вас, по каким приметам выслеживают барсука?

— Правда, Ди, правда! — сказал со вздохом сэр Гилдебранд. — Я не сомневаюсь, Рэшли позорно провалится, если ему устроят экзамен. А он мог бы набраться полезных знаний, как все его братья: он, можно сказать, вскормлен на лугах, где знания сами растут из земли; но эта шутовская погоня за французской модой и книжной премудростью, за всяческими новшествами, и ренегаты, и ганноверская династия так изменили мир, что я не узнаю нашу старую добрую Англию. Едем с нами, Рэшли; ступай принеси мне мою рогатину. Кузина не нуждается сегодня в твоем обществе, а я не позволю, чтоб Диане докучали. Никто не скажет, что в Осбалдистон-холле была одна только женщина, да и ту уморили в неволе.

Рэшли поспешил исполнить приказание отца — однако, проходя, успел шепнуть Диане:

— Полагаю, что мне следует из скромности привести с собою дуэнью Церемонию и постучать, когда я подойду к дверям библиотеки?

— Нет, нет, Рэшли, — сказала мисс Вернон, — дайте отставку вашему фальшивому наперснику, великому магу Лицемерию, и это вернее откроет вам свободный доступ к нашим классическим занятиям.

С этими словами она направилась в библиотеку, и я последовал за нею, — чуть не добавил: как преступник на казнь, но, помнится, я уже раз, если не два, употребил это сравнение. Итак, скажу без всяких сравнений: я последовал за мисс Вернон с чувством глубокого и вполне понятного замешательства. Я много заплатил бы, чтоб избавиться от него. Это чувство казалось мне унизительным и недостойным джентльмена при тех обстоятельствах, так как я достаточно долго дышал воздухом континента и усвоил себе, что молодому человеку, когда красивая дама предложит ему беседу с глазу на глаз, приличествует легкость тона, учтивость и нечто вроде благовоспитанной самоуверенности.

Однако моя английская совесть оказалась сильнее французского воспитания, и я представлял собою, думается мне, довольно жалкую фигуру, когда мисс Вернон, величественно усевшись в тяжелом библиотечном кресле, как судья, готовящийся к слушанию важного дела, жестом пригласила меня занять стоявший напротив стул (я опустился в него, как подсудимый на свою скамью) и тоном горькой иронии повела разговор.

ГЛАВА XIII

Проклят, кто первый ядом напоил
Оружье, кованное для убийства.
Но тот вдвойне погибели достоин,
Кто влил отраву в чашу круговую
И вместо жизни в жилах смерть вселил.
Неизвестный автор

— Честное слово, мистер Фрэнсис Осбалдистон, — сказала мисс Вернон, словно считая себя вправе обращаться ко мне тоном укоризненной иронии всякий раз, когда ей заблагорассудится поупражняться в нем, — ваша репутация здесь повышается, сэр. Не ожидала я от вас таких способностей. Вчерашней пробой вы, можно сказать, доказали, что вправе числиться почетным членом осбалдистонского общества. Вы сдали экзамен на мастера.

— Я искренне винюсь в своей невоспитанности, мисс Вернон, и в оправдание могу сказать лишь то, что перед тем мне сделаны были некоторые сообщения, которые меня чрезвычайно взволновали. Я сознаюсь, что вел себя дерзко и глупо.

— Вы несправедливы к самому себе, — сказала моя безжалостная наставница. — По всему, что я видела сама и что слышала от людей, вы в течение одного вечера счастливо успели проявить во всем блеске разнообразные и непревзойденные достоинства, отличающие ваших братьев каждого в отдельности: кроткое великодушие доброжелательного Рэшли, воздержанность Перси, холодное мужество Торнклифа, искусство Джона в натаскивании собак, наклонность Дикона по каждому поводу биться об заклад, — и все это представлено, мистер Фрэнсис, в едином вашем лице; в выборе же времени, места и обстоятельств вы показали вкус и проницательность, достойные мудрого Уилфреда.

— Сжальтесь, мисс Вернон, — сказал я; признаюсь, отповедь казалась мне не более суровой, чем я заслужил своим поступком, особенно если принять во внимание, от кого она исходила, — и простите, если я сошлюсь в извинение безрассудств, которыми редко грешу, на обычаи этого дома и края. Я далек от того, чтобы их одобрять, но, по свидетельству Шекспира, доброе вино — хороший приятель, и каждый живой человек может иногда подпасть под его влияние.

— Да, мистер Фрэнсис, но Шекспир вкладывает эту апологию и панегирик в уста величайшего негодяя, изображенного его пером. Однако я не стану злоупотреблять возможностью, доставленной мне вашей цитатой, и не обрушусь на вас теми доводами, какими злосчастный Кассио отвечает искусителю Яго. Я хочу только дать вам понять, что в замке есть человек, которому все-таки обидно видеть, как способный, одаренный юноша готов погрязнуть в болоте, в котором каждый вечер полощутся обитатели этого дома.

— Я только набрал воды в сапоги, уверяю вас, мисс Вернон, и скверный запах тины сразу отбил у меня охоту сделать хоть шаг дальше.

— Мудрое решение, — ответила мисс Вернон, — если вы твердо на нем стоите. Но то, что я слышала, меня глубоко огорчило, и я заговорила о вашем деле прежде, чем о своем. Вчера за обедом вы держались со мною так странно, точно вам сообщили обо мне нечто унизившее меня в вашем мнении. Разрешите же спросить: что вам сказали?

Я был ошеломлен. Диана поставила вопрос с резкой прямотой, как мог бы обратиться джентльмен к джентльмену, добродушно, но решительно требуя объяснений некоторым сторонам его поведения и отбросив те недомолвки, околичности, смягчения, иносказания, какими в высших кругах общества сопровождаются обычно объяснения между лицами разного пола.

Итак, я был в полном замешательстве. Меня неотступно терзала мысль, что сообщения Рэшли, если даже и верить им, должны были только пробудить во мне жалость к мисс Вернон, но никак не мелочную злобу; и если бы даже они представлялись самым лучшим оправданием моей вины, мне было бы крайне затруднительно высказать слова, которые, конечно, не могли не оскорбить самолюбия мисс Вернон. Видя, что я колеблюсь, она продолжала в несколько более настойчивом, но все еще сдержанном и учтивом тоне:

— Надеюсь, мистер Осбалдистон не оспаривает моего права требовать объяснений? У меня нет близкого человека, который мог бы заступиться за меня; значит, по справедливости, мне позволительно самой за себя заступиться.

Я неубедительно пытался объяснить свое грубое поведение дурным расположением духа и неприятными письмами из Лондона. Мисс Вернон, предоставив мне возможность исчерпать все оправдания и честно запутаться в них, внимательно слушала меня с улыбкой полного недоверия.

— А теперь, мистер Фрэнсис, когда вы покончили с прологом к вашему извинению, неуклюжим, как все прологи, будьте любезны раздвинуть занавес и показать мне то, что мне желательно увидеть. Словом, сообщите, что говорил обо мне Рэшли, ибо он главный механик и первый изобретатель всех интриг в Осбалдистон-холле.

— Но, допуская даже, что мне есть что сообщить, мисс Вернон, не осудите ли вы того,

кто выдает тайны одного союзника другому? Рэшли, как вы сами заявили, утратив вашу дружбу, остается вашим союзником.

— Я не терплю увиливания и не склонна шутить в таком деле. Рэшли не может, не должен, не смеет вести обо мне, Диане Вернон, такие речи, которые нельзя мне передать, когда я того прошу. Совершенно верно, что в некоторых делах нас связывают тайна и взаимное доверие, но то, что он сообщил вам, не могло их касаться, и лично ко мне они не имеют никакого отношения.

К этому времени я уже оправился от замешательства и быстро принял решение не раскрывать того, что доверительно поведал мне Рэшли. Я полагал недостойным передавать частный разговор. «Мне, — подумал я, — на пользу это не послужит, а Диане Вернон, несомненно, причинит большую боль». Итак, я ответил с глубокой серьезностью, что между мною и мистером Рэшли Осбалдистоном «имел место легкий разговор о семейном положении обитателей замка», и заявил, что при этом не было сказано ничего такого, что бросало бы тень на нее; но добавил, что я как джентльмен не считаю возможным углубляться в более подробную передачу частной беседы.

Она встала с вдохновенным видом Камиллы, готовой ринуться в битву:

— Отговорки, сэр, вам не помогут: я должна получить от вас иной ответ.

Ее лицо вспыхнуло, в глазах загорелся дикий огонь, когда она заговорила вновь:

— Я требую такого объяснения, какого гнусно оклеветанная женщина вправе спросить у каждого мужчины, именующего себя джентльменом, какого женщина, лишенная матери, лишенная друзей, одинокая и беззащитная, предоставленная собственным силам и разуму, вправе требовать от каждого, кому выпал более счастливый жребий, — требовать именем Бога, пославшего на свет иных наслаждаться, а ее — страдать. Вы не откажете мне, или, — добавила она, подняв торжественно взор, — вы раскаетесь в своем отказе, если есть воздаяние за обиду на земле или в небесах.

Я был крайне изумлен ее порывом, но почувствовал, что такое заклятие обязывает меня отбросить излишнюю щепетильность и кратко, но внятно передать ей суть тех сведений, которые мне сообщил Рэшли.

Она опустилась в кресло и приняла спокойный вид, как только я приступил к своему рассказу; когда же я останавливался, подыскивая наиболее деликатный оборот, она не раз перебивала меня возгласом:

— Продолжайте, прошу вас, продолжайте. Первое слово, какое подвернется, будет самым простым и, верно, самым лучшим. Не бойтесь задеть мои чувства, говорите, как вы говорили бы третьему лицу, непричастному к делу.

Поощренный и ободренный такими словами, я прошел, спотыкаясь, через отчет, сделанный мне Рэшли, о ее давнишнем обязательстве выйти замуж за одного из Осбалдистонов и о трудностях вставшего перед нею выбора. На этом я хотел было умолкнуть, но Диана с присущей ей проницательностью обнаружила, что здесь таится недомолвка, и даже разгадала какая.

— Конечно, нехорошо было со стороны Рэшли рассказывать обо мне эти вещи. Я похожа на бедную девочку из волшебной сказки, просватанную с колыбели за Черного Норвежского Медведя, но горюющую больше всего о том, что школьные подруги дразнят ее «невестой косолапого мишки». Однако помимо всего этого Рэшли, верно, сказал что-нибудь и о себе самом в связи со мною.

— Он, конечно, намекнул, что если бы не боязнь кровно обидеть брата, то теперь, ввиду перемены в его судьбе, ему хотелось бы, чтобы вместо имени «Торнклиф» пробел в договоре заполнило имя «Рэшли».

— Вот как? — сказала она. — Он проявил ко мне такую снисходительность? Слишком много чести для его смиренной служанки Дианы Вернон. А та, разумеется, пришла бы в неистовый восторг, совершись на деле такая замена?

— Сказать по правде, он высказал нечто подобное и даже дал понять…

— Что именно? Я хочу услышать все! — с жаром воскликнула она.

— Что он положил конец вашей взаимной склонности, чтобы не дать разрастись чувству, воспользоваться которым ему не позволяло его призвание.

— Весьма ему обязана за такую заботливость, — ответила мисс Вернон, и каждая черта ее прелестного лица как бы стремилась выразить крайнюю степень гордого презрения.

С минуту она молчала, а затем продолжала с обычным для нее спокойствием:

— Я очень мало услышала от вас такого, чего не ждала услышать и не должна была бы ждать, потому что, за исключением одного обстоятельства, это все верно. Но как бывают яды настолько сильные, что несколько капель их могут будто бы отравить колодец, так и в сообщениях Рэшли была одна ложь, способная отравить весь источник, где, как говорится, обитает сама Истина. Такова основная и гнусная ложь, будто я, зная Рэшли — а я, к сожалению, вынуждена была его узнать слишком хорошо, — будто я при каких бы то ни было обстоятельствах могу помышлять о том, чтобы соединить с ним свою судьбу. Нет, — продолжала она с каким-то внутренним содроганием, выражавшим, казалось, невольный ужас, — любая судьба лучше, чем такая: пьяница, игрок, задира, лошадник, безмозглый дурак в тысячу раз предпочтительней Рэшли; монастырь, тюрьма, могила милее любого из них.

Грустные и горькие интонации звучали в ее голосе, отвечая странному и захватывающему романтизму ее положения. Такая юная, такая красивая, такая неискушенная, предоставленная всецело самой себе и лишенная всякой опоры, какую девушка находит в поддержке и покровительстве подруг, лишенная даже той слабой защиты, которую дают предписанные формы обращения с женщиной в светском обществе! Едва ли будет метафорой, если я скажу, что сердце мое обливалось кровью от боли за нее. Но в ее пренебрежении к церемониям чувствовалось столько достоинства, столько прямоты в ее презрении ко лжи, столько твердой решимости в этой манере прямо смотреть в глаза окружающим ее опасностям, что жалость моя уступила место пламенному восхищению. Диана казалась мне королевой, покинутой своими подданными и лишенной власти, но презирающей по-прежнему те общественные нормы, которые обязательны для лиц низшего ранга, и среди лишений доверчиво положившейся на справедливость небесную и на непоколебимую твердость собственного духа.

Я хотел бы высказать и участие свое и восхищение ее высоким мужеством в этой трудной обстановке, но мисс Вернон тотчас же заставила меня замолчать.

— Я говорила вам в шутку, — сказала она, — что ненавижу комплименты, теперь говорю вам всерьез, что не прошу участия и презираю утешение. Что легло мне на плечи — я вынесла. Что предстоит нести — снесу, как смогу. Никакие слова сострадания ни на волос не облегчат рабу его ношу. Есть на свете лишь один человек, который мог бы мне помочь, но он предпочел лишь увеличить легшую на меня тяжесть,

— это Рэшли Осбалдистон. Да! Было время, когда я способна была его полюбить. Но Боже, с какою целью втерся он в доверие к такому одинокому существу! И как настойчиво преследовал он эту цель из года в год, ни разу не прислушавшись к голосу совести или сострадания! Ради чего обращал он в яд ту пищу, что сам предлагал моему уму! Милосердное провидение! Что ждало бы меня в этом мире и в будущем! Я погибла бы и телом и душой, если бы поддалась козням этого законченного негодяя!

Пораженный коварством обдуманного предательства, которое она раскрыла предо мною, я вскочил со стула и не помня себя положил руку на эфес шпаги. Я готов был уже броситься вон из комнаты и разыскать того, на кого должно было излиться мое справедливое негодование. Чуть дыша, остановив на мне взор, в котором гнев и презрение сменились сильнейшей тревогой, мисс Вернон ринулась вперед, преграждая мне дорогу к двери.

— Стойте! — сказала она. — Стойте! Как ни законно ваше возмущение, вы и наполовину не знаете тайн этой страшной тюрьмы. — Она тревожно обвела глазами комнату и понизила голос почти до шепота: — Жизнь его заколдована. Вы не можете на него напасть, не подвергнув опасности и другие жизни, не навлекши множества бед на других. Иначе в час справедливого возмездия он бы давно погиб — хотя бы от моей слабой руки. Я сказала вам, — промолвила она, снова указывая мне на стул, — что не нуждаюсь в утешителе; добавлю

теперь, что и мстителя мне не нужно.

Я машинально опустился на стул, раздумывая о ее словах, и вспомнил то, что упустил из виду в первом порыве гнева: что я не имел права выступить защитником мисс Вернон. Она умолкла, давая улечься своему волнению и моему, затем обратилась ко мне более спокойно:

— Я говорила уже о тайне, связанной с Рэшли, опасной и роковой тайне. Хоть он и негодяй и знает, что в моих глазах он осужден, я не могу, не смею открыто с ним порвать или бросить ему вызов. Вы также, мистер Осбалдистон, должны его терпеть, должны побеждать его хитрость, противопоставляя ей благоразумие, а не грубую силу. И больше всего вы должны избегать таких сцен, какая разыгралась вчера, потому что это неизбежно даст ему опасное преимущество перед вами. Я хотела вас предостеречь и ради этой цели постаралась остаться с вами наедине, но зашла в своей откровенности дальше, чем предполагала.

Я уверил мисс Вернон, что не употреблю во зло ее откровенность.

— Надеюсь, что так, — ответила она. — В вашем лице и манерах есть что-то располагающее к доверию. Будем и дальше друзьями. Вам нечего опасаться, — добавила она со смехом и слегка покраснев, но не изменяя своему непринужденному тону, — что дружба у нас окажется, как говорит поэт, лишь особым наименованием другого чувства. По образу мыслей и поведению я принадлежу не столько к своему, сколько к вашему полу, так как всегда воспитывалась среди мужчин. К тому же меня с колыбели окутывает покрывало монахини: вы мне легко поверите, что я никогда не помыслю о том унизительном условии, которое позволило бы мне избавиться от монастыря. Для меня еще не наступило время, — добавила она, — высказать свое окончательное решение, и покуда мне дозволено, я хочу вместе со всеми, кто любит природу, свободно наслаждаться привольем долин и холмов. А теперь, когда мы так успешно разъяснили это место у Данте, прошу вас, садитесь в седло и посмотрите, как идет травля барсука. У меня так разболелась голова, что я не могу принять в ней участие.

Я вышел из библиотеки, но не для того, чтобы догнать охотников. Я чувствовал, что мне необходимо прогуляться в одиночестве и успокоиться, прежде чем я смогу решиться на новую встречу с Рэшли, — после того, как предо мною так неожиданно раскрылись во всей мерзости его низкие цели. В семье Дюбуа (он был убежденным реформатором) я наслушался рассказов о католических священниках, о том, как они, злоупотребляя дружбой, гостеприимством и самыми святыми узами, удовлетворяют те греховные страсти, отказ от которых предписан их саном. Но эта обдуманная система: взяться за воспитание одинокой сироты, девушки благородного происхождения, так тесно связанной с его собственной семьей, в коварном расчете обольстить ее впоследствии, — система, которую мне сейчас подробно изложила с таким искренним и чистым возмущением сама намеченная жертва… Замысел этот казался мне гнуснее всего, что мне рассказывали в Бордо, и я чувствовал, что мне будет крайне трудно при встрече с Рэшли скрыть отвращение, которое он мне внушал. Между тем скрывать его было необходимо не только по причине загадочного предостережения, сделанного Дианой, но и потому, что у меня в действительности не было прямого повода для ссоры с двоюродным братом.

Поэтому я решил: пока мы с Рэшли живем в одной семье, платить ему за его лицемерие, насколько это возможно, той же монетой. Когда же он уедет в Лондон, написать о нем Оуэну и дать такую характеристику моему заместителю, чтобы старик по крайней мере держался с ним настороже, оберегая интересы моего отца. Для человека, подобного Рэшли, жадность и честолюбие имеют такую же, если не большую притягательность, как и беззаконное наслаждение; его энергия, его умение выставить себя благородной натурой легко могли вызвать к нему большое доверие, и не было надежды, что честность и благодарность не позволят ему употребить это доверие во зло. Задача была не из легких, особенно в моем настоящем положении: мое предостережение могли объяснить завистью к сопернику, заступившему мое место в отцовском доме. Все же я считал необходимым написать такое письмо и предоставить Оуэну, который был по-своему осторожен, умен и осмотрителен, сделать должные выводы из моего сообщения об истинном облике Рэшли. Итак, письмо было написано, и я при первом удобном случае отправил его на почту.

При встрече с Рэшли я убедился, что он, как и я, намерен держаться на известном расстоянии, избегая всякого повода к столкновению. Он, вероятно, подозревал, что в разговоре со мною мисс Вернон отозвалась о нем неблагоприятно, хотя не мог предположить, что она раскрыла мне его злодейские замыслы. Итак, мы оба проявляли сдержанность и беседовали между собой лишь о безразличных предметах. Впрочем, он прожил в Осбалдистоне еще лишь несколько дней, и за это время я, наблюдая за ним, подметил только два обстоятельства. Во-первых, его сильный, деятельный ум с удивительной быстротой, почти интуитивно, схватывал и усваивал начальные знания, необходимые ему на его новом поприще, к которому он усердно готовился; при случае он выставлял предо много свои успехи, как будто похваляясь, как легко оказалось для него поднять ту ношу, которую я отказался нести, потому что для меня это было слишком скучно или слишком трудно. Другим примечательным обстоятельством было то, что, несмотря на выдвинутые мисс Вернон против Рэшли жестокие обвинения, она неоднократно вела с ним длинные разговоры наедине, хотя на людях они держались друг с другом так же натянуто, как и раньше.

Когда наступил день отъезда Рэшли, баронет равнодушно простился с сыном, братья же едва скрывали свой восторг — точно школьники, которые видят, что учитель уезжает в отпуск, и ликуют втихомолку, не смея открыто показать свою радость; что касается меня, я был холодно-вежлив. Когда Рэшли подошел к мисс Вернон и обратился к ней с прощальным приветствием, она откинула голову с видом высокомерного презрения, но все же протянула руку и промолвила:

— Прощайте, Рэшли! Да вознаградит вас Бог за добро, какое вы сделали, и да простит вам зло, которое вы замышляли.

— Аминь, моя прелестная кузина! — ответил Рэшли тоном кроткой святости, подобающим, подумал я, ученику иезуитов. — Счастлив тот, чьи добрые намерения принесли плоды в делах и чьи злые замыслы погибли в цвету.

Таковы были его прощальные слова.

— Законченный лицемер! — сказала мне мисс Вернон, когда за ним затворилась дверь. — Как может иногда то, что мы больше всего презираем и ненавидим, принять внешний вид того, что мы больше всего почитаем!

Помимо того конфиденциального письма, о котором говорилось выше и которое я счел более благоразумным отправить иным способом, я послал с Рэшли письмо к отцу и несколько строк к Оуэну. Было бы естественно с моей стороны открыть в этих посланиях отцу и другу, что я нахожусь в такой обстановке, где не могу усовершенствоваться ни в чем, кроме псовой и соколиной охоты, и где мне грозит опасность в обществе грубых конюхов и собачеев забыть все полезные знания и светские манеры, которые я успел приобрести раньше. Столь же естественно было бы поведать о тоске и чувстве отвращения, которые гнетут меня в среде людей, чьи помыслы заняты лишь травлей зверя и самыми низменными забавами; рассказать о том, как в доме, где я гощу, ежедневно идут попойки и как чуть ли не с обидой принимает дядя, сэр Гилдебранд, мои извинения, когда я отказываюсь пить. Упоминание о пьянстве, несомненно, должно было встревожить моего отца, который сам отличался строгой воздержанностью, — задень я эту струну, дверь моей тюрьмы, безусловно, отворилась бы: отец вернул бы меня из моего изгнания или, по меньшей мере, назначил бы мне другое место ссылки.

Да, мой милый Трешем, принимая во внимание, какой неприятной и томительной была жизнь в Осбалдистон-холле для юноши моих лет и моих привычек, казалось бы вполне естественным, чтобы я указал отцу на все ее темные стороны, надеясь получить разрешение на отъезд из дядиного замка. Тем не менее в письмах к отцу и Оуэну я ни словом о том не обмолвился. Если бы замок Осбалдистон был Афинами во всей их прежней славе — Афинами, где живут одни лишь мудрецы, герои и поэты, — я не мог бы выразить меньше желания расстаться с ним.

Если в тебе сохранилась хоть искра юности, Трешем, ты без труда разгадаешь причину моего молчания, казалось бы, столь непонятного. Необычайная красота Дианы Вернон,

которой сама она словно и не сознавала; романтическое и загадочное положение девушки; окружавшие ее опасности и мужество, с каким она глядела им в глаза; ее манеры, более вольные, чем подобало ее полу, хотя я сам готов был объяснить чрезмерную эту свободу бесстрашным сознанием собственной невинности; и прежде всего лестное внимание девушки, явно отдававшей мне предпочтение перед всеми другими, — все это, вместе взятое, должно было волновать мои лучшие чувства, дразнить любопытство, будить фантазию и льстить моему тщеславию. В самом деле, я не смел сознаться самому себе, какой глубокий интерес внушает мне мисс Вернон и какое большое место занимает она в моих мыслях. Мы вместе читали, вместе совершали прогулки, вместе ездили верхом, сидели рядом за столом. Занятия, прерванные после ссоры с Рэшли, она теперь возобновила под руководством наставника более чистосердечного, но далеко не такого способного.

Признаться, мне было не по плечу помогать ей в изучении тех разнообразных и глубоких дисциплин, которыми она начала заниматься с Рэшли и которые, казалось мне, более подходили богослову, чем красивой девушке.

Я не мог постигнуть, ради чего завлек он Диану в мрачный лабиринт казуистики, именуемой у ученых философией, или в дебри столь же сложных, хоть и более точных наук — математики и астрономии, — если не с целью извратить и затуманить в ее уме понятие о различии полов и приучить ее к тонким логическим рассуждениям, чтобы затем, когда настанет время, вмешаться самому и облачить ложь в цвета истины. В тех же видах (хотя в этом случае злой умысел был очевидней) уроки Рэшли поощряли Диану ни во что не ставить и презирать те внешние формы и условности, которыми ограничено в современном обществе поведение женщины. Правда, мисс Вернон выросла лишенная женской среды и не могла усвоить общепринятые правила приличия ни из примера, ни из наставлений, но врожденная скромность и безошибочное чутье вели ее по правильному пути и никогда не позволили бы ей усвоить то смелое, не признающее компромиссов обхождение, которое так поразило меня при нашем первом знакомстве, если бы ей настойчиво не внушали, что презрение к условностям указывает одновременно на превосходство ума и на уверенность в чистоте своей совести. Коварный наставник, преследуя, несомненно, собственные цели, взрывал те бастионы, которые воздвигаются вокруг добродетели сдержанностью и осторожностью. Но за эти и за другие свои преступления он давно ответил перед более высоким судом.

Благодаря своему живому уму, жадно воспринимавшему все виды знаний, какие ему предлагались, Диана преуспевала не только в отвлеченных науках: я нашел в ней также незаурядного лингвиста, хорошо знакомого к тому же с древней и современной литературой. Если бы не то обстоятельство, что сильные дарования часто развиваются тем полнее, чем они меньше получают поддержки, быстрые успехи мисс Вернон в науках могли бы казаться почти невероятными; и они представлялись еще необычайней, когда этот запас ее духовного богатства, почерпнутый из книг, я сопоставлял с ее абсолютным неведением действительной жизни. Казалось, она знала и видела все, кроме того, что происходит вокруг; и мне думается, что это неведение, эта наивность в суждениях о повседневных предметах, являвшие разительную противоположность ее обширным общим знаниям, что они-то и придавали ее беседе неотразимое очарование и приковывали внимание ко всему, что она делала и говорила: невозможно было предугадать, что проявит она в следующей фразе или поступке — тонкую ли проницательность или глубочайшую наивность. Какой опасностью грозило для впечатлительного юноши моих лет близкое и постоянное общение с таким прелестным и своеобразным существом, легко поймет каждый, кто не забыл своих юных чувств.

ГЛАВА XIV

Дрожащий падает свет из окна
Той горницы высокой.
Зачем же красавица лампу зажгла
В полуночный час одинокий?
Старинная баллада

Жизнь протекала в Осбалдистон-холле так однообразно, что и описывать нечего. Мы с Дианой Вернон проводили много времени в совместных занятиях; остальные члены семьи убивали свой досуг охотой и разными развлечениями, смотря по времени года, и в этих общих забавах мы с нею тоже принимали участие. Дядя мой был человек привычки и по привычке так освоился с моим присутствием в замке и образом жизни, что, в общем, как будто даже полюбил меня. Я мог бы, наверно, добиться у него еще большей благосклонности, если бы для этой цели пустился на те же уловки, что и Рэшли, который, пользуясь нелюбовью отца к делам, постепенно забрал в свои руки управление его поместьем. Правда, я охотно помогал дяде каждый раз, когда являлась надобность написать соседу или уладить счеты с арендатором, и в этом смысле от меня ему больше было пользы, чем от любого из его сыновей, но все же я не выказывал готовности полностью снять с сэра Гилдебранда все хлопоты и любезно взять на себя ведение его дел. «Племянник Фрэнк — дельный, толковый юноша», — говаривал почтенный баронет, всякий раз добавляя, однако, что сам не ожидал, как чувствительно будет для него отсутствие Рэшли.

Так как чрезвычайно неприятно, живя в чужой семье, быть в ней с кем-либо не в ладах, я старался преодолеть недоброжелательство, которое ко мне питали мои двоюродные братья. Я сменил свою шляпу с галуном на жокейскую шапочку, и это сразу возвысило меня в их мнении; я искусно объездил горячего жеребца, чем еще больше расположил их к себе; наконец, два-три вовремя проигранных Дику заклада да лишний кубок вина за здоровье Перси окончательно обеспечили мне добрые отношения со всеми молодыми сквайрами, кроме Торнклифа.

Я уже упоминал, какую неприязнь питал ко мне этот юноша, который, правда, был умнее своих братьев, но зато тяжелее нравом. Угрюмый, упрямый и задиристый, он смотрел на мое пребывание в замке как на прямое вторжение и ревнивыми глазами следил за моей дружбой с Дианой Вернон, считавшейся в силу давнего семейного договора его невестой. Едва ли он любил ее, если правильно понимать слово «любовь», но он смотрел на девушку как на нечто ему принадлежащее и втайне досадовал на помеху, не зная, как обезвредить или устранить ее. Несколько раз я пробовал установить с Торнклифом мир, но тщетно: на мою предупредительность он отвечал в любезном тоне дворового пса, который сердито рычит, уклоняясь от попыток незнакомца погладить его по шерсти. И я перестал обращать на него внимание — пусть злится, если хочет, не моя печаль.

Таковы были мои отношения со всей семьей в родовом замке Осбалдистонов. Но я должен здесь упомянуть еще об одном его обитателе, с которым доводилось мне порой беседовать, — об Эндрю Ферсервисе, садовнике. С тех пор как он узнал, что я протестант, он каждый раз, как я проходил мимо, учтиво предлагал мне понюшку из своей табакерки. Эта любезность давала ему кое-какую выгоду: во-первых, она ему ничего не стоила, так как я не нюхал табак; во-вторых, она доставляла Эндрю, который не очень-то любил тяжелую работу, отличный предлог отложить на несколько минут свою лопату. Но главное — в этих коротких беседах Эндрю получал возможность поделиться накопленными новостями и сделать ряд насмешливых замечаний, какие подсказывал ему его северный юмор.

— Доложу вам, сэр, — сказал он мне однажды вечером, постаравшись придать лицу глубокомысленное выражение, — ходил я нынче в Тринлей-ноуз.

— И слышали кое-какие новости в кабаке. Не так ли, Эндрю?

— Нет, сэр, в кабаки я сроду не захаживал, разве что сосед предложит угостить пинтой пива или еще чем-нибудь; а пить за свой счет

— это значит попусту тратить время и свои кровные денежки. Так что ходил я нынче в Тринлей-ноуз, говорю, по собственному делу: сговориться с Мэтти Симпсон. Она хотела купить меры две груш — у нас тут всегда найдется излишек. Не успели мы с ней сторговаться, как входит — кто бы вы думали? — сам Пат Макреди, странствующий купец.

— Коробейник, что ли?

— Назовите его как угодно вашей милости, но это почтенное занятие и доходное, у

нашего народа оно издавна привилось. Пат мне немного сродни, так что мы оба очень были рады встрече.

— И пошли и выпили с ним по кружке пива, не так ли, Эндрю? Ради Бога, говорите покороче.

— Погодите, погодите немного. Вы, южане, вечно спешите, а дело-то касается бочком и до вас, так что наберитесь терпения, стоит послушать. По кружке? Черта с два! Пат и капли эля мне не предложил, а Мэтти подала нам снятого молока и толстую ячменную лепешку, одну на двоих, сырую и жесткую, как дранка, — то ли дело наши добрые шотландские оладьи! Сели мы вдвоем и стали выкладывать новости, каждый свои.

— А теперь выкладывайте их мне, да покороче. Говорите прямо, что вы узнали нового. Не стоять же мне тут всю ночь!

— Если вам интересно знать, в Лондоне народ совсем ошалел из-за этого дельца, что вышло тут у нас, на северной границе.

— Ошалел народ? Как это понять?

— Ну, стало быть, с ума сходят, беснуются, совсем осатанели. Такая идет кутерьма — оседлал черт Джека Уэбстера!

— Да что все это значит? И какое мне дело до черта и до Джека Уэбстера?

— Гм-м! — глубокомысленно произнес Эндрю. — Шум поднялся через этого… через эту проделку с чемоданчиком.

— С каким чемоданчиком? Что вы хотите сказать?

— А помните того человека, Морриса? Как он тут рассказывал, что потерял чемоданчик? Но если вас это дело не касается, то меня еще того меньше; зачем я буду упускать понапрасну такой хороший вечер?

И, словно поддавшись внезапному приступу трудолюбия, Эндрю ревностно налег на лопату.

Теперь мое любопытство, как предусмотрел этот хитрец, было затронуто, и, опасаясь выдать свою заинтересованность в деле, если прямо приступлю к расспросам, я стоял и ждал, когда неодолимая словоохотливость снова побудит садовника вернуться к рассказу. Эндрю продолжал упорно рыть землю и время от времени принимался говорить о чем хотите, только не о новостях мистера Макреди; а я стоял и слушал, проклиная его в душе, но в то же время любопытствуя узнать, как долго дух противоречия будет сопротивляться в нем желанию поговорить о предмете, владевшем, очевидно, всеми его мыслями.

— Хочу вот высадить отсюда спаржу и посеять фасоль. Спаржа им к свинине не нужна. Много они смыслят в хороших вещах! Посмотрели бы, какое удобрение выдает мне управляющий! Полагается, чтоб солома была пшеничная или, на худой конец, овсяная, а тут один сор, шелуха гороховая, проку в ней, что в щебне. Понятно, егерь распоряжается на конюшне по-своему — самый лучший навоз продает на сторону, это уж наверняка! Однако сегодня суббота, нельзя упускать хороший вечер, а то погода нынче больно неустойчивая, а если и выдастся на неделе ясный денек, так непременно придется на воскресенье — стало быть, не в счет! Впрочем, сказать ничего нельзя: угодно будет Господу, погода простоит и до понедельника… Что мне толку ломать спину до поздней ночи? Пойду-ка лучше домой. Слышь, зазвонили, как тут говорится, к вечерне, затрезвонили в колокола!

Нажав обеими руками на лопату, он воткнул ее в разрыхленную землю и, глядя на меня с видом превосходства, как человек, который знает важную новость и может по собственному усмотрению сообщить ее или утаить, он опустил засученные рукава рубахи и медленным шагом подошел взять свой кафтан, который лежал, аккуратно сложенный, на ближайшей садовой скамейке.

«Ничего не поделаешь, я должен поплатиться за то, что перебил болтовню надоедливого плута, — подумал я, — да придется еще покланяться мистеру Ферсервису, чтобы он соизволил выложить свои сведения на угодных ему условиях». И, нарушая свое молчание, я обратился к нему:

— А все же, Эндрю, какие новости узнали вы от вашего родича, странствующего купца?

— От коробейника, хотите вы сказать? — возразил Эндрю. — Впрочем, зовите их, как вашей чести угодно, а они — большое удобство в глухой стороне, где вовсе мало городишек, как в этом вашем Нортумберленде. То ли дело в Шотландии! Взять, к примеру, королевство Файф: там от Карлоса до Ист-Нука чуть ли не сплошной город — из конца в конец нанизаны торговые местечки, как луковицы на бечевку, — с большими улицами, с лавками, рынками; и дома каменные, оштукатуренные, с крылечками. Или хоть тот же Керкколди — во всей Англии не сыскать такого длинного города.

— Все это, конечно, очень хорошо и очень замечательно, но вы начали рассказывать о лондонских новостях, Эндрю.

— Н-да, — ответил Эндрю, — но, мне сдается, вашей чести неохота их слушать. Однако ж, — продолжал он ухмыляясь, — Пат Макреди говорит, что там, в парламенте, очень разволновались по поводу ограбления мистера Морриса или как его там зовут.

— В парламенте, Эндрю? Да с чего же станут вдруг обсуждать такое дело в парламенте?

— Ага! То же самое и я сказал. Если вашей чести угодно, я повторю вам все, как было сказано, — с чего мне врать-то? «Пат, — сказал я, — какое дело лондонским лордам, и лэрдам, и знатным господам до этого молодчика и его чемодана? Когда у нас в Шотландии, — сказал я, — был свой парламент, Пат (черт побрал бы тех, кто у нас его отнял!), наши лорды сидели чинно, издавали законы для всей страны, для всего королевства и не совались в дела, которые может разрешить обыкновенный мировой судья; а теперь, — сказал я, — сдается мне, стоит какой-нибудь огороднице стащить у соседки чепец — и обе они побегут в лондонский парламент. Это почти так же глупо, — сказал я, — как у нашего старого сумасброда: соберет своих дуралеев сыновей, и егерей, и собак, гоняют коней, трубят в рога, скачут целый день — а все ради крохотной зверюшки; изловят ее наконец, а в ней и весу-то фунтов шесть, не больше».

— Вы очень здраво рассуждаете, Эндрю, — вставил я поощрения ради, чтоб он скорее добрался до самой сути своих сообщений. — А что же сказал вам Пат?

— «О, — сказал он, — чего ждать-то от английских объедал? Такой уж народ! ..» А что до ограбления, тут получилось так: как пошла у них перебранка между вигами и тори да как стали они ругаться, точно висельники, встает один детина — язык с полверсты — и пошел молоть, что в Северной Англии жители все сплошь якобиты (по совести говоря, он не очень ошибся) и что они ведут чуть ли не открытую войну: остановили и ограбили на большой дороге королевского гонца; первые люди из нортумберлендской знати замешаны в этой проделке; отобрали у него большие деньги и много важных бумаг; а толку не добиться, потому что, когда ограбленный пошел к мировому судье, он застал там тех самых двух негодяев, которые совершили грабеж. Сидят собственной персоной и распивают вино за столом у судьи. Один грабитель принес показания в пользу другого, что, мол, тот в деле не замешан, и судья отпустил его с Богом; мало того — они его втроем совсем застращали, и честному человеку, потерявшему свои денежки, пришлось убираться подальше от той стороны, чтобы не вышло чего похуже.

— Неужели это правда? — сказал я.

— Пат клянется, будто это так же верно, как то, что в его мерке ровно один ярд (так оно и есть: не хватает только одного дюйма, чтобы вровень было с английским ярдом). А когда тот детина кончил, поднялся страшный шум, стали требовать, чтоб он выложил имена, и тот, значит, назвал всех как есть: и Морриса, и вашего дядю, и сквайра Инглвуда, и еще кое-кого (тут он плутовато скосил на меня глаза). Тогда встал другой здоровенный детина, уже с другой стороны, и заявил, что тут обвиняют лучших людей страны по поклепу отъявленного труса; что, мол, этого самого Морриса во Фландрии с треском выставили из полка за побег; и он еще сказал, что дело это, верно, было условлено заранее между министром и Моррисом еще до его отъезда из Лондона; и если дать приказ на обыск, то деньги, думает он, найдутся где-нибудь неподалеку от Сент-Джеймского дворца. И вот потянули они Морриса, как у них это зовется, к барьеру — послушать, что он может сказать по этому делу. Но противники так стали его донимать расспросами о том побеге и обо всем неладном, что он сделал или сказал за всю

свою жизнь, что, Пат говорит, бедняга стоял ни жив ни мертв. Нельзя было добиться от него ни одного путного слова — так он был запуган всем этим криком и воем. Дурак парень, голова у него трухлявая, как мерзлая брюква. Посмотрел бы я, как они всей оравой заткнули бы рот Эндрю Ферсервису!

— Чем же все это кончилось, Эндрю? Удалось вашему другу разузнать?

— А как же! Пат как раз собирался в наши края, так уж он повременил с недельку, потому что его покупателям интересно как-никак получить свежие новости. Вышло все косо и криво, как месяц отражается в реке. Тот молодец, который поднял всю историю, затрубил отбой: он-де верит, что беднягу ограбили, но он считает, что Моррис, может быть, и ошибается в некоторых подробностях. А потом опять встал тот второй детина и сказал, что ему нет дела, ограбили Морриса или нет, лишь бы не пятнали честь и доброе имя английских сквайров, особенно северных, потому что, заявил он, я сам с севера и не позволю задевать северян. Это у них называется прения: один пойдет немного на уступки, другой тоже — и, глядишь, помирились! Ну хорошо! Когда нижняя палата вдоволь нашумелась и наговорилась о Моррисе и его чемодане, принялась за обсуждение палата лордов. В старом шотландском парламенте все сидели дружно рядком, вот и не приходилось им по два раза перетрясывать одну и ту же труху. Однако ж лорды вцепились в это дело всеми зубами с такой охотой, точно было оно самое свеженькое. Между прочим, зашла у них речь о каком-то Кэмбеле — будто бы он немножко замешан в грабеже и будто бы дано ему свидетельство от герцога Аргайла, что он добропорядочный человек. Мак-Каллумор взбеленился, понятно, и не на шутку; встал он, шумит, стучит, режет правду прямо в глаза, затыкает им глотки: Кэмбелы, мол, все как один честны, и разумны, и воинственны, и не уступят в благородстве старому сэру Джону Грэму. Но если вы знаете наверное, ваша честь, что вы ни с какого боку не в родстве ни с кем из Кэмбелов, как и сам я им не родня, насколько я разбираюсь в своем роду, то я скажу вам, что я о них думаю.

— Могу вас уверить, я ничем не связан ни с одним джентльменом, который носил бы это имя.

— О, тогда мы можем говорить о них спокойно. Среди Кэмбелов, как и во всяком роду, есть и хорошие люди и дурные. Но Мак-Коллумор имеет сейчас большой вес среди первейших людей в Лондоне, потому что нельзя сказать точно, на чьей он стороне, и ни один черт не желает с ним ссориться; так что они там даже постановили признать заявление Морриса облыжной клеветой, как они это назвали, и, если бы он вовремя не сбежал, пришлось бы ему за свой поклеп пофорсить в колодках у позорного столба.

С этими словами честный Эндрю сгреб свои колья, лопаты, мотыги и побросал их в тачку — однако делал он это не спеша, оставляя мне время задать ему новые вопросы, какие могли бы прийти мне в голову, прежде чем он покатит свою тачку к сараю, где орудиям полагалось отдыхать до понедельника. Я счел за благо заговорить сразу же, чтобы хитрый проныра не объяснил мое молчание более вескими причинами, чем те, что были у меня на деле.

— Я бы не прочь повидаться с вашим земляком, Эндрю, и послушать новости прямо от него. Вы, может быть, слышали, что у меня вышли кое-какие неприятности из-за этого глупого Морриса? (Эндрю многозначительно осклабился.) Мне хочется поговорить с вашим родственником-купцом и расспросить его во всех подробностях о том, что он слышал в Лондоне, если можно это сделать без больших хлопот.

— Да это легче легкого, — объяснил Эндрю, — стоит только намекнуть Пату, что я хочу купить две пары чулок, и он прибежит ко мне со всех ног.

— Отлично! Скажите ему, что я просто покупатель. И так как погода, говорите вы, хорошая и надежная, я погуляю в саду, пока он не пришел; скоро и месяц выплывет из-за холмов. Вы можете привести купца к задней калитке, а я тем временем с удовольствием полюбуюсь на вечнозеленые кусты и деревья в ярком лунном свете, при котором они словно покрыты инеем.

— Правильно, правильно! Я тоже не раз говорил: брюква или, скажем, цветная капуста

выглядит при лунном свете так нарядно, точно какая-нибудь леди в бриллиантах.

Тут Эндрю Ферсервис с превеликой радостью удалился. Ходьбы ему было мили две, но он с большой охотой пустился в этот путь, лишь бы обеспечить своему родственнику продажу кое-какой мелочишки из его товаров, — хотя, пожалуй, пожалел бы шесть пенсов, чтобы угостить его квартой эля.

«У англичанина доброе расположение проявилось бы как раз обратным образом, чем у Эндрю», — думал я, прохаживаясь по ровным бархатным дорожкам; обсаженные с двух сторон остролистом и тисом, они во всех направлениях пересекали старый сад Осбалдистон-холла.

Пройдя до конца одной из дорожек и повернув назад, я, естественно, поднял глаза к окнам библиотеки — многочисленным маленьким окнам, что тянулись по второму этажу того фасада, которым был обращен ко мне замок. Окна были освещены. Меня это не удивило, так как я знал, что мисс Вернон часто сидит здесь по вечерам, но я из деликатности установил для себя запрет и никогда не заходил к ней в такое время, когда остальные члены семьи предавались своим повседневным вечерним занятиям и наше свидание по необходимости превратилось бы в tete-a-tete. По утрам мы обычно читали вместе в этом зале; но тогда нередко заглядывал в библиотеку тот или другой из наших двоюродных братьев; поискать какой-нибудь пергаментный duodecimo, который можно было бы, невзирая на позолоту и виньетки, превратить в поплавок для удочки; или рассказать о каком-нибудь случае на охоте; или просто от нечего делать. Словом, по утрам библиотека была таким местом, где мужчина и женщина могли встречаться, так сказать, на нейтральной почве. Вечером же дело обстояло иначе, и я, воспитанный в стране, где большое внимание уделяется (или, вернее, уделялось в те времена) так называемой bienseance *note 50* находил нужным соблюдать приличия в тех случаях, когда Диана Вернон по своей неопытности не заботилась об этом сама. Итак, я как можно деликатнее дал ей понять, что при наших вечерних занятиях требовалось ради пристойности присутствие третьего лица.

Мисс Вернон сперва засмеялась, потом вспыхнула и готова была рассердиться, но сдержалась и промолвила:

— Я думаю, вы совершенно правы; когда на меня нападет особенное прилежание, я подкуплю старую Марту чашкой чая, чтоб она сидела со мною рядом и служила мне ширмой.

Марта, старая ключница, разделяла вкусы обитателей замка: кружка пива с доброй закуской была ей милее самого лучшего китайского чая. Но в те времена этот напиток был в ходу только у лиц высшего круга, и Марта чувствовала себя польщенной, когда ее приглашали на чашку чая; а так как к чаю было вволю сахара, и сладких, как сахар, речей, и гренков с маслом, ключница милостиво соизволяла иногда почтить нас своим присутствием. Вообще же из глупого суеверия почти все слуги избегали заглядывать в библиотеку после захода солнца; они считали, что в этой части замка водятся привидения; когда весь дом засыпал, более робким мерещились там тени и странные голоса, и даже молодые сквайры очень неохотно, лишь в случае крайней необходимости, заходили в эти страшные покои после захода солнца.

То, что некогда библиотека была любимым убежищем Рэшли, то, что она соединялась особым ходом с дальней и уединенной комнатой, которую избрал он для себя, ничуть не успокаивало, а, напротив, даже усугубляло ужас домашней прислуги перед мрачной библиотекой Осбалдистон-холла. Широкая осведомленность Рэшли обо всем, что делалось на свете, его изрядные познания во всех областях науки, физические опыты, которые он иногда производил в доме, где царили невежество и фанатизм, — все это утвердило за младшим сыном сэра Гилдебранда славу человека, имеющего власть над миром духов. Он знал греческий, латынь, древнееврейский — значит, он, по понятиям (и по словам) своего брата Уилфреда, мог не опасаться «ни духов, ни дьявола, ни беса, ни бесенят». Мало того — слуги уверяли, будто слышали своими ушами, как он разговаривал с кем-то в библиотеке, когда в

Note50

благопристойности (франц.).

доме все поголовно спали, и что он ночи напролет караулил привидения, а утром крепко спал в своей постели, когда ему, как истому Осбалдистону, надлежало бы выводить на охоту собак.

Эти бессмысленные толки доходили и до меня в виде смутных намеков и недомолвок, из которых мне предлагалось самому делать вывод; и я, как вы легко поймете, только смеялся над ними. Однако полная уединенность этих комнат после вечернего звона, на которую их обрекала дурная слава, служила для меня лишней причиной не мешать мисс Вернон, когда ей хотелось посидеть вечером одной в библиотеке.

Итак, меня не удивило мерцание света в окнах библиотеки, но я был немного смущен, когда отчетливо увидел, как мимо одного из них медленно прошли две человеческие фигуры, затмив на мгновение свет и бросив тень на стекла. «Не иначе, как старая Марта, — подумал я, — Диана ее пригласила, наверно, провести с ней вечер; или я просто ошибся и принял тень Дианы за второго человека». Нет, ей-богу! Вон снова показались, во втором окне, две ясно различимые фигуры, вот они скрылись, а вот опять видны в третьем, в четвертом окне силуэты двух человек, отчетливо различимые в каждом окне, по мере того как они шагали по комнате в пространстве между окнами и свечами. С кем же проводит Диана вечер? Во второй и третий раз между окнами и свечами прошли тени, как бы желая подтвердить, что зрение меня не обмануло; затем свет погас, и тени, естественно, слились с темнотой. Пустячное обстоятельство, однако же оно довольно долго занимало мой ум. Я не допускал мысли, что дружба моя с мисс Вернон была не свободна от корыстного расчета; но мне было безмерно больно думать, что она не постеснялась назначить кому-то свидание с глазу на глаз в такое время и в таком месте, где я считал неудобным для себя встречаться с ней, и, заботясь о ней же, взял на себя неприятную обязанность разъяснить ей это.

«Глупая, озорная, неисправимая девчонка! — сказал я сам себе. — Не к чему тратить на нее добрые советы, и деликатность с нею не нужна! Меня обманула простота ее обхождения, которую, казалось мне, она усвоила, как моду, как соломенную шляпку — надела ради щегольства. А между тем я уверен, что при всем блеске ее ума общество пяти-шести лоботрясов, которые тешили б ее своими дурачествами, доставило бы ей больше удовольствия, чем сам Ариосто, восстань он сейчас из мертвых».

Эти мысли настойчиво осаждали меня, потому что днем, набравшись смелости показать Диане свой перевод первых книг Ариосто, я попросил ее пригласить вечером в библиотеку на чашку чая Марту; но мисс Вернон ответила отказом, сославшись в оправдание на довод, который и тогда показался мне легковесным. Недолго размышлял я об этом неприятном предмете, когда отворилась калитка и на залитой лунным светом дорожке показались две фигуры — Эндрю и его земляка, согнувшегося под тяжестью короба, — и мое внимание было отвлечено.

Мистер Макрели, как я и ожидал, оказался упрямым, рассудительным и дальновидным шотландцем, собирателем новостей по профессии и по наклонности. Он сумел дать мне ясный отчет обо всем, что произошло в палате общин и в палате лордов в связи с делом Морриса, которым обе партии решили, очевидно, воспользоваться как пробным камнем для проверки настроения парламента. Министерство, как я уже слышал в пересказе Эндрю, оказалось, очевидно, слишком слабым и не могло поддержать обвинение, бросавшее тень на доброе имя знатных и влиятельных людей и основанное лишь на показаниях Морриса, человека сомнительной репутации, который вдобавок, излагая свою версию, путался и сам себе противоречил. Макреди снабдил меня даже номером печатного журнала «Новости», редко проникавшего за пределы столицы, в котором передавалась сущность прений, и экземпляром речи герцога Аргайла, отпечатанной в виде листовок: шотландец накупил их довольно много у разносчиков, потому что эти листовки, по его словам, ходкий товар по ту сторону Твида. В журнале я нашел скупой отчет, с пропусками и многоточиями, почти ничего не прибавивший к сообщениям мистера Макреди; а речь герцога, вдохновенная и красноречивая, содержала главным образом панегирик его родине, его семье и клану и несколько похвал — быть может, столь же искренних, хоть и менее пламенных, — которые он, пользуясь случаем, вознес самому себе. Я не мог выяснить, была ли задета моя репутация, но было очевидно, что честь

моего дяди и его семьи сильно очернена и что некто Кэмбел — по утверждению Морриса, наиболее ярый из двух напавших на него грабителей, — сам лично выступил, по словам того же Морриса, свидетелем в пользу некоего мистера Осбалдистона и при попустительстве судьи добился его освобождения. В этой части версия Морриса совпадала с моими собственными подозрениями относительно Кэмбела, зародившимися у меня с того часа, как я увидел его у судьи Инглвуда. Раздосадованный и встревоженный этой удивительной историей, я отпустил обоих шотландцев, предварительно сделав кое-какие покупки у Макреди и отблагодарив Ферсервиса. Затем я удалился в свою комнату — поразмыслить, что бы мне предпринять в защиту своего доброго имени, всенародно очерненного.

ГЛАВА XV

Откуда ты — и кто ты?
Мильтон

Я провел бессонную ночь, обдумывая полученные мной известия, и сперва пришел к мысли, что должен как можно скорее вернуться в Лондон и своим появлением опровергнуть возведенную на меня клевету.

Но я не решался последовать такому плану, зная нрав моего отца, непреклонного в своих решениях во всем, что касалось его семьи. Между тем он, конечно, благодаря большому житейскому опыту скорее, чем кто-либо, мог помочь мне советом и благодаря знакомству с наиболее видными и влиятельными вигами легко добиться приема по моему делу у нужных лиц. Итак, я в конце концов рассудил, что самое верное — изложить все приключившееся со мной в виде рассказа, обращенного к моему отцу; и так как обычно оказия из замка в почтовую контору подвертывалась не часто, я решил поехать в ближайший город, за десять миль, и своими руками сдать на почту письмо.

В самом деле, со времени моего отъезда из дому прошло уже несколько недель, и мне представлялось странным, что я не получил за это время ни одного письма ни от отца, ни от Оуэна, тогда как Рэшли написал уже сэру Гилдебранду о своем благополучном прибытии в Лондон и о любезном приеме, оказанном ему его дядей. Если и признать за мной вину, я все же не заслуживал, как мне казалось, такого полного забвения со стороны отца; и я полагал, что в результате задуманной поездки, может быть, в мои руки скорее попадет письмо от него, которое иначе могло бы долго до меня не дойти. Все же в конце своего письма о деле Морриса я не преминул выразить твердую надежду, что отец почтит меня наконец несколькими строчками, — хотя бы лишь затем, чтобы дать мне свой совет и наставления; дело это сложное, писал я, и мне не хватает знания жизни, чтобы выбрать правильный путь.

Просить у отца разрешения навсегда возвратиться в Лондон оказалось выше моих сил. Но свое нежелание покинуть дядин замок я прикрывал показной покорностью воле отца, а так как себе самому я легко внушил, что только в этом и заключалась причина, почему я не испрашивал разрешения окончательно оставить Осбалдистон-холл, то я не сомневался, что и отец найдет ее вполне достаточной. Я лишь просил позволения приехать в Лондон на короткий срок, чтобы тем опровергнуть позорные слухи, так широко и открыто распространяемые обо мне. Запечатав письмо, в котором искреннее желание обелить свою честь странно скрещивалось с неохотой покинуть свое настоящее местопребывание, я поскакал в город и сдал конверт в почтовую контору. Там же мне было вручено — немного раньше, чем оно могло бы достичь меня иначе, — следующее письмо от моего друга мистера Оуэна:

«Дорогой мистер Фрэнсис. Ваше письмо через мистера Р.Осбалдистона получено и принято к сведению. Окажу мистеру Р.О. все услуги, какие будут в моих возможностях. Показал ему уже банк и таможню. Он кажется мне разумным, трезвым молодым джентльменом; к делу относится с большим старанием. Хотелось бы мне, чтобы кое-кто

другой вел себя так же, но на все Господня воля. Так как вам может не хватить наличных, то вы, надеюсь, не обидитесь, что я прилагаю к сему вексель на 100 фунтов на имя гг. Хупера и Гердера в Ньюкасле, который подлежит оплате в шестидневный срок по предъявлении и, я не сомневаюсь, будет аккуратно оплачен.

Остаюсь, как надлежит, дорогой мистер Фрэнк, вашим почтительным и покорным слугой

Джозефом Оуэном.

Post scriptum. Надеюсь, вы уведомите меня о получении сего письма. Очень сожалею, что мы так редко получаем от вас известия. Ваш отец уверяет, что чувствует себя как всегда, но вид у него нездоровый».

Меня удивило, что в этом послании старого клерка, написанном сухим, деловым слогом, не было ни слова о том моем конфиденциальном письме, которое я ему послал с целью открыть истинный характер Рэшли,

— хотя, судя по тому, сколько шла почта, он, несомненно, должен был давно его получить. То письмо я послал из замка обычным способом, и у меня не было причин предполагать, что оно могло затеряться в дороге. Так как его содержание было очень важно и для меня и для моего отца, я тут же, в конторе, сел и снова написал Оуэну, повторив, по существу, все сказанное в прежнем письме и настаивая, чтобы он оповестил меня ближайшей почтой о своевременном получении этого повторного письма. Далее я подтвердил получение векселя и добавил, что не премину воспользоваться им, как только у меня явится нужда в деньгах. На самом деле я немало удивился, почему отец предоставляет заботу о снабжении меня необходимыми средствами своему клерку; но я решил, что между ними, наверно, был о том уговор. А если и нет — Оуэн был холост, сравнительно богат и сердечно ко мне привязан, так что я без колебаний принял от него эту небольшую сумму, которую решил рассматривать как заем и намеревался вернуть при первой возможности — в случае, если отец заранее ее не оплатил.

Так я и написал Оуэну. Местный купец, к которому меня направил почтмейстер, с готовностью учел мне вексель на гг. Хупера и Гардера, так что я вернулся в Осбалдистон-холл более богатым, чем выехал оттуда. К подкреплению своих финансов я отнесся не совсем безразлично, так как в замке сами собой возникали кое-какие расходы; и я уже давно с досадой и тревогой следил, как незаметно тает сумма, оставшаяся у меня после дорожных издержек. Теперь источник беспокойства был на время устранен. По прибытии в замок я узнал, что сэр Гилдебранд со всеми сыновьями отправился в небольшой поселок, называвшийся Тринлей-ноуз, «поглазеть, — по выражению Эндрю Ферсервиса, — как один забияка-петух выклюет мозги другому».

— Ты прав, Эндрю, это очень грубое развлечение. У вас в Шотландии оно, я думаю, не в ходу?

— Разумеется, нет, — не задумываясь ответил Эндрю, но тут же спохватился и добавил: — Разве что на масленице… или в другие праздники. Но, право, не стоит жалеть эту проклятую куриную породу: такой от нее всегда разор в огороде, что не убережешь ни бобов, ни гороха. Но вот диво: с чего это дверь в башню нынче открыта? Да еще когда мистера Рэшли нет! Не он же ее отворил, надо полагать.

Дверь, о которой говорил Эндрю, открывалась в сад с площадки у подножия винтовой лестницы, ведшей в комнату мистера Рэшли. Комната его, как я уже упоминал, помещалась в отдаленной части замка и особым ходом сообщалась с библиотекой, а другим — сводчатыми, путаными и темными коридорами — с остальным домом. Длинная узкая дорожка, выложенная дерном и с двух сторон обсаженная высоким остролистом, вела от двери башни к небольшой калитке в ограде сада. Пользуясь этими ходами, Рэшли, живший в своей семье обособленной и независимой жизнью, мог уходить из дому и возвращаться, не возбуждая любопытства сторонних наблюдателей. Но со времени его отъезда винтовой лестницей и дверью в башню никто не пользовался, а потому замечание садовника заставило меня

насторожиться.

— Вы не заметили, часто эта дверь бывает открыта? — был мой вопрос.

— Не так чтобы часто, но раза два я все же примечал. Верно, захаживает священник, отец Воган, как они его зовут. Из прислуги вы на эту лестницу никого не заманите: эти бедные, запуганные идолопоклонники боятся призраков, и нечисти, и всяких страшилищ с того света. Но отец Воган считает себя очень высокой особой: «Со мной и черт не управится!» А я побьюсь об заклад: последний бесприходный проповедник по ту сторону Твида вдвое скорей прогонит привидение, чем отец Воган с его святой водицей и всяческими требниками. Я думаю, он и латынь-то свою толком не знает — по крайней мере он меня не понимает, когда я ему перечисляю ученые названия растений.

Об отце Вогане, делившем свое время и духовную заботу между Осбалдистон-холлом и пятью-шестью соседними замками сквайров-католиков, я еще ни разу не упомянул, так как мне редко доводилось с ним встречаться. Это был человек лет шестидесяти, родом с севера, из хорошей семьи, как мне дали понять. Он отличался необыкновенной и внушительной внешностью, степенной осанкой и среди католиков Нортумберленда пользовался уважением как человек прямой и благородный. Все же у отца Вогана были некоторые особенности, свойственные его ордену. Он окружал себя таинственностью, в которой протестанты чуяли запах иезуитских интриг. Туземцы же (назовем их так по праву) Осбалдистон-холла глядели на него со страхом или с благоговением, но не с любовью. Он, очевидно, осуждал попойки, — во всяком случае, пока священник оставался в замке, пиршества принимали более пристойный характер. Даже сэр Гилдебранд, и тот в это время становился воздержанней, так что, пожалуй, присутствие отца Вогана прежде всего нагоняло на обитателей замка скуку. В обращении он был благовоспитан, вкрадчив, почти что льстив, что свойственно католическому духовенству, особенно в Англии, где мирянин-католик, зажатый в тиски карательных законов и запретов, налагаемых его сектой и внушениями духовника, часто в обществе протестантов держит себя осторожно, почти робко, тогда как католический священник, которому его сан дает право вращаться среди лиц всех верований, держит себя при общении с ними непринужденно и в разговоре открыто проявляет известное свободомыслие: он стремится к популярности и бывает обычно весьма искусен в средствах ее достижения.

Отец Воган был в тесной дружбе с Рэшли, иначе вряд ли ему удалось бы удержаться в Осбалдистон-холле. Это отбивало у меня охоту сойтись с ним поближе, да и он, со своей стороны, не делал шагов к сближению со мной, так что наши редкие разговоры сводились к простому обмену любезностями. Мне представилось вполне правдоподобным, что мистер Воган, когда приезжает в замок, занимает одну из комнат Рэшли и пользуется иногда библиотекой. Очень вероятно, подумалось мне, что его-то свеча и привлекла мое внимание в прошлый вечер. Но эта мысль тотчас невольно напомнила мне, что отношения между мисс Вернон и священником отмечены были той же таинственностью, как и ее последние свидания с Рэшли. Ни разу я не слышал, чтобы она при мне хотя бы вскользь упомянула имя Вогана, за исключением того случая при первой нашей встрече, когда она сказала, что в замке, кроме нее самой, есть только два человека, с кем можно вести разговор, — Рэшли и старый священник. Но хотя мисс Вернон всегда умалчивала об отце Вогане, его прибытие в замок неизменно наполняло ее тревогой и трепетом, и она успокаивалась не раньше, чем обменяется несколько раз с духовником многозначительным взглядом.

Каковы бы ни были тайны, окутавшие судьбу этой красивой и незаурядной девушки, было ясно, что в них замешан отец Воган; напрашивалось предположение, что ему поручено было поместить Диану в монастырь в случае ее отказа выйти замуж за одного из моих кузенов, — этим вполне объяснялось бы явное волнение девушки при его приезде. В остальном же они, по-видимому, не искали общения друг с другом и мало бывали вместе. Если существовал между ними союз, то он носил характер молчаливого взаимного понимания, проявляясь в действиях и не нуждаясь в словах. Но, поразмыслив, я припомнил, что раза два подмечал, как они подают друг другу какие-то знаки, которые я истолковал тогда как некий намек на выполнение Дианой каких-либо религиозных обрядов: я знал, как искусно

католическое духовенство в любое время, в любой час поддерживает свое влияние на умы своих последователей. Теперь же я склонен был приписать этому тайному общению более глубокий и таинственный смысл. Не встречается ли священник с мисс Вернон наедине в библиотеке? — вот вопрос, занимавший мои мысли. А если да, то с какой целью? И почему Диана так доверчиво сближается с другом коварного Рэшли?

Эти трудные вопросы тревожили мой ум — и тем упорней, что я не находил им разрешения. Я уже и раньше подозревал, что дружба моя с Дианой Вернон была совсем не так бескорыстна, как требовало благоразумие. Я ловил себя на вспышках ревности к грубияну Торнклифу, замечал за собой, что на его глупые попытки раздразнить меня поддаюсь сильней, чем позволяли осторожность и чувство собственного достоинства. А теперь я зорко и беспокойно присматривался к поведению мисс Вернон, тщетно пытаясь объяснить себе самому свой живой интерес праздным любопытством. Все это, как поведение Бенедикта, с утра начинавшего чистить шляпу, было признаком того, что нежную молодость посетила любовь. И так как мой рассудок все еще отказывался признать, что я повинен в столь неразумной страсти, он стал похож на тех невежественных проводников, которые заводят путешественника неведомо куда, а потом упрямо твердят, что ни в коем случае не могли сбиться с дороги.

ГЛАВА XVI

Было около полудня, когда однажды, направившись к своей лодке, я с изумлением увидел на берегу след босой человеческой ступни, явственно отпечатавшейся на песке.

«Робинзон Крузо»

Подстрекаемый любопытством и ревностью, которые разжигала необычность положения мисс Вернон, я стал следить за ее лицом, за ее поведением так неотступно, что, несмотря на все мои старания это скрыть, мне не удавалось обмануть ее проницательность. Сознание, что я за нею наблюдаю, или, точнее говоря, слежу за ней, очевидно, смущало Диану, тяготило и раздражало. Временами казалось, что она ищет удобного случая отплатить мне за такой образ действий, который не могла не считать оскорбительным, если вспомнить, как откровенно предупредила она меня об окружавших ее опасностях. Иногда же она, казалось, готова была обрушиться на меня с упреками. Но у нее недоставало храбрости — или, может быть, иное чувство мешало ей потребовать прямого eclaircissement *note 51* е недовольство улетучивалось, найдя исход в остроумной шутке, и упреки замирали на ее губах. Странные создались между нами отношения: по взаимной склонности мы большую часть времени проводили в тесном общении друг с другом, но скрывали наши чувства, и поступки одного вызывали в другом ревность и обиду. Между нами установилась близость, но не было доверия: с одной стороны — любовь без надежды и цели и любопытство без всякого разумного основания, с другой — замешательство и сомнение, а порой и досада. Все же, думается мне, тревога этих страстей, тысячью мелочей раздражающих и волнующих, постоянно побуждая меня и мисс Вернон думать друг о друге, в общем (такова природа сердца человеческого!) укрепляла и усиливала взаимную нашу привязанность. Но хотя в своем тщеславии я быстро открыл, что мое присутствие в замке усиливало отвращение Дианы к монастырю, я все же никак не мог поверить в эту любовь, смирившуюся, видно, перед властью необычной судьбы. Обладая вполне сложившимся характером, решительным и твердым, мисс Вернон не позволяла своему чувству ко мне взять верх над благоразумием и над сознанием долга; и доказательство тому она дала мне в одном разговоре, происшедшем между нами в ту пору.

Note51
объяснения (франц.).

Мы сидели вдвоем в библиотеке. Мисс Вернон перелистывала принадлежавший мне экземпляр «Orlando Furioso» и выронила заложенный в книгу исписанный листок. Я нагнулся поднять его, но она оказалась проворней.

— Стихи, — сказала она, взглянув на листок, и, развернув, подняла на меня глаза, как будто ждала ответа. — Разрешается прочесть? .. Нет, нет, раз вы краснеете и запинаетесь, я должна перешагнуть через вашу скромность и считать, что позволение дано.

— Это не стоит вашего внимания — набросок перевода. Дорогая моя мисс Вернон, приговор окажется слишком суров, если вы, так хорошо знающая подлинник, будете судьей.

— Добрый друг, — ответила Диана, — мой вам совет: не надевайте на крючок удочки слишком большую дозу самоумаления. Десять шансов против одного, что на такую приманку вы не выудите ни одного комплимента. Вы знаете, я принадлежу к непопулярному племени правдивцев и самому Аполлону не стала бы льстить насчет его лиры.

И она начала читать первую строфу, звучавшую приблизительно так:

Пою любовь, и подвиги, и лавры
Бесстрашных рыцарей, прекрасных дам.
И времена, когда пустились мавры
По взбаламученным морским волнам
Из Африки к французским берегам
За юным Аграмантом; смуглолицый,
Во гневе яр и в замыслах упрям,
На Карла он задумал ополчиться
И за Трояна смерть с него взыскать сторицей
И о Роланде расскажу отважном,
Чего о нем ни легкий стих не знал,
Ни проза строгая как он однажды,
Кого весь мир премудрым почитал,
Как от любви он разум потерял
И стал неистовым…

— Тут у вас много, — сказала она, пробежав глазами по листку и прервав сладчайшие звуки, какими может упиваться ухо смертного: звуки стихов молодого поэта, произносимых самыми для него дорогими устами.

— Да, слишком много, чтобы этим занимать ваше внимание, мисс Вернон, — ответил я с обидой и взял листок из ее руки, легко его уступившей. — Но все же, — продолжал я, — сосланный в одиночество этого дальнего края, я чувствовал порой, что лучшим развлечением будет для меня продолжать — просто ради собственного удовольствия, как вы, конечно, понимаете, — перевод пленительного поэта, начатый мною несколько месяцев тому назад, когда я жил на берегах Гаронны.

— Вопрос только в одном, — сказала серьезно Диана, — разве не могли вы потратить время более плодотворно?

— Вы имеете в виду самостоятельное творчество? — сказал я, весьма польщенный. — По правде говоря, мой талант склоняется скорее к подбору слов и рифм, а не к изобретению замыслов, и потому я с радостью принимаю мысли, которые мне предлагает в готовом виде Ариосто. Однако, мисс Вернон, вы мне даете такое поощрение…

— Извините, Фрэнк, поощрения я вам не даю, вы его сами берете. Я имела в виду не самостоятельное творчество и не переводы, так как думаю, что вы могли потратить свободное время с большей пользой, чем на то и на другое. Вы обижены, — продолжала она, — мне жаль, что я послужила тому причиной.

— Не обижен, нисколько не обижен, — сказал я, стараясь придать голосу любезный тон, что мне, однако, плохо удавалось, — я слишком признателен за то участие, которое вы

принимаете во мне.

— Нет, нет, — возразила безжалостная Диана, — в вашем натянутом тоне звучит обида и даже нотка гнева. Не гневайтесь, однако, если я попробую исследовать ваши чувства до дна, — может быть, то, что я скажу вам, оскорбит их еще сильнее.

Я сознавал наивность своего поведения, сознавал превосходство мужественной мисс Вернон и уверил ее, что она не должна опасаться: я не дрогнув выслушаю приговор, подсказанный, знаю, добрыми намерениями.

— Честная мысль и честные слова, — ответила Диана. — Я не сомневаюсь, что бес вашей авторской обидчивости поспешит удрать, предварительно кашлянув для предостережения. Но оставим шутки. Получали вы за последнее время вести от вашего отца?

— Ни полслова, — ответил я. — Отец не удостоил меня ни одной строкой за все месяцы, что я проживаю здесь.

— Странно. Вы, смелые Осбалдистоны, удивительное племя! Значит, вам неизвестно, что он отбыл в Голландию по каким-то неотложным делам, которые потребовали его личного присутствия?

— Впервые слышу!

— Далее: для вас, наверно, окажется новостью — и едва ли, думаю, приятной, — что он предоставил Рэшли почти полновластно управлять делами фирмы впредь до его возвращения?

Я вскочил, не скрывая своего удивления и беспокойства.

— У вас все основания к тревоге, — сказала мисс Вернон очень серьезно, — я на вашем месте постаралась бы предупредить и устранить опасность, которая может возникнуть из-за неудачного распоряжения вашего отца.

— Но как это возможно сделать?

— Все возможно для того, кто смел и предприимчив, — сказала она, глядя на меня взором героини рыцарских времен, чье поощрение придавало воину двойную доблесть в трудный час. — Но кто робеет и колеблется, тот ничего не достигнет, потому что все кажется ему невозможным.

— Что же вы мне посоветуете, мисс Вернон? — ответил я, желая и страшась услышать ее ответ.

Она помолчала с полминуты, потом ответила твердо:

— Сейчас же оставить Осбалдистон-холл и вернуться в Лондон. Вы, может быть, и так пробыли здесь слишком долго, — продолжала она, смягчая тон, — не ваша в том вина. Теперь же каждый час, что вы здесь промедлите, будет преступлением — да, преступлением; говорю вам прямо: если Рэшли будет долго управлять делами фирмы, можете считать разорение вашего отца свершившимся фактом.

— Как это может произойти?

— Не задавайте никаких вопросов, — сказала Диана, — но верьте мне, виды Рэшли простираются дальше, чем вы думаете. Ему недостаточно приобрести и увеличить капитал. Доходы и владения мистера Осбалдистона он хочет использовать как средство к осуществлению своих собственных честолюбивых и широких замыслов. Пока ваш отец находился в Англии, это было невозможно, но в его отсутствие Рэшли представится много удобных случаев, и он не преминет воспользоваться ими.

— Но как могу я — теперь, когда отец мой лишил меня своей милости и отстранил от дел, — как могу я одним своим появлением в Лондоне предотвратить грозящую опасность?

— Само ваше присутствие сделает многое. Как сын своего отца, вы имеете неотъемлемое право вмешаться в его дела. И, несомненно, вы найдете поддержку у старшего клерка вашего отца, у близких его друзей и компаньонов. Но главное — планы Рэшли таковы, что… — Она оборвала себя на полуслове, точно побоявшись сказать слишком много. Затем опять продолжала: — Словом, они подобны всем эгоистическим и нечестным замыслам, от которых их автор сразу отступается, как только увидит, что за ним следят, что козни его раскрыты. А потому, говоря языком вашего любимого поэта:

В седло, в седло! Оставь сомненье трусу!

Порыв непреодолимого чувства подсказал мне ответ:

— Ах, Диана! Вы, вы советуете мне оставить Осбалдистон-холл? Если так, я и впрямь слишком загостился!

Мисс Вернон покраснела, но сказала с большою твердостью:

— Да, я советую вам не только оставить Осбалдистон-холл, но и никогда сюда не возвращаться. Здесь о вас пожалеет только один друг, — продолжала она, через силу улыбнувшись, — но он давно привык жертвовать своими привязанностями и радостями ради блага других. В мире вы встретите сотню людей, чья дружба будет столь же бескорыстна, но более вам полезна, менее осложнена враждебными обстоятельствами, менее подвержена влиянию злых наговоров и злых времен.

— Никогда! — воскликнул я. — Никогда! Мир никакими дарами не вознаградит меня за то, что я должен оставить здесь.

С этими словами я взял ее руку и прижал к губам.

— Это безрассудство! — проговорила Диана. — Это безумие!

Она старалась высвободить руку, но не слишком настойчиво, так что я продержал ее почти что целую минуту.

— Сэр, послушайте меня, — снова начала мисс Вернон, — и погасите этот недостойный мужчины порыв страсти. Я по нерушимому договору стану невестой Христа, если не предпочту избрать воплощенное злодейство в лице Рэшли Осбалдистона или грубость в лице его брата. Итак, я невеста Господня, с колыбели просватанная в монастырь. Значит, направленные на меня, эти восторги напрасны, они доказывают лишь сугубую необходимость вашего отъезда — неотложного…

При этих словах она внезапно смолкла, и когда заговорила вновь, голос ее звучал приглушенно:

— Оставьте меня тотчас же. Мы встретимся здесь еще, но уже в последний раз.

Глаза мои проследили направление ее взора, и мне показалось, будто качнулся ковер, закрывавший дверь потайного хода из библиотеки в комнату Рэшли. Я решил, что за нами наблюдают, и обратил вопрошающий взгляд на мисс Вернон.

— Это ничего, — сказала она еле слышно, — крыса за ковром.

«Мертва, держу червонец!» — был мой ответ, если бы я посмел дать волю чувствам, которые вскипели во мне при мысли, что в этот час меня подслушивают. Благоразумие и необходимость подавить свое негодование и подчиниться повторному приказу Дианы: «Уходите, уходите же!» — вовремя удержали меня от опрометчивого шага. В смятении оставил я библиотеку и тщетно старался успокоиться, когда пришел в свою комнату.

Сразу лавиной обрушились на меня мысли. Стремительно проносились они в моем мозгу, перебивая и заслоняя друг друга, похожие на те туманы, что в горных местностях спускаются темными клубами и стирают или искажают привычные предметы, по которым путник находит дорогу в безлюдной пустыне. Смутное и неотчетливое представление о грозившей моему отцу опасности от происков такого человека, как Рэшли Осбалдистон; полупризнание в любви, принесенное мною Диане Вернон; подтвержденная ею трудность ее положения, при котором, по давнишнему контракту, девушка была обречена на заключение в монастырь или на подневольный брак, — все это одновременно вставало в памяти, не позволяя рассудку взвесить спокойно каждое обстоятельство и рассмотреть его в надлежащем свете. Но больше всего — оттесняя все прочее — смущало меня то, как приняла мисс Вернон мои изъявления нежных чувств; то, как она, колеблясь между влечением и твердостью, казалось, давала понять, что я дорог ее сердцу, но не имела силы отстранить преграду, мешавшую ей признаться во взаимности. Страх — не удивление, — сквозивший в ее взгляде, когда она следила за колыханием ковра над потайною дверью, означал, что девушка подозревает какую-то опасность, — и не без основания, как я только и мог предположить, потому что Диана Вернон была мало подвержена свойственной ее полу нервозности и вовсе не способна испытывать страх без действительной и разумной причины. Какого же рода были эти тайны, которые смыкали вокруг нее свое кольцо, точно заклятье чародея, и, казалось,

постоянно оказывали влияние на ее мысли и поступки, хотя и не ясно было, через кого и как? На этом вопросе и остановил я в конце концов свою мысль, словно радуясь поводу, не проверяя пристойности и разумности моего собственного поведения, заняться чем-то, что касалось мисс Вернон. «Не уеду из замка, — решил я наконец, — пока не выясню для себя, как должен я смотреть на это очаровательное создание, над которым откровенность и тайна как будто разделили свою власть: первая владеет словами и чувствами девушки, вторая подчинила своему темному влиянию все ее действия».

К волнению, порожденному любопытством и тревожной страстью, примешивалась сильная, хотя и не распознанная мною ревность. Это чувство, растущее вместе с любовью так же естественно, как плевелы среди пшеницы, пробудилось во мне, когда я понял, насколько подвержена Диана влиянию тех невидимых существ, которые сковали ее свободу. Чем больше я думал о ней, тем вернее убеждался (хоть и помимо воли), что она по природе своей должна восставать против всякой узды, кроме той, которая наложена глубоким влечением; и во мне шевелилось упрямое, горькое и гложущее подозрение, что такова и была природа тяготевшего над ней влияния.

Мучимый сомнениями, я все сильней и сильней желал проникнуть в тайну поведения мисс Вернон, и, следуя этому мудрому намерению, я пришел к решению, сущность которого, если вам не наскучили все эти подробности, раскроется для вас в следующей главе.

ГЛАВА XVII

Другим неслышный, слышу голос:
«Не медли здесь, не жди!»
Рука, незримая другому,
Мне машет: уходи!
Тиккел

Я уже говорил вам, Трешем, если вы соизволите припомнить, что я не часто разрешал себе вечером зайти в библиотеку, а если заходил, то не иначе, как условившись о том заранее и заручившись согласием почтенной Марты освятить своим присутствием мой визит. Однако это правило молчаливо установилось лишь по моему почину. За последнее же время, когда наше взаимное положение стало еще затруднительней, мы с мисс Вернон и вовсе перестали встречаться вечерами. Поэтому она не могла предположить, что я стану искать возобновления наших встреч, да еще не договорившись наперед, чтобы Марта, как обычно, дежурила на посту; но, с другой стороны, то, что я должен всегда предупреждать, только подразумевалось — прямого уговора между нами не было. Библиотека была открыта для меня, как и для прочих членов семьи, в любое время дня и ночи, и меня нельзя было бы обвинить в нескромном вторжении, как бы ни был неожидан мой приход. Я был твердо убежден, что в этом зале мисс Вернон принимала иногда Вогана или другого какого-то человека, с мнением которого она привыкла сообразовывать свои действия, — и принимала, конечно, в такую пору, когда меньше всего можно было ждать помехи. Свет, мерцавший здесь в неурочные часы, мелькавшие за окнами тени — я сам их наблюдал, — следы, которые, как случалось видеть, вели иногда по утренней росе от двери башни к садовой калитке, странные голоса и призраки, чудившиеся некоторым слугам, в особенности Эндрю Ферсервису, и объясняемые им по-своему, — все как будто указывало, что это место посещалось кем-то, кто не принадлежал к постоянным обитателям замка. И так как этот гость был, очевидно, связан с тайной, тяготевшей над судьбой Дианы, я, не колеблясь, составил план, который мог раскрыть мне, кто он такой и каких последствий, добрых или злых, должен я ждать от его влияния для той, кем он руководил.

Но прежде всего — хоть я и старался уверить самого себя, что это соображение у меня второстепенное, — я жаждал узнать, какими средствами это лицо приобрело свою власть над Дианой и что держало девушку в подчинении — страх или нежная привязанность. Ревнивое любопытство преобладало во мне надо всем другим — недаром мое воображение всегда

объясняло поступки мисс Вернон влиянием одного какого-то лица, хотя, насколько я мог судить, советчиков у нее мог быть легион. Снова и снова повторял я самому себе этот довод, но каждый раз убеждался, что поступками Дианы Вернон управляет один-единственный человек — мужчина, и, по всей вероятности, молодой, красивый! И вот, одержимый жгучим желанием открыть (вернее, выследить) соперника, я стоял в саду, ожидая той минуты, когда в окнах библиотеки засветятся огни.

Но мое нетерпение было так остро, что того явления, которое могло мне открыться только с темнотой, я начал поджидать в тот июльский вечер за целый час до заката. Была суббота, в саду — тишина и безлюдье. Некоторое время я прогуливался взад и вперед по аллеям, радуясь живительной прохладе летнего вечера и гадая о возможных последствиях затеи. Свежий и благоуханный воздух сада производил свое обычное успокоительное действие на разгоряченную кровь; вместе с тем мое душевное смятение постепенно улеглось, и предо мной встал вопрос: вправе ли я вторгаться в секреты Дианы Вернон или семьи моего дяди? Что мне до того, что дяде вздумалось кого-то укрывать в своем доме, где сам я был лишь гостем, которого только терпят? Чем я могу оправдать свое вмешательство в дела мисс Вернон, окутанные, как сама она призналась, тайной, которую она не желала открыть?

Страсть и своеволие подсказали быстрый ответ на все эти вопросы. Раскрыв тайну, я, по всей вероятности, окажу услугу сэру Гилдебранду, едва ли знавшему об интригах, затеваемых в его доме; и еще более важную услугу — мисс Вернон, которая по своему простосердечию и прямоте подвергала себя большому риску, поддерживая секретную связь с человеком подозрительным и, быть может, опасным. Могут подумать, что я вторгаюсь в ее доверие, но это делается мною с благородным и бескорыстным намерением (да, я осмелился даже назвать его бескорыстным!) направлять ее, ограждать и защищать от козней и злых происков, а главное — от тайного советчика, избранного ею в поверенные. Таковы были доводы, которые моя воля смело предъявила совести под видом ходкой монеты, а совесть, как ворчливый лавочник, согласилась принять, чтоб не идти на открытый разрыв с покупателем, хоть и сильно подозревала, что деньги фальшивые.

Шагая по зеленым аллеям и взвешивая все pro и contra *note 52* я неожиданно натолкнулся на Эндрю Ферсервиса, сидевшего, точно истукан, подле пчельника в позе благоговейного созерцания. Впрочем, одним глазом он следил за движением маленьких раздражительных граждан, возвращавшихся к ночи в свой крытый соломой дом, а другим уставился в книгу духовного содержания, у которой от длительного употребления до того обтерлись углы, что она приняла овальную форму; это обстоятельство в сочетании с тесной печатью и бурым оттенком страниц придавало книге весьма почтенный, древний вид.

— Читаю вот сочинение славного проповедника Джона Квоклебена «Душистый цветок, взращенный на навозище мира сего», — сказал Эндрю, закрыв при моем появлении книгу и заложив в нее свои роговые очки вместо закладки, чтоб не потерять места, где остановился.

— А пчелы, как я погляжу, отвлекают ваше внимание, Эндрю, от ученого богослова?

— Такое уж упрямое племя! — ответил садовник. — Есть у них на это дело шесть дней в неделю, однако ж давно подмечено, что они роятся обязательно в субботу и не дают человеку мирно послушать слово Божие. Но сегодня, как раз на мою удачу, в Гренингенской часовне нет вечерней проповеди.

— Вы могли бы, как я, сходить в приходскую церковь, Эндрю, и услышать превосходную речь.

— Подогретые остатки холодной похлебки, подогретые остатки! — возразил Эндрю, надменно усмехнувшись. — Доброе варево для собак, не в обиду будь сказано вашей чести. Н-да! Я, конечно, мог послушать, как пастор в белом балахоне чешет язык и музыканты дудят в свои дудки, — не проповедь, а грошовая свадьба! А в придачу мог бы еще пойти на вечернюю службу послушать, как папаша Дохарти бубнит свою мессу, — толк один, что в

Note52

оводы за и против (лат.).

том, что в другом.

— Дохарти? — переспросил я (так звали старого священника, кажется, ирландца, который иногда отправлял службу в Осбалдистон-холле). — А я думал, в замке гостит сейчас отец Воган. Он тут был вчера.

— Был, — ответил Эндрю, — но уехал вечером в Грейсток или еще в какой-то замок на западе. У них там сейчас переполох. Как у моих пчел, да хранит их Господь и да простится мне, что я приравнял их, бедняжек, к папистам! Вот видите, это у них уже второй рой, а иной раз они днем уже отроятся. Первый рой тронулся у меня нынче утром. Все же, я думаю, на ночь они утихомирились в своих клетях. Пожелаю, значит, вашей чести спокойной ночи и всяческих благ.

С этими словами Эндрю пошел прочь, но несколько раз еще оглянулся на «клети», так называл он ульи.

Итак, я неожиданно узнал от него кое-что существенное — отец Воган числится в отъезде. Значит, если в окнах библиотеки появится свет, надо будет отнести это на счет кого-то другого, или же он избрал довольно подозрительный образ действий и скрывает свое присутствие. Я ждал с нетерпением, когда зайдет солнце и наступят сумерки. Как только стало смеркаться, в окнах библиотеки загорелся свет, смутно различимый в еще не угасших отблесках заката. Однако я тотчас же уловил первое мерцание свечи, как застигнутый ночью моряк различает в сумеречной дали только что зажегшийся путеводный огонь маяка. Мои сомнения, споривши до сих пор с любопытством и ревностью, рассеялись, как только представился случай удовлетворить первое из двух. Я вернулся в дом и, тщательно избегая более людных комнат, как и подобает тому, кто хочет сохранить свои намерения в тайне, дошел до дверей библиотеки, остановился в нерешительности, положив уже руку на щеколду, услышал в комнате приглушенные шаги, открыл дверь — и застал мисс Вернон одну.

Диана была явно смущена — моим ли внезапным приходом или чем другим, я не мог решить; но ее охватил какой-то трепет, какого я никогда в ней не замечал и который, как я понял, мог происходить только от необычайного волнения. Однако она тотчас же овладела собой. И такова сила совести, что я, готовившийся захватить девушку врасплох, сам растерялся и стоял перед нею в замешательстве.

— Что-нибудь случилось? — спросила мисс Вернон. — Приехал кто-нибудь в замок?

— Насколько я знаю — никто, — ответил я, несколько смущенный. — Я пришел за «Роландом».

— Он здесь, — сказала мисс Вернон, указывая на стол.

Перебирая книги, чтобы достать ту, которая была мне якобы нужна, я мысленно искал пути к достойному отступлению от своей затеи вести сыск, так как почувствовал, что у меня для этого не хватает самоуверенности, когда вдруг заметил лежавшую на столе мужскую перчатку. Глаза мои встретились с глазами мисс Вернон, и она густо покраснела.

— Это одна из моих реликвий, — сказала она с запинкой, отвечая не на мои слова, а на взгляд, — перчатка моего деда, того, чей портрет несравненной кисти Ван-Дейка так восхищает вас.

И, как будто полагая, что словесного утверждения мало, она выдвинула ящик дубового стола, достала из него вторую перчатку и бросила ее мне. Когда человек, по природе прямодушный, начинает хитрить и притворяться, его тревожное усилие при выполнении непривычной задачи нередко возбуждает у слушателя сомнение в правдивости сказанных слов. Я мельком взглянул на обе перчатки и медленно проговорил:

— Перчатки, несомненно, похожи одна на другую и фасоном и вышивкой, но они не составляют пары — обе на правую руку.

Она в сердцах прикусила губу и опять густо покраснела.

— Вы правильно поступаете, уличая меня, — сказала она с горечью. — Другие друзья на вашем месте заключили бы только из моих слов, что я не хочу давать подробные объяснения обстоятельству, которое не обязана разъяснять — по крайней мере постороннему, — вы рассудили лучше и дали мне почувствовать не только низость двуличия, но и мою

неспособность к роли лицемера. Теперь скажу вам ясно, что эта перчатка, как вы сами зорко разглядели, не парная с тою, что я достала сейчас. Она принадлежит другу, который мне еще дороже, чем оригинал вандейковского портрета, другу, чьим советам я следовала всегда — и буду следовать, которого я чту, которого…

Она умолкла.

Меня разозлил ее тон, и я досказал за нее:

— Которого она любит, хочет сказать мисс Вернон.

— А если и так? — ответила она высокомерно. — Кто потребует у меня отчета в моих чувствах?

— Во всяком случае, не я, мисс Вернон. Прошу снять с меня обвинение в такой самонадеянности. Но, — продолжал я, подчеркивая каждое слово, так как, в свою очередь, почел себя задетым, — надеюсь, мисс Вернон простит другу, которого она как будто склонна лишить этого звания, если он заметит…

— Заметьте себе только одно, сэр, — гневно перебила Диана, — я не желаю, чтобы мне докучали подозрениями и расспросами. Никому на свете не позволю я допрашивать меня или судить! И если, избрав столь необычный час, вы приходите сюда шпионить за мною в моих личных делах, дружба и участие, на которые вы ссылаетесь, служит плохим оправданием вашему невежливому любопытству.

— Я избавлю вас от своего присутствия, — сказал я так же гордо, как она, потому что природе моей чуждо смирение, даже когда мои чувства бывали глубоко затронуты, — я избавлю вас от своего присутствия. Я пробудился от приятного, но слишком обманчивого сна, и мне… Но мы понимаем друг друга.

Я уже подошел к дверям, когда мисс Вернон — чьи движения в своей быстроте казались порой почти инстинктивными — догнала меня и, схватив за руку повыше локтя, остановила с тем повелительным видом, который она так своенравно умела принимать и который в сочетании с наивностью и простотой ее манер производил необычайное впечатление.

— Стойте, мистер Фрэнк! — сказала она. — Вы не расстанетесь со мной таким образом. Не так уж много у меня друзей, чтобы я могла бросаться ими, — хотя бы даже неблагодарным и эгоистичным другом. Выслушайте, что я вам скажу, мистер Фрэнсис Осбалдистон. Вы ничего не узнаете об этой таинственной перчатке (тут она убрала ее со стола), ничего, ни на йоту больше того, что вам уже известно! И все же я не позволю ей лечь между нами эмблемой вызова, знаком распри. Мне недолго, — добавила она, смягчая тон, — недолго можно будет оставаться здесь. Вам — еще того меньше. Мы скоро должны расстаться, чтоб не встретиться больше никогда, — не будем же ссориться и не будем из-за каких-то злосчастных загадок отравлять те немногие часы, какие нам осталось провести вместе по эту сторону вечности.

Не знаю, Трешем, каким колдовством это прелестное существо приобрело такую власть над моим горячим нравом, с которым я и сам-то не всегда умел совладать. Я шел в библиотеку, решив искать полного объяснения с мисс Вернон, она же с негодованием отказала мне в доверии и откровенно призналась, что предпочитает мне какого-то соперника, — как мог я иначе истолковать ее слова о предпочтении, оказываемом ею таинственному другу? И все же, когда я был уже готов переступить порог и навсегда порвать с Дианой, ей стоило лишь изменить взгляд и голос, перейти от подлинной и горькой обиды к тону добродушного и шутливого деспотизма, сквозь который вдруг пробивались снова печаль и глубокое чувство, и я стал опять ее добровольным рабом, согласным на все ее жестокие условия.

— К чему это послужит? — сказал я, опускаясь на стул. — К чему это может послужить, мисс Вернон? Зачем оставаться мне свидетелем тревог, если я не могу их облегчить, или слушать о тайнах, если вас оскорбляет даже моя попытка в них проникнуть? При всей вашей неискушенности вы все же должны понимать, что у красивой молодой девушки может быть только один друг среди мужчин. Даже друга-мужчину я ревновал бы, если бы он избрал поверенным кого-то третьего, неведомого мне, и скрывал бы его от меня, а с вами, мисс Вернон…

— Вот как? Вы меня ревнуете? Со всеми причудами и притязаниями этой милой

страсти? Но, добрый друг мой, до сих пор я не слышала от вас ничего, кроме убогого вздора, какой простаки заимствуют из трагедий и романов и повторяют до тех пор, покуда собственная декламация не приобретет могущественного влияния на их умы. Мальчики и девочки настраивают себя на любовь, а когда им кажется, что любовь засыпает, они взвинчивают друг друга ревностью. Но вы и я, Фрэнк, — мы с вами разумные существа, и не так мы глупы и праздны, чтобы создавать между нами какие-либо иные отношения, кроме простой, честной, бескорыстной дружбы. Всякий другой союз так же для нас недостижим, как если б я была мужчиной или вы женщиной. Сказать по правде, — добавила она после минутного колебания, — хоть я и готова снизойти к требованиям приличий и, как подобает девице, немного покраснеть в смущении от собственной откровенности… мы не могли бы пожениться, если б и хотели, и не должны бы, если бы могли.

И право же, Трешем, она залилась ангельским румянцем при этих жестоких словах. Я хотел повести атаку на обе ее позиции, совершенно забыв о своих подозрениях, подтвердившихся в тот вечерний час, но с холодной твердостью, почти похожей на суровость, Диана продолжала:

— То, что я говорю вам, — трезвая неоспоримая истина, и я не хочу слышать вопросов и объяснений. Значит, мы с вами друзья, мистер Осбалдистон, не так ли?

Она взяла меня за руку и добавила:

— И теперь и впредь будем только друзьями.

Она отпустила мою руку. Рука повисла, а за нею поникла и моя голова — я был «ликующе взволнован», как сказал бы Спенсер, добротой и суровостью моей любимой. Диана поспешила переменить разговор.

— Вот письмо, — сказала она, — адресованное вам, мистер Осбалдистон, точно и ясно; но, несмотря на всю предусмотрительность особы, которая его написала и отправила, оно, быть может, никогда не попало бы в ваши руки, если бы им не завладел некий Паколет, мой карлик-волшебник, которого я, как всякая юная героиня рыцарского романа, попавшая в бедственное положение, держу у себя на службе.

Я распечатал письмо и быстро пробежал его глазами; развернутый лист бумаги выпал из моих рук, и с губ сорвалось восклицание:

— Боже милостивый! Своим безрассудством и непослушанием я погубил отца!

Мисс Вернон поднялась с подлинной и участливой тревогой во взгляде:

— Вы побледнели! Вам дурно? Подать вам стакан воды? Будьте мужчиной, мистер Осбалдистон, стойким в беде. Ваш отец… его уже нет в живых?

— Он жив, — сказал я, — жив, слава Богу! Но какие ждут его трудности, какие бедствия! ..

— Если это все, не отчаивайтесь. Можно мне прочесть письмо? — добавила она, подняв его с полу.

Я дал согласие, едва сознавая, что говорю. Она прочла его очень внимательно.

— Кто такой Трешем, подписавший это письмо?

— Компаньон моего отца (ваш добрый отец, Уилл); но он обычно не принимает личного участия в делах нашего торгового дома.

— Он пишет, — сказала мисс Вернон, — о ряде писем, посланных вам раньше.

— Я не получил ни одного, — был мой ответ.

— Если я правильно поняла, — продолжала она, — Рэшли, принявший на себя полное управление делами фирмы на время пребывания вашего отца в Голландии, отбыл недавно из Лондона в Шотландию с крупными суммами и ценными бумагами для погашения векселей, выданных вашим отцом разным лицам в этой стране, и со времени его отъезда от него не получено никаких вестей?

— Верно, слишком верно!

— Затем, — продолжала она, заглянув в письмо, — старший клерк фирмы или кто-то еще, по имени… Оуэнсон… Оуэн… был отправлен в Глазго разыскать, если можно, Рэшли, и к вам обращаются с просьбой выехать туда же и помочь ему в розысках?

— Да, именно так, и ехать я должен немедленно.

— Подождите минуту, — сказала мисс Вернон. — Мне кажется, в худшем случае это грозит потерей известной суммы денег; неужели такая потеря может вызвать слезы на ваших глазах? Стыдитесь, мистер Осбалдистон!

— Вы ко мне несправедливы, мисс Вернон, — ответил я. — Меня страшит не потеря, но то действие, какое она, я знаю, окажет на душевное состояние и на здоровье моего отца: для него коммерческий кредит равнозначен чести, и если его объявят несостоятельным должником, горе, угрызения совести, отчаяние раздавят его и сведут в могилу, как солдата — обвинение в трусости, как человека чести — утрата доброго имени и положения в обществе. Все это я мог предотвратить, когда принес бы небольшую жертву, поступился бы своей безрассудной гордостью и беспечностью, не позволившей мне разделить с ним труды на его почтенном и полезном поприще. Боже правый! Как искуплю я последствия своей ошибки?

— Немедленно выехав в Глазго, как вас о том умоляет друг, написавший это письмо.

— Но если Рэшли и впрямь составил низкий и бессовестный замысел ограбить своего благодетеля, — сказал я, — какая есть у меня надежда, что я найду способ разрушить его глубоко продуманный план?

— Надежда, — ответила мисс Вернон, — в самом деле сомнительная; но, с другой стороны, оставаясь здесь, вы не имеете ни малейшей возможности оказать какую-либо услугу вашему отцу. Не забывайте: если б вы остались на предназначенном вам посту, беда не могла бы разразиться. Спешите же выполнить то, на что вам указывают теперь, и, может быть, вам удастся ее отвратить. Впрочем, постойте — не уходите из комнаты, пока я не вернусь.

Она оставила меня в изумлении и замешательстве; но и тут я нашел светлую минуту, чтобы восхититься твердостью, спокойствием, присутствием духа, не покидавшими Диану, казалось, даже в самых нежданных несчастиях.

Через некоторое время она вернулась с листком бумаги в руке, сложенным и запечатанным, как письмо, но без адреса.

— Даю вам, — сказала она, — этот залог моей дружбы, потому что вполне полагаюсь на вашу честь. Если я правильно поняла сущность постигшей вас беды, те денежные средства, что находятся в руках Рэшли, должны быть налицо к определенному дню — к двенадцатому сентября, не правда ли? — чтоб можно было употребить их на оплату векселей, о которых идет речь в письме. Следовательно, если раздобыть до истечения срока равные денежные средства, кредит вашего отца нисколько не пострадает?

— Разумеется. Так и я понял мистера Трешема.

Я еще раз, Уилл, перечел письмо вашего отца и добавил:

— Сомнения нет, это именно так.

— Хорошо, — сказала Диана. — В таком случае мой маленький Паколет, может быть, сослужит вам службу. Вам доводилось слышать о письмах, таящих в себе заклятие? Возьмите это письмо. Не взламывайте печати, пока не убедитесь, что другие, обыденные средства бессильны; если ваши старания окажутся успешны, прошу вас, полагаясь на вашу честь, уничтожить его, не распечатав и не дав распечатать никому другому. Если же нет, взломайте печать за десять дней до урочного дня, и вы найдете указания, которые могут помочь вам. Прощайте, Фрэнк! Мы никогда не встретимся вновь, но вспоминайте иногда о вашем друге Ди Вернон.

Она протянула мне руку, но я прижал девушку к своей груди. Она вздохнула, высвободившись из объятия, которому не сопротивлялась, кинулась к дверям, что вели в ее комнату, и скрылась с моих глаз.

ГЛАВА XVIII

Несется конь во весь опор,
Несется конь стрелой,
Мертвец — наездник хоть куда!

«Не страшно, друг, со мной?»
Бюргер

Когда на человека обрушится сразу множество бедствий, различных по своей причине и природе, в этом есть хоть то преимущество, что они отвлекают мысли в разные стороны, не позволяя несчастному сломиться под тяжестью одного какого-нибудь удара. Меня глубоко печалила разлука с мисс Вернон, но вдвое тяжелей ощутил бы я горечь расставания, когда бы тревога за отца не завладевала настойчиво моими мыслями. И весть от мистера Трешема горько меня встревожила, но могла бы довести до отчаяния, завладей она мной безраздельно. Я не был чувствительным сыном, как не был неверен в любви; но человек способен отдать лишь ограниченную долю горестных волнений причинам, вызывающим их, и если действуют две одновременно, наше чувство, как имущество банкрота, можно лишь разделить между ними. Так размышлял я, пока шел в свою комнату. Из этого примера видно, что мысли мои в какой-то мере уже обратились к торговым делам.

Я попробовал внимательно вчитаться в письмо вашего отца. Оно изложено было не очень ясно и по ряду частностей отсылало к Оуэну, с которым мне предлагалось встретиться как можно скорее в шотландском городе Глазго; далее сообщалось, что я могу разыскать своего старого друга, наведя справки в торговом доме «Мак-Витти, Мак-Фин и Компания», в названном городе, на улице Гэллоугейт. Ваш отец упоминал о нескольких письмах (они, решил я, затерялись на почте или же были перехвачены) и жаловался на мое упорное молчание в таких выражениях, которые были бы крайне несправедливы, если б отправленные мною письма дошли по назначению. Я читал и дивился. Ни минуты я не сомневался, что дух Рэшли бродил вокруг и вызывал все недоразумения и трудности, обступившие меня. Но страшно было подумать, сколько потребовалось злодейства и вместе с тем искусства для осуществления его преступных замыслов. Надо отдать мне справедливость в одном: горе от разлуки с мисс Вернон, как ни тягостно могло бы оно показаться в другое время, представлялось мне не столь значительным, когда я думал об угрозе, нависшей над головой моего отца. Сам я не придавал большого значения богатству и в этом разделял напускную беспечность многих молодых людей с живым воображением, которые уверяют себя и других, что лучше обходиться совсем без денег, чем отдавать свой досуг и таланты труду, необходимому для их приобретения. Но я знал, что в глазах отца банкротство было величайшим, несмываемым позором, горем, от которого не найдешь утешения, которому быстрейшее и единственное исцеление — смерть.

Поэтому мысль моя искала средств предотвратить катастрофу с такой настойчивостью, какой никогда не проявили бы корысть и забота о собственном богатстве. По зрелом размышлении я твердо решил оставить Осбалдистон-холл на следующий день и не теряя времени ехать в Глазго, чтобы там свидеться с Оуэном. Я почел излишним сообщать дяде о своем отъезде и решил письменно выразить ему признательность за гостеприимство и заверить, что только важное и неожиданное дело помешало мне принести благодарность лично. Я знал, что старый баронет, не любя церемоний, охотно меня извинит, а я был так убежден в умении Рэшли широко и решительно расставлять свои сети, что меня смущало опасение, как бы не нашел он способа помешать моей поездке, предпринимаемой в целях разрушения его козней, коль скоро о моем отъезде будет объявлено всем в Осбалдистон-холле.

Итак, я решил утром на заре пуститься в путь и достигнуть соседнего Шотландского королевства, прежде чем кто-либо в замке заподозрит о моем отъезде; но одно важное препятствие мешало мне быстро выполнить свой замысел (а в быстроте-то и заключался его смысл): я не знал кратчайшей, не знал, в сущности, никакой дороги в Глазго; и так как при сложившихся обстоятельствах скорость играла главную роль, я решил посоветоваться с Эндрю Ферсервисом — ближайшим и вернейшим авторитетом. Невзирая на поздний час, я немедленно приступил к разрешению этого важного вопроса и через несколько минут подошел к жилищу садовника.

Жилище Эндрю было расположено неподалеку от внешней ограды сада — уютный, веселый нортумберлендский коттедж, сложенный из камня, еле тронутого резцом; окна и двери были украшены большими, тяжелыми архитравами, или наличниками, как их здесь называют, из тесаного камня, а крышу вместо шифера, соломы или черепицы покрывал крупный серый плитняк. Груша-скороспелка у одного из углов коттеджа, ручеек и большой цветник, площадью около четверти акра, перед окнами, маленький огород позади, лужок для коровы и небольшое поле, засеянное различными злаками, скорее на потребу обитателя коттеджа, чем на продажу, — все это свидетельствовало о мирных и сердечных радостях, какими старая Англия, даже на северной окраине, дарила самых своих незначительных жителей.

Едва я приблизился к обители мудрого Эндрю, как услышал странно торжественные, гнусавые и протяжные звуки, которые навели меня на мысль, что Эндрю, следуя достохвальному обычаю своих соотечественников, собрал соседей провести вместе «семейное радение», как называл он вечернюю молитву. Впрочем, Эндрю жил бобылем, в доме у него не было ни одной особы женского пола. «Первый в мире садовник, — говаривал он, — довольно натерпелся от этой скотинки». Но ему, тем не менее, удавалось иногда набрать слушателей среди соседей, как папистов, так и приверженцев англиканской церкви, — «головни, выхваченные из огня», называл он их, — и приносить им свои духовные дары, бросая вызов отцу Вогану, патеру Дохарти, Рэшли, всему католическому миру в округе, считавшему в этих случаях его вмешательство еретической контрабандой. Так что мне представилось вполне правдоподобным, что расположенные к нему соседи сошлись у садовника провести такого рода домашнее молитвенное собрание. Однако, прислушавшись внимательней, я понял, что все звуки исходили из одной гортани — из гортани самого Эндрю; и когда я прервал их, войдя в дом, я застал Ферсервиса в одиночестве: кое-как одолевая многосложные слова и трудные имена, он громко декламировал самому себе в назидание какую-то богословскую полемику.

— Читаю вот творение достойного доктора Лайтфута, — сказал он, откладывая при моем появлении в сторону толстый фолиант.

— Лайтфута? — переспросил я, недоуменно поглядывая на увесистый том. — Право же, ваш сочинитель неудачно получил свое имя. *note 53*

— Да, сэр, его звали Лайтфутом. Был он великий богослов, не чета теперешним. Однако прошу извинения, что заставил вас долго простоять за дверью. Но меня так расстроил вчера (храни нас Боже) проклятый дух, что я не решался отворить дверь, не дочитавши, как положено, святого слова. А теперь я как раз кончил пятую главу Неемии, — если и это не заставит нечисть держаться в стороне, уж не знаю, чем ее пронять!

— Вас настроил дух! — вскричал я. — Что вы хотите сказать, Эндрю?

— Я сказал, что меня «расстроил дух», — повторил Эндрю. — Это все равно, что сказать: «я струхнул перед призраком». Храни нас Боже, добавлю еще раз.

— Вы рухнули перед призраком, Эндрю? Как это понять?

— Я не сказал «рухнул», — ответил Эндрю. — Я сказал «струхнул», то есть натерпелся страху и чуть не выскочил из собственной шкуры, хотя никто не предложил надсечь ее на мне, как человек надсекает кору на дереве.

— Я пришел к вам, напротив, успокоить ваши страхи, Эндрю, и спросить у вас, не можете ли вы указать мне кратчайшую дорогу в один городок вашей Шотландии, называемый Глазго.

— Городок, называемый Глазго! — возмутился Эндрю Ферсервис. — Глазго — громадный город, любезный господин! Спрашиваете, знаю ли я дорогу в Глазго! Кому же ее знать, как не мне! От Глазго рукой подать до моей родной деревни в приходе Дрипдейли — она чуть подальше на запад. Но зачем понадобилось вашей чести ехать в Глазго?

Note53

Слово «лайтфут» (lightfoot) означает по-английски «легкая стопа».

— У меня там дела, — ответил я.

— Это все равно что сказать: «не спрашивай, так я не стану врать». В Глазго? — Он помолчал немного. — Я думаю, самое лучшее, чтобы вас кто-нибудь проводил.

— Конечно, если б нашелся попутчик…

— Ваша честь вознаградит его, разумеется, за труды и потерю времени?

— Безусловно. Дело у меня неотложное, и если б вы сыскали мне проводника, я ему хорошо заплатил бы.

— Не такой нынче день, чтоб говорить о мирских делах, — сказал Эндрю, возводя очи к небу. — Не будь сейчас субботний вечер, я полюбопытствовал бы, сколько вы согласитесь дать человеку, который составит вам приятное общество в дороге, будет вам называть все поместья и замки джентльменов и знатных господ и перечислит всю их родню.

— Говорю вам: мне только нужно знать, какой дорогой ехать, больше ничего. Проводник останется доволен — я дам любую плату в пределах разумного.

— Сказать «любую», — ответил Эндрю, — значит не сказать ничего; а человек, которого я имею в виду, знает все кратчайшие переходы, все обходные тропки в горах и…

— Некогда мне разглагольствовать, Эндрю. Подрядите кого хотите, а плата по вашему усмотрению.

— Ага! Это уже другой разговор, — ответил Эндрю. — Коли так, мне думается, я сам сойду за такого человека, какой вам нужен.

— Вы, Эндрю? Но как же вы бросите службу?

— Я говорил как-то вашей милости, что давно подумывал упорхнуть, чуть ли не с первого года, как нанялся в Осбалдистон-холл, а теперь я решил уйти на самом деле, да как можно скорей; уж лучше остаться без пальца, чем погибнуть самому навеки.

— Значит, вы уходите со службы? А жалованье у вас не пропадает?

— Понятно, кое-что мне следует. Но у меня есть на руках хозяйские деньги — выручка за яблоки из старого сада… И то сказать, неважная покупка для добрых людей: зеленые были и кислые; а между тем сэр Гилдебранд требует за них такую цену — вернее, дворецкий так нажимает, — точно это золотой ранет. И потом, у меня есть деньги на покупку семян. Думаю, это, в общем, кое-как покроет мое жалованье. Но ваша честь, конечно, вознаградит меня за все, что я могу потерять, отправляясь вместе с вами в Глазго. Скоро вы думаете ехать?

— Завтра на рассвете, — ответил я.

— Больно быстро. Где ж я достану коня? Впрочем, нашел! Отличная лошадка, подойдет как нельзя лучше.

— Значит, Эндрю, в пять часов утра вы меня встречаете у въезда на главную аллею?

— Черт меня возьми, если я не буду на месте (да простится мне черное слово!), — ответил весело Эндрю. — А послушались бы вы моего совета, так мы бы выбрались двумя часами раньше. Со мной вы не заблудитесь ни днем, ни ночью — я найду дорогу в темноте не хуже слепого Ралфа Роналдсона, который разъезжал у себя на родине по всем болотам и топям, хоть и не умел сказать, какого цвета вереск.

Я всецело одобрил поправку садовника к моему предложению, и мы сговорились встретиться на указанном месте в три часа утра. Но вдруг в уме моего предполагаемого попутчика блеснула новая мысль:

— А призрак? Призрак! Что, что если он нас настигнет? Не хочется мне встречаться с нечистым дважды за одни сутки.

— Фью! — свистнул я, собравшись уже уходить. — Нечего бояться выходцев с того света: на земле немало живых злодеев, которые умеют обходиться без чужой помощи ничуть не хуже, чем если бы все ангелы, низвергнутые в преисподнюю вместе с Люцифером, вышли им на подмогу.

С этими словами, подсказанными мне моими собственными страхами, я оставил жилище Эндрю Ферсервиса и вернулся в замок.

Наспех собрал я все, что было нужно мне для намеченной поездки, осмотрел и зарядил пистолеты и бросился на кровать, чтобы поспать хоть немного перед опасной и дальней

дорогой. Я не надеялся заснуть, но усталость, вызванная тревогами дня, взяла свое, и вскоре меня охватил глубокий и крепкий сон, от которого, однако, я сразу пробудился, когда старые часы на башне, примыкавшей к моей спальне, пробили два. Не медля ни минуты, я встал, высек огонь, зажег свечу, написал письмо дяде и, оставив из своей одежды все, что явилось бы лишней обузой, сложил остальное в чемодан, бесшумно сошел по лестнице и без помехи пробрался в конюшню. Я хоть и не был таким превосходным конюхом, как мои двоюродные братья, но все же научился в Осбалдистон-холле чистить и седлать своего коня. Через несколько минут я уже сидел в седле и был готов тронуться в далекий путь.

Едучи шагом по старой аллее сада, на которую ущербный месяц бросал бледный свет, я со вздохом тяжелого предчувствия оглянулся назад, на стены, охранявшие Диану Вернон, и безотрадная мысль угнетала меня, что мы расстались, быть может, навсегда. В длинных и неправильных рядах готических окон, казавшихся в свете месяца мертвенно-белыми, было невозможно различить окно той комнаты, где жила она. «Она уже для меня потеряна, — думал я, блуждая взором по мрачной и сложной архитектуре, какую являл при свете месяца замок Осбалдистон, — потеряна прежде, чем я покинул место, где она живет! Какая же мне остается надежда, что я смогу как-нибудь с нею сноситься, когда многие мили лягут между нами?»

Я остановился в унылой задумчивости, но тотчас

… железный времени язык

Промолвил «три» над сонным ухом ночи -

и напомнил мне, что пора явиться на свидание с особой не столь интересной и нравом и внешностью — с Эндрю Ферсервисом.

У калитки в конце аллеи я увидел всадника, державшегося в тени ограды. Но только когда я дважды кашлянул и окликнул его: «Эндрю!» — садовник соизволил отозваться:

— Будьте покойны — Эндрю, Эндрю, он самый и есть.

— Поезжайте вперед, показывайте мне дорогу, — сказал я, — и, если можете, помалкивайте, пока мы не минуем поселок в долине.

Эндрю пустил вперед своего коня — и гораздо резвее, чем я считал удобным; притом он так послушно исполнял мой приказ «помалкивать», что я не мог добиться от него ответа на свои повторные вопросы о причине этой излишней спешки. Выбравшись известными садовнику кратчайшими путями из сети бесчисленных кремнистых проселков и тропок, переплетавшихся в окрестностях замка, мы выехали в открытое поле и, быстро проехав его, поскакали среди голых холмов, отделяющих Англию от Шотландии по так называемому Мидл Марчиз — средней пограничной полосе. Дорога — вернее, узенькая стежка, временами совсем пропадавшая, — представляла приятное разнообразие, ведя нас то по заболоченному, то по каменистому грунту. Однако Эндрю нисколько не умерил бега и храбро скакал вперед со скоростью девяти-десяти миль в час. Меня смущало и злило упрямое своеволие моего проводника: мы одолевали головокружительные спуски и подъемы по самой предательской почве, пробирались по краю обрыва, где один неверный шаг коня обрекал ездока на неминуемую смерть. Луна струила обманчивый и недостаточный свет, местами же горные кручи, нависая над нами, погружали нас в полную темноту, и тогда я мог следовать за Эндрю только по цоканью подков его лошади да по искрам, которые они высекали из кремней. Сначала это быстрое движение и необходимость ради сохранения жизни внимательно следить за поступью моего коня служили мне добрую службу, насильственно отвлекая мысли от мучительных предметов, которые иначе неизбежно завладели бы ими. Но под конец, в двадцатый раз крикнув Эндрю, чтобы он двигался тише, и в двадцатый раз натолкнувшись на его упрямый и бесстыдный отказ повиноваться мне или ответить, я не на шутку рассердился. Однако злоба моя была бессильна. Раза два я попробовал поравняться с моим своевольным проводником и выбить его из седла ударом арапника, но конь под Эндрю был резвее моего, и то ли ретивость благородного скакуна, то ли — что вернее — догадка о моих добрых намерениях побуждали садовника ускорять галоп каждый раз, когда я пытался его догнать. Я, со своей стороны, принужден был снова и снова давать шпоры коню, чтоб не упустить из виду проводника, ибо я отлично понимал, что без него мне ни за что не найти дороги в этой

безлюдной пустыне, по которой мы мчались с необычайной быстротой. Наконец я так разозлился, что пригрозил послать из пистолета пулю вдогонку наезднику и тем остановить его огнекрылый бег, если неистовый Эндрю сам не придержит коня. Очевидно, угроза произвела некоторое впечатление на его барабанные перепонки, глухие ко всем моим более кротким обращениям: услышав ее, шотландец придержал своего скакуна и, дав мне подъехать вплотную, заметил:

— Нам вовсе даже и не к чему было эдак лететь сломя голову.

— Чего же ради вы задали такую гонку, своевольный вы негодяй? — ответил я.

Во мне кипела ярость, которую ничто не могло бы разжечь сильнее, чем только что перенесенный мною страх: подобно нескольким каплям воды, упавшим в пылающий костер, страх неизбежно должен пуще распалить огонь, когда не может его загасить.

— А чего ж угодно вашей чести? — сказал Эндрю с невозмутимым спокойствием.

— Чего мне угодно, мошенник? Я тут битый час кричу, чтобы вы ехали медленней, а вы не находите нужным даже ответить! Пьяны вы, что ли, или спятили?

— Не прогневайтесь, ваша честь, я немного туговат на ухо. Не стану отпираться, я, конечно, выпил чарочку перед тем как оставить старое обиталище, где прожил столько лет; компании не оказалось, так что, понятное дело, пришлось управиться самому, не то, хочешь не хочешь, оставляй полбутылки водки папистам, а уж это, как известно вашей милости, был бы чистый убыток.

Объяснение казалось довольно правдоподобным, и обстоятельства не позволяли мне ссориться с проводником, поэтому я ограничился требованием, чтобы впредь он спрашивал у меня указания, надо ли гнать коня.

Приободренный кротостью моего ответа, Эндрю тотчас повысил голос и заговорил в том педантичном, самодовольном тоне, какой был ему обычно свойствен:

— Ваша честь не уговорит меня и никто меня не уговорит, что разумно или полезно для здоровья холодной ночью пускаться в путь по здешним болотам, не подкрепившись наперед стаканчиком гвоздичной настойки, или чарочкой можжевеловки, или водки, или чего-нибудь такого. Я сто раз переваливал через Оттерскопский хребет днем и ночью и никогда не мог найти дорогу, если перед тем не выпивал свою порцию, — а выпью, так проеду наилучшим образом, да еще с двумя бочонками коньяка по каждую сторону седла.

— Другими словами, Эндрю, — сказал я, — вы перевозили контрабанду. Как же это вы, человек строгих правил, позволяли себе обманывать казну?

— Это значило только наносить вред нечестивым египтянам, — ответил Эндрю. — Бедная старая Шотландия достаточно страдает от этих мерзавцев акцизников да ревизоров, что налетели на нее, как саранча, после печального и прискорбного соединения королевств. Каждый добрый сын обязан принести своей родине хоть глоточек чего-нибудь крепкого — согреть ее старое сердце да, кстати, насолить проклятым ворам.

Расспросив подробней, я узнал, что Эндрю много раз ездил этими горными тропами, перевозя контрабанду, и до и после своего водворения в Осбалдистон-холле, — обстоятельство для меня немаловажное, так как оно доказывало мне пригодность садовника к роли проводника, невзирая на ту глупую выходку, что он позволил себе в начале нашего пути. Даже теперь, когда мы пустили коней более умеренным галопом, гвоздичная настойка — или чем он там подкрепился в дорогу — все еще не утратила своего действия на Эндрю. Он часто оглядывался, смотрел по сторонам тревожным, испуганным взглядом и каждый раз, когда дорога казалась более или менее ровной, проявлял наклонность снова пустить коня во весь опор, как будто опасался погони. Эта явная тревога утихала по мере того, как мы приближались к гребню высокого пустынного хребта, который тянулся почти неуклонно с запада на восток примерно на милю, поднимаясь очень крутыми откосами с обеих сторон. Бледные лучи рассвета забрезжили теперь на горизонте. Опасливо оглянувшись и не увидев на оставшемся позади болоте никаких признаков живого существа, Эндрю просветлел, и его суровые черты постепенно смягчились, когда стал он сперва насвистывать, а потом пропел с большим жаром и малым умением заключительную строфу одной из песен своей родины:

Дженни, друг, заря светла нам,
Топь дорогою легла нам.
Пусть выходят целым кланом -
От тебя не отступлюсь!

В то же время он потрепал по загривку свою лошадь, которая так доблестно несла седока. Это привлекло к ней мое внимание, и я сразу узнал любимую кобылу Торнклифа Осбалдистона.

— Это что ж такое, сэр? — сказал я строго. — Под вами лошадь мистера Торнклифа!

— Спорить не стану, в свое время она и впрямь принадлежала его чести, сквайру Торнклифу, а теперь она моя.

— Ты украл ее, негодяй!

— Ну, ну, сэр, ни одна душа не уличит меня в воровстве. Дело, стало быть, обернулось вот как. Сквайр Торнклиф призанял у меня десять фунтов, чтобы ехать в Йорк на скачки, а черта с два он вернет мне! Только я заикнусь насчет своих денег, он грозит мне «пересчитать все косточки», как он это называет. Но теперь, пожалуй, придется расплатиться по-хорошему, а иначе останется его кобылка по ту сторону границы. Пока он не вернет мне все до последнего фартинга, не видать ему и волоска из ее хвоста. Есть у меня в Лаумебене один ловкий паренек из судейских — он мне поможет договориться со сквайром. Украл кобылу! Ну нет, Эндрю Ферсервиса не может коснуться такой грех, как воровство! Я только удержал ее в залог на законном основании — юрисдикшонес фенденди козей *note 54*. Это добрые судейские слова, совсем похожие на язык садовников и других ученых людей; жаль, что стоят они дорогонько: Эндрю только и получил, что эти три словца за приятный разговор и четыре бочонка самой лучшей водки, какою доводилось доброму человеку прополаскивать глотку. Так-то, сэр! Дорогая штука закон.

— Вы увидите, что он стоит гораздо дороже, чем вы полагали. Эндрю, если будете и впредь сами взыскивать долги, минуя законные власти.

— Та-та-та! Мы теперь, слава тебе Господи, в Шотландии, здесь я могу не хуже всякого Осбалдистона найти и друзей, и адвокатов, и даже судей. Троюродный племянник моей бабки с материнской стороны приходится двоюродным братом городскому голове города Дамфриза, и уж он не допустит, чтобы отпрыск его крови потерпел какой-нибудь убыток. Законы тут применяются без пристрастия, ко всякому одинаково, не то что у вас в Нортумберленде, где человек и не оглянется, как его уже скрутили по приказу какого-нибудь клерка Джобсона. Да то ли еще будет! Они тут скоро и вовсе позабудут закон. Потому-то я и порешил сказать им «до свиданья».

Я был глубоко возмущен подвигом Ферсервиса и роптал на жестокую судьбу, которая вторично свела меня с человеком шатких правил. Впрочем, я тут же решил, как только мы доберемся до места нашего назначения, выкупить у своего проводника кобылу и отослать ее двоюродному брату в Осбалдистон-холл. О своем намерении я решил известить дядю из первого же города, где окажется почтовая контора. «А пока что, — подумал я, — не следует спорить с Эндрю, поступившим довольно естественно для человека в его положении». Итак, я приглушил свою досаду и спросил, как нужно понимать его слова, что в Нортумберленде «скоро и вовсе позабудут закон».

— Закон! — повторил Эндрю. — Ждите! Останется только закон дубинки. Нортумберленд сейчас кишмя кишит попами, да офицерами-ирландцами, да разными мерзавцами папистами, которые служили в солдатах на чужбине, потому что у себя на родине их никуда не брали. А воронье не слетится зря, коли не запахнет падалью. И будьте покойны,

---

Note54

Искаженная Эндрю латинская юридическая формула: «jurisdictions fundandi causa — „ради обоснования иска“.

сэр Гилдебранд не упустит случая увязнуть в трясине; они там только и делают, что припасают ружья да пистолеты, сабли да ножи, — значит, того и жди: полезут в драку. Молодые сквайры Осбалдистоны, — простите, ваша честь, — круглые дураки и не знают, что такое страх.

Эта речь напомнила мне о зародившемся и у меня подозрении, что якобиты готовятся к отчаянному выступлению. Считая, однако, что мне не подобает следить, как шпиону, за словами и действиями дяди, я старался ничего не видеть, даже когда случай давал мне возможность подмечать тревожные признаки — знамение времени. Но Эндрю Ферсервису не приходилось стесняться, и он сказал чистейшую правду, утверждая, будто в стране готовится мятеж, что и толкнуло его на решение поскорее оставить замок.

— Прислугу, — сообщил он, — с арендаторами и со всяким сбродом занесли, как водится, в особые списки и муштруют по всем правилам. Понуждали и меня взяться за оружие. Но я не охотник идти в бунтарские войска. Плохо они знают Эндрю, если зовут его на такое дело. Я пойду драться, когда сам того захочу, но уж никак не за блудницу вавилонскую и не за какую-нибудь английскую шлюху!

ГЛАВА XIX

Где шаткий шпиль готов упасть,
Игрою вихрей истомленный,
Все спит, отдавшись сну во власть:
Стихи, война и вздох влюбленный.
Лэнгхорн

В первом шотландском городе, куда мы прибыли, мой проводник отправился к своему другу и советчику обсудить с ним, как бы ему вернейшим образом превратить в свою законную собственность «добрую лошадку», которая пока что принадлежала ему лишь в силу самовольного захвата, какой иногда еще совершался в этом краю, где царило недавно полное беззаконие. Когда Эндрю возвратился, меня позабавила его унылая физиономия: он, по-видимому, разоткровенничался со своим закадычным другом-юристом и, к своему великому прискорбию, услышал в ответ на собственную простодушную откровенность, что мистер Таутхоп со времени их последней встречи попал в секретари к местному мировому судье и был обязан доводить до сведения властей обо всех проделках, подобных подвигу мистера Эндрю Ферсервиса. Уведенную лошадь, заявил бойкий представитель судебной власти, необходимо задержать и поставить на конюшню судьи Трамбула, где она будет получать довольствие за двенадцать шотландских шиллингов per diem *note 55*, пока судебное разбирательство не установит в законном порядке, кто является ее владельцем. Он даже дал понять, что, строго и беспристрастно исполняя свои обязанности, должен задержать и самого честного Эндрю; но когда мой проводник стал жалобно молить о снисхождении, законник не только отступился от этого намерения, но еще преподнес приятелю в подарок заезженную лошаденку со вспученным животом и надколенным грибом, чтобы он мог продолжать путешествие. Правда, он сам умалил свое великодушие, потребовав от бедного Эндрю полного отречения от всех его прав и притязаний на резвую кобылу Торнклифа Осбалдистона, — уступка, которую мистер Таутхоп изобразил как очень незначительную, так как, по шутливому замечанию законника, его злополучный приятель заработал бы на лошади только недоуздок, а точнее сказать — петлю на шею.

Эндрю был сильно опечален и расстроен, когда я вытягивал из него эти подробности. Северная гордость его жестоко страдала, ибо он вынужден был признать, что законник остается законником по ту и по эту сторону Твида и что судейскому секретарю Таутхопу и

Note55
в сутки (лат.).

судейскому секретарю Джобсону одна цена.

Он и вполовину так не огорчился бы, что у него отнимают добычу, взятую, можно сказать, с опасностью для жизни, случись это дело среди англичан; «но где ж это видано, — сетовал Эндрю, — чтобы ястреб ястребу глаз выклевал?» Впрочем, понятное дело, многое изменилось у него на родине со времени печального и прискорбного соединения королевств! Этим событием Эндрю объяснял все признаки испорченности и вырождения, наблюдаемые им среди соотечественников, в особенности дутые счета трактирщиков, уменьшение меры пива и прочие непорядки, на которые он указывал мне во время нашей поездки.

При таком обороте дел я, со своей стороны, сложил с себя всякую заботу о кобыле и написал сэру Гилдебранду, при каких обстоятельствах она была уведена в Шотландию, сообщив в заключение, что теперь она находится в руках правосудия и его достойных представителей — судьи Трамбула и его секретаря Таутхопа, к каковым я и отсылал его за дальнейшими подробностями. Была ли она возвращена в собственность нортумберлендскому зверолову или продолжала носить на себе шотландского законоведа, здесь нет необходимости объяснять.

Мы теперь продолжали путь на северо-запад значительно медленней, чем начали его при нашем ночном бегстве из Англии. Цепи голых и однообразных холмов сменяли одна другую, пока не открылась перед нами более плодородная долина Клайда, и вскоре со всею доступной нам быстротой мы достигли города Глазго — шотландской столицы, как его упрямо величал мой проводник. За последние годы, я знаю, Глазго вполне заслужил это название, которое Эндрю Ферсервис дал ему тогда в силу некой политической прозорливости. Обширная и непрерывно растущая торговля с Вест-Индией и американскими колониями, если сведения мои не ложны, положила основание богатству и благоденствию, и оно, если его заботливо укрепить и правильно возводить постройку, со временем станет, быть может, фундаментом коммерческого процветания всей страны. Но в то давнее время, о котором я рассказываю, заря этой славы еще не занималась. Соединение королевств в самом деле открыло для Шотландии торговлю с английскими колониями, однако недостаток капитала, с одной стороны, а национальная ревность англичан — с другой, отнимали у большей части шотландских купцов возможность пользоваться привилегиями, какие дал им этот памятный договор. Расположенный на западном побережье острова, Глазго не мог участвовать в сношениях с восточными графствами или континентом, которыми только и пробавлялась в то время шотландская торговля. И все же, хоть в ту пору и речи не было о том, что он может получить большое значение для торговли, как ему, по моим сведениям, сулят теперь, Глазго уже и тогда в качестве главного города Западной Шотландии был значительным и важным центром. Широкий и полноводный Клайд, протекая близко от его стен, давал возможность сообщения с внутренними областями страны, отдаленными от моря. Не только плодородная равнина, непосредственно прилегающая к городу, но и округи Эйр и Дамфриз смотрели на Глазго как на столицу, куда они везли свои произведения, получая взамен те предметы необходимости и роскоши, каких требовал их обиход.

Мрачные горы западной части Верхней Шотландии часто посылали своих угрюмых обитателей проведать рынки любимого города святого Мунго. Гурты диких, косматых, малорослых быков и лошадок, погоняемые горцами — такими же дикими, такими же косматыми, а порой такими же малорослыми, как вверенные им быки и лошади, — нередко проходили по улицам Глазго. Приезжие глазели на старинную и причудливую одежду горцев, вслушивались в незнакомые и немелодичные звуки их языка, в то время как жители гор, даже при этом мирном промысле вооруженные мушкетами и пищалями, мечами, кинжалами и щитами, взирали с удивлением на предметы роскоши, употребление которых было им незнакомо, и с опасной жадностью — на предметы, которые знали и ценили. Горец всегда неохотно оставляет свою нелюдимую родину, а в ту давнюю пору пересадить его на другую почву было все равно что оторвать сосну от ее родной скалы. Однако уже и тогда горные долины были перенаселены, хотя временами их опустошал голод или меч и многие их обитатели устремлялись в Глазго. Здесь они заселяли целые кварталы, здесь искали и

находили промыслы, хоть и не те, к каким приучены были в родных своих горах. Этот постоянный приток населения, смелого и трудолюбивого, немало способствовал обогащению города, — он доставлял рабочую силу нескольким мануфактурам, которыми уже и тогда мог похвалиться Глазго, и обеспечивал ему процветание в будущем.

Внешний вид города отвечал его возрастающему значению. Главная улица была широка, импозантна, украшена общественными зданиями скорее вычурной, нежели стильной архитектуры и шла между рядами высоких каменных домов, фасады которых нередко отличались богатой каменной лепкой, что придавало улице внушительный и величественный вид, какого лишено большинство английских городов, потому что построены они из легкого, непрочного и с виду и на деле кирпича.

Я и мой проводник прибыли в столицу Западной Шотландии в субботу вечером, в слишком поздний час, когда нельзя было и думать о каких бы то ни было делах. Мы спешились у гостиницы, выбранной Эндрю, — ни дать ни взять чосеровская корчма, — где нас учтиво приняла миловидная хозяйка.

На следующее утро колокола затрезвонили на всех колокольнях, возвещая о праздничном дне. Но хоть я и слышал, как строго соблюдается в Шотландии воскресный отдых, первым моим побуждением было, естественно, отправиться на розыски Оуэна. Однако, порасспросив, я узнал что все мои старания будут напрасны, пока не окончится церковная служба. Хозяйка гостиницы и мой проводник наперебой убеждали меня, что я не только не найду ни души в конторе, ни дома у «Мак-Витти, Мак-Фина и Компании», к которым меня направляло письмо Оуэна, но даже не застану там, конечно, и никого из компаньонов фирмы: они-де люди серьезные и в такое время будут там, где надлежало быть всем добрым христианам, — в Баронской церкви.

Эндрю Ферсервис, по счастью, не распространил еще свою неприязнь к отечественным юристам на прочие ученые сословия родной страны, и теперь он стал возносить хвалы проповеднику, который должен был в этот день отправлять службу, а наша хозяйка отвечала на его славословия громкими возгласами «аминь». Наслушавшись их, я решил пойти в этот знаменитый храм, не столько надеясь получить назидание, сколько желая узнать, если будет возможно, прибыл ли Оуэн в Глазго. Меня уверили, что если мистер Эфраим Мак-Витти (достойнейший человек!) не лежит на смертном одре, то он не преминет в такой день почтить своим присутствием Баронскую церковь, и если под его кровом нашел приют приезжий гость, хозяин непременно возьмет его с собою послушать проповедь. Этот довод меня убедил, и я в сопровождении верного Эндрю отправился в Баронскую церковь.

На этот раз я, впрочем, мало нуждался в проводнике: по булыжной мостовой, круто шедшей в гору, валом валил народ послушать популярнейшего проповедника Западной Шотландии, и этот людской поток все равно увлек бы меня за собою. Достигнув вершины холма, мы свернули влево, и большая двустворчатая дверь пропустила нас вместе со всеми на открытое, обширное кладбище, окружающее собор, или кафедральную церковь города Глазго. Архитектура здания показалась мне скорее мрачной и массивной, нежели изящной, но особенности ее готического стиля были так строго выдержаны и так хорошо гармонировали с окрестностями, что у зрителя с первого взгляда создавалось впечатление благоговейной и великой торжественности. В самом деле, я был так поражен, что несколько минут противился настойчивым усилиям Эндрю затащить меня внутрь собора; я был слишком поглощен созерцанием его внешнего вида.

Расположенное в большом и многолюдном городе, это древнее и массивное здание, казалось, стояло в полном одиночестве. С одной стороны высокие стены отделяют его от строений города, с другой — пролег рубежом глубокий овраг, на дне которого, невидимый для глаза, шумит скиталец ручей, усиливая мягким рокотом величавую торжественность картины. С противоположной стороны оврага поднимается крутой косогор, поросший частым ельником, сумрачная тень которого, простираясь над могилами, создает подобающее месту угрюмое впечатление. Кладбище само по себе довольно необычно: хоть и очень обширное, оно, однако, мало по сравнению с числом почтенных граждан, которые погребены на его

земле и могилы которых почти все покрыты надгробными камнями. Поэтому здесь не остается места для густой и высокой травы, какая обычно одевает почти сплошным покровом места упокоения, «где беззаконные перестают буйствовать и где отдыхают истощившиеся в силах». Надгробные камни, широкие и плоские, лежат так близко один к другому, что кажется, будто кладбище вымощено ими. И хотя крышей над ним простирается только небо, кладбище походит на пол какой-нибудь старой англиканской церкви с выведенными на плитах могильными надписями. Содержание этих горестных анналов смерти, их тщетная печаль, и заключенный в них суровый урок о ничтожестве бытия человека, и эта пространная площадь, которую они так тесно покрывают, и их однообразный и горестный смысл напомнили мне свиток пророка, который был «исписан изнутри и снаружи, и написаны были в нем жалобы, и скорбь, и горе».

Собор своим внушительным величием соответствует своему окружению. Он кажется вам тяжеловесным, но вы чувствуете, что цельность впечатления была бы нарушена, если бы он был легче или имел больше витиеватых украшений. Это единственная епархиальная церковь в Шотландии — за исключением еще, как мне передавали, Керкуолского собора на Оркнейских островах, — оставшаяся нетронутой во время Реформации, и Эндрю Ферсервис, возгордившись тем впечатлением, которое она на меня произвела, счел нужным усилить его следующими словами:

— Н-да, славная церковка! Нет на ней этих ваших выкрутасов, и завитушек, и разных там узорчиков, — прочное, ладно сделанное строение, простоит до скончания веков, только держите от него подальше руки да порох. Было время, в Реформацию, ее чуть не разрушили, когда сносили церковь Сент-Эндрюс, и Пертскую церковь, и все другие, чтоб очистить страну от папистской нечисти, от идолопоклонства, от икон, и стихарей, и прочего отребья великой блудницы, что расселась на семи холмах, точно и одного недостаточно для ее старых, дряблых ягодиц.

Из окрестных поселков, из Ренфру, Баронии, Горбалса, в одно прекрасное утро привалили в Глазго толпы народа: надумали своими руками очистить собор от папистской дребедени. Но горожане испугались, как бы у их старой церкви не лопнули все подпруги от такого невежливого обращения. Они забили в набат, собрали с барабанным боем ополчение, — по счастью, в тот год гильдейским старшиною был почтенный Джеймс Рэбет (он сам был отличный каменщик, так что ему пристало отстаивать старое здание), — все цеха дружно поднялись и объявили, что дадут настоящее сражение, а разрушить церковь не позволят, как разрушают их всюду вокруг. Не из любви к папизму, конечно, — никто не посмеет этого сказать о цехах города Глазго. Договорились на том, чтоб вынести из ниш идольские статуи святых (будь они неладны!), — вынесли, разбили эти каменные кумиры на мелкие куски по слову Священного писания и бросили те куски в воду, в речку Молендинар; а старый храм остался целехонек — стоит себе веселый, точно кот, когда ему вычешут блох, и все остались довольны. Слышал я от знающих людей, что если бы так же обошлись со всеми церквами в Шотландии, реформатское учение сохранилось бы в той чистоте, как и сейчас, но было бы у нас побольше христианских храмов приличного вида. Я достаточно пожил в Англии, и вы не выбьете у меня из головы мыслишки, что собачья конура в Осбалдистон-холле лучше многих Божьих храмов в Шотландии.

С этими словами Эндрю повел меня за собой в собор.

ГЛАВА XX

... В благоговенье
И в ужасе склоняю взор. Могилы
И эти грозные пещеры смерти
Глядят так сумрачно, и страшный холод
Трепещущее сердце обдает.
«Новобрачная в трауре»

Как ни торопил меня мой нетерпеливый проводник, я все же задержался на несколько минут, любуясь внешним видом здания, которое мне показалось еще величавей в своем одиночестве, когда его до той поры открытые двери затворились, поглотив всю толпу, недавно теснившуюся на кладбище. В храме началось торжественное богослужение, как возвестило о том нарастающее гудение голосов. Их мощный хор сливался в отдалении в единую гармонию и, очищенный от хриплых диссонансов, раздражающих слух, когда их слышишь вблизи, теперь, в соединении с рокотом ручья и пением ветра в еловых ветвях, вызывал во мне чувство высокого восторга. Вся природа, как сказано у псалмопевца, чьи стихи пели молящиеся, как бы объединилась, вознося торжественную хвалу, в которой сочетала трепет с ликованием, обращаясь к своему творцу. Мне доводилось слышать праздничную службу во Франции, справляемую со всем eclat *note 56*, какой только могут придать обедне самая изысканная музыка, роскошные уборы, пышная обрядность, однако по силе впечатления она уступала пресвитерианской службе, прекрасной в своей простоте. Молитва, когда в ней участвует каждый молящийся, сильнее действует на душу, чем если ее исполняют музыканты, как затверженный урок. Шотландская служба по сравнению с французской имела все преимущества подлинной жизни перед актерской игрой.

Так как я все еще медлил, слушая издали торжественный хор, Эндрю, не сдерживая больше своего нетерпения, потянул меня за рукав:

— Идемте, идемте, сэр. Не пристало нам приходить и нарушать богослужение; если мы тут замешкаемся, сторожа нас увидят и потащат в караульную за то, что мы слоняемся без дела во время церковной службы.

Выслушав это внушение, я последовал за своим проводником, однако не в самый собор, как рассчитывал.

— Куда вы, сэр, — в тот притвор! — закричал Эндрю и повлек меня в сторону, когда я направился было к главному входу. — Там вы услышите только холодное пустословие — плотскую мораль, сухую и никчемную, как листья руты на Святки. Истинную сладость учения вам дадут вкусить только здесь.

Так он сказал, и мы с ним прошли под свод низких ворот с калиткой, которую степенный привратник едва не захлопнул перед нами, и спустились по нескольким ступенькам словно в могильный склеп под церковью. Так и оказалось: в этом подземелье, неизвестно почему выбранным для подобной цели, устроена была очень странная молельня.

Представьте себе, Трешем, длинный ряд угрюмых, темных и полутемных склепов, какие в других странах служат местом погребения и с давних пор предназначались для той же цели и в нашей стране, но здесь некоторые из них были заставлены скамьями и служили церковью. Эти склепы хотя и могли вместить несколько сот благочестивых прихожан, казались, однако, тесными по сравнению с более темными и более просторными пещерами, зиявшими вокруг этой, так сказать, обитаемой площади. Там, в просторном царстве забвения, тусклые хоругви и полустертые гербы отмечали могилы тех, кто, бесспорно, были некогда «князьями во Израиле». В эпитафиях, доступных для чтения только кропотливому антикварию, написанных на языке таком же отжившем, как то благостное милосердие, о котором говорилось в них, путник приглашался помолиться за души тех, чьи тела покоились под камнем. Среди этих склепов, приявших последние останки бренной жизни, я увидел многочисленную толпу погруженных в молитву прихожан. Шотландцы молятся в церкви не преклонив колена, а стоя — ради того, вероятно, чтобы как можно дальше уйти в своих обрядах от католичества: вряд ли есть у них к тому другая, более глубокая причина. Мне приходилось наблюдать, как, творя молитву в кругу своей семьи или на домашних молитвенных собраниях, они в непосредственном обращении к Богу принимали ту позу, какую все прочие христиане признают наиболее для того подобающей: смиренную и благоговейную. Итак, не преклоняя колен (мужчины — с обнаженными головами), толпа в несколько сот человек обоего пола и

Note56

великолепием, блеском (франц.).

всех возрастов чинно и очень внимательно слушала импровизированную или, по меньшей мере, не записанную молитву престарелого священника, очень популярного в городе. Воспитанный в тех же верованиях, я с искренним чувством присоединился к молитве и, только когда прихожане заняли свои места на скамьях, снова принялся внимательно разглядывать окружающее.

По окончании молитвы почти все мужчины надели на головы шляпы или береты, и все, кому посчастливилось вовремя занять места, сели. Мы с Эндрю не принадлежали к числу этих счастливцев, так как пришли слишком поздно. Мы стояли вместе с другими опоздавшими, образуя как бы кольцо вокруг тех, кто сидел. Позади и вокруг нас были уже описанные мною могильные своды; перед нами — благоговейные молельщики в тусклом полусвете, который падал им на лица, струясь в два-три узких готических оконца вроде тех, что открывают доступ воздуху и свету в склепы. Этот свет позволял разглядеть все многообразие лиц, какие бывают обычно обращены к шотландскому пастору, — почти все внимательные и спокойные; только изредка здесь или там мать или отец одернет озирающегося по сторонам слишком резвого ребенка или нарушит дремоту слишком вялого. Шотландское лицо, скуластое и резкое, часто отражающее в чертах своих ум и лукавство, больше выигрывает во время молитвы или в сражении в рядах бойцов, чем на веселом собрании. Речь проповедника была как раз такова, что могла пробудить разнообразные чувства и наклонности.

Годы и недуги ослабили его голос, от природы сильный и звучный. Выбранный текст он прочитал невнятно, но когда он закрыл Библию и начал свою проповедь, голос его постепенно окреп, и наставления зазвучали горячо и властно. Они относились по большей части к отвлеченным вопросам христианской веры — важные, глубокие предметы, которых не постичь одним лишь разумом; но проповедник изобретательно и успешно подыскивал к ним ключ в обильных цитатах из Священного писания. Мне было не под силу вникать в ход его рассуждений, и у меня нет уверенности, что я всегда правильно понимал его предпосылки. Но ничего не могло быть убедительней страстной, восторженной речи этого доброго старика, ничего остроумнее его доводов. Шотландцы, как известно, отличаются больше изощренной силой интеллекта, чем тонкостью чувства, поэтому логика для них убедительней риторики; их больше привлечет острое и доказательное рассуждение на отвлеченную тему и меньше подействуют на них восторженные призывы к сердцу и страсти, какими популярные проповедники в других странах завоевывают благосклонность слушателей.

Среди внимательной толпы, на лицах, меня окружавших, я мог наблюдать отражение тех же разнородных чувств, какими полны на прославленной фреске Рафаэля лица слушателей святого Павла, проповедующего в Афинах. Вот сидит ревностный и умный кальвинист: брови у него сдвинуты ровно настолько, насколько нужно, чтобы выразить глубокое внимание; губы чуть поджаты; глаза устремлены на священника, и в них сквозит скромная гордость, словно прихожанин разделяет с проповедником успех его победоносной аргументации; указательный палец правой руки поочередно прикладывается к пальцам левой, по мере того как оратор, переходя от довода к доводу, приближается к заключению. Другой прихожанин, с более строгим, почти злобным взглядом, выражает на своем лице презрение ко всем, кто не разделяет веры его пастыря, и одновременно радость по поводу возвещенной закоснелым грешникам заслуженной кары. Третий, принадлежащий, вероятно, к пастве другого толка и забредший сюда только случайно или же из любопытства, смотрит с таким видом, точно мысленно отвергает то или иное звено в длинной цепи доказательств, и по легкому покачиванию его головы вы сразу угадываете его сомнения в логичности доводов проповедника. Большинство прихожан слушает со спокойными, довольными лицами, словно сами ставят себе в заслугу, что вот они пришли сюда и слушают такую умную речь, — хоть, может быть, она и не вполне для них понятна. Женщины принадлежали, в общем, к этому последнему разряду слушателей; только старухи, видимо, с мрачной сосредоточенностью больше старались вникнуть в излагаемые им отвлеченные доктрины, тогда как женщины помоложе позволяли себе время от времени обвести стыдливым взором присутствующих, и некоторые из них, милый Трешем (если тщеславие не ввело меня в жестокий обман), успели

отличить в толпе вашего друга и покорного слугу — молодого, красивого незнакомца и к тому же англичанина. Остальная же паства… что о ней сказать? Глупый таращил глаза, позевывал или дремал, пока его не разбудит более ревностный сосед, толкнув каблуком в лодыжку; ленивый выдавал свою нерадивость взглядом, блуждающим по сторонам, но не смел, однако, выказать более решительных признаков скуки. Среди кафтанов и плащей — обычной одежды жителей Низины — я различал здесь и там клетчатый плед горца; его владелец, опершись на меч, оглядывал присутствующих с нескрываемым любопытством дикаря и, по всей вероятности, был невнимателен к проповеди по очень веской причине: он не понимал языка, на котором говорил священник. Однако суровый, воинственный вид этих пришельцев придавал какое-то своеобразие аудитории, которая без них была бы его лишена. Горцев было больше обычного, объяснил мне позже Эндрю, потому что где-то в окрестностях города шла ярмарка рогатого скота.

Таковы были те лица, ряды которых, вставая один над другим, открывались моему критическому взору при слабом свете солнца, какой пробивался сквозь частые решетки готических оков глазговской Низкой церкви и, озарив внимательную паству, терялся в глубине могильных склепов, наполняя ближнюю часть их лабиринта тусклым полумраком, а дальнюю оставляя в полной темноте, и казалось от этого, что склепам нет конца.

Я сказал уже, что стоял с другими в наружном кругу, лицом к проповеднику, а спиной к склепам, о которых так часто здесь упоминаю. Тем ощутительней для меня была всякая помеха, возникавшая от самого легкого шороха в анфиладе этих сводов, где каждый звук подхватывало тысячекратное эхо. Шелест дождевых капель, которые, проникнув сквозь какую-нибудь щель в обветшалой крыше, падали одна за другой и разбивались о плиты, не раз и не два заставил меня повернуть голову в ту сторону, откуда он, казалось, доносился; и когда глаза мои устремлялись в том направлении, их было трудно отвести — такую сладость доставляет нашему воображению попытка проникнуть как можно глубже в запутанный и скудно освещенный лабиринт, предлагающий взору предметы, которые дразнят любопытство только потому, что, нечеткие и смутные, они нам кажутся таинственными. Мои глаза свыклись с сумраком, к которому я обращал их, и те наблюдения, какие я делал, стали мало-помалу больше привлекать мое внимание, чем метафизические тонкости, развиваемые проповедником.

Отец мой часто бранил меня за эту разбросанность мыслей, возникающую, может быть, от большой возбудимости воображения, чуждой ему самому. И теперь, поймав себя на том же соблазне рассеянности, я вспомнил пору, когда отец водил меня, бывало, за руку в часовню мистера Шоуера и внушительно призывал не поддаваться порокам нового времени, потому что наступили недобрые дни. Но картины, вставшие в памяти, не помогли мне сосредоточиться на проповеди, — напротив того, они заставили меня и вовсе о ней позабыть, напомнив о грозивших моему отцу опасностях. Я попробовал самым тихим шепотом, на какой оказался способен, попросить Эндрю, чтобы он разведал, не присутствует ли среди молельщиков кто-либо от фирмы «Мак-Витти и Компания». Но Эндрю, казалось, слушавший проповедь с глубоким вниманием, ответил на мою просьбу ударом локтя в бок и тем призвал меня к молчанию. Тогда я снова напряг зрение и столь же безуспешно начал всматриваться в людей, склонивших взоры к кафедре, как к единому общему центру, — я разыскивал среди моря лиц лицо Оуэна, трезвого дельца. Но ни под широкополыми касторовыми шляпами обывателей города Глазго, ни под еще более широкими полями головных уборов ленаркширских крестьян я не мог найти ничего похожего на почтенный парик, крахмальные манжеты и неизменный светло-коричневый камзол, принадлежавшие старшему клерку торгового дома «Осбалдистон и Трешем». Беспокойство овладело мною вновь с такой силой, что подавило не только интерес к новизне окружающего, на время отвлекшей меня от моих забот, но даже чувство приличия. Я резко дернул Эндрю за рукав и выразил желание оставить церковь и продолжать свои поиски, как сумею. Эндрю, такой же упрямый в глазговской Низкой церкви, как и в Чевиотских горах, некоторое время не удостаивал меня ответом, и, только убедившись, что иначе он не заставит меня соблюдать тишину, мой проводник

соизволил довести до моего сведения, что, раз попавши в церковь, мы не можем выйти из нее до окончания службы, ибо как только начинается молебствие, двери запирают на замок. Сообщив мне это отрывистым и злорадным шепотом, Эндрю снова изобразил на своем лице важную проницательность критика и внимание к речи проповедника.

Пока я старался обратить необходимость в добродетель и сосредоточиться на проповеди, опять явилась нечаянная помеха: чей-то голос сзади отчетливо прошептал мне на ухо: «В этом городе вам грозит опасность». Я обернулся, как бы невзначай.

Рядом и позади стояли три-четыре ремесленника, чопорных и заурядных с виду, — пришлые люди, забредшие сюда, как и мы, с опозданием. Но один взгляд на их лица убедил меня — трудно сказать, почему, — что среди них не было того, кто заговорил со мной. Физиономии их выражали спокойное внимание к проповеди, и ни один из них не ответил понимающим взглядом, когда я удивленно и пытливо посмотрел на них. Прямо сзади нас была массивная круглая колонна — за ней мог укрыться говоривший в тот миг, когда произносил свое таинственное предостережение. Но почему он сделал его в таком месте и на какого рода опасность оно указывало мне или кем оно было сделано, я не мог сообразить, и фантазия моя терялась в напрасных догадках. Так или иначе, подумал я, оно будет повторено, — и я решил глядеть неотрывно в сторону священника, чтобы мой доброжелатель, заключив, что первое предостережение прошло незамеченным, поддался соблазну его повторить.

Мой замысел увенчался успехом. Я сделал вид, будто слушаю проповедника, и не прошло и пяти минут, как тот же голос прошептал:

— Слушайте меня, но не оглядывайтесь.

Я стоял неподвижно, лицом к кафедре.

— Здесь вам грозит опасность, — продолжал голос, — мне тоже. Встретимся ночью на мосту, ровно в двенадцать. Сидите дома до сумерек; старайтесь не привлекать к себе внимания.

Голос умолк, и я тотчас повернул голову. Но говоривший еще проворнее ускользнул за колонну и скрылся. Я решил хоть мельком увидеть его, если будет возможность, и, выступив из круга слушателей, тоже прошел за колонну. Там было пусто; мне только удалось увидеть фигуру, закутанную в шотландский плащ — или в гэльский плед, я не мог различить, — которая, как привидение, удалялась в пустынный мрак описанных мною склепов.

Машинально я попытался последовать за таинственной тенью, когда она, ускользая, скрылась под сводами подземного кладбища, точно призрак одного из бесчисленных мертвецов, погребенных в его пределах. Представлялось маловероятным, что мне удастся остановить человека, явно решившего избежать моих расспросов, но и слабая эта вероятность исчезла, когда, не успев отойти на три шага от колонны, я споткнулся и упал. Темнота, послужившая причиной несчастья, укрыла мой позор, — к большой для меня удаче, как я тотчас же понял, потому что проповедник, с той строгой властностью, с какой всегда шотландский пастор требует от прихожан соблюдения порядка, прервал свою речь и предложил «блюстителю» взять под стражу нечестивца, нарушившего благочиние в храме. Но так как шум больше не повторялся, служка — или как он там зовется — не счел нужным проявлять особое рвение в розысках «нечестивца», так что я сумел, не привлекая ничьих взоров, занять свою прежнюю позицию рядом с Эндрю. Служба продолжалась и закончилась без новых происшествий, достойных быть отмеченными.

Когда прихожане вышли из церкви и начали расходиться, мой приятель Эндрю воскликнул:

— Смотрите! Вон идет почтенный мистер Мак-Витти, и миссис Мак-Витти, и мисс Элисон Мак-Витти, и мистер Томас Мак-Фин, который собирается жениться на мисс Элисон, если не врет молва, — невеста, конечно, не красавица, зато денег за нею уйма.

Я взглянул в указанном направлении. Мистер Мак-Витти был пожилой человек, высокий, худой, с жесткими чертами лица, со светлыми глазами под густыми сивыми бровями. Мне почудилось в его лице нечто зловещее, отталкивающее. Я вспомнил полученное в церкви предостережение и медлил подойти к этому человеку, хоть и не видел разумной

причины для недоброжелательства или подозрений.

Я все еще был в нерешительности, когда Эндрю, истолковав мое колебание как робость, решил меня приободрить:

— Поговорите-ка с ним, поговорите, мистер Фрэнсис, ведь его еще не выбрали провостом, хотя поговаривают, что в будущем году выберут непременно. Поговорите же с ним. Пусть он и богач, а все-таки ответит вам честь честью, если только вы не станете просить у него денег взаймы — раскошеливаться он, говорят, не любит.

Мне тотчас пришло на ум, что, если купец в самом деле жаден и скуп, как уверяет Эндрю, неосторожно будет с моей стороны сразу же, не приняв никаких мер, заявлять ему о себе, когда мне неизвестно, каковы его счеты с моим отцом. Это соображение сочеталось с полученным мною таинственным указанием и с отвращением, которое внушила мне физиономия купца. Я отказался от намерения обратиться к нему прямо и только поручил Эндрю Ферсервису узнать в доме Мак-Витти адрес мистера Оуэна, английского джентльмена; притом я приказал ему не упоминать, от кого исходит поручение, а ответ принести мне в скромную гостиницу, где мы остановились. Эндрю обещал, что все так и сделает. Он стал говорить, что мне надлежало бы еще пойти и на вечернюю службу, но добавил со свойственной ему язвительностью, что «ежели человек не умеет смирно стоять на месте и непременно должен спотыкаться о могильные камни, точно ему приспичило разбудить грохотом всю рать мертвецов, то уж лучше ему не соваться в церковь, — пусть сидит дома и греется у печки».

ГЛАВА XXI

Я часто по Риальто в час полночный
Прохаживаюсь, в думы погруженный;
Там встретимся с тобой.
«Спасенная Венеция»

Полный мрачных предчувствий, необъяснимых для меня самого, я удалился в свою комнату в гостинице и, с трудом отбившись от назойливых приглашений Эндрю пойти с ним в церковь святого Еноха *note 57*, где должен был выступать некий «проникающий в душу» богослов, принялся серьезно обдумывать, как мне лучше поступить. Я никогда не был в полном смысле слова суеверен, но мне думается, в трудный час, когда одолевают сомнения и тщетны оказываются все усилия разума, мы все бываем склонны в отчаянии дать волю воображению и доверить руководство либо всецело случаю, либо тем капризным впечатлениям, которые вдруг овладевают умом и которым мы поддаемся как бы безотчетно. Было нечто до того отталкивающее в жестких чертах шотландского купца, что я не мог прямо прийти и отдаться в его руки: это значило бы забыть всякую осторожность, какую нам подсказывают правила физиогномики; в то же время голос, шепнувший предостережение, фигура, скрывшаяся, точно призрак, под сводами склепов, в «долине, смертью осененной», — все это пленяло чем-то воображение юноши, который (впредь прошу не забывать!) был как-никак поэтом. Если, как сообщил таинственный голос, меня подстерегала опасность, как иначе мог я узнать, в чем она заключалась, или найти средство ее предотвратить, если не свидевшись с моим неведомым советчиком? И разве были у меня причины приписывать этому советчику иные намерения, кроме добрых? Не раз подумывал я о Рэшли, о злых его кознях. Но отъезд мой был слишком внезапен, так что трудно было бы предположить, что кузену уже известно о моем прибытии в Глазго; и еще невероятней представлялось, что он успел расставить мне здесь западню. Я по натуре был смел и самоуверен, силен и энергичен и в

Note57

Анахронизм, так как церковь святого Еноха не была еще построена в те дни, к которым относится повествование. (Прим. автора.)

достаточной мере владел оружием, к чему во Франции, была в то время приучена молодежь, поэтому встреча с единичным противником — кто бы он ни был — не могла меня испугать: убийства из-за угла в то время и в том краю были не в ходу; место, назначенное для встречи, было слишком людным и не позволяло заподозрить, что здесь замышлялось какое-либо насилие. Словом, я решил встретиться с моим таинственным советчиком на мосту, как он предложил, а там будь что будет! Не стану скрывать от вас, Трешем, того, что я постарался в тот час скрыть от самого себя: я гнал, но втайне лелеял надежду, что, может быть, Диана Вернон — каким счастливым случаем, я не знал, каким образом, не мог придумать, — была причастна к этому загадочному предостережению, сделанному таким странным способом, в такое странное время, в таком странном месте. «Она одна, — шептала коварная мысль, — она одна знала о моей поездке; по ее собственным словам, у нее в Шотландии друзья, и она пользуется среди них влиянием; она вручила мне талисман, чтобы я испытал его силу, если ничто другое не поможет. У кого же, как не у Дианы Вернон, были и средства, и нужные сведения, и готовность предотвращать опасности, подстерегавшие меня повсюду на моем пути?» Снова и снова пересматривал я все необычайные обстоятельства в свете этой обольстительной мысли. Она вкрадывалась в мой ум — сперва, в предобеденные часы, довольно робко, потом, к началу моей скромной трапезы, принялась смелей разворачивать свои соблазны, а в последующие полчаса стала так дерзка и навязчива (чему содействовали, быть может, несколько выпитых мною стаканов превосходного белого вина), что я в отчаянной попытке уйти от обманчивого и небезопасного искушения оттолкнул от себя стакан, отодвинул тарелку, схватил шляпу и бросился на улицу, на свежий воздух, как тот, кто бежит от собственных мыслей. Но, может быть, я только уступил тем самым чувствам, от которых, казалось, желал убежать, потому что ноги сами собой принесли меня к мосту через Клайд — месту rendez-vous *note 58*, назначенного моим таинственным доброжелателем.

Хотя я не садился за обед, пока не минул час вечерней службы (в чем я, кстати сказать, уступил религиозной совести моей хозяйки, не решавшейся подать постояльцу горячий обед между двумя воскресными проповедями, а также приказанию моего неведомого друга — сидеть до сумерек у себя в комнате), все же к месту встречи я пришел за несколько часов до условленного времени. Ожидание, как вы легко поверите, было томительно; и едва ли я сумею объяснить вам, как протекло для меня время. Люди — старые и молодые, но все степенные и важные ради воскресного дня — прохаживались группами по большому открытому лугу, что лежит на северном берегу Клайда и служит здешним жителям одновременно местом для беленья холстов и для прогулок, или мерили тихими шагами длинный мост, соединяющий город с южной половиной графства. В них мне только и запомнилось общее для всех, но нисколько не нудное набожное настроение, чувствовавшееся в каждой маленькой компании; у некоторых, быть может, напускное, но искреннее у большинства, оно приглушало буйное веселье у молодых, побуждая их к более спокойным, но и более содержательным беседам, а людей постарше удерживало от резких выпадов и затяжных споров. Как ни много народу проходило мимо, не слышно было все же громкого гула голосов; мало кто поворачивал назад для недолгой прогулки, к чему, казалось, располагал этот праздничный вечер и прелесть окружающего пейзажа; все спешили домой или к месту отдыха. Для того, кто привык проводить воскресенье так, как это принято за границей, пусть даже среди французских кальвинистов, подобный способ соблюдать святость седьмого дня отдавал чем-то иудейским, но вместе с тем поражал и трогал. Безотчетно чувствовал я, что, слоняясь таким образом по берегу и, значит, сталкиваясь с новыми и новыми прохожими, которые, не мешкая, направлялись каждый к себе домой, я неизбежно должен возбудить любопытство, а может быть, и осуждение; поэтому я, свернув с людной дороги, нашел для своего ума несложное занятие в выискивании таких маршрутов для этого кружения на месте, при которых подвергался бы наименьшей опасности привлечь к себе внимание. Аллеи, пересекавшие

Note58
свидания (франц.).

широкий луг и обсаженные деревьями, как в Сент-Джеймском парке в Лондоне, позволяли мне осуществлять эти ребяческие маневры.

И вот, проходя по аллее, я услышал, к своему удивлению, резкий и самодовольный голос Эндрю Ферсервиса, из надменности говорившего громче, чем позволяли себе другие в этот торжественный день. Я поспешил спрятаться за деревьями, хоть это едва ли соответствовало достоинству джентльмена, — но не представилось более простого способа ускользнуть от глаз садовника, а может быть, и от его навязчивого усердия и еще более навязчивого любопытства. Когда он проходил мимо, я слышал, как он передает человеку важного вида, в черном кафтане, в шляпе с опущенными полями, в женевском плаще, следующую беглую характеристику, в которой я, при всей ее карикатурности, не мог, однако, не признать сходства.

— Да, мистер Хамморго, так оно и есть, как я вам говорю. Он не вовсе сумасшедший, нет: иногда у него как будто бы и появляются проблески здравого смысла, то есть так, знаете, сверкнула искорка и погасла, но голова забита трухой: помешался на стихотворстве. Увидит какой-нибудь корявый, разлапый дуб и заглядится на него, точно на грушу, увешанную сочным дюшесом; а голая скала и какой-нибудь ручеек под нею ему любезней огорода с цветущей гречихой и самыми деликатными овощами; потом он лучше будет чесать язык с безмозглой девчонкой Дианой Вернон (по-моему, ее могли бы звать Дианой Эфесской, потому что она та же язычница, даже хуже язычницы — католичка, истинная католичка!), — так вот, он лучше будет чесать язык с нею или с другой какой-нибудь вертихвосткой, чем слушать полезные наставления трезвого и положительного человека, такого, как мы с вами, мистер Хамморго. Разумный довод — этого, сэр, он просто не выносит, склонен только к тщеславию и суесловию; а раз он даже сказал мне (несчастное ослепленное создание!), что псалмы Давида — превосходная поэзия. Как будто святой псалмопевец думал о трескучих рифмах и разной пустой дребедени вроде его собственных глупых побрякушек, которые он называет стихами! Да поможет ему Господь! Две строчки Дэви Линдсея побьют все, что накропал этот рифмоплет.

Вас не удивит, что, слушая такой превратный отчет о моем характере и занятиях, я подумывал о том, как бы мне при первом удобном случае преподнести мистеру Ферсервису приятный сюрприз — например, проломить ему череп. Его приятель выражал свое внимание только короткими: «Скажите на милость!», «Да неужели?» — и тому подобными возгласами, заполняя ими естественные промежутки в словоизлияниях мистера Ферсервиса, пока не вставил наконец более длинное замечание, смысл которого я мог уяснить себе только по ответу моего честного проводника.

— Высказать ему начистоту, что я о нем думаю, говорите вы? А кто останется в дураках, если не Эндрю? Да это, голубчик мой, бешеный дьявол! Ни дать ни взять старый кабан Джайлза Хезертэпа — только замахнись на него дубинкой, он кинется на тебя и раздерет клыками. Взять, говорите вы, расчет? .. Право, сам не знаю, почему я не беру у него расчета. Но в конце концов, парень он неплохой и нужно, чтобы смотрел за ним заботливый человек. Хватки у него нет настоящей. И деньги текут у него между пальцами, как вода, так что не худо стоять к нему поближе, когда у него в руке кошелек, — а он его редко выпускает из рук. И потом, он от хорошего корня, родня у него высокая… Лежит мое сердце к этому бедному, беспечному юнцу, мистер Хамморго, да и жалованье как-никак…

К концу своих назидательных рассуждений мистер Ферсервис несколько снизил голос, как и подобало при беседе в общественном месте в воскресный вечер, и вскоре я уже не мог слышать их разговор. Вспыхнувшая во мне злоба быстро улеглась, когда я напомнил самому себе, что мог бы сказать по такому случаю тот же Эндрю: «Не держи уха у скважины, а то как раз услышишь о себе недобрую молву», — и что каждому, кто вздумает подслушивать, как обсуждают его особу в лакейской, придется испытать на себе ланцет такого анатома, как мистер Ферсервис.

Это происшествие было полезно тем, что и оно само и возбужденные им чувства заняли часть свободного времени, которым я так тяготился.

Вечер переходил в ночь, и спустившаяся мгла одела широкую гладь полноводной реки сначала в темный и однотонный колорит, потом в унылый и тусклый, местами разрываемый отсветами ущербного бледного месяца. Тяжелый древний мост, перекинутый через Клайд, был теперь лишь смутно различим и напоминал тот мост через багдадскую долину, который описывает Мирза в своем бесподобном видении. Низкие арки, видимые так же неясно, как и темный поток под их сенью, казались скорее пещерами, поглощающими черные воды реки, чем пропускавшими их воротами. С приближением ночи кругом становилось все тише. Временами проскальзывал над рекой мерцающий огонек, провожая домой небольшую группу обывателей, возвращавшихся, верно, со званого ужина — единственная воскресная трапеза, которой строгие пресвитериане после дневного воздержания и молитв разрешают придать праздничный характер. Временами слышался цокот копыт: сельский житель, проведя воскресенье в Глазго, спешил восвояси. Но шумы эти слышались все реже, прохожих становилось все меньше. Наконец улицы и вовсе обезлюдели, и я мог наслаждаться одинокой прогулкой по берегу Клайда в торжественной тишине, нарушаемой только мерным боем часов на колокольнях.

Время уже близилось к полуночи, а мое нетерпение перед лицом неизвестности с каждой минутой усиливалось и стало наконец почти невыносимым. Я спрашивал, не поддался ли я на шутку дурака, на бред сумасшедшего или на козни негодяя. И я шагал по маленькой набережной или дамбе у входа на мост в невыразимой тревоге и муке. Наконец двенадцать ударов зазвенели над городом, слетая с колокольни епархиальной церкви святого Мунго, и тотчас на звон отозвались другие, словно ревностные прихожане. Еще не смолкло эхо от последнего удара, как на мосту показалась, двигаясь от южного берега реки, человеческая фигура — первая, какую я увидел за истекшие два часа. Я пошел ей навстречу с таким чувством, точно от исхода свидания зависела моя судьба, — так усугубило мою тревогу затянувшееся ожидание. Все, что мне удалось разглядеть в пешеходе, пока мы приближались друг к другу, было то, что ростом он скорее ниже среднего, но, видимо, силен, плотен и мускулист; одет он был в кафтан для верховой езды. Я замедлил шаг и, когда мы сошлись, почти остановился, ожидая, что он обратится ко мне. Но, к моему несказанному разочарованию, он прошел мимо, не заговорив, а у меня не было повода первому обратиться к человеку, который хоть и появился точно в назначенный час, мог тем не менее оказаться совершенно посторонним. Я замер на месте, когда он прошел мимо меня, и глядел ему вслед, не зная, должен я следовать за ним или нет. Незнакомец дошел почти до северного конца моста, потом стал, оглянулся и, повернув назад, снова направился ко мне. Я решил, что на этот раз не дам ему промолчать, как молчат привидения, которые, по народному поверью, не могут сами начать разговор, покуда с ними не заговорили.

— Поздно вы гуляете, сэр, — сказал я, когда он снова поравнялся со мной.

— Мне назначено здесь свидание, — был ответ. — И вам как будто тоже, мистер Осбалдистон?

— Значит, вы то самое лицо, которое предложило мне встретиться здесь в столь необычный час?

— Да, — ответил незнакомец. — Следуйте за мной, и вы узнаете, какие были у меня на то причины.

— Прежде чем следовать за вами, я должен узнать ваше имя и намерения, — возразил я.

— Я человек, — был ответ, — а мои намерения дружественны.

— Человек! — повторил я. — Это слишком короткое определение.

— Оно достаточно для того, кто не может предложить иного, — сказал незнакомец. — У кого нет имени, нет друзей, нет денег, нет родины, тот вправе все-таки называться человеком; и у кого все это есть — тоже не более как человек.

— Все же это слишком общее определение. Во всяком случае, его недостаточно, чтобы внушить доверие тому, кто вас не знает.

— Тем не менее большего я говорить о себе не намерен. В вашей воле следовать за мной или отказаться от тех сведений, которые я хотел вам сообщить.

— Вы не можете сообщить мне те сведения здесь? — спросил я.

— Их вы получите не от меня, а увидите все своими глазами. Вы должны следовать за мной или остаться в неведении касательно того, что я могу вам сообщить.

Было что-то резкое, решительное, даже суровое в обхождении этого человека, отнюдь не внушавшее безоговорочного доверия.

— Чего вам бояться? — сказал он нетерпеливо. — Или вы думаете, ваша жизнь кому-нибудь так нужна, что у вас попробуют ее отнять?

— Я ничего не боюсь, — возразил я твердо, хоть и несколько поспешно. — Ведите, я следую за вами.

Мы направились, вопреки моему ожиданию, обратно к городу и немыми призраками бок о бок скользили по пустынным и безмолвным улицам. Высокие и угрюмые каменные фасады с затейливыми украшениями и наличниками казались еще выше и черней в неверном свете месяца. Несколько минут мы шли в полном молчании. Наконец мой проводник заговорил:

— Вам не страшно?

— Я отвечу вашими же словами, — сказал я, — чего мне бояться?

— Вы находитесь с незнакомым вам человеком, может быть с недругом, в таком месте, где у вас нет друзей и много врагов.

— Я не боюсь ни вас, ни их: я молод, ловок и вооружен.

— Я безоружен, — ответил мой проводник, — но это не меняет дела: рука, когда захочет, всегда найдет оружие. Вы сказали, что ничего не боитесь; но если бы вы знали, кто идет рядом с вами, вас, наверно, охватил бы трепет.

— Почему? — возразил я. — Повторяю: я не боюсь ничего, что вы могли бы сделать.

— Ничего, что я мог бы сделать? Пусть так. Но вас не страшат последствия, какие могут произойти, если вас застанут с человеком, одно только имя которого, произнесенное шепотом на этой безлюдной улице, заставило бы камни встать и завопить: «Держи его, держи!», чья голова оценена, и половина жителей Глазго могла бы на ней разбогатеть, как на найденном кладе, когда бы им посчастливилось схватить ее владельца за ворот; чей арест встречен был бы в Эдинбурге ликованием, точно весть о величайшей победе на полях Фландрии?

— Кто же вы такой, что ваше имя должно вселять подобный трепет? — сказал я.

— Вам я не враг, раз я веду вас в такое место, где сам я, если буду опознан, тотчас получу колодки на ноги и пеньковый галстук на шею.

Я остановился посреди мостовой и отступил на шаг, чтобы как можно лучше разглядеть своего проводника при ночном свете и получить возможность к обороне в случае внезапного нападения.

— Вы сказали, — проговорил я, — или слишком много, или слишком мало: слишком много, чтобы внушить мне доверие к вам, к незнакомцу, который сам признает, что подлежит каре законов той страны, где мы находимся, и слишком мало, если не докажете, что суровый закон преследует вас несправедливо.

Дав мне договорить, он сделал шаг в мою сторону. Я невольно отступил и положил руку на эфес шпаги.

— Как, — сказал он, — на безоружного? На друга?

— Я еще не знаю, друг ли вы мне и впрямь ли безоружны, — возразил я. — И, сказать по совести, ваш разговор и обхождение дают мне право усомниться и в том и в другом.

— Вы говорите как мужчина, — ответил мой проводник, — и я уважаю того, чья рука может защитить голову. Скажу вам прямо и откровенно: я веду вас в тюрьму.

— В тюрьму! — воскликнул я. — По какому праву и за какую провинность? Вы скорей отнимете у меня жизнь, чем свободу. Можете драться со мной, но я не сделаю ни шагу дальше.

— Я веду вас в тюрьму, — сказал он, — не как арестанта. Я не шериф, — добавил он, высокомерно выпрямившись, — и не понятой. Я веду вас на свидание с заключенным, от которого вы услышите, что грозит вам в настоящее время. Вашу свободу этот визит не ставит в опасность, мою — гораздо больше. Но я охотно иду навстречу риску ради вас, потому что риск не смущает меня и мне по душе молодой вольнолюбивый пыл, не знающий другого

защитника, кроме обнаженного клинка.

Пока он это говорил, мы достигли главной улицы и остановились перед большим строением из тесаного камня, украшенным, как я, казалось, мог различить, железными решетками в окнах.

— Н-да, — сказал незнакомец, при переходе к тону развязной беседы меняя правильную английскую речь на шотландский говор, — немало дали бы провост и почтенные бэйли города Глазго, чтобы запрятать в свою тюрьму и наградить железными подвязками молодчика, который сейчас стоит перед ее воротами, вольный как серна. Но немного было бы им от этого проку: пусть бы даже они меня туда засадили с тяжелейшей гирей на каждой ноге, они нашли бы наутро пустую камеру. Идемте, однако, чего вы стали?

С этими словами он постучал в низкую дверцу, и хриплый голос, точно человека пробудили от сна или раздумья, отозвался:

— Кто там? Что еще? Какого черта вам понадобилось в ночной час? Это против правил, против всяких правил!

Протяжный тон, которым произнесены были последние слова, показывал, что говоривший снова расположился вздремнуть. Но мой проводник заговорил громким шепотом:

— Дугал, друг! Забыл? Ха нун Грегарах! *note 59*

— Черт меня подери, если я забыл! — быстро и весело прозвучало в ответ, и я услышал, как привратник бойко захлопотал за воротами.

Мой проводник обменялся с ним несколькими словами на совершенно незнакомом мне языке. Были отодвинуты засовы, но осторожно, словно привратник опасался производить шум, и мы вступили в караульную глазговской тюрьмы — небольшую, но с толстыми стенами комнату, откуда поднималась наверх узкая лестница, а две или три низкие двери вели в помещение на одном уровне с воротами, защищенными ревностной силой слуховых окон, засовов и болтов. Стены были, как подобало месту, украшены кандалами и другими страшными приспособлениями, служившими, возможно, еще менее человечным целям, а вперемежку с ними висели алебарды, ружья, пистолеты старинного образца и прочее оружие для защиты и нападения.

Проникнув так неожиданно, так непредвиденно — и тайком — в эту твердыню шотландского правосудия, я вспомнил свое приключение в Нортумберленде и невольно подосадовал на игру случая, которая снова без всякой провинности с моей стороны грозила привести меня в опасное и неприятное столкновение с законами страны, куда я прибыл чужеземным гостем.

ГЛАВА XXII

Взгляни вокруг, Астольфо, юный друг:
Сюда людей (за то, что были бедны)
Богатый посылает голодать -
От злой болезни горькое лекарство.
Здесь, задыхаясь в сырости и вони,
Надежды гаснет светоч. Но к огарку,
Покуда тлеет, — грубый, своевольный
Отчаянья безумного разгул
Поднес зажечь свой смольный адский факел -
Светить делам, которых бедный узник
Не совершил бы и под страхом смерти,
Пока в нем душу не убили цепи.
«Тюрьма», сцена III, акт 1

Note59

Это Грегор (гэльск.).

Едва переступив порог, я обратил пытливый взгляд на своего проводника, но лампа в комнате горела слишком слабо и не позволила как следует разглядеть его черты. Привратник держал в руке фонарь, но свет падал больше на его собственное лицо, не столь для меня занимательное. Он похож был на дикого зверя с косматой рыжей гривой и рыжей бородой, в которых почти совсем терялись черты его лица, поразившие меня только одним — той бурной радостью, что загорелась в них при виде моего проводника. В жизни не встречал я ничего, что отвечало бы так полно моему представлению о невежественном, диком, первобытном человеке, взирающем на кумир своего племени. Он скалил зубы, он дрожал, он смеялся, он был готов расплакаться — если в самом деле не плакал. Его лицо как будто говорило: «Куда пойти мне? Что для вас мне сделать?» Полное подчинение, хлопотливая услужливость и преданность… Неловкая попытка — но боюсь, что иначе я не сумею описать выражение этого лица. А голос… Человек точно захлебывался от восторга и способен был произносить только междометия вроде: «Ох, ох! Ну-ну! Давно она вас не видаль!», или другие возгласы, такие же короткие, на том же неведомом языке, на котором он переговаривался с моим спутником, когда мы стояли за воротами тюрьмы, или на ломаном английском. Мой проводник принимал этот бурный порыв обожания и радости, как государь, с юных лет привыкший к дани поклонения от всех окружающих: она уже не трогает его, но он все же готов отвечать обычными изъявлениями монаршей учтивости. Мой таинственный покровитель любезно протянул привратнику руку и ласково спросил:

— Как поживаешь, Дугал?

— Ох, ох! — проговорил Дугал, несколько понизив голос и озираясь вокруг настороженно и тревожно. — Ох! Видеть вас тут… тут! Ох, что станется с вами, если проведает начальство, толстобрюхие мерзавцы бэйли!

Мой проводник приложил палец к губам и сказал:

— Не бойся, Дугал, твои руки никогда не запрут меня в камеру.

— Не запрут, никогда не запрут! Они бы… она… я скорей потерпел бы, чтобы их отрубили по локоть. Но когда вы опять отправитесь туда? Вы не забудете меня предупредить… ведь я ваш бедный родственник, видит Бог, всего в седьмом колене.

— Я дам тебе знать, Дугал, как только начну осуществлять свои планы.

— Душой своей клянусь, как только вы дадите мне знать, будь то в воскресный вечер, я швырну ключи в голову начальнику тюрьмы или выкину иную штуку, а утром в понедельник только меня и видели!

Мой таинственный незнакомец прервал восторженные уверения Дугала, опять обратившись к нему на том неведомом языке (на гэльском, как узнал я позже), вероятно разъясняя, какая ему требовалась сейчас услуга. Ответ: «Всем сердцем, всей душой», — и еще много слов, сказанных невнятно, но в том же тоне, выразили готовность привратника исполнить то, что ему было предложено. Он поправил фитиль в своей чуть не погасшей лампе и подал мне знак следовать за собой.

— Вы не пойдете с нами? — спросил я, глядя на своего проводника.

— В этом нет нужды, — ответил тот, — мое присутствие может вас стеснить. Лучше я останусь здесь и обеспечу вам отступление.

— Верю, что вы меня не оставите в опасности, — сказал я.

— Всякую опасность я здесь разделяю с вами, а для меня она вдвойне грозна, — сказал спокойно незнакомец, и было невозможно ответить ему недоверием.

Я последовал за тюремщиком, который, не заперев за собой внутренней двери, повел меня по винтовой лестнице, потом по длинной узкой галерее; затем, открыв одну из нескольких дверей, выходивших в коридор, он втолкнул меня в небольшую комнатку, поставил лампу на некрашеный стол и, указав глазами на плохонькую койку в углу, проговорил вполголоса:

— Она спит.

Она? Кто «она»? Неужели в этой обители горя — Диана Вернон?

Я взглянул на койку и скорее разочаровался, чем обрадовался, когда понял, что первое

подозрение меня обмануло. Я увидел красный колпак и под ним лицо, немолодое и некрасивое, обрамленное седой двухдневной щетиной. С первого взгляда я сразу успокоился за судьбу Дианы Вернон; со второго — когда спящий очнулся от тяжелого сна, зевнул и протер глаза, — я разглядел черты действительно совсем иные, а именно — черты моего бедного друга Оуэна. Я на минуту выступил из освещенного круга, чтобы дать время старику прийти в себя, вспомнив, по счастью, что в эту келью скорби я вторгся незваный и что всякий переполох может повлечь за собой пагубные последствия.

Между тем злосчастный педант, опершись на одну руку, а другой почесывая затылок, приподнялся на койке и голосом, в котором сильнейшее раздражение боролось с сонливостью, вскричал:

— Заявляю вам, мистер Дугал или как вас там величают, если мой законный отдых будет таким образом нарушаться, я в конечном итоге буду вынужден жаловаться лорд-мэру!

— С ней хочет говорить один шентльмен, — ответил Дугал, сразу из дикого горца, который только что с буйным восторгом приветствовал моего таинственного проводника, — превратившись в угрюмого и непреклонного тюремщика, и, повернувшись на каблуках, вышел из камеры.

Не так-то скоро втолковал я заспанному узнику, кто я такой; когда же он наконец узнал меня, безграничное отчаяние охватило добряка, так как он, конечно, вообразил, что меня привели сюда разделить с ним заключение.

— О мистер Фрэнк, какую беду навлекли вы на свою голову и на фирму! О себе я не думаю, я только рядовая цифра, так сказать, но вы — вы были для вашего отца общим итогом, его omnium *note 60*, вам предстояло сделаться первым человеком в первом торговом доме первого города в мире, — и вот вас запирают в гнусную шотландскую тюрьму, где даже не допросишься щетки счистить грязь с одежды!

Он сердито стал тереть некогда безупречно чистый коричневый камзол, к которому теперь пристали нечистоты с пола тюремной камеры. Привычка к чрезвычайной опрятности усиливала его страдания.

— Смилуйся над нами, праведное небо! — продолжал он. — Какая новость потрясет биржу! Подобного не бывало со времени битвы при Альмансе, когда общий урон англичан составил пять тысяч человек убитыми и ранеными, не говоря о прочих потерях, не занесенных в баланс; но это покажется пустяком перед вестью, что Осбалдистон и Трешем прекратили платежи!

Прервав его сетования, я сказал ему, что попал сюда не в качестве заключенного, хотя едва ли смогу объяснить, как явился в это место в столь неурочный час. На все его вопросы я отмалчивался и настойчиво ставил свои, встревоженный его бедственным положением, пока наконец не выпытал все сведения, какие он мог мне сообщить. Отчет получился довольно смутный: Оуэн отлично умел разбираться в тайнах коммерческого делопроизводства, зато во всем, что лежало вне этой сферы, он, как вы знаете, не отличался понятливостью.

Сообщение его сводилось к следующему. Из двух корреспондентов моего отца в городе Глазго, где он вел много дел в связи со своими шотландскими подрядами, о которых я упоминал выше, и отец мой и Оуэн предпочитали обязательного и сговорчивого Мак-Витти. Господа Мак-Витти, Мак-Фин и Компания в сношениях со знаменитой английской фирмой спешили при каждом случае выказать уступчивость; в прибылях же и в комиссиях они, как смиренные шакалы, беспрекословно довольствовались тем, что соблаговолит им оставить лев. Как бы ни была мала перепадавшая им доля барыша, она всегда была, как они выражались, «достаточной для их скромной конторы», и сколько бы ни выпадало им при этом хлопот, они всегда «понимали, что никакими услугами не оплатят доверия и постоянного покровительства своих почитаемых лондонских друзей».

Распоряжения моего отца были для Мак-Витти и Мак-Фина все равно что законы мидян

Note60

всего, итого (лат.).

и персов, которые нельзя было ни менять, ни оспаривать, ни даже обсуждать; и педантичность, проявляемая Оуэном в деловых сношениях, — а он был великим поборником формальностей, в особенности когда мог сам предписывать им их ex cathedra *note 61*, — тоже, по-видимому, казалась им не менее священной. Этот тон, предупредительный и заискивающий, был по нраву Оуэну. Но мой отец умел глубже заглянуть в человеческие сердца, и потому ли, что эта чрезмерная уступчивость казалась ему подозрительной, или потому, что он любил в делах простоту и краткость, а эти господа докучали ему многоречивыми изъявлениями своей преданности, но только он неизменно отказывался сделать их своими единственными представителями в Шотландии. Напротив, многие сделки он заключал через корреспондента совсем иного склада — человека, чье доброе суждение о себе самом переходило в самодовольство, и который так же не любил англичан, как мой отец не любил шотландцев. Вести сношения с ними этот человек соглашался не иначе, как на основе полного равенства; он был недоверчив, иногда придирчив, а в педантизме не уступал самому Оуэну и проводил собственные правила в вопросах формы; тут он был непреклонен, хотя бы авторитет всей Ломбардской улицы противостоял его одинокому личному мнению.

Так как эти свойства характера затрудняли ведение дел с мистером Николом Джарви, так как нередко они приводили к спорам и охлаждению между английской фирмой и ее корреспондентом и только обоюдная заинтересованность сторон предотвращала окончательный разрыв, а главное, так как самолюбие Оуэна страдало иногда в пререканиях с упрямым шотландцем, вас не удивит, Трешем, что наш старый друг всегда бросал на чашу весов свое влияние в пользу учтивых, скромных, сговорчивых Мак-Витти и Мак-Фина и отзывался о Джарви как о заносчивом, самонадеянном шотландском торгаше, с которым невозможно ни о чем договориться.

Вспомнив эти обстоятельства (сам я узнал их в подробностях несколько позже), вы поймете, почему в трудную для фирмы минуту, когда в отсутствие отца сбежал Рэшли, Оуэн, прибыв в Шотландию (за два дня до меня), обратился за помощью, как к добрым друзьям, к тем корреспондентам, которые всегда выказывали благодарность, обязательность и готовность услужить. Его приняли в конторе гг. Мак-Витти и Мак-Фина на Гэллоугейте с тем поклонением, какое воздает католик своему святому. Но — увы! — свет очень скоро померк в облаках, когда обласканный старик, прельстившись надеждой, стал рассказывать о стесненном положении фирмы и попросил совета и содействия. Мак-Витти точно окаменел, а Мак-Фин, прежде чем Оуэн досказал свое сообщение, склонился уже над главной книгой и пустился в дебри запутанных расчетов между их фирмой и торговым домом «Осбалдистон и Трешем», чтоб установить, в чью пользу на тот день клонилось сальдо! Увы! Цифры складывались не в пользу английского торгового дома, и лица Мак-Витти и Мак-Фина, до сих пор непроницаемые, стали хмурыми, угрюмыми и зловещими. Просьбу мистера Оуэна о помощи и поддержке шотландцы встретили предложением немедленно представить гарантии против грозящих крупных потерь в случае краха фирмы, и в конце концов они попросту потребовали, чтобы наличный актив фирмы, предназначавшийся для других целей, был передан в их руки для этой именно цели. Оуэн с негодованием отклонил такое требование, находя, что оно унизительно для его принципалов, несправедливо в отношениях других кредиторов Осбалдистона и Трешема и свидетельствует о крайней неблагодарности со стороны тех, кто выставил его.

Завязавшийся спор дал шотландцам возможность и повод (что всегда очень удобно для того, кто не прав) разгорячиться и под предлогом нанесенной им якобы обиды принять меры, от которых иначе их удержали бы если не совесть, то хотя бы чувство приличия.

Оуэн, как водится, имел небольшой пай в доходах фирмы, где служил старшим клерком, и потому нес личную ответственность по всем ее обязательствам. Господам Мак-Витти и Мак-Фину это было известно; и вот, чтобы доказать несчастному старику свое могущество

Note61

Буквально: с кафедры (лат.) — то есть авторитетно, тоном, не допускающим возражений или обсуждений.

или, скорее, чтобы вынудить его такою крайностью на те выгодные для них меры, которые он с возмущением отклонил, они воспользовались своим правом арестовать должника, посадить его в тюрьму, как это, по-видимому, разрешает шотландский закон (несомненно, создавая этим почву для частых злоупотреблений) в тех случаях, когда совесть позволяет кредитору показать под присягой, что должник намеревается выехать за пределы страны. На таком основании бедный Оуэн был подвергнут заточению накануне того дня, когда меня таким странным образом привели к нему в тюрьму.

Итак, я не узнал ничего утешительного. «Что делать?» — спрашивал я самого себя и не находил ответа. Я легко уяснил себе, какая угроза нависла над нами, но труднее было найти средство ее предотвратить. Случившееся с очевидностью указывало, что и мне грозит опасность потерять свободу, если я открыто выступлю в защиту Оуэна. Оуэн разделял мое опасение и, охваченный преувеличенным страхом, стал меня уверять, что ни один шотландец ни за что не согласится потерять из-за англичанина хоть единый фартинг: он тотчас же раскопает подходящую статью и арестует его самого, его жену, детей, всю прислугу, мужскую и женскую, и даже любого постороннего человека, оказавшегося случайно в доме должника. Законы о долгах в большинстве государств так беспощадно суровы, что я не мог вполне опровергнуть это утверждение. А при сложившихся обстоятельствах мой арест нанес бы делам отца coup de grace *note 62* Взвесив все это, я спросил Оуэна, не приходило ли ему на ум обратиться к другому корреспонденту нашей фирмы в Глазго, к мистеру Николу Джарви.

Оуэн ответил, что послал ему утром письмо; но если сговорчивые и любезные джентльмены с Гэллоугейта обошлись с ним так круто, то чего ожидать от строптивого невежи с Соляного Рынка?

— Вы скорей уговорите маклера отказаться от комиссионных, чем дождетесь от такого человека какой-нибудь услуги без per contra *note 63*, — сказал мне Оуэн. — Он даже не ответил на мое письмо, хотя оно было ему передано из рук в руки рано утром, когда он шел в церковь.

Тут бедный служитель цифры в отчаянии бросился на свою убогую койку, причитая:

— Мой дорогой, мой несчастный хозяин! Несчастный мой хозяин! О мистер Фрэнк, мистер Фрэнк, всему виной ваше упрямство! Ах нет, зачем я это говорю вам, когда вы и без того убиты горем! Да простит мне бог! Как вышло, так, значит, он и судил. Человек должен покориться.

Мой философский ум не помешал мне, Трешем, разделить печаль честного старика, и мы оба залились слезами. Мои были горьки вдвойне, потому что упрямое сопротивление отцовской воле, которым добрый Оуэн не хотел меня попрекать, вставало теперь перед моею совестью как причина разразившегося бедствия.

Так изливали мы друг перед другом наше горе, когда неожиданно нас смутил грозный стук в наружную дверь тюрьмы. Я выбежал на лестницу послушать, но слышен был только голос тюремщика, то громко отвечавшего кому-то за воротами, то шепотом обращавшегося к человеку, который привел меня сюда.

— Иду! Сейчас иду, — говорил он громко; и затем на низком регистре: — О хон-а-ри! Что теперь делать? Бегите наверх и прячьтесь за кровать сассенахского шентльмена. Иду, сию минуту! Ахелланай! Там милорд бэйли, и господин начальник, и стража! .. Ох, и капитан сходит вниз! Спаси нас Бог! Идите наверх, а то они прямо на вас натолкнутся… Пущу, сейчас пущу! Замок больно ржавый.

Пока Дугал неохотно и медлительно снимал засовы и болты, чтобы впустить ждавших за

Note62

буквально: милосердный удар (франц.) — то есть последний удар, которым приканчивают побежденного противника.

Note63

вознаграждения (лат.).

дверьми посетителей, уже начинавших шумно изъявлять свое нетерпение, мой проводник вбежал по винтовой лестнице и проскочил в камеру Оуэна, а за ним и я. Он быстро обвел ее глазами, словно ища места, где бы можно было укрыться, потом сказал мне:

— Дайте мне на время ваши пистолеты… Впрочем, не стоит, обойдусь без них. Что бы вы ни увидели, не обращайте внимания и не суйтесь в чужую драку. Это дело касается меня одного, и я сам должен уладить все как сумею. Я и раньше не раз попадал в такой переплет, а случалось — и в худший.

С этими словами незнакомец сбросил с себя кафтан, слишком плотно облегавший фигуру, стал прямо против двери, на которую устремил острый и решительный взгляд, и слегка откинул корпус назад, словно собирая всю свою силу, как хорошо объезженный конь, когда готовится взять препятствие.

Я ни секунды не сомневался, что мой проводник намерен выпутаться из затруднения, бросившись стремительно на первого, кто появится на пороге, как только откроется дверь, и силой сквозь все препятствия проложить себе дорогу на улицу. И такая сила и ловкость чувствовалась в его теле, такая решимость во взгляде и в повадке, что я ни секунды не сомневался: он прорвется сквозь толпу противников, если те не прибегнут к крайним средствам, чтоб его остановить.

В томительном напряжении проходило время между мгновениями, когда отворялась наружная дверь и дверь в камеру Оуэна. Наконец открылась и она, и на пороге появилась не стража с примкнутыми штыками, не ночной патруль с дубинками, алебардами или пиками, а миловидная молодая женщина в грограмовой юбке, подоткнутой, чтоб не замарать подол в уличной грязи, и с фонарем в руке. Вслед за женщиной шествовала более важная особа — невысокого роста мужчина, коренастый, немного грузный и облеченный, как скоро выяснилось, званием бэйли. Он потряхивал кудельками короткого парика, он пыхтел, он задыхался от сердитого нетерпения. Мой проводник при его появлении отступил вспять, словно желая остаться незамеченным, но некуда было укрыться от проницательного взгляда прищуренных глаз, которым блюститель закона обвел камеру.

— Прекрасно это выходит и вполне благопристойно, что я у вас жду полчаса за дверьми, капитан Стэнчелз, — сказал он, обращаясь к старшему тюремщику, который показался теперь в дверях, готовый составить свиту великого человека. — Чтобы войти в тюрьму, мне пришлось ломиться с такой силой, как ломились бы другие, чтобы выйти отсюда, — несчастные люди, сбившиеся с пути! .. А это что такое? Что такое? ! В тюрьме посторонние в ночное время, после закрытия ворот да еще в воскресенье! .. Этого я не допущу, Стэнчелз, так и знайте… Заприте дверь, я тут же поговорю с джентльменами. Только сперва побеседую вот со старым знакомым. Ну, мистер Оуэн, как поживаете, голубчик?

— Ничего, благодарю вас, мистер Джарви, — пролепетал Оуэн, — телом я как будто здоров, но болен душой.

— Понятно, понятно, что и говорить! Страшный удар, особенно для того, кто всегда слишком высоко заносил голову, — такова природа человеческая. Да, каждый из нас может сорваться… Мистер Осбалдистон — хороший и честный джентльмен, но он, сказал бы я, из тех людей, которые хотят или сделаться крезами, или разориться дотла, как говаривал мой отец, достойный декан. Отец мой, декан, бывало говорил мне: «Ник, молодой Ник! (Он, как и я, носил имя Никол; так люди и звали нас в шутку: молодой Ник и старый Ник.) Ник, — говорил он мне, — никогда не протягивай руку так далеко, чтобы потом нельзя было легко отдернуть ее назад». То же и я повторял мистеру Осбалдистону, но он, кажется, не совсем хорошо принимал мои наставления. А я давал их из добрых чувств, из добрых чувств…

Эта речь, чудовищно многословная и звучавшая самодовольством, когда оратор вспоминал свои собственные советы и предсказания, не внушила мне надежды на помощь от мистера Джарви. Скоро, однако, стало ясно, что тон ее следует объяснить скорее полным отсутствием такта, чем недостатком подлинной доброты. В самом деле, когда Оуэн выказал себя несколько обиженным, что ему сейчас, в его тяжелом положении, напоминают о таких вещах, шотландец схватил его за руку и сказал:

— Веселей, веселей, мой друг, рано унывать! Неужели, вы думаете, я пришел сюда среди ночи и чуть было не нарушил воскресенья только ради того, чтобы попрекнуть оступившегося его ошибкой? Ой, нет! У бэйли Никола Джарви это не в обычае, как не было бы в обычае и у его отца, почтенного декана. Что вы, друг мой, что вы! У меня первое правило — никогда не думать в воскресный день о мирских делах; но хотя я всеми силами старался выкинуть из головы ваше письмецо, которое мне передали утром, все же я весь день больше думал о нем, чем о проповеди. У меня правило: ровно в десять я ложусь в свою кровать с желтым пологом, если только не зайду к соседу отведать вахни или сосед ко мне — вот спросите эту красотку, она вам скажет, правда ли, что такой в моем доме заведен порядок, — а тут, понимаете, я просидел весь вечер, читал хорошие книги и зевал так, точно хотел проглотить церковь святого Еноха, пока наконец не пробило двенадцать — законный час, чтоб раскрыть гроссбух и посмотреть, как у нас с вами обстоят дела; потом, так как время и морской прилив не ждут, я велел моей девушке взять фонарь и потихоньку-полегоньку отправился сюда потолковать, нельзя ли нам что-нибудь сделать. Бэйли Джарви имеет право входить в тюрьму в любую пору дня и ночи; тем же правом пользовался в свое время и мой отец, декан, почтенный человек, — светлая память ему!

Хотя Оуэн застонал при упоминании о гроссбухе, наведя меня тем на печальное опасение, что и здесь сальдо было не в нашу пользу, и хотя в речи достойного бэйли звучало изрядное самодовольство и недобрая радость по поводу собственной проницательности, однако в его словах чувствовалось какое-то искреннее, прямое добродушие, которое возбуждало у меня некоторую надежду. Он изъявил желание просмотреть кое-какие названные им бумаги, торопливо выхватил их из рук Оуэна и присел на кровать, «чтобы дать отдых своим окорокам», как он изволил выразиться, соблазнившись таким комфортом. Служанка держала фонарь, а мистер Джарви, посапывая, пофыркивая и ворча то на слабый свет, то на содержание документов, внимательно читал.

Видя, что он углубился в свое занятие, незнакомец, приведший меня сюда, решил бесцеремонно удалиться. Он сделал мне знак молчать и переменой позы показал, что хочет проскользнуть к дверям по возможности незаметно. Но проворный блюститель закона (очень не похожий на моего старого приятеля, мистера Инглвуда) тотчас раскрыл и пресек это намерение:

— Что вы смотрите, Стэнчелз? Прикройте дверь, заприте на замок и караульте снаружи.

Незнакомец насупил брови и, казалось, думал уже, не проложить ли дорогу силой, но не успел он принять решение, как дверь захлопнулась и загремели тяжелые засовы. Он что-то пробормотал на гэльском языке, зашагал по комнате, потом с видом непреклонного упорства, словно решив досмотреть спектакль до конца, уселся на дубовом столе и начал насвистывать стратспей.

Мистер Джарви, по-видимому, легко и быстро разбиравшийся в делах, скоро и тут уяснил себе все подробности и обратился к мистеру Оуэну в таком примерно тоне:

— Так, мистер Оуэн, так. Ваша фирма в самом деле должна некоторую сумму Мак-Витти и Мак-Фину. (Посовестились бы, свиные рыла! Ведь ее в десять раз перекрывают барыши, которые они от вас получили на деле по скупке глен-кайлзихатских дубовых лесов, которые они вырвали у меня изо рта. И вы еще тогда, мистер Оуэн, напомню вам, замолвили за них словечко! В десять раз и больше! Так вот, сэр, ваша фирма должна им известную сумму, поэтому — и в обеспечение других своих контрактов с вами — они посадили вас на хлеба к доброму мистеру Стэнчелзу. Так, сэр, вы им должны и, может быть, должны кое-что кому-нибудь еще — может быть, вы кое-что должны мне самому, бэйли Николу Джарви.

— Не стану отрицать, сэр, что на сегодня сальдо может оказаться не в нашу пользу, — сказал Оуэн, — но я прошу вас учесть…

— Сейчас, мистер Оуэн, мне некогда учитывать. Сейчас, когда воскресенье едва отошло и когда я тут сижу среди ночи, в сырую погоду, за пять миль от своей теплой кровати, сейчас не время заниматься подсчетами. Но, сэр, как я вам сказал, вы должны мне деньги — отрицать не приходится: много ли, мало ли, но вы мне должны, на этом я настаиваю. А раз так, мистер

Оуэн, я не понимаю, каким образом вы, энергичный и толковый делец, распутаете то дело, ради которого вы сюда приехали, и со всеми нами рассчитаетесь (на что я твердо надеюсь), ежели вы будете валяться тут, в глазговской тюрьме. Так вот, сэр: если вы представите поручительство judicio sisti, — то есть в том, что вы не удерете из Шотландии и по первому требованию явитесь в суд, не подводя своего поручителя, — вас сегодня же утром можно будет выпустить на свободу.

— Мистер Джарви, — проговорил Оуэн, — если найдется такой друг и поручится за меня, мое освобождение, бесспорно, пойдет на пользу нашей фирме и всем, кто с нею связан.

— Хорошо, сэр, — продолжал Джарви, — и такой друг, бесспорно, может ожидать, что вы явитесь на вызов и освободите его от взятого им на себя обязательства?

— Явлюсь по первому требованию, если только не заболею и не умру. Это верно, как дважды два — четыре.

— Хорошо, мистер Оуэн, — закончил гражданин города Глазго, — я вам доверяю, и это я докажу, сэр, докажу. Я человек, как известно, аккуратный и трудолюбивый, как может засвидетельствовать весь наш город, и я могу зарабатывать свои кроны, и беречь кроны, и сводить счеты с кем угодно — на Соляном ли Рынке или на Гэллоугейте. И я человек осторожный, каким был в свое время и мой отец, почтенный декан; но допустить, чтоб честный, добропорядочный джентльмен, понимающий толк в коммерции и готовый обойтись по справедливости с каждым, допустить, чтоб такой джентльмен валялся тут в тюрьме и не мог ничего сделать ни для себя, ни для других, — нет, скажу по совести, я лучше сам возьму вас на поруки. Но прошу не забывать: я даю поручительство judicio sisti, как выражается наш городской секретарь, judicio sisti, а не judicatum solvi *note 64*, прошу не забывать. Это огромная разница.

Мистер Оуэн заверил его, что при сложившихся обстоятельствах он не смеет и надеяться на поручительство за действительную уплату долга, но что его поручителю нечего опасаться: по первому же вызову он, Оуэн, не преминет явиться в суд.

— Верю вам, верю. Довольно слов. К утреннему завтраку вы будете на свободе. А теперь послушаем, что скажут в свое оправдание ваши товарищи по камере: каким беззаконным путем попали они сюда в ночную пору?

ГЛАВА XXIII

Пришел хозяин вечерком,
Пришел навеселе,
А дома — видит — человек,
Где быть ему не след.
«Объясни ты, женушка,
Мне что-то невдомек:
Как вошел он, не спросясь,
Захожий паренек?»
Старинная песня

Почтенный бэйли взял из рук служанки фонарь и приступил к осмотру, уподобясь Диогену, когда тот со светочем в руке брел по афинской улице; и, может быть, мистер Джарви не больше, чем великий циник, надеялся натолкнуться в своих поисках на какое-либо ценное сокровище. В первую очередь подошел он к моему таинственному проводнику, который сидел, как сказано, на столе, уставив в стену неподвижный взгляд. Ничто не дрогнуло в его застывшем лице, руки он скрестил на груди не то с вызывающим, не то с беспечным видом, и,

---

Note64

То есть поручитель отвечает только за явку в суд взятого им на поруки должника, но не за самый платеж (лат.).

отстукивая каблуком по ножке стола такт мелодии, которую насвистывал, он выдержал испытующий взгляд мистера Джарви с таким невозмутимым спокойствием и самоуверенностью, что прозорливому следователю изменили на мгновение его проницательность и память.

— Аа, ээ, оо! — восклицал бэйли. — Честное слово! .. Это невозможно… И все же… Нет! Честное слово, быть того не может! .. А все-таки… Черт меня побери, я должен сказать… Грабитель ты, разбойник, сущий дьявол, неужели это и взаправду ты?

— Как видите, бэйли, — был лаконичный ответ.

— По чести так, или тут чистейшее колдовство! .. Ты, отъявленный беззаконник, ты осмелился пролезть сюда, в глазговскую тюрьму? Как ты думаешь, сколько стоит твоя голова?

— Гм! Если взвесить как следует, на голландских весах, она потянет, пожалуй, побольше, чем голова одного провоста, четырех бэйли, городского секретаря, шестерых деканов да дюжины ткачей…

— Ах ты, отпетый негодяй! — перебил мистер Джарви. — Покайся лучше в своих грехах и приготовься, потому что стоит мне сказать одно только слово…

— Правильно, бэйли, — ответил тот, к кому обращено было это замечание, и с небрежно-беспечным видом заложил руки за спину, — но вы никогда не скажете этого слова.

— Почему же я его не скажу, сэр? — воскликнул блюститель закона. — Почему не скажу? Ответь: почему?

— По трем веским причинам, бэйли Джарви: во-первых, ради нашего давнишнего знакомства, во-вторых, ради старухи, что греется сейчас у очага в Стаккавраллахане — той, что связывает нас узами кровного родства, к вящему для меня позору! Легко ли мне признаться, что мой родственник возится со счетными книгами, с пряжей, с ткацкими станками, с челноками и веретенами, как простой ремесленник! А в-третьих, бэйли, еще и потому, что если только я подмечу с вашей стороны малейшее поползновение выдать меня, я оштукатурю эту стену вашими мозгами прежде, чем вас успеет выручить рука человека.

— Вы, сэр, отчаянный и дерзкий негодяй, — отвечал бэйли, нисколько не устрашенный, — и вы знаете, что я это понимаю и не остановлюсь ни на миг перед грозящей опасностью.

— Я отлично знаю, — ответил тот, — что в жилах у вас течет благородная кровь, и мне неохота поднимать руку на родича. Но я отсюда выйду так же свободно, как вошел, или стены глазговской тюрьмы десять лет будут рассказывать о том, как я проложил себе дорогу.

— Хорошо, хорошо, — сказал мистер Джарви. — Кровь погуще воды, а друзьям и сородичам не пристало замечать соринку друг у друга в глазу, когда чужой глаз ее не замечает. Старухе в Стаккавраллахане горько было бы услышать, что вы, позорище гор, размозжили мне череп или что я мог затянуть петлю на вашей шее. Но сознайся, упрямый черт, что, не будь ты тем, кто ты есть, я сейчас захватил бы первого разбойника в Горной Стране.

— Вы постарались бы, кузен, — ответил мой проводник, — не спорю, но вряд ли, думается мне, ваши старания увенчались бы успехом, ибо мы, бродяги горцы, неподатливый народ, особенно когда с нами заговорят об оковах. Мы не переносим тесной одежды — штанов из булыжника да железных подвязок.

— Тем не менее, любезный, бы дорветесь до каменных штанов, до железных подвязок и до пенькового галстука, — ответил бэйли. — В цивилизованной стране никто еще не откалывал таких штук, как вы, — грабить чуть ли не в собственном кармане! Но это не сойдет вам с рук, честно вас предостерегаю!

— И что же, кузен, вы по мне наденете траур?

— Ни один черт не наденет траура по тебе, Робин, — разве что ворон да грач, вот тебе в том моя рука. Но скажи, любезный, где тысяча добрых шотландских фунтов, которые я тебе ссудил, и когда доведется мне получить их обратно?

— Где они? — ответил мой проводник, делая вид, будто старается вспомнить. — Точно сказать не могу. Верно, там же, где прошлогодний снег.

— Значит, на вершине Скехаллиона, не так ли, хитрая горная собака? — сказал мистер

Джарви. — А я надеюсь, что ты мне их выплатишь здесь, на месте.

— Так! — ответил горец. — Но у меня нет в кармане ни снега, ни червонцев. А когда вы их получите? Гм! .. «Когда король возьмет свое назад!» — как поется в старинной песне.

— Это хуже всего, Робин! — ответил гражданин города Глазго. — Ты бесчестный изменник, и это хуже всего! Неужели вы хотите водворить у нас опять католичество, власть произвола, хотите посадить нам на шею самозванца из грелки и свору монахов и аббатов? Вы соскучились по обрядам, по стихарям и кадилам и прочей погани? Промышляй уж по-прежнему старым своим промыслом: грабежом, разбоем, сбором черной дани, — лучше обкрадывать кое-кого, чем губить всю страну.

— Полно, любезный, нечего повторять за вигами всякий вздор! — ответил горец. — Мы знакомы друг с другом не первый день. Я послежу, чтоб не обчистили вашу контору, когда молодчики в юбках придут навести порядок в глазговских лавках и убрать из них лишние товары. А вам, Никол, пока этого не требует ваш прямой долг, незачем видеться со мною чаще, чем я пожелаю сам.

— Ты наглый негодяй, Роб, — сказал бэйли, — и тебя повесят когда-нибудь на радость всей стране. Но я не стану, как дурная птица, гадить в своем гнезде, если меня к тому не побудит крайняя необходимость или голос долга, которого никто не может ослушаться. А это что за черт? — продолжал он, обернувшись ко мне. — Грабитель, завербованный в вашу шайку, не так ли? Если судить по внешности, сердце у него дерзкое и лежит к разбою, а шея длинная и скучает по петле.

— Ах, добрый мистер Джарви, — сказал Оуэн, который, как и я, изумленно молчал во время странной встречи и не менее странного разговора между двумя необычайными сородичами. — Добрый мистер Джарви, этот молодой человек — мистер Фрэнк Осбалдистон, единственный сын главы нашей фирмы. Он должен был войти в дело, когда Рэшли Осбалдистону, его двоюродному брату, посчастливилось занять его место (тут Оуэн невольно простонал), но так или иначе…

— О, я слышал об этом бездельнике, — перебил его шотландский купец. — Это из него ваш принципал, как старый упрямый дурак, пожелал во что бы то ни стало сделать купца, хотел того мальчишка или нет, а мальчишка из нелюбви к труду, которым должен жить каждый честный человек, предпочел сделаться бродячим комедиантом? Прекрасно, сэр. Как вам нравится дело ваших рук? Как, по-вашему: Гамлет, принц датский, или призрак Гамлета-короля могут взять на поруки мистера Оуэна, сэр?

— Насмешки ваши мною не заслужены, но я уважаю ваши добрые побуждения и слишком благодарен за поддержку, оказанную вами мистеру Оуэну, а потому не обижаюсь. Сюда привела меня только надежда, что я хоть чем-нибудь — может быть, очень немногим — помогу мистеру Оуэну уладить дела моего отца. Что же касается моей несклонности к торговле, то в этом я лучший и единственный судья.

— Признаться, — молвил горец, — я питал некоторое уважение к этому юнцу еще и до того, как узнал, каков он есть, теперь же я его уважаю за его презрение к ткачам, прядильщикам и прочему ремесленному люду и к самому роду их занятий.

— Ты взбесился, Роб, — сказал бэйли, — взбесился, как мартовский заяц, хоть я никак не возьму в толк, почему в марте заяц должен беситься больше, чем на Мартынов день! Ткачи! .. Может, сатана стянет с твоих плеч одежду, созданную искусством ткача? Прядильщики! .. Да ты же сам прядешь и сучишь для себя отменную пряжу! А этот молодчик, которого ты загоняешь кратчайшей дорогой на виселицу и в преисподнюю, — скажи, помогут ли ему его вирши и комедии сколько-нибудь больше, чем тебе несусветная божба и лезвие ножа, злосчастный богохульник? Может быть, «Tityre tu patule» *note 65* — так это, кажется, у них говорится? — откроет ему, куда скрылся Рэшли Осбалдистон? Или Макбет со своими разбойниками и головорезами, да еще с твоими в придачу, раздобудут ему пять тысяч фунтов

Note65

«Ах, добросердечный Титир» (лат.).

для уплаты по векселям, которым ровно через десять дней истекает срок? Попробуй-ка, Роб, вынести их всех на аукцион вместе с их палашами, и с андреа-феррара, и с кожаными щитами и брогами, и с вертелами и кошелками.

— Через десять дней? — повторил я, машинально вынув письмо Дианы Вернон, и, так как истекло время, в течение которого я должен был сохранять печать неприкосновенной, поспешно ее сломал. Из ненадписанного конверта выпала запечатанная записка — так дрожали мои пальцы, когда я его вскрывал. Легкое дуновение ветра, проникшего сквозь разбитое стекло в окне, откинуло записку к ногам мистера Джарви, который поднял ее, с бесцеремонным любопытством разобрал адрес и, к моему удивлению, вручил ее своему родичу-горцу со словами:

— Ветер принес письмо кому следовало, хотя было десять тысяч шансов за то, что оно не попадет в надлежащие руки.

Горец, прочитав адрес, без всякого стеснения распечатал записку. Я сделал попытку его остановить.

— Разрешите мне сначала удостовериться, сэр, — сказал я, — что письмо адресовано вам; иначе я не разрешу вам его прочесть!

— Не волнуйтесь, мистер Осбалдистон, — с невозмутимым спокойствием ответил горец. — Припомните судью Инглвуда, клерка Джобсона, мистера Морриса, а главное — припомните вашего покорнейшего слугу, Роберта Комила, и прелестную Диану Вернон. Припомните их всех, и у вас не останется сомнений, что письмо предназначено мне.

Я был поражен собственной недогадливостью. Всю ночь голос и даже черты незнакомца, пусть неясно различимые, кого-то мне напоминали, хоть я и не мог связать их с определенным человеком или местом. Но тут меня точно озарило: передо мной не кто иной, как Кэмбел! Теперь я сразу вспомнил этот сильный, зычный голос, эти твердые, суровые, но притом правильные черты лица и этот шотландский говор с соответственными словечками и красочными оборотами, которые (хоть он и мог обойтись без них, когда старался) все же прорывались у него в минуту возбуждения, придавая остроту его насмешке и силу словам укора. Ростом был он скорее ниже среднего, но самого крепкого сложения, какое только может сочетаться с ловкостью, ибо замечательная легкость и свобода его движений с несомненностью доказывали, что это качество развито у него до степени высокого совершенства. Две особенности нарушали гармоническую правильность его сложения: плечи были не по росту широки, так что, несмотря на сухощавость, он казался слишком коренастым, а руки его, хоть и округлые, мускулистые и сильные, были длинны почти до уродства. Впоследствии мне доводилось слышать, что длинные руки были предметом его гордости: он мог, когда носил одежду горца, не нагибаясь завязывать подвязки на чулках, и они давали ему немалое преимущество, когда приходилось орудовать палашом, в чем он проявлял большое искусство. Но, разумеется, такая диспропорция лишала его права считаться красавцем, на которое иначе он, бесспорно, мог бы притязать, — она сообщала его внешности что-то дикое, неправильное, нечеловеческое; глядя на него, я невольно вспоминал рассказы Мэйбл о древних пиктах, которые в былые времена разоряли своими набегами Нортумберленд; и были, по ее уверениям, полулюдьми-полудемонами; подобно этому человеку, они отличались отвагой, хитростью, свирепостью, длинными руками и широкими плечами.

Но, так или иначе, припомнив, при каких обстоятельствах мы встречались раньше, я не мог сомневаться, что письмо в самом деле адресовано ему. Он занимал видное место среди тех загадочных личностей, которые, судя по всему, имели влияние на Диану и на которых она, в свою очередь, тоже оказывала влияние. Было больно думать, что судьба такого милого существа сплетена с судьбой этого отчаянного человека; однако сомневаться было невозможно. Но какую помощь мог он оказать в делах моего отца? Мне пришел на ум только один ответ. Однажды Рэшли Осбалдистон по настоянию мисс Вернон нашел способ разыскать мистера Кэмбела, когда потребовалось его присутствие, чтобы снять с меня обвинение, выдвинутое Моррисом. Не могло ли ее влияние равным образом заставить Кэмбела разыскать Рэшли? Придя к такому выводу, я осмелился спросить, где находится мой опасный

родственник и когда мистер Кэмбел виделся с ним. Но прямого ответа я не получил.

— Трудную задала она мне задачу, но честную, так уж постараюсь не подвести. Мистер Осбалдистон, я живу неподалеку отсюда, мой родственник может указать вам дорогу. Предоставьте мистеру Оуэну сделать в Глазго все, что он сумеет, а сами поезжайте ко мне в горы — очень возможно, что я вас порадую и помогу вашему отцу в его несчастии. Я бедный человек, но хорошая голова на плечах лучше богатства. А вы, кузен, — если вы не прочь отведать со мною доброго шотландского коллопса *note 66* и оленьего окорока, приезжайте вместе с этим англичанином прямо в Драймен, или в Букливи, или, самое лучшее, в клахан *note 67* Эберфойл, а я оставлю там кого-нибудь, чтобы вас проводили прямо до места, где я окажусь к тому времени. Что скажешь, родич? Вот тебе моя рука: дело чистое, без обмана.

— Нет, нет, Робин, — сказал осторожный горожанин, — я редко выезжаю из Горбалса. Недосуг мне скитаться по вашим диким горам, Робин, среди твоих голоштанников, и как-то не подобает мне это при занимаемой мною должности.

— Черт тебя побери вместе с твоей должностью! — отвечал Кэмбел. — Единственной каплей благородной крови, какая попала в твои жилы, ты обязан моему двоюродному прадеду, который был оправдан судом в Дамбартоне, а ты тут зазнаешься и говоришь, что уронишь свое достоинство, приехав ко мне в гости! Послушай, друг любезный, за мной оставался должок; я уплачу тебе сполна твою тысячу шотландских фунтов, все до последней полушки, если ты хоть раз в жизни покажешь себя порядочным человеком и притащишься ко мне вместе с этим сассенахом. *note 68*

— Тоже и тебе нечего кичиться своим благородством, — ответил бэйли, — попробуй-ка вынести на рынок свою благородную кровь, — посмотрим, много ли ты за нее выручишь. Но если я и впрямь приеду к вам, ты взаправду вернешь мне мои деньги?

— Клянусь, — ответил горец, — священным прахом того, кто спит под серым камнем на Инх-Кейлихе. *note 69*

— Довольно, Робин, довольно! Мы посмотрим, что можно будет сделать. Но не жди: границу Верхней Шотландии я не переступлю, ни в коем случае не переступлю! Ты должен встретить меня где-нибудь около Букливи или в клахане Эберфойл. Помни уговор.

— Не бойся, не бойся, — сказал Кэмбел. — Я буду верен, как стальной клинок, никогда не изменявший своему хозяину. Но мне пора уходить, кузен, ибо воздух глазговской тюрьмы не очень-то полезен для здоровья горца.

— Истинная правда, — подхватил купец. — И выполни я свой долг, ты не так-то скоро переменил бы атмосферу, как выражается наш тюремный священник. Ох-хо-хо! Дожил до того, что вот самолично помогаю преступнику скрыться от правосудия! Это ляжет вечным стыдом и позором на меня, на мой дом, на память моего отца.

— Брось! О чем горевать! Села муха на стену — и пусть сидит, — отвечал его родственник. — Грязь, когда подсохнет, легко ототрется. Твой отец, милый человек, не хуже всякого другого умел смотреть сквозь пальцы на грехи иного своего приятеля.

— Пожалуй, ты прав, Робин, — молвил после минутного раздумья, бэйли, — он был

Note66
запеканки из мясного фарша (гэльск.).

Note67
деревушку (гэльск.).

Note68
саксонцем, то есть англичанином (гэльск.).

Note69
Инх-Кейлих — остров на Лох-Ломонде, где клан Мак-Грегоров хоронил обычно своих покойников и где поныне можно видеть их гробницы. Раньше на острове находился женский монастырь, отсюда и название его — Инх-Кейлих, то есть «Остров старух». (Прим. автора.)

рассудительный человек, покойный декан, он понимал, что у всех у нас есть свои слабости, а друзей своих он любил. Так ты его не забываешь, Робин?

Он спросил это с умилением в голосе, и смешным и трогательным.

— Забыть покойного декана! — отозвался его родственник. — Ну как же я могу его забыть? Он был искусный ткач, и первые мои штаны сработаны им… Однако давай поскорей, любезный родич:

Налейте мне чарку, налейте полней.
Людей созывайте, седлайте коней,
Пошире ворота — и прочь со двора,
Давно из Данди нам уехать пора.

— Потише, сэр! — властным голосом проговорил почтенный член городского совета. — Разве можно так громко петь, когда едва отошло воскресенье? Эти стены должны бы услышать от вас совсем другие песни. Нам еще придется отвечать за этот побег. Стэнчелз, откройте дверь.

Тюремщик повиновался, и мы все вместе вышли. Стэнчелз глядел в изумлении на двух незнакомцев, должно быть недоумевая, как они проникли сюда без его ведома; но мистер Джарви коротко сказал: «Это мои друзья, Стэнчелз, мои друзья», — и у того пропала всякая охота вдаваться в расспросы. Мы спустились вниз, в караульную, и несколько раз окликнули Дугала, но призыв остался без ответа. Кэмбел заметил наконец с насмешливой улыбкой:

— Если Дугал остался тем же молодцом, каким я знал его раньше, вряд ли он ждет, пока ему принесут благодарность за участие в ночной проделке. Сейчас он, по всей вероятности, скачет во весь опор к Балламахскому проходу.

— И оставил нас… а главное, меня, меня самого, запертыми на всю ночь в тюрьме! — закричал бэйли в ярости и смятении. — Дайте сюда скорей молоток и стамеску, клещи и зубило; пошлите к старосте Йетлину и дайте ему знать, что бэйли Джарви заперт в тюрьме разбойником-горцем, которого он повесит так высоко, как не висел и Аман…

— Когда поймает, — добавил внушительно Кэмбел. — Но постойте, дверь, наверно, не заперта.

В самом деле, проверив, мы убедились, что дверь не только оставлена отпертой, но что Дугал при своем отступлении захватил ключи, позаботившись, таким образом, чтоб никто не поспешил взять на себя брошенную им обязанность привратника.

— Однако у бедняги Дугала оказались некоторые проблески здравого смысла, — сказал Кэмбел, — он сообразил, что открытая дверь может мне пригодиться в трудную минуту.

Мы были уже на улице.

— Говорю тебе, Робин, — молвил блюститель законности, — по моему скромному суждению, если ты хочешь жить и дальше такой жизнью, тебе нужно на случай беды держать привратника из своих молодцов при каждой шотландской тюрьме.

— Мне довольно иметь по одному родственнику-бэйли в каждом городе, кузен Никол. Желаю вам доброй ночи, вернее — доброго утра! И не забудьте про клахан Эберфойл.

Не дожидаясь ответа, он кинулся на другую сторону улицы и скрылся в темноте. И тотчас же мы услышали, как он подал приглушенный, странный свист, на который мгновенно кто-то ответил.

— Слышите? Свищут, горные дьяволы, — сказал мистер Джарви, — воображают, что они уже у себя, на окраинах Бен-Ломонда, где они могут галдеть и свистать, не глядя ни на субботу, ни на воскресенье.

Но тут его речь прервал лязг чего-то тяжелого, что упало перед нами на мостовую.

— Храни нас Господь! Что тут еще стряслось? Мэтти, подыми повыше фонарь… Ключи, честное слово, ключи! Что ж, это неплохо — они как-никак стоят городу денег, из-за их потери поднялись бы еще разговоры! Ох, если дойдет слушок о сегодняшнем дельце до бэйли Грэма, я не оберусь хлопот!

Так как мы успели пока всего на несколько шагов отойти от тюремных ворот, то понесли ключи обратно и вручили их старшему тюремщику, который, вместо того чтобы, по своему обычаю, запереть ворота и уйти на покой, стоял на часах в караульной до прихода одного из помощников, вызванного им заместить сбежавшего кельта Дугала.

Выполнив этот долг перед городом, мы двинулись дальше, и так как мне было по пути с почтенным бэйли, я воспользовался светом его фонаря, а он оперся на мою руку, и так мы пробирались по улицам, которые не знаю, как теперь, а в те времена были темны, неровны и плохо вымощены. Пожилого человека подкупает внимание со стороны молодого. Почтенный бэйли выказал теплое участие ко мне и сказал в заключение, что так как я «не актер и не театрал», каких немало теперь среди молодежи и которых он ненавидит всей душой, то он, бэйли, был бы очень рад, если бы я утром отведал у него жареной вахни и свежей сельди, тем более что за завтраком будет присутствовать и мой друг мистер Оуэн, которого он к тому времени успеет освободить из тюрьмы.

— Дорогой сэр, — сказал я, с благодарностью приняв приглашение, — как могли вы подумать, что я комедиант?

— Да я и не думал, — ответил бэйли, — это все тот болтун Ферсервис, который явился ко мне вчера за ордером, чтоб выслать утром глашатая искать вас по городу. Он рассказал мне, кто вы такой и как отец выпроводил вас из дому, потому что вы не желали сделаться купцом, и что ваши опасаются, как бы вы не опозорили весь род, поступив на сцену. Регент нашего хора Хамморго привел Ферсервиса ко мне и сказал, что он его старый знакомый; но я их выставил вон, отчитав как следует за то, что приходят ко мне с таким делом в святой вечер. Но теперь я вижу, что он вообще остолоп и относительно вас глубоко ошибался. Вы мне нравитесь, юноша, — продолжал он. — Мне нравится, когда человек приходит на помощь друзьям в трудную минуту, — я и сам так поступаю, и так же поступал мой отец декан, упокой Господь его душу! Но держитесь вы лучше подальше от горцев и всей этой шайки. Как тронешь смолу, так измажешься, — вы этого не забывайте. Конечно, самый умный и хороший человек может заблуждаться. Вот и я — раз, и другой, и третий оступился и совершил нынче ночью три проступка, — мой отец не поверил бы своим глазам, если бы мог поднять веки и увидеть, что делает его сын.

К этому времени мистер Джарви дошел до дверей своего дома. Однако он остановился у порога и торжественным тоном глубокого раскаяния добавил:

— Во-первых, я думал в воскресный день о личных своих делах; во-вторых, я поручился за англичанина; в-третьих, и в последних, — подумать только! — я позволил правонарушителю убежать из тюрьмы. Но есть бальзам в Галааде, мистер Осбалдистон. Мэтти, я могу войти в дом и один. Проводи мистера Осбалдистона до Лаки Флайтер — знаешь, на углу переулка. — И он добавил шепотом: — Мистер Осбалдистон, вы, конечно, не позволите себе в отношении Мэтти никакой невежливости — она дочь честных родителей и близкая родственница лэрда Лиммерфилда.

ГЛАВА XXIV

Угодно будет вашей милости принять мои скромные услуги? Умоляю, позвольте мне есть ваш хлеб, будь он самый черный, и пить ваше вино, будь оно самое скудное; за сорок шиллингов я стану служить вашей милости так усердно, как другой не служил бы и за три фунта.

*Грин, «Ти quoque»*note 70

Я помнил прощальное наставление честного бэйли, однако не счел зазорным прибавить

Note70

«Ты тоже» (франц.).

поцелуй к полукроне, данной мною Мэтти за проводы, и ее «как не совестно, сэр!» прозвучало не такой уж смертельной обидой. Долгий стук мой у ворот миссис Флайтер поначалу разбудил, как полагается, двух-трех бездомных собак, поднявших громкий лай, затем из окон соседних домов высунулись три-четыре головы в ночных колпаках, чтобы сделать мне выговор за нарушение торжественной тишины воскресной ночи несвоевременным шумом. Пока я в трепете ждал, как бы их ярость не разразилась над моей головой настоящим ливнем, как некогда ярость Ксантиппы, проснулась сама миссис Флайтер и тоном, какой вполне подобал бы мудрой супруге Сократа, принялась отчитывать на кухне каких-то бездельников за то, что те не поспешили к воротам на мой столь шумный призыв.

Достойные эти господа искренне огорчились суматохой, возникшей по их нерадению, ибо они были не кто иные, как верный мистер Ферсервис, его друг мистер Хамморго и еще один человек, как я узнал впоследствии — городской глашатай; они сидели втроем за жбаном эля (моим угощением — как показал потом поданный счет) и трудились сообща над текстом и слогом воззвания, которое предполагалось огласить на следующий день по улицам города с целью незамедлительно вернуть «несчастного молодого джентльмена», как они имели бесстыдство меня назвать, в круг его друзей. Я, разумеется, не стал скрывать свое недовольство этим дерзким вмешательством в мои дела; но Эндрю, увидев меня, разразился такою бурей восторга, что упреки мои безнадежно в ней потонули. Возможно, его ликование было отчасти притворным, а пролитые им слезы радости, несомненно, брали начало в благородном источнике всех эмоций — в оловянной кружке. Искренняя или притворная, радость Эндрю по поводу моего прибытия все же не дала мне проломить ему череп, что я собирался сделать по двум причинам: во-первых, за его разговоры с регентом хора о моих делах; во-вторых, за неуместную историю, сочиненную им обо мне мистеру Джарви. Однако я ограничился тем, что хлопнул перед его носом дверью своей спальни, когда он поплелся за мной, прославляя небо за мое благополучное возвращение и перемежая возгласы радости призывами ко мне быть осторожней, если я и впредь захочу шагать своим путем. Я улегся спать, решив, что утром первым делом рассчитаю этого нудного, утомительного, самодовольного наглеца, вообразившего себя, как видно, не слугой, а наставником.

Наутро я вернулся к своему решению и, позвав к себе в комнату Эндрю, спросил, сколько ему следует с меня за услуги и за проводы до Глазго. Мистер Ферсервис крайне растерялся при таком вопросе, правильно усмотрев в нем предвестие увольнения.

— Ваша честь… — начал он, промолчав, — не подумает… не подумает…

— Говори прямо, мошенник, или я проломлю тебе череп! — сказал я, когда Эндрю замолк, терзаемый мукой сомнений и расчетов в тисках двойной опасности: потерять все, запросив слишком много, или потерять часть, потребовав меньше, чем я, быть может, сам готов был уплатить.

И вот, как иногда крепкий удар по спине вышибает застрявший кусок, так под действием моей угрозы из горла Эндрю вылетело с хрипом:

— Восемнадцать пенсов per diem, то есть в день, будет, я думаю, без лишку.

— Это вдвое больше обычной цены и втрое больше того, что вы заслужили, Эндрю. Вот вам гинея, и ступайте, куда хотите.

— С нами сила Господня! Ваша честь не сошли с ума? — возопил Эндрю.

— Нет, но вы, сдается, решили и впрямь довести меня до сумасшествия: я вам даю втрое больше, чем вы запросили, а вы стоите и пялите глаза с таким видом, точно я вас обманываю. Берите деньги и ступайте вон.

— Боже милосердный! — снова заголосил Эндрю. — Чем же я обидел вашу честь? Конечно, наша грешная плоть «подобна цветку полевому», но если грядка ромашек кое-чего стоит в медицине, то, право, польза Эндрю Ферсервиса для вашей чести ничуть не менее очевидна; вам со мной расстаться — все одно что взять и лечь в могилу.

— Честное слово, — ответил я, — трудно сразу решить, мошенник вы больше или дурак! Вы, значит, намерены остаться при мне, хочу я того или нет?

— Поистине, именно так, — догматическим тоном ответил Эндрю. — Может, ваша

честь не умеет отличить хорошего слугу, но я-то сразу вижу хорошего хозяина, и пусть черт перебьет мне ноги, если я от вас уйду, вот и все, что я вам скажу. К тому же я не получил надлежащего предупреждения об отказе от места.

— От места, сэр? — сказал я. — Позвольте, вы у меня вовсе не наемный слуга, я взял вас только в проводники и действительно воспользовался в дороге вашим знанием местности.

— Что верно, то верно, сэр, я не простой слуга, — ответствовал мистер Ферсервис, — ваша честь знает, что я, ни на минуту не задумавшись, бросил хорошее место, уступив просьбам вашей чести. Садовник при Осбалдистон-холле может, не покривив душой, заработать двадцать фунтов стерлингов per annum *note 71*, как одну копеечку, — так разве бросил бы человек такую должность за гинею? Я думал остаться при вашей чести до конца года и полагал, что буду получать жалованье, харчевые, наградные и праздничные до конца года, не меньше.

— Ну-ну, сэр! — сказал я. — Ваши бесстыдные притязания нисколько вам не помогут, и если я услышу от вас хоть слово в этом роде, вы убедитесь, что в семье Осбалдистонов не один только сквайр Торнклиф умеет орудовать кулаком.

Я не договорил своих слов, как все это дело и эта важность, с какою поддерживал Эндрю свою нелепую претензию, показались мне вдруг до того смешными, что я, хоть и был не на шутку зол, едва удержался от хохота. Плут, разгадав по моему лицу, какое он произвел впечатление, еще больше утвердился в своей настойчивости. Однако он нашел более безопасным немного сбавить тон, чтобы не превысить меру собственной требовательности и моего терпения.

Он допускает, объяснил мне мистер Ферсервис, что я способен без предупреждения взять и расстаться с преданным слугой, прослужившим мне и моим родственникам денно и нощно двадцать лет в недобром месте; однако же он твердо убежден, что я — истинный джентльмен и что сердце не позволит мне бросить в горькой нужде несчастного человека, который свернул на сорок, на пятьдесят, даже на сто миль от своей дороги только ради того, чтобы составить компанию моей чести, и у которого нет никаких средств, кроме грошового жалованья.

Кажется, это вы сказали мне однажды, Уилл, что я при всем своем упрямстве оказываюсь в иных случаях самым легковерным и податливым из смертных. Дело в том, что меня делает настойчивым только противоречие; когда же я не чувствую вызова на спор, я всегда готов уступить во избежание лишних хлопот. Я знал, что Эндрю — корыстный наглец, вечно сующий свой нос в чужие дела, однако мне нужен был какой-нибудь проводник и слуга, а к выходкам Эндрю я так привык, что иной раз они меня даже потешали. Перебирая в нерешительности свои соображения, я спросил Ферсервиса, знает ли он дороги, города и прочее в Северной Шотландии, куда мне, по всей вероятности, предстояло отправиться по делам отца, который ведет обширную торговлю с лесовладельцами горного края. Спроси я у него, знает ли он дорогу в земной рай, он, думается мне, взялся бы в ту минуту служить моим проводником; так что впоследствии я мог с полным основанием считать за особое счастье, что он в самом деле превосходно знал дороги и не так уж сильно прихвастнул. Я назначил ему твердое жалованье и оставил за собою право дать ему расчет, когда мне вздумается, уплатив за неделю вперед. На прощание я строго отчитал его за вчерашнее, и он, радуясь в душе, хоть с виду и приуныв, побежал рассказать своему приятелю, регенту хора, который уже потягивал на кухне утреннюю порцию эля, как он ловко «обвел вокруг пальца полоумного юнца, английского сквайра».

Затем, помня об уговоре, я направился к Николу Джарви, где меня ожидал приятный завтрак в комнате, служившей почтенному бэйли и кабинетом для его занятий и любимым местом отдыха. Хлопотливый и доброжелательный блюститель закона честно сдержал свое слово: я увидел своего друга Оуэна на свободе. Закусив, почувствовав себя свежим и чистым

Note71

в год (лат.).

благодаря ванне и щетке, он был сейчас совсем не похож на Оуэна-арестанта, грязного, сокрушенного, утратившего надежду. Но мысль о денежных затруднениях, надвигающихся со всех сторон, угнетала все же его душу, и, обнимая меня с почти отеческой нежностью, добрый старик не мог подавить вздох глубокой печали. И когда он сел, тревога, отражавшаяся в его глазах и позе, столь непохожая на обычное для него выражение спокойного, самоуверенного довольства, указывала, что он упражняет свои математические способности мысленным подсчетом дней, часов и минут, оставшихся нам до срока опротестования векселей и крушения великого торгового дома «Осбалдистон и Трешем». Мне, таким образом, приходилось за двоих отдавать должное гостеприимству нашего хозяина — его отменному китайскому чаю, который он получил в подарок от одного крупного судовладельца из Уэппинга; его кофе с собственной небольшой плантации на острове Ямайка, называвшейся, как он сообщил нам, подмигнув, «Рощей Соляного Рынка»; его английским гренкам и элю, его шотландской вяленой лососине, его лохфайнским селедкам и даже его камчатной скатерти, «вытканной, вы понимаете, не чьей иной рукой», как рукой его покойного отца, достопочтенного декана Джарви. Ублаготворив нашего добродушного хозяина мелкими знаками внимания, столь лестного для большинства людей, я, в свою очередь, постарался вытянуть из него некоторые сведения, которые могли послужить мне к руководству и просто к удовлетворению любопытства. До сих пор оба мы ни единым словом не намекнули на происшествия минувшей ночи, так что мой вопрос должен был прозвучать несколько неожиданно, когда я воспользовался передышкой между окончанием истории скатерти и началом истории салфеток, которую мне предстояло выслушать, и спросил напрямик:

— Кстати, мистер Джарви, кто такой этот мистер Роберт Кэмбел, с которым мы встретились прошлой ночью?

Вопрос — извините мне грубоватое выражение — огрел почтенного бэйли точно плетью; и вместо ответа он только повторил:

— Кто такой мистер Роберт Кэмбел? Гм! Н-да! Вы спрашиваете, кто такой мистер Роберт Кэмбел?

— Да, — сказал я, — я хотел бы знать, кто он и чем занимается.

— Он… Как бы это сказать? .. Гм! .. Н-да! .. Где вы познакомились с мистером Робертом Кэмбелом, как вы его зовете?

— Я встретился с ним случайно несколько месяцев тому назад на севере Англии.

— Так что же, мистер Осбалдистон, — сказал, не сдаваясь, бэйли, — вы знаете о нем ровно столько же, сколько и я.

— Не думаю, мистер Джарви, — возразил я. — Вы ему, как видно, родственник и друг.

— Да, конечно, нас связывает некоторое дальнее родство, — уклончиво отвечал судья, — но мы редко видимся с той поры, как Роб отошел от торговли скотом, бедняга! С ним круто обошлись люди, которые могли бы отнестись к нему лучше, — и они не заработали на этом ни полшиллинга. Многие сейчас жалеют, что в свое время вытеснили Робина с глазговского рынка; многие предпочли бы, чтоб он и сейчас ходил за гуртом скота в три сотни голов, а не во главе тридцати двуногих скотов.

— Все это ничего не говорит мне, мистер Джарви, ни о звании мистера Кэмбела, ни о его образе жизни и средствах к существованию.

— О его звании? — повторил мистер Джарви. — Он, понятно, шотландский дворянин — лучшего звания и нечего желать. А образ жизни? У себя в горах он, я полагаю, носит одежду горца, хотя, когда является в Глазго, надевает штаны. А что касается средств к существованию — какое нам дело до его средств, если он у нас с вами ничего не просит? Но сейчас мне некогда о нем судачить — надо нам поскорее разобраться в делах вашего отца.

С этими словами он надел на нос очки и углубился в просмотр документов мистера Оуэна, с которыми тот счел самым разумным ознакомить его без утайки. Я достаточно смыслил в этой области, чтобы оценить исключительную остроту и проницательность, с какою мистер Джарви высказывался о делах, предложенных на его рассмотрение. И надо отдать ему должное, он выказал редкую порядочность и даже широту натуры. Правда, он не

раз почесывал за ухом, когда видел, каково сальдо в дебете его счета с торговым домом «Осбалдистон и Трешем».

— Будут изрядные потери, — заметил он. — И, честное слово, что бы там ни говорили лондонские толстосумы, а для маленького человека с Соляного Рынка в Глазго это тяжелый удар. Пахнет большим дефицитом — придется выложить денежки из кубышки! Но что ж такого? Надеюсь, все-таки ваша фирма из-за всех этих передряг окончательно не прогорит. А если даже и кончится дело крахом, я никогда не дойду до такой низости, как эти вороны с Гэллоугейта. Пусть даже я и понесу убытки — не могу же я отрицать, что в свое время вы дали мне заработать не один фунт стерлингов. На худой конец я только, как говорится, «приставлю голову свиньи к хвосту поросенка».

Мне был не совсем понятен смысл поговорки, которой утешал себя мистер Джарви, но я видел, что к устройству дел моего отца он относится с благосклонным и дружеским участием. Он предложил кое-какие мероприятия, одобрил некоторые планы Оуэна и своими советами и поддержкой значительно приободрил опечаленного представителя фирмы «Осбалдистон и Трешем».

Так как я оставался при этом праздным зрителем, а может быть, и потому, что я неоднократно делал поползновение возвратиться к запретной и явно затруднительной теме о мистере Кэмбеле, мистер Джарви без особых церемоний спровадил меня, посоветовав прогуляться к колледжу, где я могу встретить молодых людей, которые умеют говорить по-гречески и на латыни, — а если не умеют, то, черт их знает, зачем же тогда тратится на них такая уйма денег! — и где мне представится возможность почитать Священное писание в переводе достойного мистера Захарии Бойда; лучшей поэзии и быть не могло, — так уверяют его люди, которые знают толк в подобных вещах или должны бы знать. Он, однако, тут же смягчил свою невежливость радушным приглашением вернуться и отобедать у него ровно в час, в домашней обстановке. Будет бараний окорок, а может быть, и заливное — по сезону. Но особенно он подчеркнул, чтобы я пришел ровно в час, потому что и он и отец его, декан, всегда обедали в это время; ни для кого и ни для чего на свете они не отступали от установленного правила.

ГЛАВА XXV

Пастух фракийский так с копьем в руке
Медведя ждет — и слышит вдалеке
Сквозь шелест леса грузный быстрый шаг;
И видит — мчится тень; и знает: «Враг!
Мой кровный враг! Он смертью мне грозит;
И должен быть один из нас убит».
«Паламон и Арсит»

Я направился, как посоветовал мне мистер Джарви, по дороге к колледжу не столько в поисках развлечений, как затем, чтобы собраться с мыслями и поразмыслить, что мне делать дальше. Я бродил сначала по дворам старинных зданий колледжа, потом прошел в сад, служивший местом прогулок, и там, радуясь безлюдью (студенты были на занятиях), я прохаживался взад и вперед и думал о превратностях своей судьбы.

Обстоятельства, сопровождавшие мое первое знакомство с этим самым Кэмбелом, не позволяли мне сомневаться, что он причастен к таинственным и отчаянным предприятиям, а мистер Джарви так неохотно упоминал о нем, о его делах да и обо всем, что разыгралось ночью, что это лишь подтвердило мои подозрения. И, однако, Диана Вернон не поколебалась направить меня к этому человеку за содействием; да и у почтенного бэйли в обращении с ним сквозила странная смесь благосклонности и даже уважения с осуждением и жалостью. Что-то необыкновенное должно было быть в положении Кэмбела и в его характере. Но еще более странным казалось то, что его судьбе как бы предназначено было влиять на мою и находиться с нею в какой-то связи. Я решил при первом же удобном случае вызвать мистера Джарви на

откровенный разговор и узнать от него как можно больше об этой таинственной личности, а затем рассудить, не рискую ли я запятнать свое доброе имя, если стану и впредь поддерживать с ним тесные сношения, как он мне предлагал.

Пока я так раздумывал, мое внимание привлекли три человека, появившиеся в дальнем конце аллеи, по которой я прохаживался, и занятые, видно, очень важным разговором. То неосознанное чувство, которое предупреждает нас о приближении особенно нами любимого или ненавистного нам человека задолго до того, как мог бы его узнать равнодушный взор, внушило мне твердую уверенность, что средний из трех

— Рэшли Осбалдистон. Первым моим побуждением было подойти и заговорить с ним, вторым — проследить за ним, пока он не останется один, или по крайней мере распознать его спутников, прежде чем сойтись с ним лицом к лицу. Все трое были на таком расстоянии и так увлечены разговором, что я имел время отступить незамеченным за кусты, местами окаймлявшие аллею.

В ту пору у молодых щеголей была мода, выходя на утреннюю прогулку, накидывать поверх прочей одежды алый плащ, иногда украшенный вышивкой и позументом, и считалось особым шиком укладывать складки так, чтоб они наполовину закрывали лицо. Подделываясь под эту моду и воспользовавшись частичным прикрытием, какое давала мне живая изгородь, я мог приблизиться к двоюродному брату с уверенностью, что ни он, ни те двое не заметят меня или примут за случайного прохожего.

Я был немало удивлен, узнав в одном из его спутников того самого Морриса, по чьей милости мне пришлось предстать пред судьей Инглвудом, а в другом — мистера Мак-Витти, купца, который своим чопорным и суровым видом оттолкнул меня накануне.

Едва ли можно было бы нарочно создать союз, более опасный как лично для меня, так и для моего отца. Я вспомнил ложное обвинение Морриса, которое тот так же легко мог возобновить, как раньше со страху легко от него отказался; я вспомнил, как сильно мог Мак-Витти подорвать дело моего отца, — и уже подорвал, засадив Оуэна в тюрьму. И вот я увидел их обоих в обществе третьего — того, кто своим даром сеять раздор не многим уступал в моих глазах великому зачинателю всякого зла и вызывал во мне отвращение, граничившее с ужасом.

Когда они, поравнявшись со мной, сделали еще несколько шагов, я повернулся и, незамеченный, пошел за ними следом. У конца аллеи они расстались: Моррис и Мак-Витти ушли из сада, Рэшли же повернул назад и побрел по аллеям один. Теперь я решил остановить его и потребовать возмещения за все зло, причиненное им моему отцу, хотя в какой форме могло бы выразиться это возмещение, я и сам не знал. Я просто доверился случаю и удаче и, распахнув плащ, в который был закутан, вышел из-за кустов, заступая дорогу Рэшли, в глубоком раздумье шагавшему по аллее.

Рэшли был не из тех, кто может смутиться или растеряться при какой-либо неожиданности. Но все же, увидев меня так близко и, несомненно, прочитав на лице моем отпечаток того гнева, который горел в моей груди, он содрогнулся, словно перед неожиданным и грозным призраком.

— Удачная встреча, сэр, — обратился я к нему. — Я думал отправиться в длинное и рискованное путешествие, чтобы вас разыскать.

— Плохо же вы знаете того, кого искали, — возразил Рэшли с обычным своим невозмутимым спокойствием. — Меня всегда легко находят мои друзья и еще легче — враги. Ваш тон принуждает меня спросить, к какому разряду я должен отнести мистера Фрэнсиса Осбалдистона.

— К разряду врагов, сэр, — был мой ответ, — смертельных врагов — если вы сейчас же не загладите свою вину перед вашим благодетелем, моим отцом, и не дадите отчета, как распорядились вы его имуществом.

— Кому же, мистер Осбалдистон, — ответил Рэшли, — я, представитель и пайщик торгового дома вашего отца, должен, по-вашему, дать отчет в своих действиях, направленных к целям, совпадающим во всем с моими личными целями? Уж наверное, не молодому

джентльмену, которому при его вкусе к изящной словесности подобная беседа показалась бы скучной и невразумительной.

— Ваша насмешка, сэр, не ответ. Я от вас не отступлюсь, пока не получу полного разъяснения относительно ваших бесчестных замыслов: вы пойдете со мной в суд.

— Да будет так, — сказал Рэшли и сделал два-три шага, как бы сопровождая меня, но остановился и добавил: — Если бы я уступил вашему желанию, вы скоро почувствовали бы, у кого из нас больше причин бояться суда. Но я не хочу ускорять вашу гибель. Ступайте, юноша! Ищите забавы в мире поэтических фантазий и предоставьте будничные дела тем, кто знает в них толк и умеет их вести.

Он, я думаю, нарочно старался меня раздразнить — и достиг своего.

— Мистер Осбалдистон, — сказал я, — этот наглый тон вам не поможет. Вам следует знать, что имя, которое мы оба носим, никогда не допускало оскорбления, и в моем лице оно никогда не покроется позором.

— Вы мне напоминаете, — сказал Рэшли, метнув на меня сумрачный взгляд, — что оно было опозорено в моем лице, и напоминаете мне также, кем! Вы думаете, что я забыл тот вечер в Осбалдистон-холле, когда вы пошло и безнаказанно глумились надо мной? За оскорбление, которое может быть смыто только кровью, за то, что вы неоднократно становились мне поперек дороги, и каждый раз с ущербом для меня, за безумное упорство, с которым вы старались разрушить мои замыслы, важности которых вы не знаете и не способны оценить, — за все это, сэр, вы должны со мной расквитаться, и скоро настанет день расплаты.

— Пусть настает, когда угодно, — был мой ответ, — я его с готовностью встречу. Но вы забыли, кажется, самое тяжкое обвинение: что я имел удовольствие помочь мисс Вернон — при поддержке ее собственного здравого смысла и врожденной добродетели — выпутаться из ваших гнусных сетей.

Помню, темные глаза Рэшли зажглись настоящим огнем при этом язвительном уколе, и все же голос его сохранил тот же спокойный, выразительный тон, которым мои противник вел до сих пор разговор.

— Мои намерения относительно вас, молодой человек, — отвечал он, — были сперва менее для вас опасны и согласовались более с моим теперешним положением и полученным мною воспитанием. Но вы, я вижу, непременно желаете навлечь на себя наказание, какого заслуживает ваша мальчишеская наглость. Идите за мной следом к укромному месту, где мы можем меньше опасаться помехи.

Итак, я пошел за ним, зорко следя за каждым его движением, так как считал его способным на самые дурные поступки. Мы вышли на открытую лужайку в глухой части сада, разделанной в голландском вкусе, — подстриженные кусты живой изгороди, две-три статуи. Я был настороже — к счастью своему, потому что Рэшли обнажил шпагу и направил ее в мою грудь прежде, чем я успел сбросить плащ или вынуть клинок из ножен; только быстрый прыжок на два шага назад спас мне жизнь. Рэшли имел преимущество в оружии: его шпага, насколько я помню, была длиннее моей, а клинок был у нее трехгранный, какие теперь везде в ходу, тогда как у меня был так называемый саксонский клинок — узкий, плоский, обоюдоострый и менее послушный, чем у противника. В остальном мы были, пожалуй, равны: если я превосходил Рэшли ловкостью, то он был сильнее и хладнокровнее. В самом деле, он дрался, как дьявол, не как человек, — с ярой злобой и жаждой крови, умеряемыми той холодной расчетливостью, от которой самые дурные поступки его казались еще более дурными, превращаясь в обдуманное действие. Откровенно преследуя злую цель, он ни на миг не терял осторожности, пользовался приемом ложной атаки и всеми тонкими уловками, какие имеет в запасе искусство обороны; а тем временем готовил отчаянный выпад, который должен был привести нашу встречу к кровавой развязке.

Я, со своей стороны, дрался сперва довольно спокойно. Я был горяч и вспыльчив, но не зол, а две-три минуты ходьбы дали мне время рассудить, что Рэшли — племянник моего отца, сын дяди, который был ко мне по-своему добр, и гибель его от моей руки будет большим горем для всей нашей семьи. Поэтому я сначала пытался только обезоружить противника:

полагаясь на свое превосходство в искусстве фехтования, я думал, что сделаю это без труда. Однако мне пришлось убедиться, что силы наши равны. Два-три фортеля, гибельного следствия которых я едва избежал, заставили меня отнестись к поединку с большей осторожностью. Постепенно явное посягательство Рэшли на мою жизнь ожесточило меня, и теперь я отвечал на его выпады почти с такой же яростью, с какой дрался он, так что поединок, по всей видимости, должен был иметь трагический исход, и я сам едва не пал его жертвой. Делая сильный выпад, поскользнулся и не успел оправиться и отпарировать как надо удар, которым ответил мне противник. Все же удар не достиг цели: шпага Рэшли проткнула спереди мой камзол, слегка задела ребра и вышла сзади, продрав кафтан. Но эфес ее сильно ударил меня в грудь. Я почувствовал жестокую боль и одно мгновение был уверен, что получил смертельную рану. В жажде мести я вплотную сцепился с врагом, схватившись левой рукой за эфес его шпаги и отводя назад свою, чтобы вернее пронзить противника. Нашу смертельную схватку прервал посторонний человек. Он бросился между нами и, оттолкнув нас в разные стороны, воскликнул громко и властно:

— Как! Сыновья отцов, вскормленных одною грудью, готовы пролить братскую кровь, точно они друг другу чужие? Клянусь рукой своего отца, я изрублю в куски первого из вас, кто вздумает ударить другого!

Я глядел в изумлении. Говоривший был не кто иной, как Кэмбел. Он обнажил палаш с чашевидной рукоятью и, говоря, быстро вертел им над головой, словно в подкрепление своих слов. Рэшли и я молча глядели на неожиданного посредника, который продолжал увещевать нас, каждого по очереди.

— Неужели, мистер Фрэнсис, вы предполагаете восстановить кредит вашего отца, перерезав горло вашему двоюродному брату или дав себя заколоть в саду глазговского колледжа? А вы, мистер Рэшли, как вы думаете, станут люди вверять человеку свою жизнь и достояние, если он в такое время, когда ему поручено большое политическое дело, ввязывается в драку, точно пьяный гилли? Нечего, молодой человек, смотреть на меня волком. Если вас разбирает злоба, сорвите ее на себе самом.

— Вы зазнаетесь, пользуясь моим теперешним положением, — ответил Рэшли, — иначе вы не посмели бы вмешиваться в дело, где задета моя честь!

— Та-та-та! Я зазнаюсь? Как я могу зазнаваться? Вы, может быть, богаче меня, мистер Осбалдистон, охотно допускаю, и, может быть, из нас двоих вы более ученый, не спорю, но, думается, вы не порядочней меня и родом не выше, и для меня будет большой новостью, если скажут, что в нем вы со мной равны. Я не посмел бы? Смелости тут и не требовалось. Мне думается, я на своем веку бывал в не менее жарких схватках, чем любой из вас, и, сделав утром дело, не вспоминал о нем за обедом. Будь у меня под ногами горный вереск, а не мощеная улица или, что не многим лучше, усыпанная гравием дорожка, тогда о моей смелости не было б и речи и сами вы с трепетом слушали бы мою отповедь.

Рэшли к этому времени вполне овладел собой.

— Мой двоюродный брат, — сказал он, — не станет отрицать, что сам вызвал меня на ссору. Я ее не искал. Я рад, что нас остановили раньше, чем я успел более сурово наказать его дерзость.

— Вы ранены, молодой человек? — спросил Кэмбел с явным участием.

— Легкая царапина! — отвечал я. — Если б не ваше вмешательство, моему кузену недолго пришлось бы хвастаться, что он нанес ее мне.

— Что правда, то правда, мистер Рэшли, — сказал Кэмбел, — холодная сталь уже готова была познакомиться с кровью вашего сердца, когда я перехватил правую руку мистера Фрэнка. Но не сопите вы, как свинья, играющая на корнете из любви к искусству. Пройдемтесь со мною. У меня есть для вас новости, и вы придете в себя и простынете, как похлебка Мак-Гиббона, когда он выставляет ее за окно.

— Простите, сэр, — сказал я, — мне не раз представлялся случай убедиться в вашем добром расположении ко мне, но я не должен и не стану упускать из виду этого человека, пока он не вернет мне средства, которые были назначены на уплату по обязательствам моего отца и

которыми он вероломно завладел.

— Вы сошли с ума, молодой человек! — ответил Кэмбел. — Ничего вы не добьетесь, если сейчас пойдете с нами. Мало вам было одного — вы хотите потягаться с двумя противниками?

— Хотя бы с двадцатью, если будет нужно!

Я схватил Рэшли за ворот. Тот не сопротивлялся и только сказал с презрительной улыбкой:

— Вы видите, Мак-Грегор, он сам торопит свою судьбу! Моя ли будет вина, если она свершится? Приказ об аресте теперь уже подписан, все готово.

Шотландец был явно смущен. Он поглядел по сторонам, вперед, назад, потом заговорил:

— Я ни в коем случае не дам согласия, чтобы молодой человек расплачивался за попытку помочь отцу, который его породил. И да падет проклятье и мое и Божье на всех бэйли, судей и судебных исполнителей, шерифов, констеблей, на всю их черную свору, которая вот уже сотню лет душит, как чума, добрую старую Шотландию! Веселое было житье, когда каждый крепко держал в руках свое добро и страна не знала докуки с ордерами, и с описями, и с повестками, и со всяким крючкотворством. Еще раз повторяю: совесть моя не позволяет мне смотреть спокойно, как хотят окрутить этого бедного несмышленыша, да еще такими средствами! Уж лучше беритесь за старое и решайте спор железом, как честные люди.

— Ваша совесть, Мак-Грегор? ! — сказал Рэшли. — Вы забыли, как давно мы с вами знакомы.

— Да, моя совесть! — повторил Кэмбел, или Мак-Грегор, или как там его звали в действительности. — Она во мне еще сохранилась, мистер Осбалдистон, и в этом, пожалуй, я имею над вами преимущество. А наше знакомство… Если вы знаете, что я собой представляю, то вам известно также, что сделало меня таким, каков я есть; и, как бы вы на это ни смотрели, я б не поменялся положением с самым гордым из угнетателей, заставивших меня признать своим домом поросшие вереском скалы. Но кто такой вы, мистер Рэшли, и какое у вас оправдание, если вы стали тем, что вы есть, — это тайна вашего сердца и дня Страшного суда. А теперь, мистер Фрэнсис, разожмите руку, потому что он сказал вам правду: судьи для вас опасней, чем для него; и если бы даже ваше дело было прямым как стрела, он нашел бы способ очернить вас. Так что разожмите руку и оставьте в покое его ворот, как я уже сказал.

Свои слова он подкрепил ударом, таким неожиданным и быстрым, что сразу освободил Рэшли из моих рук, и, для большей безопасности заключив меня, несмотря на все мое сопротивление, в геркулесовы объятия, воскликнул:

— Пользуйтесь минутой, мистер Рэшли! Покажите, что пара ног стоит двух пар рук. Вам не впервой.

— Благодарите этого джентльмена, мой любезный родственник, — сказал Рэшли, — за то, что я не выплатил вам долг сполна. И если сейчас я от вас ухожу, то лишь в надежде, что скоро мы встретимся опять, но уже в такой обстановке, где нам не помешают.

Он поднял свою шпагу, отер ее, вложил в ножны и скрылся за кустами. Шотландец отчасти силой, отчасти увещаниями помешал мне кинуться за ним. И в самом деле, я начинал понимать, что этим я все равно ничего не достиг бы.

— Не есть мне хлеба, если это не так! — сказал Кэмбел, когда после некоторой борьбы, в которой доказал свое решительное превосходство в силе, он убедился, что я готов стоять спокойно. — Отроду не встречал я такого бешеного мальчишки! Я бы высек первейшего человека в стране, если б он доставил мне столько возни, сколько вы. Куда вас несет? Хотите полезть за волком в его берлогу? Знайте же, юноша, он расставил вам старую ловушку — подбил таможенную крысу Морриса поднять опять ту старую историю, а здесь я не выступлю свидетелем в вашу пользу, как у Инглвуда, не ждите! Мне вредно для здоровья наведываться к судьям из породы вигаморов. Ступайте вы домой, как пай-мальчик, нырните поглубже и ждите, пока спадет волна. Старайтесь не попадаться на глаза Рэшли, и Моррису, и этой скотине Мак-Витти. Помните о клахане Эберфойле, как был у нас уговор, и вот вам слово джентльмена, я вас не дам в обиду. А до нашей встречи держитесь потише. Я должен

выпроводить Рэшли из города, пока он чего не натворил, — где он покажет свой нос, там всегда жди какой-нибудь пакости. Помните: клахан Эберфойл!

Он повернулся и ушел, оставив меня одного размышлять о моих странных приключениях. Первой моей заботой было оправить на себе одежду и снова накинуть плащ, уложив его складки так, чтобы они скрывали кровь, струившуюся из правого бока. Едва я это сделал, как сад начал наполняться группами студентов — занятия, видимо, окончились. Я, разумеется, поспешил уйти, и по дороге к мистеру Джарви (приближался час обеда) я остановился у маленькой, невзрачной лавки, вывеска которой сообщала, что в ней обитает Кристофер Нилсон, хирург и аптекарь. Я попросил маленького мальчика, растиравшего в ступке какое-то снадобье, исхлопотать мне прием у многоученого фармаколога. Мальчик отворил дверь в заднюю комнату, где я увидел веселого старичка, который недоверчиво покачал головой, когда я, не задумываясь, рассказал ему какую-то басню о том, как я упражнялся в фехтовании и был случайно ранен, потому что у моего противника соскочила пуговица с острия рапиры. Приложив к моей пустяковой ране корпию и что-то еще, что он считал полезным, аптекарь заметил:

— На рапире, нанесшей эту рану, никогда и не было пуговицы. Эх, молодая кровь! Молодая кровь! Но мы, хирурги, умеем держать язык за зубами. Не будь на свете горячей крови да больной крови, что сталось бы с двумя учеными сословиями — аптекарей и хирургов?

Высказав это нравственное соображение, он отпустил меня, и я после этого не ощущал особенной боли или беспокойства от полученной царапины.

ГЛАВА XXVI

Народ железный там живет в горах,
Он жителю равнин внушает страх.
Твердыню скал обводит гордый глаз,
Приют нужды и воли, — и не раз
Уверенностью вскормленная сила
Низине разорением грозила.
Грэй

— Что вас так задержало? — спросил мистер Джарви, когда я вошел в столовую этого честного джентльмена. — Час давно пробило, сейчас уже добрых пять минут второго. Мэтти два раза подходила к дверям с блюдом на подносе, и ваше счастье, что сегодня у нас на обед голова барашка,

— она от задержки не испортится. Овечья голова — та, если чуточку ее переварить, — сущий яд, как, бывало, говаривал мой достойный отец. Он больше всего любил ушко — правильный был человек!

Я должным образом извинился за свою неаккуратность, и вскоре меня усадили за стол, где председательствовал мистер Джарви, с великим усердием и гостеприимством понуждая и меня и Оуэна оказывать шотландским лакомствам, под которыми ломился его стол, больше чести, чем это было приемлемо для нашего южного вкуса. Я лавировал довольно успешно, пользуясь теми светскими навыками, которые помогают человеку спастись от такого рода благожелательного преследования. Но на Оуэна смешно и жалко было смотреть: придерживаясь более строгих и формальных понятий о вежливости и желая всеми законными средствами почтить и уважить друга нашей фирмы, он со скорбной покорностью глотал кусок за куском паленую шерсть и расхваливал это блюдо срывающимся голосом, в котором отвращение почти заглушало учтивость.

Когда сняли скатерть, мистер Джарви собственной рукой замешал небольшую чашу бренди-пунша — первую, какую довелось мне выпить.

Лимоны, поведал он нам, были с его собственной маленькой заморской фермы (в Вест-Индии, как показало нам пояснительное движение его плеча), а рецепт составления

напитка он узнал от старого капитана Коффинки, который сам перенял это искусство, как полагают в народе, — шепотом добавил бэйли — от вест-индских пиратов.

— Но напиток превосходный, — сказал он, потчуя нас. — Ведь нередко на дурном рынке можно купить хороший товар. И надо сказать, капитан Коффинки, когда я водил с ним знакомство, был вполне достойный человек, только вот божился он отчаянно. Он умер, бедняга, и дал свой отчет Всевышнему, и я надеюсь, что отчет его принят, надеюсь, что принят.

Пунш показался нам чрезвычайно вкусным и привел к долгому разговору между Оуэном и нашим хозяином о выгоде соединения королевств, открывшего для Глазго благотворительную возможность завязать торговлю с британскими колониями в Америке и Вест-Индии и благодаря новым рынкам расширить свой вывоз. Однако на замечание Оуэна, что Шотландии трудно было бы удовлетворить американский спрос, не закупая товаров в Англии, мистер Джарви стал возражать горячо и красноречиво:

— Ну нет, сэр, мы твердо стоим на своих ногах и нащупываем все, что нужно, на дне своей кошелки. В Стерлинге есть у нас шевиот, в Массельбурге — дамское сукно, в Эбердине — чулки, Эдинбург поставляет нам шелун и всякие сорта шерстяной пряжи; и есть у нас полотно всех сортов, лучше и дешевле, чем у вас, в Лондоне; а ваши североанглийские товары — манчестерскую мануфактуру, шеффилдскую сталь, ньюкаслскую глиняную посуду — мы покупаем не дороже, чем вы у себя в Ливерпуле. А с бумажными тканями и с муслинами мы делаем просто чудеса. Так-то, сэр! Дайте каждой селедке висеть на своей голове, каждой овце — на собственном окороке, и вы увидите, сэр, что мы, глазговцы, не так уж сильно от вас отстали, — как бы еще не пришлось вам нас догонять. Вам скучно слушать нашу беседу, мистер Осбалдистон, — добавил он, заметив, что я давно молчу, — но вы знаете пословицу: коробейник всегда говорит о своем коробе.

Я извинился и объяснил, что причина моего рассеянного внимания — печальные обстоятельства и необычное приключение, случившееся со мною утром. Таким образом я достиг того, чего искал, — удобного случая ясно, без помехи рассказать свою повесть. Я только умолчал о полученной ране, находя, что она не заслуживает упоминания. Мистер Джарви слушал с большим вниманием и явным интересом, моргая серыми глазками, часто прикладываясь к табакерке и перебивая меня только короткими восклицаниями. Когда я дошел в своем отчете до поединка и Оуэн сложив руки, возвел глаза к небесам — живой образ скорбного удивления, — мистер Джарви перебил мой рассказ словами:

— Нехорошо, очень нехорошо! И Божеский закон и человеческий запрещают обнажать меч против родича; обнажать же меч на улице королевского города есть преступление, наказуемое штрафом и тюрьмой; дворы колледжей в этом смысле не дают никаких привилегий — в таких местах, мне кажется, надлежит соблюдать покой и тишину. Колледж получает добрых шестьсот фунтов в год из епископских доходов (к большому огорчению для епископской братии) и субсидию от самого глазговского архиепископа вовсе не для того, чтобы разные бездельники учиняли драки на его дворе или чтоб озорники мальчишки кидались там снежками, как они это нередко себе позволяют: когда мы с Мэтти там проходим, мы должны то и дело приседать и кланяться или же идти на риск, что нам раскроят головы. Тут бы надо принять кое-какие меры. Но продолжайте ваш рассказ. Что случилось дальше? *note 72*

Едва я упомянул о появлении мистера Кэмбела, Джарви встал, сильно удивленный, и зашагал по комнате, восклицая:

— Опять Робин! .. Роберт сошел с ума, просто спятил, рехнулся! Роб дождется, что его

Note72

Шотландские мальчишки в прежние времена устраивали в снегопад нечто вроде сатурналий, забрасывая прохожих комками снега. Но те, кому грозила неприятность попасть под обстрел, могли откупиться легким штрафом: женщины — реверансом, мужчины — поклоном. Гроза обрушивалась только на неучтивого упрямца. (Прим. автора.)

повесят, и позор падет на всю его родню. Разговоров тогда не оберешься! Мой отец, почтенный декан, выткал его первые штаны, а декан Триппи, сучильщик каната, чего доброго, сплетет ему последний галстук! Да, бедный Робин идет прямой дорогой к виселице… Но продолжайте, продолжайте. Послушаем, чем это кончилось.

Я старался вести свое изложение как можно обстоятельней, но мистер Джарви все же находил в нем кое-какие неясности, пока я не вернулся вспять и не рассказал, хоть и очень неохотно, свою повесть о Моррисе и о встрече с Кэмбелом в доме судьи Инглвуда. Мистер Джарви серьезно выслушал все до конца и довольно долго хранил молчание, когда я закончил рассказ.

— Теперь я должен, мистер Джарви, попросить относительно всех этих дел вашего совета, который, я уверен, укажет мне верный путь, как поправить мне дела отца и оградить мою собственную честь.

— Вы правы, молодой человек, вы правы, — сказал бэйли, — всегда обращайтесь за советами к тому, кто старше вас и умнее; не уподобляйтесь нечестивому Ровоаму, который держал совет с кучкой безбородых юнцов, обходя старых советников, сидевших у ног отца его Соломона и, несомненно, причастных к мудрости его, как справедливо заметил мистер Мейклджон в своей проповеди на текст из соответственной главы. Но я ничего не желаю слышать о «чести» — мы знаем здесь только кредит. Честь — человекоубийца и кровожадный буян, затевающий драки на улицах, а кредит — достойный, честный человек, который сидит дома у огня и следит за своим котелком.

— Совершенно верно, мистер Джарви, — сказал мой друг Оуэн, — кредит — это итог баланса. Если б только мы могли его спасти какой угодно ценой…

— Вы правы, мистер Оуэн, вы правы. Вы говорите хорошо и мудро, и, я надеюсь, мячи у нас пойдут как надо, хотя сейчас они и забирают немного вкось. А что касается Робина, я держусь того мнения, что он, если это будет в его силах, поможет юноше. У него доброе сердце, у бедного Робина; и хоть я потерял по его прежним обязательствам двести фунтов стерлингов и не очень-то надеюсь получить назад даже и ту тысячу шотландских фунтов, которую он мне сейчас обещает, я все-таки всегда повторю, что Робин с каждым готов поступить по справедливости.

— Значит, я могу, — спросил я, — считать его честным человеком?

— Гм! .. — откликнулся Джарви и осторожно прокашлялся. — Да, он по-своему честен — честностью горца; честен, как говорится, на свой манер. Мой отец, декан, всегда, бывало, смеялся, объясняя мне, откуда взялась такая присказка. Некто капитан Костлет вечно говорил о своей преданности королю Карлу, и клерк Петтигру (вы услышите еще о нем немало занятных историй) спросил капитана, каким же это он манером служил королю, сражаясь против него под Вустером в армии Кромвеля. Но капитан Костлет был боек на язык. Вот он и ответил, что служил королю «на свой манер». Отсюда и пошла присказка.

— И вы полагаете, — сказал я, — что Кэмбел сможет услужить мне «на свой манер» и что я смело могу ехать на назначенное им свидание?

— По-моему, откровенно говоря, стоит попытаться. Вы видите сами: оставаться здесь вам небезопасно. Пройдоха Моррис получил место при таможне в Гриноке — в портовом городке на Форте, неподалеку отсюда; и хотя всему свету известно, что он двуногая тварь с гусиной головой и цыплячьим сердцем, которая разгуливает по пристани и пристает к добрым людям со всякими разрешениями, клеймами, пломбами и прочими скучными материями, — все же, если он подаст жалобу, всякий судья посодействует ему, и вы можете очутиться за решеткой, что вряд ли хорошо отразится на делах вашего отца.

— Правильно, — ответил я. — Но едва ли я исправлю их, если уеду сейчас из Глазго, откуда, по всей вероятности, Рэшли будет вести свои происки, и доверюсь сомнительной поддержке человека, о котором я только и знаю, что он боится правосудия и, бесспорно, имеет на то веские причины, — человека, который к тому же ради тайной и, вероятно, опасной цели состоит в тесной связи и союзе с виновником нашего разорения — если оно свершится.

— Ох, вы строго судите Роба! — сказал бэйли. — Строго вы судите, мой бедный

мальчик. Все дело в том, что вы совсем не знаете Верхнюю Шотландию — Горную Страну, как мы ее зовем. У горцев совсем другой уклад, чем здесь, у нас: нет у них ни суда народных представителей, ни бэйли, ни выборных властей, которые недаром носят меч и стоят на страже закона, как стоял мой отец, достойный декан, — упокой Господь его душу! — и, смею сказать, как сам я стою в настоящее время вместе с прочими членами нашего глазговского магистрата. А у горцев — как лэрд приказал, так тому и быть. Они не знают иного закона, кроме длины своего клинка. Палаш у них истец, а щит ответчик; кто сохранил голову на плечах, тот и прав, — другой правды в Горной Стране не найти.

Оуэн глубоко вздохнул. Признаюсь, такая характеристика не слишком укрепила во мне желание отправиться в страну, такую беззаконную, какой описал нам бэйли Горную Страну.

— Мы, сэр, — добавил Джарви, — мало говорим об этих вещах, потому что нам они и так хорошо известны. А что проку хулить свою родину и порочить своих соплеменников перед южанами и чужестранцами? Только дурная птица гадит в собственном гнезде.

— Вы правы, сэр. Но так как меня толкает на расспросы не дерзкое любопытство, а подлинная необходимость, я надеюсь, вас не оскорбит мое желание получить от вас еще кое-какие сведения. Мне придется вести дела от имени отца с несколькими джентльменами, уроженцами этой дикой страны, и я должен обратиться к вашему ясному разумению и опытности — так сказать, попросить у вас светильник, чтобы мне не блуждать в потемках.

Скромная доза лести не пропала даром.

— Опытность! — сказал мистер Джарви. — Да, опыт у меня, бесспорно, есть, и я сделал кое-какие подсчеты, да и, говоря между нами, я даже навел некоторые справки через Эндрю Уайли, своего бывшего клерка. Сейчас он служит у «Мак-Витти и Компания», но в субботу после службы он иногда выпивает стаканчик с прежним своим хозяином. И раз вы говорите, что намерены следовать совету глазговского ткача, не такой я человек, чтоб отказать в нем сыну негоцианта, с которым я издавна веду дела, и мой покойный отец, декан, тоже был не таким человеком. Я не раз подумывал зажечь светильник перед герцогом Аргайлом или его братом, лордом Айлеем (зачем же прятать светильник под колпаком?). Но большие люди не стали бы слушать человека вроде меня, какого-то жалкого суконщика, — для них важно, кто говорит, а не что, по сути, говорится. Тем хуже, тем хуже! То есть я не хочу сказать ничего дурного о Мак-Каллуморе. «Не кляни богатого и в спальне своей, — говорит сын Сираха, — ибо птица небесная может разнести твои слова, и у жбана длинные уши».

Опасаясь, как бы за таким предисловием не последовала длинная речь, я прервал мистера Джарви, сказав, что мы с Оуэном будем держать в строгой тайне все, что будет сообщено нам доверительно.

— Не в том дело, — ответил бэйли, — я никого не боюсь. Чего мне бояться? В моих словах нет крамолы. Но у горцев цепкие руки, а я иногда заезжаю в их горные долины проведать кого-нибудь из родни, и мне не хотелось бы ссориться ни с одним кланом. Да, на чем же мы остановились? Я, вы понимаете, основываю свои замечания на цифрах, а цифры, как хорошо известно и мистеру Оуэну, — единственный подлинный и осязательный корень человеческого знания.

Оуэн охотно подтвердил высказанное положение, столь согласное с его собственными взглядами, и наш оратор продолжал:

— Горная Страна, как зовется у нас этот край, дорогие джентльмены, представляет собой совсем особенный, дикий мир: лощины, леса, пещеры, озера, реки, горы такие высокие, что самому дьяволу не долететь до их вершины в один перелет. В той стране и на островах, которые немногим лучше, а по совести сказать, даже хуже материка, имеется около двухсот тридцати приходов, включая оркнейский, где говорят, я сам не знаю, по-гэльски ли или на другом каком языке, но жители его совершенно нецивилизованный народ. Так вот, сэр, я кладу на каждый приход по самому умеренному счету восемьсот человек, не считая детей до девятилетнего возраста, а затем прикинем одну пятую на ребятишек девяти лет и моложе. Итого имеем население круглым счетом… восемь разделить на четыре пятых, это будет у нас множимое, двести тридцать — множитель…

— Произведение, — подсказал мистер Оуэн, с восхищением следивший за статистикой мистера Джарви, — составит двести тридцать тысяч.

— Правильно, сэр, совершенно правильно. А войсковое ополчение по Горной Стране, где призывается каждый мужчина, способный носить оружие, от восемнадцати до пятидесяти шести лет, должно составлять без малого пятьдесят семь тысяч пятьсот человек. Так вот, сэр, печальная и страшная истина: половина этих несчастных ходит без работы, без всякой работы, иными словами — земледелие, скотоводство, рыболовство и все другие виды честного промысла в стране не могут охватить и половины населения, дать людям возможность работать хотя бы так лениво, как они сами пожелали бы, — а они работают обычно так, точно плуг или заступ обжигает им руки. Прекрасно, сэр! Значит, безработная половина населения достигает…

— … ста пятнадцати тысяч душ, — подсказал Оуэн, — половины найденного нами произведения.

— Правильно, мистер Оуэн, правильно… Из которых имеем двадцать восемь тысяч семьсот здоровяков, способных носить оружие, — они его носят и палец о палец не ударят, чтоб заработать на пропитание честной работой, даже если б она у них и была; сейчас у них ее нет и не предвидится.

— Но возможно ли, мистер Джарви! — сказал я. — Неужели такова подлинная картина жизни столь значительной части острова Великобритания?

— Сэр, вам это сейчас покажется простым и очевидным, как палка Питера Пейсли. Допустим, что в каждом приходе занято в среднем пятьдесят плугов, — это совсем немало, если вспомнить, на какой жалкой почве приходится работать этим беднякам, — и что в нем хватает пастбищ на соответственное количество упряжных лошадей и быков и на сорок — пятьдесят коров. Так вот, положим на обслуживание этих плугов и скота семьдесят пять семей, по шесть душ в каждой, да накинем для круглого счета еще пятьдесят: итого получим пятьсот человек на приход — ровно половина населения! — занятых трудом и получающих возможность кое-как прокормиться коркой хлеба да кислым молоком. Но хотел бы я знать, что должны делать остальные пятьсот?

— Боже милостивый! — вскричал я. — Но что же они все-таки делают, мистер Джарви? Меня бросает в дрожь, когда я подумаю, в каком они положении!

— Сэр, — ответил бэйли, — вас и не так бы еще зазнобило, доведись вам пожить с ними бок о бок. Допустим даже, что половина из них может честно заработать кое-что в Нижней Шотландии, нанимаясь в пастухи, помогая при уборке сена и хлеба, на разных промыслах, — все же остается еще много сотен и тысяч долгоногих горцев, которые не находят работы и слоняются, побираясь *note 73* по своим знакомым, или живут, выполняя повеление лэрда, правые и неправые. А кроме того, многие сотни горцев спускаются к границе Низины, где есть что взять, и живут воровством, разбоем, уводом скота, всяческим хищничеством, — обстоятельство весьма прискорбное для христианской страны. И, что хуже всего, — они этим гордятся! На их взгляд, угнать стадо чужого скота — доблестный подвиг, который больше подобает «порядочному человеку», как величают себя эти разбойники, нежели честный поденный труд ради куска хлеба. А лэрды ничуть не лучше этих голодранцев; они, правда, не приказывают им воровать и разбойничать, но и не запрещают. Черта с два — запретишь! После любой проделки они укрывают их или разрешают укрываться в своих лесах, и горах, и замках. Каждый лэрд содержит при себе столько бездельников одного с ним имени, или, как мы говорим, клана, сколько он может навербовать и прокормить, — или, что одно и то же, всех, кто может каким бы то ни было способом, честным или бесчестным, сам промыслить себе хлеб около него. И вот они бродят с ружьем и пистолетом, с ножом и дурлахом (Кожаной

Note73

Это был особый вид благородного нищенства, вернее — нечто среднее между нищенством и разбоем, когда неимущий шотландец вымогал скот или какие-нибудь средства к существованию у тех, кто мог что-нибудь дать. (Прим. автора.)

сумкой.), готовые по первому слову лэрда нарушить мир в стране. И в этом — несчастье Горной Страны, которая и сейчас и тысячу лет назад — всегда была гнездом самых отъявленных, самых нечестивых беззаконников, постоянно тревоживших благонравное население долин по соседству, таких, как наш западный Лоуленд.

— А этот ваш родственник и мой друг — он один из таких крупных владельцев, содержащих при себе небольшое собственное войско? — спросил я.

— О нет, — сказал мистер Джарви, — он не принадлежит к знати, к вождям, как у нас их зовут, вовсе нет. Но все же он хорошего рода, прямой потомок старого Гленстрэ, — мне, понятно, известна его родословная: ведь он мой близкий родственник и как-никак отпрыск благородного шотландского корня, как я уже говорил, хотя, смею вас уверить, я не придаю значения этой чепухе: это все равно что отсвет месяца на воде: одни, как мы говорим, очески. Но я могу показать вам письма от его отца, потомка Гленстрэ в третьем колене, к моему отцу, декану Джарви (благословенна будь его память!), которые все начинаются словами: «Дорогой наш декан», и подписаны: «Ваш любящий, готовый к услугам родственник». Почти во всех этих письмах речь идет о деньгах, взятых в долг, так что покойный декан хранил их как документ и свидетельство: он был предусмотрительный человек.

— Но если ваш родственник и не принадлежит к их вождям или патриархальным предводителям, о которых мне немало рассказывал мой отец, — вернулся я к своей теме, — то все же он пользуется в Горной Стране большим влиянием, не правда ли?

— Что верно, то верно: от Леннокса до Бредалбейна нет более известного имени. Робин был когда-то преуспевающим трудолюбивым скотоводом, какого встретишь одного на десять тысяч. Любо-дорого было смотреть, когда он в затянутом поясом пледе, в брогах, с круглым щитом за спиной, с палашом и кинжалом у пояса шел следом за сотней горных бычков и двенадцатью молодцами, такими же косматыми и дикими, как погоняемый ими скот. В делах он был всегда справедлив и вежлив, и если ему казалось, что мелкий торговец, бравший у него скот на перепродажу, плохо заработал, он возмещал ему из собственного барыша. Я знаю случаи, когда он отдавал таким образом по пять шиллингов с фунта.

— Двадцать пять процентов, — сказал Оуэн. — Высокий процент!

— Тем не менее, сэр, говорю вам, он отдавал охотно, в особенности если думал, что покупатель — бедный человек и убыток ему не под силу. Но настали тяжелые времена, а Роб любил рисковать. Моей вины тут не было, ему не в чем меня упрекнуть: я всегда старался его образумить. Кредиторы, в особенности кое-кто из крупных владельцев, его соседей, наложили руку на весь его скот и на землю. И, говорят, жену его прогнали из дому — просто вышвырнули за порог, да еще поглумились над ней вдобавок. Стыд и срам! Я мирный человек и член магистрата, но если бы кто обошелся с моей служанкой Мэтти так, я, пожалуй, вынул бы из ножен саблю, служившую моему отцу, декану, в деле при Босуэле. Вернулся Роб домой и нашел полное запустение — помилуй нас, Господи! — там, где оставил полную чашу. Он поглядел на восток и на запад, на юг и на север, и видит: помощи нет ниоткуда — нет нигде ни крова, ни защиты. Надвинул он шляпу на лоб, заткнул за пояс обоюдоострый меч и подался в горы, стал жить «своим законом».

У доброго горожанина прерывался голос от кипевших в нем противоречивых чувств. Он хоть и выказал пренебрежение к родословной своего родича-горца, но, по-видимому, втайне гордился этим родством и говорил о своем друге с глубокой и явной симпатией, покуда речь шла о его счастливой поре, и с сочувствием к нему в его невзгодах.

— И после таких испытаний, — сказал я, видя, что мистер Джарви не думает продолжать свой рассказ, — ваш родственник с отчаяния сделался, верно, одним из тех грабителей, о которых вы нам рассказывали?

— Нет, не так уж худо, — сказал бэйли, — до такой крайности он все же не дошел. Но он стал собирать черную дань так широко, как она никогда еще не взималась в наши дни — по всему Ленноксу и Ментейту, вплоть до ворот замка Стерлинг.

— Черную дань? Я не совсем понимаю… — сказал я.

— Видите ли, Роб вскоре собрал вокруг себя шайку синих шапок, потому что он носит

грозное имя, которое наводит страх на всех, кто его слышит… его настоящее имя! Он из рода, который долгие годы брал всегда свое, шел против короля и против парламента, даже, насколько мне известно, против церкви — древний и почтенный род, как ни жестоко его сейчас давят, притесняют и гонят. Моя мать была из Мак-Грегоров, мне нет нужды это скрывать. Так вот, Роб собрал вскоре шайку удальцов; и так как ему (говорил он) было больно смотреть на такой разор, на разбой и грабеж, опустошавший страну к югу от границы Горной Страны, — вот Роб и предложил: если какой-нибудь лэрд или фермер согласен платить ему четыре шотландских фунта с каждой сотни фунтов своих доходов в переводе на деньги (что составляет, конечно, довольно скромный процент), то он, Роб, обязуется обеспечить владельцу неприкосновенность его имущества. Случись, что уведут у него воры хоть одну овцу, Роб обязуется ее вернуть или уплатить ее стоимость. И он всегда держит слово, не могу отрицать, всегда держит слово, — каждый скажет, что Роб свое слово держит.

— Очень странный вид страхового контракта, — сказал мистер Оуэн.

— Конечно, спору нет, он идет вразрез с нашим уложением, — сказал Джарви, — совершенно вразрез; взимание и выплата черной дани караются законом. Но если закон не может оградить от ограбления мой хлев и амбар, почему не заключить мне договор с шотландским джентльменом, который может это сделать? Ответьте, почему?

— Но простите, мистер Джарви, — сказал я, — этот договор о черной дани, как вы ее зовете, вполне ли он доброволен со стороны лэрда или фермера, платящего страховку? Что случится с тем, кто откажется выплачивать дань?

— Ага, молодой человек, — сказал бэйли и со смехом приставил палец к носу, — думаете, вы меня поймали? Правда, я всем своим друзьям посоветовал бы договориться с Робом, иначе сколько бы они ни глядели, что бы ни делали, их непременно ограбят, когда пойдут длинные ночи. Кое-кто из лэрдов по кланам Грэма и Кохуна отказался от страховки. И что же? В первую же зиму они лишились всех своих запасов. Так что большинство считает теперь, что лучше вступать с Робом в соглашение. Он хорош со всяким, кто хорош с ним; но если вы с ним в ссоре… лучше ввяжитесь в ссору с дьяволом!

— И, как я понимаю, благодаря своим подвигам на этом поприще, — продолжал я, — он теперь не в ладу с правосудием?

— Не в ладу? Да, можно сказать — не в ладу. Его шея узнает вес его окороков, если он дастся им в руки. Но у Роба есть добрые друзья среди сильных мира сего; могу вам назвать одну весьма влиятельную семью, которая всячески его поддерживает — насколько позволяют приличия — назло другой семье. Да и то сказать, в наше время среди удальцов, промышляющих разбоем, не было еще такой умной и тонкой бестии, как Роб. Много ловких проделок он совершил — не одну книгу можно было бы ими заполнить! И были среди них проделки очень странные, в духе Робин Гуда и Уильяма Уоллеса — столько отчаянных подвигов, побегов из тюрьмы, таких, что люди рассказывают о них у камелька в глухие зимние вечера. Странная вещь, джентльмены: вот я как будто мирный человек и сын мирного человека, потому что мой отец, декан, ни с кем никогда не ссорился вне стен магистрата, — так вот, говорю я, странная вещь: мне кажется, кровь исконного горца разгорается в моих жилах при этих захватывающих рассказах, и я иногда выслушиваю их охотней, чем сообщение о барыше, да простит меня господь! Но они — тщета и суета, греховная суета, противная к тому же уголовным и евангельским законам.

Продолжая исподволь свое «следствие», я спросил, каким путем мистер Роберт Кэмбел может оказать влияние на дела мои и моего отца.

— Надо вам знать, — сказал мистер Джарви, совсем понизив голос, — я говорю среди друзей и под большим секретом, — надо вам знать, что с восемьдесят девятого года, то есть после Килликрэнки, в горах у нас было спокойно. Но чем, вы думаете, поддерживалось это спокойствие? Деньгами, мистер Оуэн, деньгами, мистер Осбалдистон. По заказу короля Вильгельма Бредалбейн роздал среди горцев добрых двадцать тысяч фунтов стерлингов, и львиную долю из них старый граф удержал, говорят, в собственном кошельке. Потом королева Анна, покойница, выдавала кое-какие пособия вождям, чтобы им было на что

содержать своих удальцов, — работать они не работают, как я уже говорил; вот они и сидели, в общем, тихо, разве что учинят, по своему исконному обычаю, набег на Низину и угонят скот или затеют резню между собой, о которой цивилизованный человек не узнает и знать не захочет. Отлично. Но теперь, со времени короля Георга (все ж таки скажу: да благословит его Бог!), порядок пошел иной: в горах теперь не пахнет ни раздачей денег, ни пособиями; у вождей нет средств содержать кланы, которые их объедают, как вы могли понять из того, что я сказал вам раньше; кредита в Нижней Шотландии они лишились; человек, которому довольно свистнуть — и тысяча удальцов, а то и полторы кинутся выполнять его волю, — такой человек с трудом получит сейчас в Глазго пятьдесят фунтов на прокорм своей шайки. Долго так продолжаться не может: будет восстание в пользу Стюартов, непременно будет восстание. Горцы ринутся на Нижнюю Шотландию, как было в печальные времена Монтроза, — года не пройдет, как мы станем тому свидетелями.

— Все же, — сказал я, — мне непонятно, с какой стороны это касается мистера Кэмбела, а тем более дел моего отца.

— Роб может поднять пятьсот человек, сэр, а потому война касается его так же близко, как и многих других, — ответил бэйли. — Его ремесло гораздо менее доходно в мирное время. Потом, сказать по правде, я подозреваю в нем главного посредника между некоторыми вождями Горной Страны и североанглийскими джентльменами. Все мы слышали о том, как Роб и один из молодых Осбалдистонов отобрал у ротозея Морриса казенные деньги где-то в Чевиотских горах; сказать по правде, шла даже молва, будто в ограблении участвовали именно вы, мистер Фрэнсис, и я был огорчен, что сын вашего отца пускается на такие проделки. Ну-ну, вам ничего не нужно говорить — я вижу, что ошибался. Но про актера я поверил бы чему угодно, — а ведь я считал вас тогда актером. Но теперь я не сомневаюсь, что это был Рэшли или кто другой из ваших двоюродных братьев, — все они одним дегтем мазаны: ярые якобиты и паписты и считают государственные деньги и государственные документы своей законной добычей. А эта тварь Моррис — презренный трус: он и по сей час не смеет заявить, что чемодан у него отнял не кто другой, как Роб. Впрочем, может он и прав, потому что таможенных и акцизников нигде не любят, и Роб может расправиться с ним втихую, прежде чем департамент (так он у вас зовется?) успеет ему помочь.

— Я это давно подозревал, мистер Джарви, — сказал я, — и вполне с вами согласен, но дела моего отца…

— Вы подозревали? Это достоверный факт! Я знаю людей, которые видели своими глазами отобранные у Морриса бумаги, — не будем спрашивать, где. А про дела вашего отца скажу вам вот что. За последние двадцать лет некоторые вожди и лэрды Горной Страны научились понимать, что им выгодно, а что нет. Ваш отец, как и другие дельцы, скупал леса в Глен-Диссеризе, Глен-Киссохе, Тобернакиппохе и других местах, и ваш торговый дом расплачивался векселями на крупные суммы; и так как кредит фирмы «Осбалдистон и Трешем» стоял высоко (я скажу в лицо мистеру Оуэну, как сказал бы за его спиной, что до последних несчастий, ниспосланных Господом, не было в деловом мире более уважаемого имени), джентльмены Горной Страны, держатели векселей, всегда находили кредит в Глазго и Эдинбурге (я мог бы сказать — просто в Глазго, потому что кичливые эдинбуржцы принимают мало участия в настоящих делах) на всю или почти на всю означенную в векселе сумму. Так что… Ну, теперь вы поняли?

Я сознался, что не совсем уловил его мысль.

— Да как же, — сказал он, — если векселя не будут оплачены, глазговский купец нагрянет в горы к лэрдам, у которых денег кот наплакал, и станет тянуть из них жилы, доведет их до отчаяния; пятьсот человек из тех, кто мог бы спокойно сидеть дома, встанут все как один — и черт их тогда угомонит! Так что прекращение платежей торговым домом вашего отца ускорит взрыв, давно у нас назревавший.

— Значит, вы полагаете, — сказал я, удивленный столь странным взглядом на дело, — Рэшли Осбалдистон нанес удар моему отцу ради того, чтоб наделать неприятностей джентльменам, которым были выданы первоначально эти векселя, и тем ускорить восстание в

Горной Стране?

— Несомненно, несомненно, это было главной его целью, мистер Осбалдистон. Разумеется, соблазняли его также и наличные деньги, которые он унес с собой. Но они составили для вашего отца сравнительно небольшую потерю, хотя, может быть, для Рэшли только в них и заключалось прямое приобретение. Лично ему в похищенных ценных бумагах проку немного — ими он может разжигать свою трубку. Он попробовал, не оплатят ли их ему «Мак-Витти и Компания», — я это знаю через Эндрю Уайли, — но те и сами старые воробьи, на мякину не польстятся. Они их отклонили, отделавшись хорошими словами. Рэшли Осбалдистон отлично известен в Глазго и доверием не пользуется, потому что в семьсот седьмом году он вертелся здесь по каким-то католико-якобитским делам и оставил за собой долги. Нет, здесь ему за бумаги ничего не получить — его возьмут на подозрение и станут допытываться, как они попали в его руки. Он их спрячет, все целиком, в каком-нибудь разбойничьем гнезде в горах, и я думаю, мой кузен Роб сможет их получить, если захочет.

— Но будет ли он расположен оказать нам помощь в беде, мистер Джарви? — сказал я. — Вы изобразили его приспешником якобитов, сильно замешанным в их интригах; захочет ли он — ради меня или, если угодно, ради справедливости — возвратить владельцу похищенное (допустим, что это в его власти) и тем самым, согласно вашему взгляду на вещи, нанести немалый ущерб замыслам своей партии?

— Точно я вам не скажу; знаю только, что главари не вполне полагаются на Роба, да и Роб не очень-то полагается на них; к тому же он всегда был дружен с семьей Аргайла, а герцог держит сторону теперешнего правительства. Будь он свободен от всех долгов да в ладу с законом, он примкнул бы скорей к Аргайлу, чем к Бредалбейну, потому что между Бредалбейнами и его собственным родом идет давнишняя вражда. Сказать по правде, Роб стоит «за самого себя», как Генри Уинд *note 74*, — он станет держаться той стороны, какая ему будет выгодней. Если бы дьявол был лэрдом, Роб стал бы у него арендатором, и при сложившихся обстоятельствах нельзя его, беднягу, за это винить! Но одно для вас нехорошо — у Роба стоит на конюшне серая кобыла.

— Серая кобыла? — повторил я. — При чем тут она?

— Его жена, дорогой мой, жена! Страшная женщина его жена. Она не переносит вида порядочного человека из Нижней Шотландии, уж не говоря об англичанах, и ей по сердцу все, что может вернуть престол королю Иакову и свергнуть короля Георга.

— Как странно, — заметил я, — что торговые дела лондонских купцов влияют на ход переворотов и восстаний.

— Ничуть не странно, дорогой, ничуть не странно, — возразил мистер Джарви, — это все ваши глупые предрассудки. В длинные зимние вечера я люблю иногда почитать. И вот я читал в «Хронике» Бэкера, что лондонские купцы поднажали на Генуэзский банк, и тот нарушил свое обещание одолжить испанскому королю изрядную сумму денег; а это на целый год задержало выход в море Великой испанской армады. Что вы на это скажете, сэр?

— Что купцы оказали своей стране неоценимую услугу, о которой история должна вспоминать с почтением.

— И я так думаю. И они хорошо сделают, большую окажут услугу и государству и человечеству, если не допустят, чтобы несколько честных лэрдов Горной Страны очертя голову кинулись на гибель со всеми своими бедными, неповинными приверженцами только потому, что не могут вернуть деньги, которые давно потратили, по праву считая своими, и если вдобавок купцы спасут кредит вашего отца, а с ним и мои кровные денежки, которые мне

Note74

В 1392 году или около того на северной окраине города Перта два больших клана разрешили свой спор битвой в присутствии короля. Каждый клан должен был выставить по тридцать человек, но на одной стороне не хватило бойца, и его место занял малорослый, колченогий пертский горожанин. Этот заместитель, Генри Уинд, или, как его называли горцы, Гоу Хром, что значит «колченогий кузнец», дрался превосходно и значительно содействовал исходу битвы, хоть и сам не знал, на чьей стороне сражался. Отсюда и пошла поговорка: драться, как Генри Уинд, «за самого себя». (Прим. автора.)

причитаются с «Осбалдистона и Трешема»! Да, говорю я, если кто-нибудь может это все уладить, он должен это сделать непременно, кем бы он ни был, хотя бы и скромным ткачом, — каждый скажет, что король с радостью возвеличил бы его почестями.

— Не возьму на себя смелость определить, как далеко будет простираться благодарность нации, — отвечал я, — но наша признательность, мистер Джарви, была бы соразмерна с оказанной нам услугой.

— Которую, — добавил мистер Оуэн, — мы занесли бы в баланс и поспешили бы оплатить, как только мистер Осбалдистон вернется из Голландии.

— Не сомневаюсь, не сомневаюсь, он весьма достойный джентльмен, весьма почтенный и, следуя моим советам, мог бы делать в Шотландии большие дела. Так вот, сэр, если удастся вырвать у филистимлян эти векселя, они будут хорошими бумагами. В надлежащих руках они настоящая ценность, а надлежащие руки — это ваши руки, мистер Оуэн. И хоть вы о нас невысокого мнения, мистер Оуэн, я подберу вам в Глазго трех человек — хотя бы Сенди Стинсона с Торгового Поля, Джона Пири с Кэндлригза, а третьего мы пока называть не будем, — и они, не требуя иных обеспечении, ссудят под эти бумаги достаточные суммы для поддержания вашего кредита.

У Оуэна загорелись глаза перед этой спасительной возможностью. Но тотчас лицо его омрачилось, когда он вспомнил, как маловероятно было, что розыски похищенных бумаг увенчаются успехом.

— Не отчаивайтесь сэр, не отчаивайтесь, — сказал мистер Джарви. — Я принял уже столько хлопот по вашему делу, что бросать его никак нельзя: увяз в болоте по щиколотки — увязнешь по колено. Я, как мой отец, покойный декан (светлая память ему!), если вмешиваюсь в дело своего друга, оно всегда становится моим личным делом. Итак, я надену завтра ботфорты и пущусь с мистером Фрэнком в Драйменмур; и если я не смогу урезонить Роба и его жену, не знаю, кто тогда сможет. Я до сих пор был им всегда добрым другом, уж не говоря о случившемся в прошлую ночь, когда довольно было мне назвать его по имени, и не снести бы ему головы. Мне еще, может быть, предстоит препираться по этому поводу в совете с бэйли Грэмом, с Мак-Витти и еще кое с кем. Они и так не раз напускались на меня из-за Роба, попрекали родством; а я отвечал им, что оправдывать виновных не намерен, но все же считаю Роба честнее любого из их братин, хоть он и преступал иногда законы страны — собирал по Ленноксу грабительскую дань, и было несколько несчастных случаев, когда он отправлял людей на тот свет. Зачем мне слушать их болтовню? Если Роб — разбойник, пусть они скажут это ему самому: нет теперь закона, чтобы человек отвечал за преступление тех, с кем он имел сношения, как было в злые времена последних Стюартов. Полагаю, во рту у меня есть язык, как у всякого шотландца: мне говорят, я отвечаю.

С большим удовольствием я наблюдал, как бэйли мало-помалу одолевает преграду осторожности, толкаемый на то сознанием гражданского долга, добрым участием к нашему делу, естественным желанием избежать убытков и получить прибыль и, наконец, изрядной дозой безобидного тщеславия. Все это вместе взятое привело его наконец к отважному решению выйти самому на поле брани и помочь мне в розысках похищенных у отца моего ценностей. Сведения, полученные от бэйли, укрепили во мне уверенность, что если наши документы — в руках северного авантюриста, то можно будет убедить его выдать их нам, так как для него они — простая бумага, обладание которой едва ли могло принести ему выгоду. И я понимал, что присутствие родственника может оказать на него воздействие. Поэтому я с радостью согласился на предложение мистера Джарви рано поутру пуститься вместе в путь.

В самом деле, почтенный джентльмен столь же легко и быстро собрался привести в исполнение свое намерение, сколь медлительно и осторожно он его составлял. Он приказал Мэтти проветрить его дорожный плащ, смазать жиром сапоги, продержать их всю ночь на кухне у огня да присмотреть, чтоб лошадке задали овса и чтоб костюм для верховой езды был в полном порядке. Условившись встретиться наутро, в пять часов, и договорившись, что Оуэн — его участие в этой поездке представлялось излишним — будет ждать в Глазго нашего возвращения, мы сердечно распростились с нашим новым ревностным другом. Я поместил

Оуэна у себя в гостинице, в комнате, смежной с моею, и, дав распоряжение Эндрю Ферсервису приготовиться к отъезду в назначенный час, удалился на покой с такими светлыми надеждами, какими давно не баловала меня судьба.

ГЛАВА XXVII

Ни деревца, куда ни глянет глаз;
Ковром зеленым луг не тешит нас;
И птиц не видно — кроме перелетных;
Не слышно пчел, ни горлиц беззаботных;
Сверкающий и ясный, как янтарь,
Ручей не плещет, где журчал он встарь.
«Пророчество о голоде»

Осеннее утро дышало живительной свежестью, когда мы с Ферсервисом встретились по уговору у дома мистера Джарви, неподалеку от гостиницы миссис Флаттер. Эндрю привел наших лошадей, и я сразу обратил внимание на его собственного скакуна: как ни жалка была кляча, великодушно пожалованная мистеру Ферсервису его юрисконсультом, клерком Таутхопом, в обмен на кобылу Торнклифа, мой слуга умудрился расстаться с нею и приобрести взамен новую, отличавшуюся самой удивительной и совершенной хромотой: она как будто пользовалась для передвижения только тремя ногами, четвертая же у нее болталась в воздухе и отсчитывала такт.

— С чего вы вздумали привести сюда этого одра, сэр? Где лошадь, на которой вы доехали до Глазго? — спросил я с понятным раздражением.

— Я ее продал, сэр. Кляча была никудышная; на корму у Лаки Флаттер она бы нажрала больше, чем стоит сама. Я, ваша честь, купил за ваш счет другую. Дешевка — по фунту с ноги. Всего четыре фунта. А шпат у нее отойдет, как проскачем милю-другую. Знаменитый бегун. Зовется Резвый Томми.

— Клянусь спасением души, сэр, — сказал я, — вы, я вижу, не угомонитесь, пока ваши плечи не познакомятся с резвостью моего хлыста! Идите сейчас же и достаньте другого коня, не то вы дорого заплатите за ваши проделки!

Эндрю, однако, не испугался моих угроз, утверждая, что ему придется уплатить покупателю гинею отступного, иначе он не получит назад своего коня. Я чувствовал, что мошенник меня надувает, но, как истый англичанин, готов был уже заплатить ему, сколько он требовал, лишь бы не терять времени, когда на крыльцо вышел мистер Джарви — в плаще с капюшоном, в ботфортах, в пледе, точно приготовился к сибирской зиме, — меж тем как двое конторщиков под непосредственным руководством Мэтти вели под уздцы степенного иноходца, который иногда удостаивался чести нести на своем хребте особу глазговского бэйли. Но, прежде чем «взгромоздиться в седло» — выражение, более применимое к мистеру Джарви, нежели к странствующим рыцарям, к которым оно отнесено у Спенсера, — он спросил о причине несогласия между мной и моим слугой. Узнав, в чем заключался маневр честного Эндрю, он тотчас положил конец спорам, заявив, что если Ферсервис не вернет немедленно трехногого одра его владельцу и не приведет обратно более годную лошадь, о четырех ногах, которую сбыл, то он, бэйли, отправит его в тюрьму и взыщет с него половину жалованья.

— Мистер Осбалдистон, — сказал он, — подрядил на службу обоих, и коня и тебя, — двух скотов сразу, бессовестный ты негодяй! Смотри, в дороге я буду следить за тобой в оба!

— Штрафовать меня бесполезно, — дерзко ответил Эндрю, — у меня нет на уплату штрафа ни медной полушки. Это все равно что снять с горца штаны.

— Если не можешь ответить кошельком, ответишь шкурой, — сказал бэйли, — уж я прослежу, чтоб тебе так или иначе воздали по заслугам.

Приказанию мистера Джарви Эндрю вынужден был подчиниться. Он только процедил сквозь зубы:

— Слишком много господ, слишком много, как сказало поле бороне, когда каждый зубец стал врезаться ему в тело.

Очевидно, он без труда отделался от Резвого Томми и восстановился в правах собственности на прежнего своего буцефала, потому что через несколько минут он вернулся, успешно совершив обмен, да и впоследствии он ни разу не пожаловался мне, что уплатил из своего кармана неустойку за расторжение сделки.

Мы тронулись в путь, но не успели доехать до конца улицы, где проживал мистер Джарви, как услышали за спиной громкие оклики и прерывистый крик: «Стой, стой!» Мы остановились, и нас нагнали два конторщика мистера Джарви, несшие два доказательства заботы Мэтти о своем хозяине. Первое выразилось в объемистом шелковом платке, громадном, похожем на парус его шхуны, ходившей по водам Вест-Индии, — мисс Мэтти настоятельно просила бэйли намотать этот платок на шею в добавление к прочим оболочкам, что тот и сделал, вняв мольбам. Второй юнец принес только словесное поручение домоправительницы, и мне показалось, плутишка, выкладывая его, еле сдерживал смех: Мэтти напоминала хозяину, чтоб он остерегался сырости.

— Ну-ну! Глупая девчонка! — ответил мистер Джарви, но добавил, обратившись ко мне: — Это, впрочем, показывает, какое у нее доброе сердце. У такой молоденькой девицы — и такое доброе сердце! Мэтти очень заботлива.

Тут он пришпорил коня, и мы выехали из города без дальнейших задержек.

Когда мы подвигались рысцой по дороге, которая вела на северо-восток от Глазго, я имел случай оценить и отметить хорошие качества моего нового друга. Как и мой отец, он считал торговые сношения самой важной стороной человеческой жизни, но в своем пристрастии к коммерции все же не пренебрегал более общими знаниями. Напротив, при его чудаковатых и простонародных манерах, при тщеславии, казавшемся тем более смешным, что он постоянно прикрывал его легкой вуалью скромности, при отсутствии тех преимуществ, какие дает научное образование, мистер Джарви обнаруживал в разговоре острый, наблюдательный, свободолюбивый и по-своему изощренный, хотя и ограниченный ум. Он оказался к тому же хорошим знатоком местных древностей и занимал меня в дороге рассказами о замечательных событиях, какие разыгрывались некогда в тех местах, где мы проезжали. Превосходно знакомый с историей своего края, он видел прозорливым глазом просвещенного патриота зародыши будущего преимущества, которые проросли и дали плоды лишь теперь, в последние несколько лет. Притом я отмечал, к большому своему удовольствию, что, будучи ярым шотландцем, ревниво оберегающим достоинство своей страны, он все же относился терпимо и к братскому королевству. Когда однажды у Эндрю Ферсервиса (которого, кстати сказать, мистер Джарви не выносил) лошадь потеряла подкову и он попробовал приписать эту случайность губительному влиянию соединения королевств, бэйли дал ему суровую отповедь:

— Полегче, сэр, полегче! Вот такие длинные языки, как ваш, сеют вражду между соседями и между народами. Так уж, видно, повелось на свете: как ни хорошо, а мы всё недовольны, всё хотим лучшего. То же можно сказать и о соединении королевств. Нигде народ так против него не восставал, как у нас в Глазго: роптали, возмущались, собирали сходки. Но плох тот ветер, который никому не навеет добра. Каждый пусть судит о броде, когда сам его испробует. А я скажу: «Да процветает Глазго!» Недаром эти слова отчетливо и красиво вырезаны на гербе нашего города. С той поры, как святой Мунго ловил в Клайде сельдей, — что и когда так способствовало нашему процветанию, как торговля сахаром и табаком? Пусть мне на это ответят, а потом порочат договор, открывший нам дорогу на дальний Запад.

Эти доводы логики отнюдь не успокоили Эндрю Ферсервиса, и он, возражая, долго еще ворчал: дескать, странное это новшество, чтоб шотландские законы составлялись в Англии; лично он за все бочонки селедок в Глазго со всеми ящиками табака в придачу не поступился бы шотландским парламентом и не отослал бы нашу корону, наш меч, и скипетр, и Монс Мег

note 75 на хранение обжорам англичанам в лондонский Тауэр. Что сказали бы сэр Уильям Уоллес или старый Дэви Линдсей по поводу соединения королевств и тех, кто нам его навязал?

Дорога, по которой мы ехали, развлекаясь подобными разговорами, стала открытой и пустынной, как только мы удалились от Глазго на милю-другую, и становилась чем дальше, тем скучней. Обширные пустоши расстилались впереди, позади и вокруг нас в своей безнадежной наготе, то плоские и пересеченные топями, расцвеченными предательской зеленью или черными от торфа, то вздыбленные большими, тяжелыми подъемами, которые по форме своей и размерам не могли быть названы холмами, но крутизной утруждали путника еще больше, чем обычные холмы. Не было ни деревьев, ни кустов, на которых глаз мог бы отдохнуть от рыжей ливреи полного бесплодия. Даже вереск был здесь той обиженной, жалкой разновидности, что почти лишена цветов, и представлял собой самую грубую и убогую одежду, в какую (насколько мне позволяет судить мой опыт) рядилась когда-либо мать-земля. Живых тварей мы не видели; изредка только пройдет небольшое стадо кочующих овец неожиданно странных мастей — черные, голубоватые, оранжевые; только на мордах и ногах преобладал у них темно-бурый цвет. Даже птицы как будто чуждались этих пустошей — и неудивительно: ведь им было совсем легко улететь отсюда; я слышал только монотонные и жалобные крики чибиса и кроншнепа, которых мои спутники называли по-северному пигалицей и каравайкой.

Впрочем, за обедом, который мы получили около полудня в захудалой корчме, нам посчастливилось убедиться, что эти унылые пискуны были не единственными обитателями болот. Хозяйка сказала, что ее хозяин «побывал под горой», и это послужило нам на пользу, ибо мы могли насладиться трофеями его охоты в виде какой-то жареной болотной дичи — блюда, составившего весьма существенное дополнение к овечьему сыру, вяленой лососине и овсяному хлебу; больше этот дом ничего не мог предложить. Незавидный эль по два пенни за кружку и стакан превосходного коньяку увенчали пиршество, а так как наши лошади тем временем отдали должное овсу, мы пустились в путь с обновленными силами.

Бодрость, приданная недурным обедом, помогла мне справиться с унынием, незаметно подбиравшимся к сердцу, когда я смотрел вокруг на безотрадную местность и думал о сомнительном исходе своего путешествия. Дорога стала еще более пустынной и дикой, чем та, по которой мы проезжали в первую половину дня. Одинокие убогие хижины — слабый признак обитаемости этих мест — встречались все реже и реже, и наконец, когда мы начали подниматься по бесконечному склону поросшей вереском возвышенности, они исчезли вовсе. Теперь мое воображение получало некоторую пищу только тогда, когда особенно счастливый поворот дороги открывал перед нами по левую руку вид на темно-синие горы: хребет их тянулся к северу и северо-западу и манил обещанием страны, быть может такой же дикой, но, конечно, несравненно более интересной, чем та, где проходил сейчас наш путь. Вершины гор были настолько же дико причудливы и несхожи между собой, насколько холмы, видневшиеся

Note75

Монс Мег — большая старинная пушка, любимица шотландского простонародья. Она была отлита в городе Монсе, во Фландрии, в царствование Иакова IV или Иакова V Шотландского. Орудие это часто упоминается в финансовых отчетах того времени: мы постоянно встречаемся в них с ассигнованиями на сало для смазки жерла старой Мег (смазку производили, как это известно каждому школьнику, чтобы громче получался выстрел), на ленту для украшения ее лафета, на трубы, чтобы дуть в них, когда ее вывезут из замка и пошлют сопровождать шотландскую армию в далекий поход. После соединения королевств в народе очень опасались, что в довершение постыдного отказа от национальной независимости королевские регалии Шотландии и ее второй палладиум, Монс Мег, будут отправлены в Англию. Касательно регалий, сокрытых от глаз обывателей, установилось всеобщее мнение, что их и впрямь увезли таким порядком. Но Монс Мег оставалась в Эдинбургском замке, пока приказом артиллерийского управления ее действительно не вывезли в Вульвич, примерно в 1757 году. Регалии особым декретом его величества были извлечены из тайника в 1818 году и выставлены на обозрение в общественном месте, чтоб народ глядел на них и предавался волнующим воспоминаниям; а в эту самую зиму 1828-1829 года Монс Мег была вновь возвращена в страну, где то, что во всяком другом месте представлялось бы только глыбой ржавого чугуна, снова становится любопытным памятником старины. (Прим. автора.)

по правую руку, были скучны и однообразны; и когда я глядел неотрывно в эти альпийские дали, мною овладевало желание исследовать их глубину, хотя бы это сопряжено было с трудами и опасностями. Так жаждет матрос променять невыносимое однообразие затянувшегося штиля на волнения и опасности битвы или бури. Я без конца расспрашивал своего друга мистера Джарви о названиях и местоположении этих замечательных гор, но его сведения были ограниченны — или он не желал делиться ими.

— Это просто шотландские горы, шотландские горы. Вы вдосталь на них насмотритесь, вдосталь наслушаетесь о них, прежде чем снова увидите глазговский рынок. Не могу я на них глядеть: как взгляну — так мурашки по спине бегут. Не от страха, вовсе не от страха, а от скорби за бедных людей, ослепленных, полуголодных, которые там живут. Но довольно об этом. Нехорошо говорить о горцах, когда находишься близ границы. Многие честные люди из моих знакомых не решились бы заехать так далеко в этот край, не составив наперед завещания. Мэтти очень неохотно собирала меня в дорогу, даже разревелась, глупышка. Но женщине плакать так же просто, как гусю ходить босиком.

Я попытался затем перевести разговор на личность и биографию человека, к которому мы ехали в гости, но мистер Джарви упорно отклонял мои попытки — может быть, из-за присутствия мистера Эндрю Ферсервиса, которому угодно было держаться все время поблизости, так что уши его не могли пропустить ни единого сказанного нами слова, между тем как его язык ни разу не упустил случая дерзко вмешаться в наш разговор. Поэтому мистер Джарви то и дело отчитывал моего слугу.

— Держитесь сзади и подальше, сэр, как вам подобает, — сказал бэйли, когда Эндрю сунулся вперед, чтобы получше расслышать его ответ на мой вопрос о Кэмбеле. — Вы так рветесь вперед, что готовы сесть коню на самую шею. Вот никак не желает человек знать свое место! А что касается ваших вопросов, мистер Осбалдистон, теперь, когда этот наглец не может нас услышать, я вам скажу, что в вашей воле спрашивать, а в моей воле отвечать или нет. Хорошего я мало могу сказать о Робине — эх, бедняга Роб! — а дурного я о нем говорить не хочу: помимо того, что он мой родственник, мы сейчас приближаемся к его стране, где за каждым кустом, насколько мне известно, может сидеть один из его молодцов. Послушайте моего совета и помните: чем меньше вы станете говорить о Робе и о том, куда мы с вами едем и зачем, тем вернее будет успех нашего предприятия. Очень возможно, что мы натолкнемся на кого-нибудь из его врагов, — их тут по всей округе слишком даже много; и хотя ему пока есть на что шапку надеть, я все же не сомневаюсь, что в конце концов они одолеют Роба: рано или поздно лисья шкура всегда попадает под нож живодера.

— Я готов, конечно, — отвечал я, — следовать во всем совету опытного человека.

— Отлично, мистер Осбалдистон, отлично! Но я должен еще поговорить по-своему с этим болтливым бездельником, потому что дети и дураки выбалтывают на улице все, что слышат дома у камелька. Послушайте вы, Эндрю! .. Как вас там? .. Ферсервис!

Эндрю, далеко отставший от нас после очередного выговора, не соизволил услышать зов.

— Эндрю, негодяй ты этакий! — повторил мистер Джарви. — Сюда, сэр, сюда!

— «Сюда, сюда» — так кличут собак, — сказал Эндрю, подъехав с нахмуренным лицом.

— Я тебя проучу как собаку, бездельник, если ты не будешь слушать, что я тебе говорю! Мы вступили в Горную Страну…

— Это я и сам соображаю, — сказал Эндрю.

— Молчи ты, плут, и слушай, что я хочу тебе сказать! Мы вступили теперь в Горную Страну…

— Вы мне это уже сказали, — перебил неисправимый Эндрю.

— Я раскрою тебе башку, — сказал взбешенный бэйли, приподнявшись в седле, — если ты не придержишь язык!

— Если язык держать за зубами, — ответил Эндрю, — изо рта потечет пена.

Видя, что мне пора вмешаться, я властным тоном приказал Эндрю замолчать, чтоб не вышло худо для него же.

— Молчу, — сказал Эндрю. — Я всегда исполню всякое ваше законное приказание и слова не скажу наперекор. Моя бедная мать говорила бывало:

Хороший он или дурной,
Тому служите, кто с мошной.

Так что можете говорить хоть до ночи — для Эндрю все одно.

Мистер Джарви, воспользовавшись передышкой в речи садовника после приведенной им пословицы, сделал ему наконец необходимое внушение:

— Так вот, сэр: если б дело шло только о вашей жизни — ей, конечно, цена невелика: горсточка серебряных монеток. Но тут мы все трое можем поплатиться жизнью, если вы не запомните того, что я вам скажу. На тот постоялый двор, куда мы сейчас заедем и где, может статься, заночуем, заворачивают люди самого разного роду-племени, горцы всех кланов и жители Нижней Шотландии; там, когда виски возьмет свое, скорее увидишь в руках обнаженный кинжал, чем раскрытую Библию. Смотрите ж, не мешайтесь в споры и никого не задевайте вашим длинным языком; сидите смирно, пусть каждый петух дерется сам за себя.

— Ох, как нужно все это мне говорить! — сказал презрительно Эндрю.

— Точно я никогда не видывал горцев и не знаю, как с ними обходиться! Да ни один человек на земле не сумеет лучше моего сговориться с Доналдом. Я с ним торговал, ел и пил…

— А дрались вы с ним когда-нибудь? — спросил мистер Джарви.

— Ну нет, — ответил Эндрю, — этого я остерегался: красиво было б разве, если б я, художник в своем ремесле, почти что ученый, полез в драку с жалкими голоштанниками, которые не умеют назвать ни одной травинки, ни одного цветка не только что на латыни — на простом шотландском языке!

— Тогда, если вы хотите сохранить свой язык во рту, — сказал мистер Джарви, — и уши на голове (а вам недолго их лишиться, потому что они у вас пренахальные), я вам советую никому в клахане не говорить без надобности ни единого слова, плохого или хорошего. И особенно запомните, что вы не должны называть имен — ни моего имени, ни имени вашего хозяина; не должны трубить и раззванивать, что это, дескать, бэйли, мистер Никол Джарви с Соляного Рынка, сын достопочтенного декана Никола Джарви, известный всему городу, а это — мистер Фрэнк Осбалдистон, сын главного пайщика и руководителя лондонского торгового дома «Осбалдистон и Трешем».

— Довольно, довольно, — ответил Эндрю, — добавлять тут нечего! Подумаешь, большая мне нужда говорить о том, как вас зовут! Точно я не найду для разговора предметов поважнее!

— Поважнее? Я больше всего боюсь, как бы ты не затронул важные предметы, болтливый гусак. Ты не должен произносить ни слова, ни плохого, ни хорошего, когда будет хоть малейшая возможность обойтись без слов.

— Если вы полагаете, что я не вправе разговаривать, — как всякий другой человек, — обиделся Эндрю, — пусть мне заплатят мое жалованье и харчевые, и я поеду обратно в Глазго. Расстанемся без печали, как сказала старая кобыла разбитой телеге.

Видя, что упрямство Эндрю Ферсервиса опять дошло до точки, на которой оно начинало грозить мне неприятностями, я счел нужным объяснить своему слуге, что он может вернуться, если ему заблагорассудится, но что я в таком случае не заплачу ему ни полфартинга за прошлую службу. Аргумент ad crumenam *note 76*, как он зовется в шутку у риторов, оказывает свое действие на большинство людей, и Эндрю в этом нисколько не отличался от других. Он тотчас, по выражению мистера Джарви, «спрятал свои рога» и, отказавшись от всяких бунтарских намерений, выразил полную готовность подчиняться любым моим приказаниям.

Итак, согласие в нашей небольшой компании благополучно восстановилось, и мы снова

Note76

Буквально — к кошельку (лат.)

двинулись в путь. Дорога, шесть или семь английских миль поднимавшаяся непрерывно в гору, шла теперь под гору на те же шесть миль по местности, которая ни в смысле плодородия, ни в смысле живописности не могла похвалиться никакими преимуществами перед той, что лежала позади; изредка лишь какой-нибудь причудливый и грозный пик шотландских гор, встав на горизонте, нарушал однообразие. Мы, однако, ехали без остановок вперед и вперед; и даже когда надвинулась ночь и укрыла мглою безрадостную степь, нам, как я узнал от мистера Джарви, оставалось до места ночлега еще три мили с лишним.

ГЛАВА XXVIII

Барон Букливи, лысый черт!
Пускай вас дьявол унесет
И пусть на части раздерет, -
Построили ж вы домик, ваша честь!
Тут нет ни корма для коней,
Ни доброй пищи для людей,
Ни стула, чтобы сесть.
Шотландский народный сказ о скверной корчме

Ночь была приятная, и месяц освещал нам дорогу. Под его лучами местность, где мы проезжали, казалась более привлекательной, чем при полном дневном свете, открывавшем всю ее наготу. Свет и тени, перемежаясь, придавали ей ложное очарование, и, как вуаль на некрасивой женщине, дразнили наше любопытство, привлекая его к предмету, не заключавшему в себе ничего занимательного.

Спуск между тем все продолжался, дорога поворачивала, извивалась и, уходя от просторных вересковых пустошей, сбегала по крутым откосам в ложбины, которые обещали как будто привести нас скоро к берегу ручья или реки — и наконец исполнили обещание. Мы очутились на берегу потока, похожего скорее на мои родные английские реки, чем на те, что я видел до сих пор в Шотландии. Он был узок, глубок, спокоен и не говорлив; неясный свет, мерцая на его тихих водах, показывал, что мы находились теперь среди высоких гор, образовавших его колыбель.

— А вот вам и Форт, — сказал бэйли с тем почтением, какое шотландцы обычно воздают, как я заметил, своим значительным рекам. Имена Клайда, Твида, Форта, Спея произносятся теми, кто живет на их берегах, всегда с уважением и гордостью, и мне известны случаи дуэлей из-за непочтительного отзыва о них. Но я, надо сказать, никогда не возражал против такого безобидного патриотизма. Сообщение моего друга я принял со всею серьезностью, какая, по его убеждению, подобала случаю. Да, по правде говоря, мне и самому отрадно было после долгой и скучной дороги добраться до более живописной местности. Мой верный оруженосец Эндрю держался, по-видимому, несколько иного мнения, ибо на торжественное сообщение: «А вот вам и Форт» — он отозвался:

— Хм! Если б нам сказали: «Вот вам и харчевня», — больше было бы проку.

Однако Форт, насколько позволял мне судить недостаточный свет, поистине заслуживал восторга своих бесчисленных поклонников. Красивый холм самой правильной округлой формы, поросший орешником, рябиной и карликовым дубом вперемежку с величественными старыми деревьями, которые высились кое-где над подлесьем и тянулись к серебряным лучам месяца раскидистыми голыми ветвями, казалось, охранял те источники, где брала начало река. Если верить повести моего спутника, которую он передавал мне, затаив дыхание и с робостью в голосе, хоть и прибавляя через каждое слово, что не верит в подобные вымыслы, этот холм, столь правильной формы, такой зеленый, увенчанный так красиво старыми деревьями и молодою порослью, по уверению окрестных жителей, укрывал в своих невидимых пещерах чертоги эльфов. Эльфы — это племя воздушных существ, составляющее промежуточную категорию между людьми и демонами; и хотя они прямо и не враждебны человеку, их все же следует избегать и опасаться, потому что они своенравны, злопамятны и раздражительны.

— Их зовут, — промолвил шепотом мистер Джарви, — Дуун-ши, что означает, насколько мне известно, «мирный народ»: этим хотят их задобрить. И мы тоже можем назвать их этим именем, мистер Осбалдистон. Не стоит, знаете, говорить дурно о лэрде, когда находишься в его владениях.

Но, завидев мерцавшие впереди огни, он добавил:

— Это все в конце концов просто дьявольское наваждение, и я не боюсь сказать о том напрямик, потому что теперь уже недалеко до христианского жилья: я вижу огни клахана Эберфойл.

Признаюсь, сообщение, сделанное мистером Джарви, меня порадовало — не столько потому, что оно развязывало ему язык и, как он полагал, позволяло спокойно высказать свои истинные взгляды на Дуун-ши, или эльфов, сколько потому, что обещало нам несколько часов отдыха: проехав пятьдесят миль, да к тому же в гору, и мы и лошади наши сильно в нем нуждались.

Мы переправились через Форт — у самого его истока — по старинному каменному мосту, очень высокому и очень узкому. Мой путеводитель, однако, сообщил мне, что обычная дорога из Горной Страны на юг шла на так называемый Фрусский Брод, где можно было перебраться через эту глубокую, полноводную реку и воздать ей подобающую дань почтения: переправа там всегда была затруднительна, а по большей части и вовсе невозможна. Ниже Фрусского Брода не было никакой переправы вплоть до Стерлингского моста, так что Форт образует как бы линию обороны между Верхней и Нижней Шотландией от своих истоков и почти до самого Фрита, узкого залива, где река впадает в океан. Последующие события, которым мы стали свидетелями, привели мне на память брошенное мистером Джарви крылатое слово: «Форт — узда на дикого горца».

Проехав после моста еще с полмили, мы остановились у ворот постоялого двора, где предполагали провести вечер. То была лачуга не лучше или даже хуже той, где мы обедали; но в маленьких окнах ее горел свет, из горницы доносились голоса, и все обещало ужин и ночлег — к чему мы были далеко не равнодушны. Эндрю первый заметил, что на пороге приоткрытой двери лежит очищенная от коры ивовая ветка. Он отшатнулся и посоветовал нам не входить.

— Уж наверное, — заметил Эндрю, — кто-нибудь из их вождей или важных лэрдов хлещет здесь асквибо *note 77* и не желает, чтобы его беспокоили! Если мы ввалимся незваными гостями, нам продырявят башку, чтоб научить вежливости, или, что столь же вероятно, всадят нам кинжал в живот.

Я поглядел на мистера Джарви, и тот подтвердил шепотом, что «раз в год и кукушка прокукует не впустую».

Заслышав топот конских копыт, из корчмы и соседних хибарок высыпали между тем полуголые ребятишки и уставились на нас во все глаза. Никто с нами не здоровался, никто не предлагал взять наших лошадей, когда мы спешились, и на все наши расспросы мы могли добиться в ответ только беспомощного: «Ганиель сассенах» *note 78*. Бэйли, однако, как опытный человек, нашел способ заставить их говорить по-английски.

— А если я дам тебе боби, — сказал он мальчугану лет десяти, кутавшемуся в лоскут истрепанного пледа, — ты будешь тогда понимать по-английски?

— Эге! Тогда буду, — отвечал пострел на очень приличном английском языке.

— Так пойди и скажи своей матери, милый, что приехали два сассенахских джентльмена и хотят с ней поговорить.

Между тем появилась и хозяйка с пылающей еловой лучиной в руке. От смолы, пропитывающей такого рода факелы (обычно их добывают на торфяных болотах), они горят

Note77

Асквибо (гэльск.) — шотландская водка, изготовляемая домашним способом.

Note78

Не понимаю по-английски (гэльск.)

искристо и ярко, так что горцы часто пользуются ими взамен свечей. Факел осветил хмурое и встревоженное лицо женщины, бледной, худой и довольно рослой, в грязном, рваном платье, которое даже вместе с пледом, или клетчатой шалью, с трудом могло отвечать требованиям приличия и уж никак не согревало. Черные волосы женщины, выбивавшиеся из-под чепца нечесаными прядями, и странный, растерянный взгляд, который она на нас остановила, — все это вызывало в уме представление о ведьме, потревоженной при свершении бесовских обрядов. Она наотрез отказалась впустить нас в дом. Мы взволнованно спорили, ссылаясь на дальность пути, на состояние наших лошадей, на тот неоспоримый факт, что мы не найдем ночлега ближе, чем в Калландере, а до него, по словам бэйли, оставалось семь шотландских миль. (Сколько это составляет в переводе на английскую меру, я никогда не мог в точности узнать, но думаю, надо считать приблизительно вдвое.) Упрямая хозяйка с пренебрежением отклонила наше требование. «Лучше проехать дальше, чем худо заночевать», — сказала нам она, изъясняясь на нижнешотландском наречии, так как была родом из Леннокса. Ее дом занят постояльцами, которым не понравится, если их потревожат посторонние. Она и сама не знает, что они за люди и кого они ждут к себе, — как будто красные куртки из гарнизона (последние слова она проговорила шепотом и очень выразительно).

— Погода превосходная, — продолжала она, — ночевка на вольном воздухе охладит вашу кровь. Вы можете лечь не раздеваясь, как спят многие джентльмены в походе; в кустах, если выбрать хорошее местечко, право, не так уж сыро, а лошадей можно выгнать на гору, никто вас за это не попрекнет.

— Послушайте, добрая женщина, — сказал я, пока бэйли вздыхал, не зная, на что решиться, — с тех пор, как мы обедали, прошло шесть часов, и за это время у нас не было во рту ни росинки. Я просто умираю с голоду, и мне вовсе не по вкусу ночевать, не поужинав, в здешних ваших горах. Я непременно должен войти в дом. Извинитесь как можете перед вашими гостями и скажите, что к ним прибавятся еще два-три путника. Эндрю, проводите лошадей в стойло.

Геката поглядела на меня в изумлении и воскликнула:

— Когда человек упрям, что с ним поделаешь! Если он хочет лезть черту на рога — пусть лезет! И какие же они чревоугодники, эти англичане! Он съел сегодня полный обед, а готов скорее поступиться жизнью и свободой, чем остаться без горячего ужина! Поставьте жаркое и пудинг по ту сторону Тофетской ямы, и англичанин прыгнет через нее, чтоб достать их. Я умываю руки. Идите за мной, сударь, — обратилась она к Эндрю, — я покажу вам, где поставить коней.

Признаюсь, я был несколько смущен речами хозяйки, очевидно предупреждавшими о близкой опасности. Однако, высказав уже свое решение, я не желал отступать и отважно вошел в дом. Едва не переломав ноги о корзину с торфом и бочку с засолом, стоявшие по обеим сторонам в узком проходе, я отворил обветшалую, полуразвалившуюся дверь, сделанную не из досок, а из прутьев, и, сопровождаемый почтенным бэйли, вступил в главный зал этого шотландского караван-сарая.

Вид его казался довольно необычным для глаз южанина. Посредине, питаемый пылающим торфом и валежником, весело полыхал огонь; но дым, не находя иного выхода, кроме отверстия в крыше, вился у стропил и висел черными клубами на высоте пяти футов от пола. Нижняя часть комнаты довольно основательно очищалась бесчисленными струями воздуха, тянувшегося к огню сквозь щели изломанной плетенки, заменявшей дверь, сквозь два четырехугольных проема, служивших, очевидно, окнами и завешенных один — платком, а другой — разодранной юбкой, но главным образом — сквозь различные малозаметные щели в стенах лачуги: сложенные из булыжника и торфа и сцементированные глиной, стены эти пропускали воздух в бесчисленные трещины.

За старым дубовым столом, стоявшим у огня, сидели три человека, очевидно, постояльцы, которые невольно привлекали к себе внимание. Двое были в одежде горцев. Один, маленький смуглый человек с живым, переменчивым и раздраженным выражением лица, был в трузах — узких штанах из особой клетчатой вязаной ткани. Бэйли шепнул, что это,

вероятно, «важная персона, потому что в трузах ходят здесь только дунье-вассалы note 79, и нелегко соткать их по вкусу горцев».

Другой горец был очень высокий, сильный мужчина, рыжеволосый, веснушчатый, с резкими скулами, с длинным подбородком — карикатура на типичного шотландца. Его плед отличался от пледа его спутника: в нем было много красного, тогда как у того преобладали в клетке черные и темно-зеленые тона. Третий, сидевший за тем же столом, был одет в городское платье — смелый, крепкий с виду человек, с уверенным взглядом и осанкой военного; кафтан его был богато и пышно расшит золотым позументом, а треуголка отличалась устрашающими размерами; шпага и пара пистолетов лежали перед ним на столе.

Каждый из горцев воткнул перед собою в доску стола свой кинжал — в знак того, как мне объяснили впоследствии (странный знак!), что их собеседование не должна нарушить ссора. Большая оловянная кружка, содержавшая около английской кварты асквибо — напитка, почти такого же крепкого, как водка, который горцы гонят из солода и пьют, не разбавляя, в изрядном количестве, — красовалась посреди стола перед достойными мужами. Щербатый кубок на деревянной ножке служил бокалом для всех троих и переходил из рук в руки с быстротой почти непостижимой, если принять в соображение крепость напитка. Эти люди говорили между собой громко и страстно, когда по-гэльски, а когда и по-английски. Еще один горец, закутанный в плед, растянулся на полу, положив голову на камень, прикрытый только пучком соломы, и спал или делал вид, что спит, безразличный ко всему, что творилось вокруг. Он тоже, по всей вероятности, был случайным путником, потому что лежал одетый, с мечом и щитом — обычное дорожное снаряжение его соплеменников. Койки различных размеров стояли по стенам — одни из трухлявых досок, другие из ивовых прутьев или переплетенных веток; на них спала семья хозяев — мужчины, женщины, дети; место их отдыха скрывала только темная завеса дыма, клубившегося сверху, снизу и вокруг.

Мы вошли так тихо, а участники попойки, описанные мною, были так страстно увлечены разговором, что несколько минут они не замечали нас. Но я видел, что горец, лежавший у огня, приподнялся на локте, когда мы переступили порог, и, прикрыв пледом нижнюю половину лица, две-три секунды всматривался в нас; потом опять растянулся и, казалось, снова погрузился в сон, прерванный нашим появлением.

Мы подошли к огню (как приятен был его вид в горах!) и, кликнув хозяйку, впервые привлекли внимание постояльцев. Хозяйка подошла, поглядывая опасливо то на нас, то на другую компанию, и нерешительно ответила на нашу просьбу подать какую-нибудь еду.

— Право, не знаю, — сказала она, — едва ли в доме что-нибудь найдется. — И тут же смягчила свой отказ, уточнив: — То есть что-нибудь подходящее для таких гостей.

Я уверил ее, что нам лишь бы какой-нибудь ужин — привередничать не будем, поискал глазами, куда бы примоститься, и, не найдя ничего более удобного, приспособил старую клетку для кур вместо стула для мистера Джарви, а сам, опрокинув поломанную кадку, уселся на нее. Едва мы сели, вошел Эндрю Ферсервис и стал у меня за спиной. Туземцы, как я могу их назвать, глядели на нас неотрывно, точно растерявшись перед нашей самоуверенностью, а мы, или по крайней мере я, старались скрыть под напускным безразличием всякое подобие тревоги по поводу приема, какой окажут нам те, чье право первенства мы так бесцеремонно нарушили.

Наконец тот горец, что был поменьше ростом, обратившись ко мне, сказал на превосходном английском языке и тоном крайнего высокомерия:

— Вы, я вижу, расположились тут как дома, сэр?

— Как и всегда, — отвечал я, — когда захожу в гостиницу.

— А она не видаль, — сказал высокий горец, — не видаль по белому посоху на пороге, что дом заняли шентльмены для себя?

Note79

Так назывались внешнешотландские джентльмены, обычно младшие сыновья в знатной семье. Они получали во владение землю, однако же подчинялись воле своего вождя. (Прим. автора.)

— Я не притязаю на знание обычаев этой страны, но пусть мне объяснят, — возразил я, — каким образом три человека получают право лишить всех остальных путешественников единственного пристанища на много миль вокруг, где можно подкрепиться и найти ночлег.

— У вас нет никакого права, — сказал бэйли. — Мы никого не хотим обидеть, но нет такого закона и права! Однако если графин хорошей водки разрешит спор, мы народ миролюбивый и готовы…

— К черту вашу водку, сэр! — сказал третий и свирепо поправил на голове треуголку. — Нам не нужны ни ваша водка, ни ваше общество.

Он встал со скамьи. Его товарищи тоже встали, переговариваясь вполголоса, оправляя пледы, фыркая и раздувая ноздри, как обычно делают их соплеменники, когда хотят сами себя распалить.

— Я вас предупреждала, джентльмены, что добра не будет, — сказала хозяйка, — а вы не послушались. Уходите прочь из моего дома, не учиняйте мне здесь беспорядка! Не бывать тому, чтобы в доме у Джини Мак-Алпайн потревожили джентльмена и чтоб она смолчала. Бездельник англичанин шатается по дорогам в ночную пору и вздумал беспокоить честных джентльменов, когда они мирно пьют у очага!

В другое время я вспомнил бы латинский стих:

Dat veniam corvis, vexat censura columbas-*note 80*

но не было времени на классические цитаты, потому что, по всей вероятности, схватка была неизбежна, и я был так возмущен негостеприимным и дерзким приемом, что ничего против нее не имел бы, если б меня не смущала забота о мистере Джарви, который ни по званию своему, ни по телосложению не годился для подобных похождений.

Однако, видя, что те встают, я тоже вскочил и, скинув с плеч свой плащ, приготовился к защите.

— Нас трое на трое, — сказал малорослый горец, примериваясь взглядом к нашей компании. — Если вы порядочные люди, докажите это!

И, вынув палаш из ножен, он двинулся на меня. Я стал в оборонительную позицию и, сознавая превосходство своего оружия — рапиры, нисколько не опасался за исход борьбы. Бэйли проявил неожиданный пыл. Увидев перед собой великана-горца, обнажившего против него клинок, он схватился за эфес своей сабли, как он ее называл, и рванул раз, другой, но, убедившись, что сабля не склонна разлучиться с ножнами, с которыми ее прочно связали ржавчина и долгое бездействие, он схватил вместо оружия раскаленный докрасна резак, заменявший в хозяйстве кочергу, и стал орудовать им так успешно, что с первого же выпада подпалил на горце плед и тем вынудил противника отойти на почтительное расстояние, чтоб загасить на себе огонь. Эндрю же, которому пришлось драться с воителем из Нижней Шотландии, — говорю об этом с прискорбием, — исчез в самом начале сражения. Но его противник, крикнув: «Играем честно!» — решил, как видно, благородно воздержаться от участия в драке. Таким образом, когда мы вступили в поединок, в смысле численности стороны были равны. Я ставил себе целью выбить у противника оружие из рук, однако остерегался подойти к нему вплотную, боясь кинжала, который он держал в левой руке, отводя им удары моей рапиры. Между тем почтенному бэйли, несмотря на успех первого натиска, приходилось круто: тяжесть его оружия, собственная дородность и самая горячность быстро исчерпали его силы; он пыхтел в тяжелой одышке, и уже его жизнь почти зависела от милости победителя, когда спавший горец вскочил с полу, где лежал с обнаженным мечом в одной руке, со щитом в другой, и ринулся между изнемогшим бэйли и его противником со словами:

— Я сам ел городской хлеб в Гласко, и, честное слово, я буду драться за судья Шарви в клахан Эберфойл, непременно!

И, подкрепляя слова делом, неожиданный помощник наполнил свистом своего меча уши

Note80

Строгость донимает голубиц, а воронам оказывает снисхождение (лат.).

великана-земляка, который, ничуть не растерявшись, с лихвой платил за каждый выпад. Но так как оба ловко принимали удары на круглые деревянные щиты, обтянутые кожей и покрытые медными бляхами, борьба сопровождалась только лязгом и звоном, не угрожая серьезными последствиями. В самом деле, все это оказалось скорее бравадой, чем серьезной попыткой причинить нам вред. Джентльмен из Нижней Шотландии, который, как я упоминал, в начале схватки отошел в сторону за неимением противника, теперь соблаговолил взять на себя роль арбитра и миротворца.

— Руки прочь! Руки прочь, довольно! Драка не насмерть. Пришельцы показали себя людьми чести и дали подобающее удовлетворение. Нет на свете человека, который так заботился бы о своей чести, как я, но напрасного кровопролития я не люблю.

У меня, разумеется, не было особого желания продолжать борьбу. Мой противник также, по-видимому, склонен был вложить меч в ножны; бэйли, все еще не отдышавшегося, можно было считать hors de combat *note 81*; а наши два гладиатора прекратили состязание с той же готовностью, с какой вступили в него.

— А теперь, — сказал достойный джентльмен, разыгравший роль посредника, — будем пить и беседовать, как честные люди; в доме хватит места для всех. Пусть этот славный маленький джентльмен, который, кажется, едва переводит дух после происшедшей здесь, как я сказал бы, легкой ссоры, закажет чарку водки, я поставлю другую в виде арчилоу *note 82*, и мы будем пить по-братски, в складчину.

— А кто саплатит са мой новый добрый плед? — сказал высокий горец.

— В нем прожгли такую дыру, что можно просунуть в нее кочан капусты. Где это видано, чтобы достойный шентльмен срашался кочергой?

— Не извольте беспокоиться, за этим дело не станет, — сказал бэйли, который уже отдышался и, довольный сознанием, что проявил достаточную отвагу, отнюдь не склонен был разрешать новый спор тем же многотрудным и сомнительным способом. — Если я ушиб кому голову, — сказал он, — я же дам и пластырь. Вы получите новый плед самого лучшего качества и цветов вашего клана, любезный, — скажите только, куда вам прислать его в Глазго.

— Мне излишне называть свой клан — я, как всякому известно, из клана короля, — сказал горец, — но вы можете взять для образца лоскут от моего пледа, — фу ты, он пахнет паленой бараньей головой! Один шентльмен, мой двоюродный брат, когда повезет на продажу яйца из Гленкро, зайдет к вам за новым пледом на Мартынов день или около того — вы только укажите, где живете. Но все же, мой добрый шентльмен, в следующий раз, когда вы станете драться, вы из уважения к противнику бейтесь вашим мечом, раз уж вы его носите, а не резаком и не кочергой, как дикий индеец!

— По чести скажу, — ответил бэйли, — каждый выходит из положения как может. Моя шпага не видела света со времени дела у Босуэл-бриджа, когда ею препоясался мой отец, упокой Господь его душу! И я не знаю хорошенько, пришлось ли ей и тогда выйти из ножен, потому что битва длилась совсем недолго. Во всяком случае, клинок так присосался к ножнам, что мне не под силу оказалось его вытащить; вот я и схватился за первое, что могло бы заменить мне оружие. Понятно, дни сражений для меня миновали, но я тем не менее не люблю покорно сносить обиду. Где же, однако, тот честный малый, который так добросердечно вступился за меня? Я разопью с ним чарку водки, хотя бы мне вовек не пришлось потом выпить другую.

Но воителя, которого судья искал глазами, давно уже не было. Он ушел, не замеченный мистером Джарви, как только окончилась драка, но все же я успел узнать его: это дикое лицо, эти косматые рыжие волосы принадлежали, конечно, нашему старому знакомцу Дугалу,

---

Note81
выбывшим из строя (франц.).

Note82
Archilowe — слово неизвестного происхождения, означает: «предложение мира». (Прим. автора.)

беглому привратнику глазговской тюрьмы. Я шепотом сообщил о своем открытии бэйли, и тот ответил, также понизив голос:

— Хорошо, хорошо. Я вижу, известный вам человек сказал очень правильно: у бездельника Дугала есть некоторые проблески здравого ума. Посмотрю, подумаю, нельзя ли что-нибудь сделать для него.

С этими словами он сел к столу и, раза два глубоко вздохнув, как будто бы в одышке, подозвал хозяйку:

— А теперь, голубушка, когда я убедился, что брюхо у меня не продырявлено, — чего я с полным основанием мог опасаться, судя по тем делам, какие творятся в вашем доме, — для меня, я полагаю, самое лучшее будет чем-нибудь его наполнить.

Хозяйка, обратившись в воплощенную услужливость, как только грозу пронесло, тотчас принялась готовить нам ужин. И, право, ничто меня так не удивляло во всей этой истории, как чрезвычайное спокойствие, с каким она и вся ее челядь отнеслись к разыгравшемуся в доме сражению. Милая женщина только крикнула кому-то из своих помощников:

— Держите двери, двери держите! Хоть убей, не выпущу никого, пока не заплатят за постой!

А чада и домочадцы, спавшие на тянувшихся вдоль стен нарах, предназначенных для семьи, только приподнялись каждый на своей постели, как были, без рубах, поглядели на драку, закричали: «Ох-ох!» — на разные голоса, соответственно их полу и возрасту, и снова крепко заснули — чуть ли не прежде, чем мы вложили клинки в ножны.

Теперь, однако, хозяйка хлопотала вовсю, чтобы приготовить какую-нибудь снедь, и, к моему удивлению, очень скоро принялась жарить нам на сковороде вкусное блюдо из мелко нарубленной оленины, которое она состряпала так хорошо, что оно вполне могло удовлетворить если не эпикурейца, то проголодавшегося путешественника. На столе между тем появилась водка, к которой горцы, при всем пристрастии к своим спиртным напиткам, отнюдь не выказали отвращения — скорее даже наоборот; а джентльмен из Низины, когда чаша свершила первый круг, пожелал узнать, кто мы такие и куда держим путь.

— Мы обыватели города Глазго, коль угодно вашей чести, — сказал бэйли с напускным самоуничижением, — едем в Стерлинг собрать кое-какие деньжата у тех, кто нам должен.

По глупости я был недоволен, что он вздумал представить нас в таком скромном свете; но, памятуя свое обещание молчать, позволил спутнику вести дело по его собственному разумению. И правда, Уилл, когда я вспомнил, что почтенный человек не только пустился в далекое путешествие, что и само по себе было для него затруднительно (учтите, он был тяжел на подъем), но еще и оказался на волоске от смерти, — как я мог отказать ему в этой поблажке? Оратор противоположной партии, потянув носом, презрительно подхватил:

— Только вам и дела, торговцам из Глазго, только вам и дела, что тащиться с одного конца Шотландии в другой и донимать без зазрения совести честных людей, которые, может быть, вроде меня случайно просрочили платеж!

— Если б наши должники были такие честные джентльмены, каким я считаю вас, Гарсхаттахин, — возразил бэйли, — по совести скажу, мы не стали б утруждаться, потому что они бы сами приехали нас навестить.

— Э… Что? Как? — воскликнул тот, кого он назвал по имени. — Не есть мне хлеба (хватит с нас говядины и водки), если это не мой старый друг, Никол Джарви, лучший человек, когда-либо ссужавший деньги под расписку джентльмену в нужде! Уж не в наши ли края вы держите путь? Не собирались ли вы заехать в Эндрик к Гарсхаттахину?

— Нет, по совести — нет, мистер Галбрейт, — ответил бэйли, — у меня другие заботы. А я думал, вы спросите, не приехал ли я поразведать, как у нас дела с выплатой аренды с одного клочка земли, перешедшего ко мне по наследству.

— Да ну ее, аренду! — сказал лэрд тоном самого сердечного расположения. — Черт меня подери, если я позволю вам говорить о делах, когда мы встретились тут, так близко от моих родных мест! Но смотрите, до чего же рейтузы и кафтан всадника меняют человека, — не узнал я моего старого, верного друга декана!

— С вашего позволения — бэйли, — поправил мой спутник. — Но я знаю, почему вы ошиблись: земля была отказана моему покойному отцу, а он был деканом; и его звали, как и меня, — Никол. Сдается, после его смерти ни основная сумма, ни проценты мне не выплачивались, отсюда, понятно, и получилась ошибка.

— Ладно, черт с ней, с ошибкой, и со всем, чем она вызвана! — ответил мистер Галбрейт. — Но я рад, что вас избрали в магистрат. Джентльмены, наполним кубок за здоровье моего замечательного друга, бэйли Никола Джарви! Двадцать лет я знал его отца и его самого. Выпили все? Полную чашу? Нальем другую! За то, чтоб он стал в скором времени провостом — вот именно, провостом! Выпьем за лорда-провоста Никола Джарви! А тем, кто станет утверждать, что в Глазго можно найти более подходящего человека на этот пост, тем я, Дункан Галбрейт из клана Гарсхаттахин, посоветую молчать об этом при мне, только и всего!

На этом слове Дункан Галбрейт воинственно схватился рукой за шляпу и с вызывающим видом заломил ее набекрень. Водка, вероятно, показалась горцам лучшим оправданием для этих лестных тостов, и оба выпили здравицу, не вникая в ее смысл. Затем они завели разговор с мистером Галбрейтом на гэльском языке, которым тот владел вполне свободно: как я узнал позднее, он был родом из соседних с Горной Страной мест.

— Я отлично узнал шельмеца с самого начала, — шепотом сказал мне бэйли, — но когда кровь кипела и были обнажены мечи, кто мог сказать, каким порядком вздумает он уплатить должок? Не так-то скоро заплатит он его обычным способом. Но он честный малый, и сердце у него отзывчивое: он не часто показывается в Глазго на Рыночной площади, но посылает нам немало дичи — оленины и глухарей. Я о деньгах своих не печалюсь. Отец мой, декан, очень уважал семью Гарсхаттахинов.

Так как ужин был теперь почти готов, я стал искать глазами Эндрю Ферсервиса, но с той минуты, как начался поединок, верного моего оруженосца нигде не было видно. Хозяйка, однако, высказала предположение, что наш слуга пошел на конюшню, и предложила проводить меня туда со светильником. Ее молодцы, сказала она, сколько ни старались, так и не уговорили его отозваться, и, право же, ей неохота идти на конюшню одной в такой поздний час. Она женщина одинокая, а всякому известно, как Брауни в Бенйи-гаске обошел арднагованскую кабатчицу. «Мы давно знаем, — добавила она, — что Брауни повадился к нам на конюшню, потому-то и не уживается у нас ни один конюх».

Все же она проводила меня к жалкому сараю, куда поставили наших злосчастных коней, предоставив им угощаться сеном, каждый стебель которого был толст, как черенок гусиного пера; и тут я тотчас убедился, что у нее были совсем другие основания увести меня от прочих гостей, нежели те, какие она приводила.

— Прочтите, — сказала она, когда мы подошли к дверям конюшни, и сунула мне в руки клочок бумаги. — И слава тебе Господи, что я это сбыла с рук! Тут тебе и королевские солдаты, и англичане, и катераны, и конокрады, грабежи и убийства — нет, честной женщине спокойней бы жить в аду, чем на границе Горной Страны.

С этими словами она передала мне светильник и вернулась в дом.

ГЛАВА XXIX

Не лиры звон — волынка красит горы,
Мак-Лина клич и посвист Мак-Грегора.
Ответ Джона Купера Аллану Рэмзи

Я остановился у входа в стойло, если можно было так назвать то место, где стояли кони вместе с козами, птицей, свиньями и коровами, — под одной крышей с жилым домом; но, впрочем (утонченность, неведомая прочим жителям деревни и приписываемая, как я узнал позднее, непомерной спеси Джини Мак-Алпайн, нашей хозяйки), это помещение имело отдельный вход, помимо того, которым пользовались ее двуногие постояльцы. При свете факела я разобрал следующие строки, написанные на сыром, скомканном и грязном клочке

бумаги и адресованные: «Мистеру Ф.О., молодому саксонскому джентльмену, в его почтенные руки». Письмо гласило:

«Сэр, коршуны вылетели на охоту, так что я не могу свидеться с вами и моим уважаемым родичем, б. Н. Д., в клахане Эберфойл, как я намеревался. Прошу вас по возможности избегать излишнего общения с теми, кого вы тут застанете: это чревато неприятностями. Особе, которая передаст вам письмо, можно довериться; она проводит вас в то место, где я, с Божьей помощью, смогу безопасно встретиться с вами, если вы и мой родич захотите навестить мой бедный дом, где я, назло врагам, могу оказать все то гостеприимство, какое оказывает шотландец, и где мы торжественно выпьем за здоровье некоей Д.В. и потолкуем об известных вам делах, в которых надеюсь посодействовать вам. Засим остаюсь, как говорится между джентльменами, готовый к услугам

Р.М.Г».

Я был сильно огорчен содержанием письма: оно, очевидно, отдаляло и место и срок той помощи, которую я рассчитывал получить от Кэмбела. Но все же утешительно было знать, что он по-прежнему готов мне помочь, а без него я не надеялся вернуть бумаги отца. Поэтому я решил следовать его наставлениям и, соблюдая всемерную осторожность по отношению к постояльцам, при первом же удобном случае добиться от хозяйки указаний, как мне увидеться с этой загадочной личностью.

Ближайшей моей задачей было разыскать Эндрю Ферсервиса. Несколько раз я окликал его по имени, заглядывал во все углы стойла, рискуя поджечь строение, — и поджег бы, если бы две-три охапки сена и соломы не тонули в изобилии мокрой подстилки и навоза. Наконец на мои настойчивые призывы: «Эндрю Ферсервис! Эндрю! Болван! Осел! Где ты?» — прозвучало еле слышное «Здесь!», такое заунывное, точно и впрямь стонал сам Брауни. Я пошел на голос и пробрался в угол хлева, где, притулившись за бочкой с перьями всех птиц, погибших на благо обществу в течение последнего месяца, сидел отважный Эндрю. Отчасти силой, отчасти приказаниями и уговорами я заставил его выйти на свежий воздух. Первые слова его были:

— Я честный человек, сэр.

— Какой дьявол спрашивает о вашей честности? — сказал я. — И на что она сейчас далась? Мне надо, чтоб вы пошли и прислуживали нам за ужином.

— Да, — повторил Эндрю, едва ли понимая толком, что я ему говорю, — я честный человек, сколько бы мистер Джарви ни порочил меня. Правда, я, как и многие грешники, слишком привержен душою к миру и благам мирским, но все же я честный человек, и хоть я говорил, что брошу вас на болоте, но на самом деле, видит Бог, я совсем не собирался вас бросать и говорил просто так — как люди, когда торгуются, мелют всякий вздор, чтобы выговорить побольше в свою пользу. Я очень люблю вашу честь, даром что вы молоды, и не расстался бы с вами так легко.

— К чему вы клоните, черт возьми? — перебил я. — Ведь, кажется, все много раз улаживалось к вашему удовольствию. Или нет? Неужели вы каждый час будете ни с того ни с сего грозить мне уходом?

— Да, но до сих пор я говорил о расчете только для фасона, — ответил Эндрю, — а теперь дело серьезное. Ни за какие блага в мире не поеду я с вашей честью ни шагу дальше; а послушали бы вы моего глупого совета, так вы бы и сами решили, что лучше отступиться от своего слова, чем продолжать путь. Я искренне вас уважаю, и я уверен, вас и друзья похвалили бы, когда бы вы оставили шалые затеи и зажили спокойно и разумно. Я никак не могу сопровождать вас дальше, даже если бы знал, что без проводника и советника вы заплутаетесь и погибнете в пути. Ехать в страну Роб Роя — значит просто искушать провидение.

— Роб Роя? — повторил я с удивлением. — Я с таким не знаком. Что это за новые плутни, Эндрю?

— Тяжело, — молвил Эндрю, — очень тяжело, когда человек говорит святую правду, а ему не верят, и только потому, что раз-другой он сказал лишнее и немного приврал по нужде.

Вам не к чему спрашивать, кто такой Роб Рой, — свирепейший грабитель и разбойник (прости Господи! Нас, надеюсь, никто не слышит), — раз у вас лежит в кармане его письмо. Я слышал, как один из молодцов просил эту чертову каргу, нашу хозяюшку, передать вам записку. Они думали, что я не понимаю их тарабарщину; говорить по-ихнему я и впрямь не горазд, но когда другие говорят при мне, могу разобрать, о чем идет речь. Я не думал вам об этом докладывать, но со страху иной раз выложишь многое, что лучше б держать про себя. Ох, мистер Фрэнк, все сумасбродство вашего дяди и все бесчинства его сыновей ничто перед этим! Пейте мертвую, как сэр Гилдебранд; начинайте каждое Божье утро чаркой водки, как сквайр Перси; затевайте драки, как сквайр Торнклиф; распутничайте с девчонками, как сквайр Джон; играйте, как Ричард; вербуйте души папе и дьяволу, как Рэшли; блудите, бесчинствуйте, нарушайте воскресный отдых и служите папе, как все они вместе, — но — Боже милостивый! — пожалейте свою молодую жизнь, не ездите к Роб Рою!

Тревога Эндрю была слишком искренней, я не мог заподозрить его в притворстве. Но я сказал ему только, что намерен заночевать здесь, в корчме, и хочу, чтоб он присмотрел за конями. А что до всего остального, то я приказываю ему соблюдать строжайшее молчание о предмете его беспокойства; сам же он может положиться, что я не пойду на опасное дело, не приняв надлежащих мер. Он с сокрушенным видом побрел за мною в дом, процедив сквозь зубы:

— Надо б о людях сперва позаботиться, потом уже о лошадях: у меня за весь день не было во рту ничего, кроме жесткой ножки старой болотной курицы.

Гармоническое согласие в обществе, по-видимому, несколько нарушилось, пока меня не было, потому что я застал мистера Галбрейта и моего друга бэйли в разгаре спора.

— Не желаю слушать такие речи, — говорил мистер Джарви, когда я вошел, — ни о герцоге Аргайле, ни о Кэмбелах. Герцог — достойный человек и большой государственный ум, он гордость своей страны, друг и покровитель глазговской торговли.

— Я ничего не скажу против Мак-Каллумора и Слиох-нан-Диамида, — усмехнулся малорослый горец. — Я живу по ту сторону Гленкро, так что мне не приходится ссориться с Инверэри.

— Наш лох никогда не видел лимфады Комилов *note 83*, — сказал высокий горец. — Я могу говорить, что думаю, никого не опасаясь. Я ставлю Комилов не выше, чем Кованов, и можете передать Мак-Каллумору, что Аллан Иверах это сказал. Отсюда до Лохоу — кричи, не докричишься. *note 84*

Мистер Галбрейт, на которого многократные тосты уже оказывали свое действие, с силой хлопнул ладонью по столу и сказал сурово:

— За этой семьей — кровавый долг, и когда-нибудь она его заплатит. Кости верного и доблестного Грэма давно вопиют в гробу о мести герцогам Обмана и их приспешникам. В Шотландии если было предательство, в нем всегда замешан был кто-нибудь из Комилов; и теперь, когда победила неправая сторона, кто, как не Комилы, ратует за полное принижение правой? Но такой порядок долго не простоит, и придет пора наточить железную деву *note 85*, чтоб рубить головы кому надо. Я надеюсь увидеть, как старая, ржавая красотка примется опять за кровавую жатву.

— Стыдно вам, Гарсхаттахин! — воскликнул бэйли. — Стыдно, сэр! Зачем говорить

Note83

Лимфадой называлась галера, которую Аргайлы и другие роды из клана Кэмбелов (Комилов) носили в своих гербах. (Прим. автора.)

Note84

Лохоу и прилегающие к нему округи составляли исконные земли Кэмбелов. Выражение «До Лохоу — кричи, не докричишься» вошло в поговорку. (Прим. автора.)

Note85

Примитивная гильотина, которой пользовались некогда в Шотландии. (Прим. автора.)

такие вещи в присутствии блюстителя закона и нарываться самому на неприятности? Как вы предполагаете содержать семью и расплачиваться с кредиторами (со мною и с другими), если вы и впредь будете вести такую безрассудную жизнь, которая непременно навлечет на вас кару закона к большому ущербу для всех, кто с вами связан?

— Черт побери моих кредиторов, — возразил доблестный Галбрейт, — и вас заодно, если вы из той же породы! Говорю вам, скоро водворится другой порядок, и Комилы не будут у нас так высоко заносить голову и посылать своих собак туда, куда не смеют сунуться сами; не будут покрывать воров, и убийц, и гонителей, поощряя их разорять и грабить более достойных людей и более честные кланы, чем их собственный.

Мистер Джарви был весьма расположен продолжать спор, но вкусный запах тушеной оленины, которую хозяйка в ту минуту поставила перед нами, оказался таким могущественным примирителем, что бэйли с великим рвением склонился над тарелкой, предоставив новым знакомцам вести прения между собой.

— Истинная правда, — сказал высокий горец, которого, как я узнал, звали Стюартом, — нам не надо было бы хлопотать и трудиться, устраивать тут совещания о том, как бы нам расправиться с Роб Роем, если бы Комилы не укрывали его. Я вышел раз на него с отрядом в тридцать человек из нашего клана — с Гленфинласами и кое с кем из Аппинов. Мы гнали Мак-Грегоров, как гонят оленя, пока не дошли до Гленфаллохской земли, и тут Комилы поднялись и не дали нам продолжать преследование, так что все наши труды пропали даром. А я дорого дал бы, чтоб еще раз оказаться так близко от Роб Роя, как в тот день!

Как нарочно, каждый предмет, затронутый воинственными джентльменами, давал моему другу бэйли повод к обиде.

— Простите, если я выскажу прямо свое мнение, сэр, но вы, пожалуй, сняли бы с себя последнюю рубаху, чтоб находиться так далеко от Роба, как сейчас. Честное слово, мой раскаленный резак ничто в сравнении с его палашом.

— Уж лучше бы вы не поминали свой резак, или, ей-богу, я заставлю вас проглотить ваши слова и дам в придачу отведать холодной стали, чтоб они навсегда застряли в вашем горле! — И, смерив бэйли недобрым взглядом, горец положил руку на кинжал.

— Не будем заводить ссоры, Аллан, — сказал его малорослый товарищ.

— Если джентльмен из Глазго питает уважение к Роб Рою, мы, может быть, сегодня ночью покажем ему его героя в кандалах, а поутру он увидит его пляшущим на веревке: слишком долго наша страна терпела от него, и песня его спета. Пора нам, Аллан, идти к нашим ребятам.

— Погодите, Инверашаллох, — сказал Галбрейт. — Помните, как это говорится. «Месяц светит», — сказал Беннигаск. «Еще по пинте», — ответил Лесли. Не вредно б и нам распить еще по чарке.

— Довольно мы выпили чарок! — возразил Инверашаллох. — Я всегда готов распить кварту асквибо или водки с порядочным человеком, но черт меня подери, если я выпью лишнюю каплю, когда наутро предстоит дело. И, по моему скромному разумению, Гарсхаттахин, вам пора подумать о ваших всадниках и привести их сюда, в клахан, до рассвета, чтобы нам не ударить лицом в грязь.

— Какого дьявола вы так спешите? — сказал Гарсхаттахин. — Обед и обедня еще никогда не мешали делу. Предоставили бы мне всем распоряжаться, я б ни за что не стал звать вас из ваших горных трущоб нам на подмогу. Гарнизон и наши собственные всадники без труда изловили бы Роб Роя. Вот эта рука, — сказал он, сжав кулак, — повалила б его наземь и не просила бы у горца помощи.

— Что ж, вы могли бы нас и не тревожить, — сказал Инверашаллох. — Я не прискакал бы сюда за шестьдесят миль, когда бы за мной не послали. Но, с вашего позволения, я посоветовал бы вам придержать язык, если вы желаете успеха. Над кем гроза, тому, говорят, долго жить; так и с тем, кого нам с вами называть излишне. Птицу не изловишь, кидая в нее шапкой. И так уже джентльмены узнали многое, чего бы им не довелось услышать, если б водка не была слишком крепкой для вашей головы, майор Галбрейт. Нечего вам заламывать

шляпу и заноситься передо мной, любезный, потому что я этого не потерплю.

— Я уже сказал, — произнес Галбрейт с торжественной пьяной спесью, — я уже сказал, что этой ночью я больше не буду ссориться ни с гладким сукном, ни с тартаном. Когда исполню служебный долг, я охотно подерусь и с вами и с любым горцем или горожанином, но пока долг не выполнен — ни за что! Однако пора бы явиться сюда красным курткам. Если бы требовалось напакостить королю Иакову, нам не пришлось бы их долго ждать, а когда нужно оградить спокойствие страны, они, как добрые соседи, не волнуются.

Он еще не договорил, как мы услышали мерный шаг пехотного отряда, и в комнату вошел офицер, за которым следовали два-три ряда солдат. Офицер заговорил на чистом английском языке, который приятно ласкал мой слух, уже привыкший к разнообразным говорам Верхней и Нижней Шотландии:

— Вы, я полагаю, майор Галбрейт, командир эскадрона леннокской милиции, а эти два горца — те шотландские джентльмены, с которыми я должен встретиться на этом месте?

Те ответили утвердительно и предложили офицеру закусить и выпить, но он отклонил приглашение:

— Я и так опоздал, джентльмены, и хочу наверстать упущенное время. Мне дан приказ на розыск и арест двух лиц, виновных в государственной измене.

— Здесь мы умываем руки, — сказал Инверашаллох. — Я пришел сюда со своими людьми воевать с рыжим Мак-Грегором, убившим моего семиюродного брата Дункана Мак-Ларена из Инверненти *note 86*, но я не желаю трогать честных джентльменов, разъезжающих по своим личным делам.

— И я не желаю, — подхватил Иверах.

Майор Галбрейт принял торжественный вид и, предварив свою речь икотой, заговорил в таком смысле:

— Я ничего не скажу против короля Георга, капитан, ибо случилось так, что я уполномочен действовать от его имени. Но если одна служба хороша, это не значит, сэр, что другая плоха, и для многих имя «Иаков» звучит не хуже, чем имя «Георг». Один — король, сидящий на престоле, другой — король, который по праву мог бы сидеть на престоле; по-моему, честный человек может и должен соблюдать верность им обоим, капитан. Но пока что я разделяю мнение лорда-наместника, как подобает офицеру милиции и доверенному лицу, а говорить о государственной измене — значит терять напрасно время: меньше будешь говорить, скорее сделаешь дело.

— С грустью смотрю, на что вы употребили ваше время, сэр, — ответил англичанин (и в самом деле, в рассуждениях честного джентльмена чувствовался сильный привкус выпитых им напитков), — а хотелось бы, сэр, чтобы вы при таких серьезных обстоятельствах распорядились им иначе. Я посоветовал бы вам поспать часок. Джентльмены тоже из вашей компании? — добавил он, глядя на бэйли и на меня.

Занятые уничтожением ужина, мы даже и не оглянулись на офицера, когда он вошел.

— Путешественники, сэр, — сказал Галбрейт, — мирные люди — плавающие и путешествующие, как значится в молитвеннике.

— Согласно предписанию, — сказал капитан, взяв светильник, чтоб лучше нас разглядеть, — я должен арестовать одного пожилого и одного молодого человека, и мне кажется, эти джентльмены подходят под приметы.

— Осторожней, сэр, — сказал мистер Джарви. — Ни ваша красная куртка, ни шляпа с галуном не защитят вас, если вы нанесете мне оскорбление. Я вас привлеку к двойной ответственности: за клевету и за неправильный арест. Я свободный гражданин и член магистрата города Глазго; меня зовут Никол Джарви, как звали до меня моего отца. Я бэйли и с гордостью ношу это звание, а мой отец был деканом.

Note86

Это, как явствует из введения к повести, анахронизм: Мак-Ларен, приверженец вождя Аппина, был убит Мак-Грегорами в 1736 году — следовательно, уже после смерти Роб Роя. (Прим. автора.)

— Он был пуританским псом, — сказал майор Галбрейт, — и сражался против короля у Босуэл-бриджа.

— Он платил по своим обязательствам, мистер Галбрейт, — сказал бэйли, — и был честнее той особы, которую носят ваши ноги.

— Некогда мне слушать разговоры! — сказал офицер. — Я решительно должен буду задержать вас, джентльмены, если вы не предъявите свидетельства, что вы — верноподданные короля.

— Я требую, чтоб меня препроводили к каким-либо гражданским властям, — сказал бэйли, — к шерифу или мировому судье. Я не обязан отвечать каждой красной куртке, которая вздумает докучать мне вопросами.

— Хорошо, сэр, я буду знать, как мне с вами обойтись, если вы не захотите говорить. А вы, сэр? — обратился он ко мне. — Как ваше имя?

— Фрэнсис Осбалдистон, сэр.

— Как, сын Гилдебранда Осбалдистона из Нортумберленда?

— Нет, сэр, — перебил бэйли, — сын великого Уильяма Осбалдистона из торгового дома «Осбалдистон и Трешем» на Журавлиной улице в Лондоне.

— Боюсь, сэр, — сказал капитан, — ваше имя только усиливает подозрение против вас. Я вынужден потребовать, чтоб вы передали мне все находящиеся при вас документы.

Я заметил, что горцы тревожно переглянулись, услышав сделанное мне предложение.

— Мне, — сказал я, — нечего передавать.

Офицер приказал обезоружить и обыскать меня. Сопротивляться было бы безумием. Я сдал оружие и подчинился обыску, который произвели со всею учтивостью, какая при этом возможна. При мне не нашли ничего, кроме записки, полученной мною в тот вечер через хозяйку.

— Это совсем не то, чего я ждал, — сказал офицер, — но и это дает мне веские основания вас задержать. Я уличаю вас в письменных сношениях с разбойником, стоящим вне закона, Робертом Мак-Грегором Кэмбелом, который так долго был чумою здешних мест. Что вы скажете в объяснение?

— Шпионы Роба, — сказал Инверашаллох. — Вздернем их на первом же дереве, они этого вполне заслуживают.

— Мы едем за своим добром, джентльмены, — сказал бэйли, — за своею собственностью, случайно попавшей в его руки: нет, надеюсь, такого закона, чтобы человеку запрещалось беречь свою собственность.

— Как попало к вам это письмо? — сказал, обратясь ко мне, офицер.

Я не желал выдавать бедную женщину, которая передала мне записку, и промолчал.

— Вам что-нибудь известно об этом, любезный? — сказал офицер, глядя на Эндрю, у которого после брошенной горцем угрозы челюсти стучали, как кастаньеты.

— Да, я знаю все… Тут вертелся один шелудивый горец; он-то и передал письмо длинноязыкой ведьме, здешней хозяйке. Я могу присягнуть, что мой господин ничего об этом не знал. Но он собирался ехать в горы повидаться с Робом. Ох, сэр, вы проявите истинное милосердие, если отрядите несколько ваших солдат проводить его обратно в Глазго, хочет он того или нет. А мистера Джарви можете задержать подольше, он в состоянии уплатить любой штраф, какой вы на него наложите, — так же, впрочем, как и мой господин. А я только бедный садовник, вам со мною и возиться-то не стоит.

— Я думаю, — сказал офицер, — самое лучшее будет отправить их под конвоем в гарнизон. Они, очевидно, состоят в тесных сношениях с неприятелем, и я отнюдь не желаю нести ответственность, отпустив их на свободу. Джентльмены, вы должны считать себя моими пленниками. С наступлением рассвета я отправлю вас в надежное место. Если вы те, за кого себя выдаете, это тут же выяснится и особого беспокойства для вас не будет — вас только продержат под арестом день-другой. Никаких возражений я слушать не могу, — добавил он, отвернувшись от мистера Джарви, который раскрыл было рот, чтобы что-то ему сказать, — моя служба не оставляет мне времени на праздные препирательства.

— Прекрасно, сэр, прекрасно, — сказал бэйли, — дудите на вашей дудке! Но как бы не пришлось вам затанцевать под мою, не доиграв плясовую.

Между офицером и горцами началось тревожное совещание, но они говорили так тихо, что невозможно было уловить, о чем шла речь. Договорившись, все четверо вышли из дому. Когда дверь захлопнулась за ними, бэйли высказался таким образом:

— Это горцы из западных кланов и такие же головорезы, как их соседи, если верить всему, что рассказывают; и все-таки, вы видите, их привели от границ Аргайлшира воевать с бедным Робом — сводить счеты по старой вражде с ним и его родом. За ними Грэмы, Бьюкэнаны, лэрды из Леннокса — все на конях и все отлично вооружены. Их ссора всем известна, и винить их я не могу — никто не любит терять своих коров; а солдаты тоже люди подневольные — куда послали, туда иди. К тому времени, когда солнце встанет над холмами, бедному Робу дела будет по горло. Конечно, не годится члену магистрата желать чего-нибудь незаконного, но черт меня возьми, если я не порадуюсь от всей души, когда услышу, что Роб всех их проучил!

ГЛАВА XXX

Генерал!
Я вас прошу, взгляните на меня,
В лицо глядите — в женское лицо…
На нем приметен страх? Иль тень боязни?
Иль бледность? Бледность — да, но лишь от гнева,
Что я у вас во власти.
«Боадицея»

Нам разрешили поспать остаток ночи со всеми удобствами, какие доставляла убогая обстановка корчмы. Бэйли, утомленный дорогой и последующими приключениями и менее моего обеспокоенный нашим арестом, который лично ему грозил лишь временными неудобствами, а может быть, и менее взыскательный, чем я, к чистоте и благопристойности ложа, завалился на одну из коек, и вскоре я услышал его громкий храп. Моим же отдыхом был лишь тревожный сон, одолевавший меня, когда я склонял голову на стол. В течение ночи я подметил, что в движении солдат проявлялась какая-то неуверенность. Солдаты отсылались как будто на разведку и возвращались, не получив, очевидно, нужных сведений. Командир был явно встревожен и в нетерпении снова отряжал в разведку по два, по три человека; некоторые из них, как я заключил из того, что нашептывали друг другу оставшиеся, не возвращались в клахан.

Брезжило утро, когда капрал и два солдата ворвались в хижину, с торжеством волоча за собою горца, в котором я тотчас узнал старого моего знакомца, бывшего тюремного привратника. Мистер Джарви, разбуженный шумом, сделал тотчас то же открытие и воскликнул:

— Господи помилуй! Они захватили бездельника Дугала! Капитан, я представлю поручительство, вполне достаточное поручительство за бездельника Дугала.

В ответ на это предложение, несомненно, подсказанное бэйли благодарностью за давешнее выступление горца в его защиту, капитан только посоветовал мистеру Джарви думать о собственных делах и помнить, что он сам сейчас под арестом.

— Беру вас в свидетели, мистер Осбалдистон, — сказал бэйли, которому, вероятно, лучше были знакомы правила гражданского судопроизводства, нежели военного, — беру вас в свидетели, что он отклонил верное поручительство. По-моему, бездельник Дугал может начать процесс о неправильном аресте и требовать возмещения убытков по акту от тысяча семьсот первого года; я сам прослежу, чтобы суд не отказал бездельнику.

Офицер, которого, как я узнал, звали Торнтоном, не обращая внимания на угрозы и требования бэйли, подверг Дугала обстоятельному допросу о его жизни и знакомствах, и пленник, хотя и с явной неохотой, вынужден был все же сознаться, что он знает Роб Роя

Мак-Грегора; что виделся с ним в течение последнего года, в течение последних шести месяцев, в этом месяце, на этой неделе, и наконец — что он расстался с ним час назад. Подробности эти выжимались из пленника точно капли крови, и, по всей видимости, их исторгали только повторные угрозы капитана Торнтона вздернуть его на ближайшем дереве, если он не даст прямого ответа и точных указаний.

— А теперь, друг мой, — сказал офицер, — извольте сообщить мне, сколько человек имеет сейчас при себе ваш господин.

Дугал смотрел во все стороны, только не на допрашивающего, и начал, запинаясь:

— Она сейчас не может знать точно…

— Гляди мне в глаза, шотландская собака, — сказал офицер, — и помни, что твоя жизнь зависит от твоего ответа! Сколько негодяев было под командой у разбойника, когда ты с ним расстался?

— О, не больше как шесть негодяев, когда я ушел.

— А где остальные бандиты?

— Пошли войной с помощником командира на западных молодцов.

— На западные кланы? — переспросил капитан. — Гм, похоже на правду. А по какому гнусному делу отрядил он тебя?

— Посмотреть, что делает здесь в клахане ваша честь и шентльмены красные куртки.

— Бездельник все-таки в конце концов оказался предателем, — сказал бэйли, понемногу придвигавшийся ко мне и теперь стоявший за моей спиной. — Хорошо, что я не вошел в расход ради него.

— А теперь, мой друг, — сказал капитан, — давайте договоримся. Вы признались, что вы шпион, — значит, вас следует повесить на ближайшем дереве; но если вы мне окажете услугу, я отплачу вам тем же. Будь любезен, Доналд, провести меня и небольшой отряд моих людей к тому месту, где ты оставил своего господина: я хочу сказать ему несколько слов по важному делу; а потом я отпущу тебя на все четыре стороны и дам тебе в придачу пять гиней.

— Ох, ох! — воскликнул Дугал в отчаянии и смятении. — Она не может это сделать, не может! Лучше пусть она висит на дереве!

— Хорошо, ты будешь повешен, друг мой, — сказал офицер, — и да падет твоя кровь на твою собственную голову. Капрал Крэмп, возьмите на себя обязанности провост-маршала и кончайте с ним!

Капрал встал против бедного Дугала и начал неторопливо вязать из найденной им в доме веревки внушительную петлю. Затем он накинул ее на шею преступника и с помощью двух солдат проволок Дугала до порога, когда страх неминуемой смерти одержал верх и вырвал у несчастного крик:

— Стойте, шентльмены, стойте! Сделаю, как приказала его честь! Стойте!

— Бездельника еще не убрали? — сказал бэйли. — Сейчас он больше чем когда-либо заслуживает петли! Кончайте с ним, капрал! Почему вы его не уводите?

— Я глубоко убежден, почтенный джентльмен, — сказал капрал, — что если бы вас самого вели на виселицу, вы, ей-богу, не стали бы нас торопить!

Этот побочный диалог помешал мне расслышать, что произошло между пленником и капитаном Торнтоном, но я уловил, как первый прохныкал еле слышно:

— И вы меня не попросите идти дальше? Только показать, где стоит Мак-Грегор? Ох-ох-ох!

— Тише, негодяй, не орать! Да. Даю тебе слово, я не попрошу тебя идти дальше. Капрал, постройте людей перед домами и выведите этим джентльменам их лошадей: нам придется взять их с собой. Я не могу оставить здесь при них ни одного человека. Идите, ребята, становитесь под ружье.

Солдаты засуетились и приготовились выступать. Нас в качестве пленников повели бок о бок с Дугалом. Когда мы выходили из хибарки, я слышал, как наш товарищ по плену напомнил капитану о пяти гинеях.

— Вот они, — сказал офицер, положив золото ему на ладонь. — Но смотри, если ты

вздумаешь повести меня не той дорогой, я размозжу тебе голову собственной рукой.

— Этот бездельник, — сказал бэйли, — еще хуже, чем я думал: корыстная и вероломная тварь! О, мерзкий блеск наживы, обольщающий человека! Мой отец, декан, говорил, бывало: больше душ убито серебряной монетой, чем тел обнаженным мечом.

Подошла хозяйка и потребовала уплаты, включая в счет и то, что было выпито и съедено майором Галбрейтом с его друзьями-горцами. Английский офицер стал возражать, но миссис Мак-Алпайн объявила, что она полагалась только на честное имя офицера, упоминаемое между ними, а иначе не поставила бы им ни одной стопки. Увидит ли она когда-нибудь мистера Галбрейта, неизвестно — может, да, может, нет, — но она знает наверное, что получить с него свои деньги ей уже не придется, она — бедная вдова и живет только на то, что платят постояльцы.

Капитан Торнтон положил конец ее сетованиям, уплатив по счету сполна, что составило лишь несколько английских шиллингов, хотя та же сумма на шотландские деньги казалась весьма внушительной. Щедрый офицер хотел было расплатиться заодно за меня и за мистера Джарви, но бэйли, пренебрегши тихим советом хозяйки «выжимать из англичан все, что можно, потому что нам от них достаточно приходится терпеть», потребовал формальной справки, какая доля расхода падала на нас, и соответственно заплатил. Капитан воспользовался случаем принести нам извинение за арест: если мы благонамеренные подданные, сказал он, мы не обидимся, что нас дня на два задержали, когда это понадобилось для королевской службы, а если нет, то он только исполнил свой долг.

Мы вынуждены были принять извинение, раз отклонять его было бесполезно, и вышли из дому, чтобы сопровождать отряд в походе.

Вовек не забуду, с каким отрадным чувством переменил я продымленный, душный воздух темной шотландской хижины, где мы так неуютно провели ночь, на живительную прохладу утра; яркие лучи восходящего солнца падали из шатра лиловых и золотых облаков на такую романтически-прекрасную картину, какая никогда до той поры не радовала моих глаз. Слева лежала долина, где в своем пути на восток катился Форт, огибая красивый одинокий холм с гирляндами лесов. Справа, среди буйных зарослей, пригорков, скал, лежало широкое горное озеро; дыхание утреннего ветра курчавило на нем легкие волны, и каждая сверкала на бегу под лучами солнца. Высокие холмы, утесы, косогоры с колыхавшимися на них несаженными березовыми и дубовыми рощами образовали кайму у берегов пленительной водной глади и, так как листва перешептывалась с ветром и блистала на солнце, сообщали картине одиночества движение и жизнь. Только человек казался еще более приниженным среди этого ландшафта, где каждая обыденная черта природы дышала величием. Десять-двадцать убогих лачуг (буроков, как назвал их бэйли), составлявших поселок, именуемый клаханом Эберфойл, были сложены из булыжника, скрепленного вместо извести глиной, и покрыты дерном, бесхитростно положенным на перекладины из нетесаных бревен — березовых и дубовых, срубленных в окрестных лесах. Кровли так низко спускались к земле, что мы, по замечанию Эндрю Ферсервиса, могли бы прошлой ночью проехать по поселку и не заметить его, пока наши лошади не провалились бы где-нибудь в трубу.

Мы видели, что лачуга миссис Мак-Алпайн при всем своем убожестве была много лучше всех других домов в поселке, и смело скажу (если после моего описания у вас возникла охота посмотреть на нее): едва ли в наши дни вы нашли бы в ней значительные улучшения, потому что шотландцы не так-то быстро вводят у себя какие-нибудь новшества, хотя бы и полезные. *note 87*

Note87

Не знаю, как обстояло дело во времена мистера Осбалдистона, но могу заверить читателя, которому пришла бы охота посетить места этих романтических приключений, что в клахане Эберфойл имеется в настоящее время очень уютная маленькая гостиница. Если же он к тому же любитель шотландской старины, его сугубо привлечет сообщение, что он окажется в близком соседстве с преподобным доктором Патриком Грэмом, эберфойлским священником-нонконформистом, чья любезная словоохотливость, когда речь заходит о шотландских древностях, немного уступает громадному запасу собранных им легенд и сказаний. (Примечание на рукописи.) По слухам, почтенный церковнослужитель умер несколько лет тому назад. (Прим. автора.)

Обитатели этих убогих жилищ всполошились при нашем отъезде, и когда наш отряд в двадцать человек перед выступлением выстраивался в ряды, старые ведьмы поглядывали на нас в приоткрытые двери лачуг. Когда эти сивиллы высовывали свои седые головы, наполовину покрытые тугими фланелевыми чепцами, и хмурили косматые брови, и поднимали длинные костлявые руки со странными жестами и ужимками, и перекидывались замечаниями на гэльском языке, мне вспоминались ведьмы из «Макбета» и чудилось, что лицо каждой старой карги отмечено коварством вещих сестер. Выползали и маленькие дети: одни совсем голые, другие кое-как прикрытые лоскутами клетчатого сукна; они хлопали в крошечные ладошки и скалили зубы на английских солдат с выражением ненависти и злобы, не по годам глубокой. Меня особенно поразило, что среди жителей клахана, многолюдного при небольших его размерах, совсем не видно было мужчин — ни даже мальчиков десяти — двенадцати лет; и мне, естественно, пришло на ум, что от мужчин, мы, пожалуй, получим в дороге более ощутимые доказательства той ненависти, что тлела на лицах вокруг и пробуждала ропот женщин и детей.

Только когда мы тронулись в поход, озлобление старших членов общины прорвалось наружу. Последняя шеренга солдат вышла из деревни, чтобы двинуться по узкой, избитой колее, оставленной санями, на которых местные жители перевозят торф, и ведущей в леса, окаймляющие нижний конец озера, когда вдруг пронзительный женский вопль пронесся в воздухе, мешаясь с писком малых детей, гиком мальчишек и хлопаньем в ладоши, каким обычно гэльские дамы подкрепляют изъявление ярости и горя. Я спросил у бледного как смерть Эндрю, что все это значит.

— Боюсь, мы узнаем это слишком скоро, — ответил тот. — Что это значит? Это значит, что эберфойлские женщины клянут и поносят красные куртки и призывают беду на них и на каждого, кто говорит на саксонском языке. Я слышал и в Англии и в Шотландии, как ругаются бабы, — услышать, как баба ругается, нигде не диво, но таких зловредных языков, как у этих северных ведьм, таких мрачных пожеланий: чтоб людей перерезали как баранов, чтоб врагу по локоть искупать руки в крови их сердец и чтоб им умереть смертью Уолтера Каминга из Гийока, *note 88* от которого ничего не осталось и собакам на обед, — такой страшной ругани я не слыхивал из человечьей глотки. Сам дьявол не научил бы их лучше проклинать. Хуже всего то, что они нам советуют идти вдоль озера и поглядеть, на что мы там нарвемся.

Сопоставив сказанное мне Ферсервисом с моими собственными наблюдениями, я окончательно уверился, что горцы намерены напасть на наш отряд. Дорога, пока мы шли вперед и вперед, казалось, все больше позволяла опасаться такой неприятной помехи. Вначале она вилась стороной от озера, по болотистому лугу, поросшему кустами, проходя иногда сквозь темные, густые заросли, где в нескольких ярдах от нашего пути легко могла бы укрыться засада, и много раз пересекая бурные горные потоки, в которых вода часто доходила пехотинцам до колен, а течение было так стремительно, что устоять против него можно было, только если идти по двое, по трое, крепко взявшись под руку. Я был совершенно незнаком с военным делом, но мне представлялось несомненным, что полудикие воины, какими были, как я слышал, шотландские горцы, на таких переходах могли с большой выгодой атаковать отряд регулярных войск. Природный здравый смысл и острая наблюдательность бэйли привели его к тому же выводу, как я это понял из его попытки договориться с капитаном, к которому он обратился в таких выражениях:

— Капитан, не подумайте, что я хочу к вам подольститься, добиваясь каких-нибудь милостей — их я презираю; и оговариваю: я оставляю за собой свободу действий и право

Note88

Жестокий угнетатель-феодал, который, отправившись для совершения какого-то злого дела, проезжал по Гийокскому лесу и был выброшен конем из седла; нога его застряла в стремени, и перепуганный конь волок седока сквозь чащу, покуда его не разорвало на куски. Выражение «проклятие Уолтера Каминга» вошло в поговорку. (Прим. автора.)

жалобы на притеснения и беззаконный арест, — но, как друг короля Георга и его армии, я позволю себе спросить: не кажется ли вам, что вы могли бы удачней выбрать время для похода в горы? Если вы ищете Роб Роя, то надо вам знать, что при нем всегда состоит не меньше полусотни человек; а если он прихватит гленгайлских молодцов и ребят из Гленфинласов и Балквиддеров, он задаст вам перцу. Как друг короля, искренне вам советую — возвращайтесь вы лучше назад в клахан, потому что женщины в Эберфойле — все одно что чайки и буревестники в Кумризе: клекочут всегда к непогоде.

— Не беспокойтесь, сэр, — ответил капитан Торнтон, — я исполняю данный мне приказ. И если вы друг короля Георга, вам приятно будет узнать, что этой банде негодяев, чья разнузданность так долго нарушала спокойствие страны, невозможно ускользнуть от мер, принятых теперь для расправы с ними. Эскадрон милиции под командой майора Галбрейта соединился уже с двумя другими конными отрядами, и они займут все горные проходы в нижней части этой дикой страны; триста горцев под предводительством двух джентльменов, которых вы видели в трактире, заняли верхние проходы, а несколько сильных частей гарнизона расставлены в горах и долинах по различным направлениям. Наши последние сведения о Роб Рое соответствуют сообщениям его шпиона: поняв, что окружен со всех сторон, Роб Рой, по-видимому, отпустил большую часть своих приверженцев с целью либо спрятаться, либо выбраться из кольца, пользуясь превосходным знанием обходных дорог.

— Что-то мне сомнительно, — сказал бэйли. — В голове у Гарсхаттахина нынче утром было больше винных паров, чем здравого рассудка. И на вашем месте, капитан, я не стал бы в своих расчетах полагаться на горцев: ястреб ястребу глаз не выклюет. Они могут ссориться между собой, браниться, иногда угостят друг друга ударом палаша, но рано или поздно они непременно объединятся против всех цивилизованных людей, которые носят штаны на ляжках и имеют кошелек в кармане.

По-видимому, капитан Торнтон не пропустил предостережения мимо ушей. Он подтянул строй, отдал команду солдатам примкнуть штыки и открыть затворы и выделил арьергард и авангард, каждый в составе одного капрала и двух солдат, каковым было строго наказано глядеть в оба и быть настороже. Дугал был подвергнут новому обстоятельному допросу, во время которого упрямо стоял на прежних своих показаниях, а когда его упрекали, что он ведет отряд опасной и подозрительной дорогой, он отвечал с раздражением, казавшимся вполне естественным:

— Она не сама строил дорогу; если шентльмены любят ровные дороги, сидели бы в Гласко.

Все шло как будто гладко, и мы снова двинулись в путь.

Дорога наша, хоть и вела к озеру, была настолько затенена лесом, что мы лишь изредка видели сквозь деревья красивый водный простор. Но внезапно она вырвалась из чаши и, протянувшись по самому берегу озера, открыла нам свободный вид на его широкое зеркало, которое теперь, когда ветер улегся, отражало в себе спокойно-величавый и темный хребет, поросший вереском, громадные сизые утесы и косматые косогоры, окружавшие его. Холмы так близко подступили теперь к воде, такими крутыми и скалистыми склонами, что оставляли для прохода только занятую нами узкую полосу дороги под нависшими над ней утесами, откуда противник, просто скатывая вниз камни, мог бы истребить наш отряд, почти лишенный здесь возможности оказать сопротивление. Прибавьте к этому, что дорога огибала каждый выступ, врезавшийся в озеро, каждую бухту, редко позволяя нам видеть на сто ярдов вперед.

Характер теснины, по которой мы продвигались, по-видимому, внушал нашему командиру некоторую тревогу, которую можно было угадать по его повторным приказаниям солдатам быть наготове и по угрозам прикончить Дугала на месте, если окажется, что он вовлек их в опасное дело. Дугал выслушивал угрозы с тупым безразличием, которое могло происходить от сознания собственной невиновности или же от непреклонной решимости.

— Если шентльмены ищут Красный Грегарах, — сказал он, — они не могут ждать, что найдут его без самой маленькой опасности.

Едва он произнес эти слова, как капрал, командовавший авангардом, остановил отряд,

прислав одного из своих людей сказать капитану, что дорога впереди отрезана горцами, занявшими на том участке господствующую и трудно атакуемую позицию. Почти в ту же минуту от арьергарда пришло сообщение, что из леса, оставленного позади, доносятся звуки волынок. Капитан Торнтон, человек отваги и действия, тотчас решил пробиться вперед, не дожидаясь нападения с тыла. Уверив солдат, что они слышат волынки дружественных горцев, идущих им на подмогу, он разъяснил, как важно сейчас поспешить вперед и захватить Роб Роя прежде, чем подоспеют помощники и разделят с ними честь и награду, назначенную за голову знаменитого разбойника. Он поэтому велел арьергарду соединиться с центром и всему отряду дал приказ наступать, сдваивая ряды, чтоб колонна представляла такой фронт, какой допускала ширина дороги. Дугалу он сказал шепотом: «Если ты меня обманул, собака, ты умрешь!» — и поместил его в центре отряда, между двумя гренадерами, дав безоговорочный приказ пристрелить его при первой попытке к бегству. То же место указано было и нам, как наиболее безопасное. Взяв свою легкую пику у солдата, несшего ее, капитан Торнтон стал во главе небольшого отряда и отдал команду идти вперед.

Отряд подвигался с настойчивостью, присущей английским солдатам. Только Эндрю Ферсервис не проявлял твердости, со страху совсем потеряв рассудок. Да, по правде сказать, и мы с мистером Джарви хоть и не испытывали того же трепета, но все же не могли со стоическим безразличием думать о гибели, грозившей нам в чужой, нас не касавшейся ссоре. Но не было времени на споры, не было никакого иного выхода.

Мы были в двадцати ярдах от места, где авангард обнаружил присутствие неприятеля. То был один из тех скалистых мысов, которые врезались в озеро, с узенькой тропинкой по самому краю, как я описывал выше. Однако здесь тропа шла не у самой воды, как до сих пор, а несколькими резкими изгибами взбегала вверх и отвесно поднималась по круче базальтовой серой скалы, которая казалась совершенно неприступной. На ее вершине, куда добраться можно было только этой извилистой, узкой и ненадежной тропой, капрал, по его словам, увидел шапки и длинноствольные ружья нескольких горцев, залегших, наверно, в заросли кустов и высокого вереска на гребне. Капитан Торнтон приказал капралу идти вперед с тремя шеренгами — выбить предполагаемую засаду, а сам более медленным, но твердым шагом двинулся ему на подмогу с остальным отрядом.

Задуманную таким образом атаку предупредило неожиданное появление женской фигуры на вершине скалы.

— Стойте! — властным голосом промолвила женщина. — И скажите мне, что вы ищете в стране Мак-Грегора?

Редко доводилось мне видеть образ более прекрасный, чем эта женщина. Ей можно было дать лет сорок с лишним, и, вероятно, лицо ее некогда отличалось гордой и впечатляющей красотой; но теперь, когда под влиянием непогоды или, может быть, опустошительного действия гор и страстей черты его сделались резче, оно казалось только сильным, суровым и выразительным. Плед носила она, не натягивая его на голову и плечи, как было в обычае у шотландок, но обмотав вокруг стана, как носят воины в Горной Стране. На ней была мужская шапочка с пером, в руке — обнаженный меч, за поясом — два пистолета.

— Это Елена Кэмбел, жена Роба, — прошептал встревоженно бэйли. — Кое-кому из нас продырявят голову, не миновать этого!

— Что вы ищете здесь? — снова спросила она капитана Торнтона, который выступил вперед для переговоров.

— Мы ищем разбойника Роб Роя, Мак-Грегора Кэмбела, — отвечал офицер, — но с женщинами мы не воюем. Не оказывайте напрасного сопротивления королевским войскам, и обещаю, что с вами обойдутся милостиво и учтиво.

— О да, — возразила амазонка, — мне ли не знать вашего милосердия! Вы не оставили мне даже доброго имени; моя мать отшатнется от меня в могиле, когда меня положат рядом с ней. Вы не оставили мне и моим родным ни дома, ни земли, ни постели, ни одеяла, не оставили нам ни коровы, чтоб нас прокормить, ни овцы, чтобы одеть нас; вы отняли у нас все, все! Самое имя наших предков вы отняли у нас, а теперь пришли отнять у нас жизнь.

— Я ни у кого не хочу отнимать жизнь, — ответил капитан, — я только исполняю приказ. Если вы одна, добрая женщина, вам нечего бояться; если при вас есть такие, что дерзнут оказать нам бесполезное сопротивление, кровь их падет на их собственные головы! Вперед, сержант!

— Марш вперед! — скомандовал младший офицер. — Вперед, ребята, — за головой Роб Роя, за мошною золота!

Он двинулся ускоренным шагом в сопровождении шести рядовых. Но едва они достигли первого изгиба дороги на подъеме, несколько кремневых ружей с разных сторон открыли частый и меткий огонь. Сержант, раненный навылет в грудь, еще пытался одолеть подъем и, подтягиваясь на руках, карабкался на скалу, но пальцы его немели, и, сделав последнее отчаянное усилие, он упал, сорвавшись с уступа, в глубокое озеро и там погиб. Из рядовых трое упали, убитые или раненые; остальные отступили к своим с тяжелыми увечьями.

— Гренадеры, во фронт! — крикнул капитан Торнтон.

Вы должны помнить, Уилл, что в те дни солдаты этой категории действительно вооружены были теми разрушительными снарядами, от которых получили свое наименование. Итак, четыре гренадера двинулись в лоб. Офицер приказал остальному отряду быть готовым их поддержать и, сказав нам только: «Позаботьтесь о своей безопасности, джентльмены», — быстро, по порядку скомандовал гренадерам:

— Открыть подсумок! Гранату в руку! Запалить фитиль! Вперед!

Отряд, возглавляемый капитаном Торнтоном, двинулся в наступление, подбадривая себя громкими возгласами. Гренадеры приготовились кинуть гранаты в кусты, где лежала засада, мушкетеры — поддержать их быстрым штурмом. Дугал, забытый в пылу схватки, благоразумно отполз к зарослям, нависшим над дорогой в том месте, где мы сделали первую нашу остановку, и с проворством дикой кошки стал взбираться по круче. Я последовал его примеру, поняв инстинктом, что с открытой дороги горцы своим огнем сметут все. Я лез, пока хватило дыхания, потому что непрерывный огонь, при котором каждый выстрел множило тысячекратное эхо, шипение зажигаемых фитилей и раздающиеся вслед за ним взрывы гранат, мешаясь с солдатским «ура» и воплями горцев, — все это вместе, не стыжусь признаться, разжигало во мне желание укрыться в безопасном месте. Подъем вскоре стал так труден, что я отчаялся догнать Дугала. А тот перемахивал с уступа на уступ, с пенька на пенек проворней белки, и я отвел от него глаза и глянул вниз, чтоб узнать, что сталось с двумя другими моими спутниками. Оба находились в крайне неприятном положении.

Мистер Джарви, которому страх придал, я думаю, на время некоторую долю ловкости, залез на двадцать футов вверх от дороги, когда вдруг, взбираясь с уступа на уступ, поскользнулся и заснул бы вечным сном рядом со своим отцом, деканом, на чьи слова и действия он так любил ссылаться, если б не длинная ветка растрепанного терновника, за которую зацепились фалды его дорожного кафтана: поддерживаемый ею, несчастный бэйли повис в воздухе, уподобившись эмблеме золотого руна над дверьми одного торговца возле Рыночных Ворот в родном его городе.

Что же до Эндрю Ферсервиса, то он продвигался более успешно, пока не достиг вершины голого утеса, которая, поднимаясь над лесом, подвергала его (по крайней мере в его собственном воображении) всем опасностям идущей битвы, но в то же время была так крута и неприступна, что он не смел ни двинуться вперед, ни отступить. Шагая взад и вперед по узкой площадке на вершине утеса (точь-в-точь фигляр на деревенской ярмарке, увеселяющий гостей во время пирушки), он взывал о пощаде то на гэльском языке, то на английском — смотря по тому, на чью сторону клонились весы победы, — меж тем как на его призывы отвечали только стоны почтенного бейли, жестоко страдавшего не только от мрачных предчувствий, но и от неудобства позы, в которой он очутился, подвешенный за филейную часть.

Видя опасное положение бэйли, я прежде всего подумал, как бы мне оказать ему помощь. Но это было невозможно без содействия Эндрю; а между тем ни знаки, ни просьбы, ни приказы, ни увещания не могли побудить его набраться мужества и слезть со своей злосчастной вышки: подобно бездарному и нелюбимому министру, мой слуга был не

способен спуститься с высоты, на которую самонадеянно поднялся. Он торчал на своем утесе, изливал жалобные мольбы о пощаде, не достигавшие ничьих ушей, и метался взад и вперед, извиваясь всем телом самым комическим образом, чтобы уклониться от пуль, свистевших, как ему мерещилось, над самой его головой.

Через несколько минут этот повод для страха отпал, так как огонь, вначале столь упорный, сразу стих, — верный знак, что борьба закончилась. Теперь предо мной встала задача подняться на такое место, откуда я мог бы видеть исход боя, и воззвать к милости победителей, которые, думал я (чья бы сторона ни взяла верх), не оставят почтенного бэйли висеть, подобно гробу Магомета, между небом и землей и протянут ему руку помощи. Наконец, взбираясь то на один, то на другой уступ, я нашел пункт, откуда открывался вид на поле битвы. Она действительно пришла к концу; и, как я предугадывал, исходя из позиций противников, завершилась поражением капитана Торнтона. Я увидел, как горцы разоружают офицера и остатки его отряда. Всего их уцелело человек двенадцать, да и те в большинстве были ранены. Окруженные неприятелем, втрое превосходившим их численностью, не имея возможности ни пробиться вперед, ни отступить под убийственным и метким огнем, на который они не могли успешно отвечать, солдаты сложили наконец оружие по приказу офицера: тот увидел, что дорога в тылу занята и что сопротивляться далее значило бы напрасно жертвовать жизнью своих подчиненных. Горцам, стрелявшим из-за прикрытия, победа стоила недорого — один убитый и двое раненных осколками гранат. Все это я узнал позднее. Теперь же я мог только догадаться об исходе сражения, видя, как у английского офицера, чье лицо было залито кровью, отбирают его шляпу и оружие и как его солдаты, угрюмые и подавленные, в тесном кольце обступивших их воинственных дикарей подчиняются с видом глубокой скорби тем суровым мерам, какими законы войны позволяют победителю оградить себя от мести побежденного.

ГЛАВА XXXI

«Горе сраженному», — сказал суровый Бренно,
Когда под галльский меч склонился Рим надменный.
«Горе сраженному», — сказал он, и клинок
Тяжеле на весы, чем римский выкуп, лег.
И горю на полях, где битва жертвы множит,
Власть победителя одна предел положит.
«Галлиада»

С тревогой старался я в рядах победителей различить Дугала. Я почти не сомневался, что в плен он попал умышленно, с целью завести английского офицера в теснину, и я невольно дивился тому, с каким искусством невежественный и полудикий с виду горец разыграл свою роль: как он с притворной неохотой выдавал свои ложные сведения, сообщение которых и было с самого начала его целью. Я видел, что мы подвергнем себя опасности, если подступимся к победителям сейчас же, в их первом упоении победой, не чуждом жестокости, — ибо два или три солдата, которым их раны не позволили встать, были заколоты победителями, или, вернее, оборванными мальчишками-горцами, сопровождавшими их. Отсюда я заключил, что для нас будет рискованно представиться без посредника; а так как Кэмбела (которого я теперь не мог не отождествлять со знаменитым разбойником Роб Роем) нигде не было видно, я решил искать покровительства у его лазутчика, Дугала.

Напрасно искал я глазами вокруг, и наконец я вернулся, чтобы выяснить, какую помощь смогу оказать один моему несчастному другу, когда, к моей великой радости, увидел мистера Джарви: избавившись от своего висячего положения, он, хотя с почерневшим лицом и в разодранной одежде, но все же целый и невредимый, сидел под той самой скалой, перед которой недавно висел. Я поспешил подойти к нему с поздравлениями, но он принял их далеко не так сердечно, как я их приносил. Задыхаясь в тяжелом приступе кашля, он в ответ на мои излияния с трудом выдавил из себя отрывочные слова:

— Ух! ух! ух! ух! .. А еще говорят, что друг… ух-ух! .. что друг ближе родного брата… ух-ух-ух! Когда я приехал сюда, мистер Осбалдистон, в эту страну, проклятую Богом и людьми, ух-ух! (да простится мне, что поминаю Бога всуе!) не ради чего иного, как только по вашим делам, вы сперва бросаете меня на произвол судьбы, чтоб меня утопили или застрелили в схватке между бешеными горцами и красными куртками, а потом оставляете висеть между небом и землей, как огородное чучело, и даже пальцем не пошевелите, чтоб вызволить меня. Это, по-вашему, честно?

Я принес тысячу извинений и так усердно доказывал невозможность вызволить человека в таком положении моими одинокими усилиями, что в конце концов достиг успеха, и мистер Джарви, по натуре такой же добродушный, как и вспыльчивый, вернул мне свое расположение. Только теперь я позволил себе спросить, как удалось ему высвободиться.

— Высвободиться? Я провисел бы там до самого Страшного суда! Что я мог сделать, когда голова у меня повисла в одну сторону, а пятки — в другую, как чаши весов для пряжи на старой таможне! Меня, как и вчера, спас бездельник Дугал: он отрезал кинжалом фалды моего кафтана и вдвоем еще с одним голоштанником поставил меня на ноги так ловко, точно я век на них стоял, не отрываясь от земли. Но смотрите, что значит добротное сукно: будь на мне ваш гнилой французский камлот или какой-нибудь там драп-де-берри, он бы лопнул, как старая тряпка, под тяжестью моего тела. Честь и слава ткачу, соткавшему такую материю, — покачиваясь на ней, я был в полной безопасности, как габбарт, *note 89* пришвартованный двойным канатом на пристани в Бруми-Ло.

Я спросил затем, что сталось с его избавителем.

— Бездельник (так продолжал он называть горца) объяснил мне, что опасно было бы подходить к леди, пока он не вернется, и просил подождать его здесь. Я полагаю, — продолжал бэйли, — что Дугал разыскивает нас. Он толковый малый… И, сказать по правде, я голову отдам на отсечение, что он прав насчет леди, как он ее величает, Елена Кэмбел и девушкой была не из кротких, а в замужестве не стала мягче. Люди говорят, что сам Роб ее побаивается. Она, чего доброго, не узнает меня — ведь мы не виделись много лет. Не стану я подходить к ней сам, лучше подождать бездельника Дугала.

Я согласился с этим доводом. Но судьбе не угодно было в тот день, чтоб осторожность почтенного бэйли пошла на пользу ему или кому-либо другому.

Эндрю Ферсервис, правда, перестал плясать на вершине, как только закончилась стрельба, давшая ему повод к такому странному занятию, однако он все еще сидел, как на шестке, на голом утесе, где представлял собой слишком заметный предмет, чтоб ускользнуть от зорких глаз горцев, когда у них нашлось время глядеть по сторонам. Мы поняли, что он замечен, по дикому громкому крику, поднявшемуся в толпе победителей, из которых трое или четверо тотчас же бросились в кусты и с разных сторон стали взбираться по скалистому склону горы к тому месту, где узрели это странное явление.

Те, кто первыми приблизились на расстояние выстрела к бедному Эндрю, не стали утруждать себя попытками оказать помощь в его щекотливом положении: нацелившись в него из длинноствольных испанских ружей, они очень недвусмысленно дали ему понять, что он должен во что бы то ни стало сойти вниз и сдаться на их милость — или его изрешетят пулями, как полковую мишень для учебной стрельбы. Побуждаемый такой страшной угрозой к рискованному предприятию, Эндрю Ферсервис больше не мог колебаться: поставленный перед выбором между неминуемой гибелью и тою, что казалась не столь неизбежной, он предпочел последнюю и начал спускаться с утеса, цепляясь за плющ, за дубовые пни и выступы камней; при этом он в лихорадочной тревоге ни разу не упустил случая, когда его рука оказывалась свободной, протянуть ее с мольбой к собравшимся внизу джентльменам в пледах, как бы заклиная их не спускать взведенных курков. Словом, бедняга, подгоняемый

Note89

Судно, ходившее по реке Клайд, — нечто вроде лихтера; название происходит, вероятно, от французского «gabare». (Прим. автора.)

противоречивыми чувствами, со страху благополучно совершил свой спуск с роковой скалы, на что его могла подвигнуть — я в том глубоко убежден — только угроза немедленной смерти. Неуклюжие движения Эндрю очень забавляли следивших снизу горцев, и, пока он спускался, они выстрелили раза два — конечно, не с целью ранить его, а только чтобы еще больше позабавиться его безмерным ужасом и подстегнуть его проворство.

Наконец он достиг твердой и сравнительно ровной земли, или, вернее сказать, растянулся во всю длину на земле, так как у него в последнюю минуту подогнулись колени. Но горцы, стоявшие в ожидании, снова поставили его на ноги и, прежде чем он встал, успели отобрать у него не только содержимое его карманов, но также парик, шляпу, кафтан, чулки и башмаки. Это было проделано с такой удивительной быстротой, что мой слуга, упав на спину прилично одетым, осанистым городским лакеем, встал раскоряченным, ощипанным, плешивым, жалким вороньим пугалом. Не обращая внимания на боль, испытываемую его незащищенными пятками от соприкосновения с острыми камнями, по которым его гнали, обнаружившие Эндрю горцы продолжали волочить его вниз к дороге через все препятствия, вставшие на пути.

Пока они спускались, мистер Джарви и я попали в поле зрения зорких, как у рыси, глаз, и тотчас же шестеро вооруженных молодцов окружили нас, подняв к нашим лицам и горлу острия своих кинжалов и мечей и почти вплотную наставив на нас заряженные пистолеты. Сопротивляться было бы чистым безумием, тем более что у нас не было никакого оружия. Поэтому мы покорились своей судьбе, и те, кто помогали нам совершить туалет, довольно невежливо принялись приводить нас в такое же «незамаскированное состояние» (говоря словами Лира), какое представляла собой беспёрая двуногая тварь — Эндрю Ферсервис, который стоял в нескольких ярдах от нас и трясся от страха и холода. Счастливая случайность спасла нас, однако, от этой крайности, ибо только я отдал свой шейный платок (великолепный «стейнкэрк», скажу мимоходом, с богатой вышивкой), а бэйли — свой куцый кафтан, как появился Дугал и дело приняло другой оборот. Настойчивыми увещаниями, руганью и угрозами (если судить о тоне его слов по силе жестикуляции) он принудил разбойников, как ни было им это обидно, не только приостановить грабеж, но и вернуть по принадлежности уже присвоенную добычу. Он вырвал мой платок у завладевшего им молодца и в своем усердии восстановителя порядка обмотал его вокруг моей шеи с убийственной энергией, пробудившей во мне подозрение, что, проживая в Глазго, он был не только помощником тюремщика, но, должно быть, учился заодно ремеслу палача. Мистеру Джарви он накинул на плечи остатки его кафтана, и, так как с большой дороги к нам стекались толпами горцы, он пошел вперед, приказав остальным оказать нам, и в особенности бэйли, необходимую помощь, чтобы мы могли совершить спуск сравнительно легко и благополучно.

Но Эндрю Ферсервис тщетно надрывал легкие, умоляя Дугала взять и его под свое покровительство или хотя бы своим заступничеством обеспечить ему возвращение башмаков.

— Чего там! — сказал в ответ Дугал. — Ты, я думаю, не из благородных. Твои деды, как я понимаю, ходили босые!

И, предоставив Эндрю неторопливо следовать за нами, — точнее говоря, настолько неторопливо, насколько угодно было окружавшей его толпе, — он быстро привел нас вниз на тропу, где разыгралось сражение, и поспешил представить как добавочных пленников предводительнице горцев.

Итак, нас поволокли к ней, причем Дугал дрался, боролся, вопил, точно его обидели больше всех, и отстранял угрозами и пинками каждого, кто пытался проявить больше усердия в нашем пленении, чем проявлял он сам. Наконец мы предстали перед героиней дня, которая своим видом — так же, как и дикие, причудливые и воинственные фигуры, окружавшие нас, — признаюсь, внушала мне сильные опасения. Я не знаю, действительно ли Елена Мак-Грегор вмешалась лично в битву (впоследствии меня убеждали в обратном), но пятна крови у нее на лбу, на ладонях, на обнаженных по локоть руках и на клинке меча, который она все еще держала в руке, ее горевшее огнем лицо и спутанные пряди иссиня-черных волос, выбившихся из-под красной шапки с пером, — все наводило на мысль, что она приняла

непосредственное участие в сражении. Ее пронзительные черные глаза, все ее лицо выражало торжество победы и гордое сознание свершенной мести. Но ничего кровожадного или жестокого не было в ее облике; и она напомнила мне, когда улеглось первое волнение встречи, изображения библейских героинь, виденные мною в католических церквах во Франции. Правда, она не обладала красотой Юдифи, и черты ее не были отмечены той вдохновенностью, какую придают художники Деборе или жене Кенита Хебера, к чьим ногам склонился могучий притеснитель Израиля, пребывавший в языческом Харошефе, и пал, и лег бездыханный. Но все же горевший в ней восторг придавал ее лицу и осанке какое-то дикое величие, сближавшее ее с образами тех чудесных мастеров, которые явили нашим взорам героинь Священного писания.

Я стоял в растерянности, не зная, как начать разговор с такой необыкновенной женщиной, когда мистер Джарви, разбив лед вступительным покашливанием (нас слишком быстро вели на аудиенцию, и у него опять началась одышка), обратился к Елене Мак-Грегор в таких выражениях:

— Ух, ух! (И снова, и так далее.) Я очень рад счастливому случаю (дрожь в его голосе жестоко противоречила тому ударению, какое он сделал на слове «счастливому»)… счастливой возможности, — продолжал он, стараясь придать эпитету более естественную интонацию, — пожелать доброго утра жене моего сородича Робина… Ух, ух! Как живете? (Он разговорился и овладел уже своей обычной бойкой манерой, фамильярной и самоуверенной.) Как вам жилось все это время? Вы меня, конечно, забыли, миссис, Мак-Грегор Кэмбел, вашего кузена, ух, ух! Но вы помните, верно, моего отца, декана Никола Джарви с Соляного Рынка в Глазго? Чистейший был человек, почтеннейший и всегда уважал вас и вашу семью. Итак, как я уже сказал вам, я чрезвычайно рад встрече с миссис Мак-Грегор Кэмбел, супругой моего сородича. Я позволил бы себе вольность приветствовать вас по-родственному, если б ваши молодцы не скрутили мне так больно руки; и, сказать вам правду, Божескую и судейскую, вам, пожалуй, не мешало бы умыться, перед тем как выйти к своим друзьям.

Развязность этого вступления плохо соответствовала приподнятому состоянию духа той особы, к которой оно было обращено, — женщины, только что одержавшей победу в опасной схватке, а теперь приступившей к вынесению смертных приговоров.

— Кто ты такой, — сказала она, — что смеешь притязать на родство с Мак-Грегором, хотя не носишь его цветов и не говоришь на его языке? Кто ты такой? Речь и повадка у тебя как у собаки, а норовишь лечь подле оленя.

— Не знаю, — продолжал неустрашимый бэйли, — может быть, вам и не разъясняли никогда, в каком мы с вами родстве, кузина, но это родство не тайна, и можно его доказать. Моя мать, Элспет Мак-Фарлен, была женой моего отца, декана Никола Джарви (упокой Господь их обоих!). Элспет была дочерью Парлена Мак-Фарлена из Шилинга на Лох-Слое. А Парлен Мак-Фарлен, как может засвидетельствовать его ныне здравствующая дочь Мэгги Мак-Фарлен, иначе Мак-Наб, вышедшая замуж за Дункана Мак-Наба из Стакавраллахана, состоял с вашим супругом, Робином Мак-Грегором, не больше и не меньше как в четвертой степени родства, ибо…

Но воительница подсекла генеалогическое древо, спросив высокомерно:

— Неужели бурному потоку признавать родство с жалкой струйкой воды, отведенной от него прибрежными жителями на низкие домашние нужды?

— Вы правы, уважаемая родственница, — сказал бэйли, — но, тем не менее, ручей был бы рад получить обратно воду из мельничной запруды среди лета, когда заблестит на солнце белая галька. Я отлично знаю, что вы, горцы, ни в грош не ставите нас, жителей Глазго, за наш язык и одежду; но каждый говорит на своем родном языке, которому его обучили в раннем детстве; и было бы смешно смотреть, если бы я, с моим толстым пузом, облачился в куцый кафтанчик горца и надел чулки до колен, подражая вашим голенастым молодцам. Мало того, любезная родственница, — продолжал он, не обращая внимания ни на знаки, которыми Дугал как бы призывал его к молчанию, ни на жесты нетерпения, вызванные у амазонки его болтовней, — вам следует помнить: самого короля нужда приводит иногда к дверям торговца.

И я, как ни высоко вы чтите вашего мужа (и должны чтить: так положено каждой жене, в Писании на это указано), — как ни высоко чтите вы его, говорю я, все же вы должны признать, что я оказал Робу кое-какие услуги; уж я не поминаю жемчужного ожерелья, которое я прислал вам к свадьбе, когда Роб был еще честным скотоводом, делал дела и не водил компании с ворами и разбойниками, нарушая мир в королевстве и разоружая королевских солдат.

Бэйли, видимо, задел больную струну в сердце родственницы. Она выпрямилась во весь рост, и смех, в котором презрение смешалось с горечью, выдал остроту ее чувств.

— Да, — сказала она, — вы и вам подобные охотно признаете нас родственниками, покуда мы гнем спину, как ничтожные людишки, вынужденные жить под вашим господством, колоть вам дрова и таскать вам воду, поставлять скот для ваших обедов и верноподданных для ваших законов, чтоб вам было кого угнетать и кому наступать на горло. Но теперь мы свободны — свободны по тому самому приговору, который отнял у нас кров и очаг, пищу и одежду, который лишил меня всего, всего! .. И я не могу не застонать всякий раз, как подумаю, что я еще попираю землю не для одной только мести. К тому, что так успешно начато сегодня, я прибавлю такое дело, которое порвет все узы между Мак-Грегором и скрягами из Низины. Эй! Аллан! Дугал! Вяжите этих сассенахов пятками к затылку и киньте их в наше горное озеро — пусть ищут в нем своих родичей-горцев!

Бэйли, встревоженный таким приказом, начал было увещевать эту женщину и, по всей вероятности, только сильней распалил бы ее негодование, но в эту минуту Дугал кинулся между ними и, заговорив на родном языке в быстрой и плавной манере, резко отличавшейся от его английского разговора, замедленного, неправильного, смешного, выступил с горячей речью — очевидно, в нашу защиту.

Его госпожа возразила ему, или, вернее, оборвала его речь, воскликнув по-английски (словно хотела, чтоб мы вкусили заранее всю горечь смерти):

— Подлая собака и сын собаки! Ты смеешь оспаривать мои повеления? Прикажи я тебе вырвать им языки и вложить язык одного в горло другому, чтоб узнать, который из двух лучше затарахтит на своем южном наречии; или вырвать их сердца и вложить сердце одного в грудь другому, чтоб увидеть, какое из двух лучше строит козни против Мак-Грегора, — а такие дела делались встарь во дни мести, когда наши отцы расплачивались за обиды, — прикажи я тебе что-либо подобное, разве и тогда не должен ты беспрекословно исполнить мой приказ?

— Конечно, конечно, — ответил Дугал тоном глубокого смирения, — ваша воля будет исполнена, я же не спорю, но если можно… то есть, если б я думал, что госпоже так же приятно будет утопить в озере этого злосчастного негодяя, капитана красных курток, да капрала Крэмпа, да еще двух-трех солдат, я бы это сделал своими руками и куда как охотно, — это лучше, чем обижать честных мирных джентльменов, потому что они друзья Грегараха и пришли по приглашению вождя, а не как предатели, в этом я сам поручусь.

Леди хотела возразить, но тут на дороге со стороны Эберфойла послышались дикие стоны волынок — возможно, тех самых, чьи звуки достигли слуха английских солдат и толкнули капитана Торнтона на решение не отступать назад, в деревню, а пробиваться вперед, когда он убедился, что проход занят. Схватка длилась очень недолго, и воины, шедшие под эту воинственную музыку, хоть и ускорили шаг, заслышав выстрелы, все-таки не успели принять участия в сражении. Победа была завершена без них, и теперь они явились лишь разделить торжество своих соплеменников.

Вновь пришедшие всем своим видом разительно отличались от воинов, разбивших английский отряд, — и разница была далеко не в пользу последних. Среди горцев, окружавших атаманшу (если я могу так ее назвать, не погрешив против грамматики), были мужчины преклонного возраста, мальчики, едва способные держать меч, даже женщины — словом, все те, кого только крайность заставила взяться за оружие; и это прибавило оттенок горького стыда к отчаянию, омрачившему мужественное лицо Торнтона, когда он убедился, что только преимущество в численности и позиции позволило такому жалкому противнику

одержать верх над его храбрыми солдатами. Но тридцать или сорок горцев, присоединившихся теперь к остальным, были все во цвете юности или возмужалости, ловкие, статные молодцы, а чулки до колен и перетянутые кушаками пледы выгодно подчеркивали их мускулистое сложение. Не только внешностью и одеждой превосходили они первый отряд, но также и вооружением. Люди атаманши, помимо кремневых ружей, были снабжены косами, секирами и другими видами старинного оружия, а у некоторых были только дубинки и длинные ножи. Во втором же отряде большинство носило за поясом пистолеты, и почти у всех висел спереди кинжал. У каждого было ружье в руке, палаш на боку и круглый щит из легкого дерева, обтянутый кожей и затейливо обитый медными бляхами, а в середине в него был вделан стальной шип. В походе или в перестрелках с неприятелем щит висел у них на левом плече, когда же дрались врукопашную — надевали на левую руку.

Легко было видеть, что бойцы отборного отряда пришли не с победой, какою могли похвалиться их плохо снаряженные товарищи. Волынка время от времени издавала протяжные звуки, выражавшие чувства, очень далекие от торжества; и когда воины предстали пред женой своего вождя, они смотрели сокрушенно и печально. Молча выстроились они перед нею, и снова издала волынка тот же дикий и заунывный стон.

Елена рванулась к ним, и на ее лице отразились и гнев и тревога.

— Что это значит, Алластер? — спросила она музыканта. — Почему печальный напев в час победы? Роберт… Хэмиш… где Мак-Грегор? .. Где ваш отец?

Ее сыновья, возглавлявшие отряд, подошли к ней медленным, нерешительным шагом и пробормотали несколько гэльских слов, которые исторгли у нее крик, гулко отдавшийся в скалах; все женщины и дети подхватили его, хлопая в ладоши, и так заголосили, точно жизнь их должна была изойти в плаче. Горное эхо, молчавшее с того часа, как смолк шум битвы, проснулось вновь, чтоб ответить на неистовый и нестройный вопль скорби, поднявший ночных птиц в их горных гнездах, — точно их удивило, что здесь, среди бела дня, происходит концерт безобразней и страшнее тех, какие задают они сами в ночной темноте.

— Схвачен! — повторила Елена, когда вой понемногу утих. — Схвачен! В плену! И вы пришли живые сказать мне об этом? Трусливые псы! Для того ли я вскормила вас, чтобы вы жалели свою кровь в борьбе с врагами вашего отца и смотрели, как берут его в плен, и вернулись бы ко мне с этой вестью?

Сыновья Мак-Грегора, к которым женщина обратила свой укор, были совсем юноши — старшему из них едва ли минуло двадцать лет. Его звали Хэмиш, или Джеймс, и он был на голову выше и много красивей брата — типичный юный горец с синими глазами и густыми светлыми волосами, падавшими волной из-под изящной синей шапочки. Младшего звали Робертом, но для различия с отцом горцы добавляли к его имени эпитет «Оог», что значит «молодой». Темные волосы, смуглое лицо, горевшее румянцем здоровья и воодушевления, стройное и крепкое, но не по годам развитое сложение отличали второго юношу.

Горе и стыд омрачали их лица, когда стояли они оба перед матерью и с почтительной покорностью слушали упреки, которые она изливала на них. Наконец, когда ее негодование несколько улеглось, старший, заговорив по-английски (может быть, для того, чтобы их приверженцы его не поняли), начал почтительно оправдываться перед матерью за себя и за брата. Я стоял довольно близко и мог разобрать многое из его слов; а так как в нашем критическом положении было очень важно располагать сведениями, я слушал как мог внимательнее.

Мак-Грегор, рассказал сын, был вызван на свидание одним негодяем из Нижней Шотландии, явившимся с полномочиями от… Он произнес имя очень тихо, но мне показалось, что оно похоже на мое. Мак-Грегор принял приглашение, но все же приказал задержать привезшего письмо англичанина в качестве заложника — на случай предательства. Итак, он отправился на назначенное место (оно носило дикое гэльское название, которого я не запомнил), взяв с собою только Ангюса Брека и Рори Маленького, а всем остальным велел остаться. Через полчаса Ангюс Брек вернулся с печальным известием, что на Мак-Грегора напал отряд леннокской милиции под начальством Галбрейта Гарсхаттахина и взял его в плен.

Когда Мак-Грегор, добавил Брек, стал грозить, что его плен повлечет за собою казнь заложника, Галбрейт пренебрежительно ответил: «Ладно, пусть каждая сторона вешает, кого может. Мы повесим вора, а ваши удальцы пусть повесят таможенную крысу, Роб. Страна избавится сразу от двух зол — от разбойника-горца и от сборщика податей». За Ангюсом Бреком следили не так зорко, как за его господином, и он, пробыв под стражей столько, сколько было нужно, чтоб услышать эти разговоры, бежал из плена и принес известие в свой лагерь.

— Ты узнал это, вероломный изменник, — сказала жена Мак-Грегора, — и не бросился тотчас на выручку отцу, чтоб вырвать его из рук врага или умереть на месте?

Молодой Мак-Грегор в ответ скромно сослался на численный перевес противника и объяснил, что неприятель, по его сведениям, не делает приготовлений к отходу, а потому он, Хэмиш Мак-Грегор, решил вернуться в долину и, собрав внушительный отряд, с большими шансами на успех предпринять попытку отбить пленника. В заключение он добавил, что отряд Галбрейта, как он понимает, расположился на ночлег под Гартартаном, или в старом замке Монтейт, или в другом каком-либо укрепленном месте, которым, конечно, нетрудно будет завладеть, если собрать для этой цели достаточно людей.

Я узнал впоследствии, что остальные приверженцы разбойника разделились на два сильных отряда: одному поручено было наблюдать за постоянным инверснейдским гарнизоном, часть которого, состоявшая под командой капитана Торнтона, была сейчас разбита; второй отряд выступил против горных кланов, которые объединились с регулярными войсками и обитателями Нижней Шотландии, чтобы общими силами предпринять вторжение в ту нелюдимую горную страну между озерами Лох-Ломонд, Лох-Кэтрин и Лох-Ард, которая в те времена называлась всеми страной Роб Роя, или Мак-Грегора. Спешно отправлены были гонцы, чтобы сосредоточить все силы, как я полагал, для нападения на противника; уныние и отчаяние, отразившиеся сперва на каждом лице, теперь уступили место надежде освободить вождя и жажде мести. Воспламененная этим чувством мести, жена Мак-Грегора приказала привести к ней заложника. Я думаю, что ее сыновья, опасаясь возможных последствий, держали до сих пор несчастного подальше от ее глаз. Если так, их гуманная осторожность лишь ненадолго отсрочила его судьбу. По приказу предводительницы из задних рядов отряда выволокли вперед полумертвого от страха пленника, и в его искаженных чертах я с удивлением и ужасом узнал своего старого знакомца — Морриса.

Он распластался у ног предводительницы, пытаясь обнять ее колени, но она отступила на шаг, словно его прикосновение осквернило ее, так что в знак предельного уничижения он мог только поцеловать край ее пледа. Я никогда не слышал, чтобы человек в таком томлении духа молил о пощаде. Страх не лишил его языка, как бывает обычно, но напротив — сделал красноречивым. Подняв тусклое, как пепел, лицо, судорожно сжимая руки, а взглядом как будто прощаясь со всем земным, он клялся самыми страшными клятвами в полном своем неведении о каком-либо умысле против Роб Роя, которого и любит и чтит, как собственную душу. Затем с непоследовательностью человека, объятого ужасом, он сказал, что был лишь исполнителем чужой воли, и назвал имя Рэшли. Он молил только оставить ему жизнь. За жизнь он отдаст все, что есть у него на свете. Только жизни просит он, жизни — хотя бы в пытках и лишениях; он молит, чтобы ему позволили только дышать — хотя бы в самой сырой пещере в их горах. Невозможно описать, с каким презрением, гадливостью, омерзением жена Мак-Грегора глядела на несчастного, который молил о жалком благе — существовании.

— Я позволила бы тебе жить, — сказала она, — если бы жизнь была для тебя таким же тяжелым, изнурительным бременем, как для меня, как для каждой благородной и высокой души. Но ты, жалкий червь, ты ползал бы в этом мире, нечувствительный к его мерзостям, к его неизбывным бедствиям, к постоянному росту преступлений и горя; ты способен жить и наслаждаться в то время, как благородные гибнут из-за предательства, а злодеи без роду и племени наступают пятой на шею храбрым и родовитым; ты способен объедаться, как собака мясника на бойне, жирея на требухе, когда вокруг уничтожают потомков древнейших и лучших родов! Нет, я не дам тебе жить и наслаждаться такими радостями! Ты умрешь, подлая

собака, прежде, чем вон то облако пройдет по солнцу.

Она отдала своим приближенным приказ на гэльском языке, и двое из них тотчас же схватили распростертого на земле пленника и потащили его к выступу скалы, нависшей над водой. Пленник испускал самые пронзительные жуткие крики, какие только может исторгнуть у человека страх, — да, я могу назвать их жуткими, потому что долгие годы они преследовали меня во сне! Когда убийцы, или палачи — назовите их как хотите, — поволокли его к месту казни, он в страшную эту минуту узнал меня и прокричал свои последние членораздельные слова:

— О мистер Осбалдистон, спасите меня! Спасите!

Я был так потрясен этим зрелищем, что не мог отказаться от попытки заступиться за приговоренного, хотя и сам с минуты на минуту ждал для себя той же участи. Но, как и следовало ожидать, мое вмешательство было сурово отклонено. Одни из горцев крепко держали Морриса, другие, завернув в плед большой, тяжелый камень, прикручивали его к шее несчастного, третьи поспешно стаскивали с него одежду. Полуголого и связанного, они швырнули его в озеро, достигавшее здесь двенадцати футов глубины, и громкие возгласы мстительного торжества не могли заглушить его последний предсмертный крик, страшный вопль смертельной тоски. Тело с плеском разбило темно-синюю воду, и горцы, держа наготове секиры и мечи, некоторое время следили, как бы их жертва, освободившись от груза, привязанного к ней, не выбралась на берег. Но узел был затянут надежно: несчастный пошел ко дну, вода, взвихренная было его падением, тихо сомкнулась над ним, — и единица жизни человеческой, жизни, о которой он так жадно молил, была навсегда скинута со счетов.

ГЛАВА XXXII

... До наступленья ночи
Он должен быть отпущен на свободу,
Иль, если месть горит, как рана в сердце,
И сила есть в руке ее свершить,
Земля застонет ваша.
Старинная пьеса

Не знаю почему, но единичный акт насилия и жестокости сильнее действует на наши нервы, чем картины массового уничтожения. В этот день я видел, как в бою погибло несколько моих храбрых соотечественников, и мне казалось, что им выпал этот жребий, так же как мог бы он выпасть и другому человеку; и сердце мое хотя и сжималось от жалости, но не леденело от ужаса, с каким наблюдал я, как несчастного Морриса хладнокровно предают смерти. Я взглянул на мистера Джарви и прочел на его лице те же чувства, какие написаны были и на моем. Он не в силах был до конца подавить свой ужас и тихим, отрывистым шепотом ронял слова:

— Заявляю протест против этого дела, как против кровавого, жестокого убийства. Безбожное дело! Бог воздаст за него должным образом в должный час.

— Так вы не боитесь последовать той же дорогой? — сказала воительница, остановив на нем смертоносный взгляд, каким ястреб глядит на облюбованную им добычу.

— Родственница! — сказал бэйли. — Ни один человек не захочет по доброй воле обрезать нить своей жизни раньше, чем отмеренная ему пряжа отработается на станке. Мне, если я останусь жив, надо сделать на земле еще немало дел — общественных и личных, в интересах городского магистрата и в собственных интересах; и потом, конечно, есть люди, которых я должен обеспечить, — например, бедную Мэтти; она сирота и состоит в дальнем родстве с лэрдом Лиммерфилдом. Так что когда все это сложишь конец к концу… право, все, что есть у человека, он отдаст за жизнь.

— А если я отпущу вас на свободу, — сказала властная леди, — как тогда назовете вы расправу с этой английской собакой?

— Ух! ух! .. гм! гм! — произнес судья, тщательно прочищая горло. — Я постарался бы

говорить о ней как можно меньше — меньше скажешь слов, скорее справишь дело.

— А если бы вам пришлось предстать пред лицом того, что у вас именуется правосудием, — продолжала она свой допрос, — что сказали бы вы тогда?

Бэйли повел глазами в одну сторону, в другую, как будто задумал ускользнуть, потом ответил тоном человека, который, видя, что отступление невозможно, решает принять бой и дать отпор неприятелю.

— Вы, я вижу, хотите припереть меня к стене. Но скажу вам прямо, родственница, я привык говорить всегда в согласии со своею совестью; и хотя ваш муж (очень жаль, что его здесь нет, — было бы лучше и для него и для меня), хотя ваш муж, как и этот бедный горец, бездельник Дугал, мог бы вам подтвердить, что Никол Джарви умеет не хуже всякого другого смотреть сквозь пальцы на ошибки друзей, — все же скажу вам, родственница, никогда мой язык не выговорит того, чего нет в моих мыслях; чем признать, что тот несчастный убит по закону, — я уж скорей соглашусь лежать рядом с ним на дне озера — хотя я думаю, вы первая женщина в Горной Стране, позволившая себе грозить жестокой казнью родственнику своего мужа, и не дальнему, а всего в четвертом колене.

Возможно, твердый тон, принятый мистером Джарви в его последней речи, вернее мог подействовать на каменное сердце его родственницы, нежели тон заискивания, каким он говорил с ней до сих пор: так драгоценный камень можно резать сталью, тогда как более мягкому металлу он не поддается. Елена Мак-Грегор велела поставить нас обоих пред собой.

— Ваше имя, — обратилась она ко мне, — Осбалдистон? Так назвала вас та собака, чьей смерти вы только что были свидетелем.

— Да, мое имя Осбалдистон, — был мой ответ.

— Рэшли Осбалдистон, не так ли? — продолжала она.

— Нет, Фрэнсис.

— Но вы знаете Рэшли Осбалдистона? Он ваш брат, если я не ошибаюсь, или, во всяком случае, ваш родственник и близкий друг.

— Родственник, да, — возразил я, — но не друг. Мы недавно сошлись с ним в поединке, и нас разнял человек, который, как я понимаю, является вашим мужем. Кровь моя еще не обсохла на шпаге Рэшли, и рана на моем боку еще свежа. У меня нет причин называть его другом.

— В таком случае, — отвечала она, — если вы не замешаны в его интриги, вы можете спокойно отправляться в лагерь Гарсхаттахина, не опасаясь, что вас задержат, и передать ему несколько слов от жены Мак-Грегора.

Я ответил, что у милиции, по-моему, нет разумных поводов меня задерживать, что у меня, со своей стороны, нет причин бояться ареста и что если возлагаемая на меня миссия посла обеспечит неприкосновенность моему другу и моему слуге, попавшим в плен вместе со мною, я готов немедленно отправиться в путь. Пользуясь случаем, я добавил, что приехал в эти края по приглашению ее супруга, обещавшего мне свою помощь в одном важном для меня деле, и что мой друг, мистер Джарви, приехал со мной ради той цели.

— И я очень жалею, что в сапоги мистера Джарви не было налито кипятку, когда он их натягивал, собираясь в такую дорогу, — прервал меня бэйли.

— Узнаю вашего отца, — сказала, обратившись к сыновьям, Елена Мак-Грегор, — в том, что нам сообщает молодой англичанин. Мак-Грегор умен, пока на голове у него шапка горца, а в руке палаш; но как сменит тартан на городское сукно, он непременно ввяжется в жалкие интриги горожан и становится опять — после всего, что он выстрадал! — их посредником, их орудием, их рабом.

— Добавьте, сударыня: их благодетелем, — сказал я.

— Пусть так, — сказала она. — Но это самое презренное наименование среди всех других, потому что мой муж неизменно сеял семена благодеяний, а пожинал самую черную неблагодарность. Однако довольно об этом. Итак, я велю проводить вас до сторожевых постов неприятеля. Вы спросите начальника и передадите ему от меня, Елены Мак-Грегор, такое сообщение: если они тронут хоть волос на голове Мак-Грегора и если не отпустят его на

свободу в течение двенадцати часов, то в Ленноксе не останется ни одной леди, которой не пришлось бы, прежде чем наступит Рождество, оплакать смерть дорогого человека; не будет фермера, который не горевал бы над спаленным амбаром и пустым коровником; не будет ни одного лэрда или сына лэрда, который вечером склонял бы голову на подушку в спокойной уверенности, что доживет до утра. А для начала, как только истечет срок, я пришлю им этого глазговского бэйли, этого английского капитана и всех остальных моих пленников завернутыми в плед и рассеченными на столько кусков, сколько клеток в тартане.

Когда она договорила, капитан Торнтон, стоявший неподалеку и слышавший ее слова, добавил спокойно и твердо:

— Передайте командующему привет от меня — привет от капитана Торнтона из гренадерского полка, и скажите, чтоб он исполнял свой долг и охранял пленника, нисколько не думая обо мне. Если я оказался так глуп, что позволил коварным горцам заманить меня в засаду, у меня хватит разума умереть за свою оплошность, не опозорив мундира. Мне только жаль моих несчастных соратников, — добавил он, — попавших в руки этих живодеров.

— Тш, тш! — остановил его бэйли. — Вам что, жизнь надоела? Передайте и от меня поклон старшему офицеру, мистер Осбалдистон, — поклон от бэйли Никола Джарви, члена глазговского магистрата, как был им в свое время и мой отец, покойный декан, — и скажите, что тут несколько почтенных граждан попали в беду и ждут еще худших бед и что для общего блага самое будет лучшее, если он предоставит Робу вернуться в свои горы как ни в чем не бывало. Здесь уже совершилось одно нехорошее дело, но поскольку оно коснулось главным образом акцизника, не стоит поднимать шум по пустякам.

Когда лица, больше всех заинтересованные в успехе моего посольства, дали мне свои противоречивые наказы и когда жена Мак-Грегора еще раз повторила, чтобы я запомнил и слово в слово передал ее ультиматум, мне наконец позволили отправиться в путь, а Эндрю Ферсервису — верно, чтоб избавиться от его назойливых причитаний, — разрешили меня сопровождать. Но из опасения, что я воспользуюсь лошадью для побега от конвоиров или, может быть, из желания удержать ценную добычу, мне дали понять, что я должен совершить свое путешествие пешком в сопровождении Хэмиша Мак-Грегора и двух его подчиненных, на которых возлагалась двойная задача: указать мне дорогу и разведать силы и расположение неприятеля. Одним из разведчиков был сперва назначен Дугал, но он сумел уклониться с целью, как мы узнали впоследствии, остаться и оберегать мистера Джарви, потому что, по своим понятиям о верности, считал себя обязанным оказывать добрые услуги бэйли, который в свое время был в какой-то мере его хозяином и покровителем.

Около часу мы шли быстрым шагом, пока не пришли на покрытую кустарником возвышенность, откуда могли окинуть взглядом лежавшую внизу долину и все расположение милиции. Так как силы ее составляла по преимуществу конница, командование благоразумно отказалось от всяких попыток пробраться в горный проход, что так неудачно испробовал капитан Торнтон. С несомненным знанием военного дела выбрана была позиция на возвышении, в центре небольшой Эберфойлской долины, омываемой Фортом. Долину ограждают два кряжа невысоких гор, обращенных к ней стеною известковых скал с крупными выходами брекчии — залежей булыжника в более мягкой среде, затвердевшей и спаявшей его наподобие известкового раствора, — а за ними со всех сторон поднимаются вдали более высокие горы. Все же долина между этими кряжами настолько широка, что конница могла не опасаться внезапного нападения горцев; часовые и аванпосты были расставлены по всем направлениям достаточно далеко от главного отряда, который в случае тревоги всегда успел бы вскочить на коней и выстроиться в боевом порядке. Впрочем, в то время никто и не ждал от горцев дерзкой попытки атаковать кавалерийскую часть на открытой равнине, хотя позднейшие события показали, что они способны с успехом провести такую атаку *note 90*.

Note90

Здесь, вероятно, имеются в виду сражения при Престонпенсе и при Фолкерке, что заставляет нас отнести дату написания мемуаров ко времени после 1745 года. (Прим. автора.)

Когда я впервые познакомился с жителями Верхней Шотландии, они питали почти суеверный страх к кавалеристу, потому что рослый конь его кажется против маленького горного шелти свирепым и мощным животным, обученным к тому же, как воображали невежественные горцы, драться в бою копытами и зубами.

Щипавшие траву кони на приколе, фигуры солдат, сидевших, стоявших и расхаживающих группами у красивой реки, и голые, но живописные скалы, возвышавшиеся с двух сторон, благородно вырисовывались на переднем плане, в то время как на востоке глаз улавливал сверкание озера Ментейт, а замок Стерлинг, смутно видневшийся вдали среди синих очертаний Охилских гор, довершал картину.

Осмотрев внимательно ландшафт, юный Мак-Грегор сообщил мне, что теперь я должен спуститься в лагерь ополченцев и переговорить, как мне поручено, с их командиром; затем, грозно сжав кулак, он добавил, чтоб я не сообщал неприятелю, кто меня проводил до места и где я расстался со своим эскортом. Выслушав эти наставления, я в сопровождении Эндрю Ферсервиса спустился к стоянке войск. Сохранив от своего английского платья только штаны и носки, простоволосый, с голыми икрами, обутый в броги, пожертвованные ему из жалости Дугалом, с накинутым на плечи драным пледом взамен рубахи и куртки, мой несчастный слуга был похож на сумасшедшего, сбежавшего из шотландского Бедлама. Мы отошли недалеко, когда нас заметил один из часовых, который подъехал к нам, навел карабин и приказал не трогаться с места. Я повиновался и, когда всадник поравнялся со мной, попросил проводить меня к командиру. Меня тотчас привели к офицерам, которые сидели на траве и составляли, очевидно, свиту при одном из них, занимавшем более высокий пост. На нем была кираса из полированной стали, а поверх нее — знаки древнего рода Чертополоха. Мой приятель Гарсхаттахин и много других джентльменов, одни в мундирах, другие в штатском платье, но все вооруженные и со свитой, казалось, повиновались во всем этому важному лицу. Много слуг в богатых ливреях — верно, из его челяди — стояли тут же, готовые исполнять приказания.

Засвидетельствовав свое глубокое почтение вельможе, как того требовал его ранг, я сообщил ему, что был невольным свидетелем поражения королевских солдат в битве с горцами в Лох-Ардском проходе (так, сказали мне, называлось место, где был взят в плен капитан Торнтон) и что победители грозят суровыми карами тем, кто попал в их руки, как и вообще всей Нижней Шотландии, если их предводитель, взятый утром в плен, не будет им возвращен целым и невредимым.

Герцог (ибо тот, к кому я обращался, носил титул герцога) выслушал меня с полным спокойствием и ответил, что ему очень прискорбно обрекать несчастных джентльменов на жестокую расправу со стороны варваров, в чьи руки они попали, но бессмысленно надеяться, что он отпустит на волю главного виновника всех этих бесчинств и беззаконий и тем самым поощрит разнузданность его последователей.

— Можете вернуться к тем, кто вас послал, — продолжал он, — и сообщить им, что Роб Рой Кэмбел, которого они зовут Мак-Грегором, на рассвете будет непреложно казнен по моему приказу, как преступник, взятый с оружием в руках и заслуживший смерть тысячью злодеяний; что меня справедливо почитали бы недостойным моего высокого звания и назначения, если бы я действовал иначе; что я найду способ оградить страну от их дерзких угроз и что если они тронут хоть волос на головах несчастных джентльменов, которых случай предал в их руки, я отвечу самой беспощадной местью — так, что камни их ущелий сто лет будут стонать от нее!

Я смиренно попросил разрешения отклонить возложенную на меня почетную миссию и упомянул о явной опасности, связанной с нею, но благородный военачальник возразил, что если дело обстоит таким образом, я могу послать своего слугу.

— Разве что дьявол влезет в мои ноги! — воскликнул Эндрю, не смущаясь присутствием высоких особ и не давая мне времени ответить самому. — Разве что дьявол влезет в мои ноги, а так я не сделаю ни шагу. Уж не думают ли господа, что у меня есть второе горло про запас, на случай, если Джон Горец полоснет меня по шее ножом? Или что я могу нырнуть в озеро у

одного берега и выплыть у другого, как дикая утка? Ну нет! Каждый за себя, а Бог за всех! Пусть люди сами заботятся о себе да о своем роде-племени и свои поручения пусть исполняют сами, нечего посылать Эндрю! Роб Рой никогда близко не подходил к Дрипдейли, никогда не воровал груш да яблок ни у меня, ни у моих родных.

С трудом уняв поток красноречия моего слуги, я напомнил герцогу, какой большой опасности подвергаются капитан Торнтон и мистер Джарви. Я готов, сказал я, передать условия герцога противной стороне, но пусть он видоизменит их настолько, чтоб осталась надежда спасти жизнь пленников. Я уверил его, что если я могу быть полезен, опасность меня не смутит, но все, чему я был свидетелем, не оставляет сомнений, что пленников тут же убьют, если предводитель разбойников будет казнен.

На герцога мои слова явно произвели впечатление. Случай трудный, сказал он, и он это сознает, но на нем лежит «важнейший долг перед страной, которого нельзя не исполнить: Роб Рой должен умереть».

Признаюсь, не без волнения выслушал я смертный приговор моему доброму знакомцу, мистеру Кэмбелу, который столько раз выказывал мне свое расположение. И в этом чувстве я был не одинок, потому что многие из приближенных герцога отважились высказаться в пользу осужденного. «Было бы разумнее, — говорили одни, — отправить его в замок Стерлинг и держать там под строжайшим надзором как заложника, чтобы утихомирить этим шайку и добиться ее роспуска. Очень жаль было бы отдать страну на разгром разбойникам, тем более что теперь, с наступлением длинных ночей, будет очень трудно предотвратить грабежи: охрану повсюду не расставишь, а горцы всегда сумеют выбрать незащищенный пункт». Другие добавляли, что было бы слишком жестоко предоставить пленников их участи, так как нельзя сомневаться, что в пылу мести угроза убить их будет тотчас исполнена.

Гарсхаттахин осмелился пойти еще дальше, положившись на рыцарскую честь вельможи, хотя и знал, что у того были особые причины ненавидеть пленника. Правда, сказал он, Роб Рой неудобный сосед для Низины и, конечно, причиняет много беспокойства его светлости и он, быть может, поставил разбойничий промысел на такую широкую ногу, как никто в наши дни, однако у него есть голова на плечах и его можно еще как-нибудь урезонить, тогда как его жена и сыновья — сущие дьяволы, которые не знают ни страха, ни пощады, и во главе его бесшабашных головорезов станут поистине чумой для страны — хуже, чем был когда-либо Роб Рой».

— Вздор! — оборвал герцог. — Ведь только ум да ловкость и позволяют этому человеку так долго удерживать свое владычество; рядовой шотландский разбойник был бы давно повешен, не погуляв на воле столько недель, сколько лет благоденствует Роб. Его шайка без него недолго будет докучать нам — не дольше проживет, чем оса без головы: ужалила раз, и тут же ее раздавили.

Но Гарсхаттахин стоял на своем.

— Всем известно, ваша светлость, — возразил он, — что я недолюбливаю Роба, как и он меня: он дважды очистил мои хлева и не раз угонял скот у моих арендаторов; тем не менее…

— Тем не менее, Гарсхаттахин, — сказал с многозначительной улыбкой герцог, — вы, мне кажется, склонны считать такие вольности извинительными для друга ваших друзей, — а Роб отнюдь не числится врагом заморских друзей майора Галбрейта.

— Если это и так, милорд, — сказал Гарсхаттахин в том же шутливом тоне, — это не самое худшее, что о нем известно. Однако не пора ли нам услышать весть от кланов, которой мы так долго дожидаемся? Будем надеяться, что они сдержат перед нами слово горцев… но я их знаю давно: не вяжутся английские ботфорты с шотландскими трузами.

— Никогда не поверю, — сказал герцог. — Эти джентльмены известны своей честностью, и я не допускаю мысли, что они нарушат слово и не явятся. Вышлите еще двух всадников навстречу нашим друзьям. До их прихода нам нечего и думать о штурме того ущелья, где капитан Торнтон дал захватить себя врасплох и где, по моим сведениям, десять пеших бойцов могут держаться против лучшего в Европе конного полка. А пока распорядитесь накормить людей.

Распоряжение это было отнесено и ко мне — очень кстати, так как я ничего еще не ел после наспех состряпанного ужина в Эберфойле накануне вечером. Отряженные разведчики вернулись, но не принесли никаких известий о вспомогательных отрядах.

Солнце уже клонилось к закату, когда наконец явился горец, принадлежавший к тем кланам, от которых ждали подмоги, и с нижайшим поклоном передал герцогу письмо.

— Превратиться мне в бочку кларета, — сказал Гарсхаттахин, — если это не любезное извещение, что проклятые горцы, которых мы притащили сюда после стольких трудов и мучений, надумали вернуться восвояси и предлагают нам управиться со своими делами собственными нашими силами!

— Так и есть, джентльмены, — побагровев от гнева, подтвердил герцог, когда прочел письмо, нацарапанное на грязном клочке бумаги, хоть адрес был написан по всей форме: «В собственные высокочтимые руки Светлейшего и Могущественного Властителя, Герцога…» и так далее и так далее. — Наши союзники, — продолжал герцог, — изменили нам, джентльмены, и заключили с неприятелем сепаратный мир.

— Такова судьба всех союзов, — сказал Гарсхаттахин. — Голландцы поступили бы с нами таким же образом, если бы мы упредили их в Утрехте.

— Вы в веселом настроении, сэр, — сказал герцог, и его нахмуренные брови показали, как мало понравилась ему шутка майора. — Однако наше дело принимает серьезный оборот. Я думаю, никто из джентльменов не одобрил бы теперь попытки с нашей стороны идти дальше в глубь страны без поддержки дружественных кланов или же пехотных частей из Инверснейда?

Все единогласно подтвердили, что сейчас подобная попытка была бы чистым безумием.

— И было бы не очень разумно, — продолжал герцог, — оставаться здесь на месте, подвергаясь опасности ночного нападения. Поэтому я предлагаю отступить, расположиться лагерем в Духрее или Гартартане и, держа неусыпную и бдительную стражу, переждать до утра. Но прежде чем нам разойтись, я устрою допрос Роб Рою перед всеми вами: пусть собственные глаза и уши убедят вас, как безрассудно было бы дать возможность этому разбойнику продолжать свои беззакония.

Был отдан соответственный приказ, и пленник предстал пред герцогом. Руки его были стянуты выше локтей и прикручены к телу конской подпругой, застегнутой на пряжку за спиной. Два капрала держали его с правой и с левой стороны, а две шеренги солдат, с карабинами на взводе, с примкнутыми штыками, для вящей безопасности шли позади.

Впервые увидел я этого человека в его национальной одежде, подчеркивающей особенности его облика. Копна рыжих волос, которые, когда он носил костюм горожанина, были скрыты под шляпой и париком, выбивалась теперь из-под шотландской шапочки, оправдывая прозвище «Рой», то есть «Красный», под которым его больше всего знали в Нижней Шотландии и помнят до сих пор. Прозвище подтверждал и внешний вид той части ног от подола юбки до верхнего края чулок, которую горец оставляет голой: она была у него покрыта порослью густого короткого рыжего волоса, особенно вокруг колен, напоминая этим, а также своей жилистой силой ноги красно-бурого шотландского быка. В общем, из-за перемены одежды, а может быть, и потому, что я узнал его истинное грозное имя, внешность его представилась моим глазам настолько более дикой и необычной, чем представлялась раньше, что я едва признал в нем своего старого знакомца.

Держался он смело, непринужденно (насколько ему позволяли путы), высокомерно, даже величественно. Он поклонился герцогу, кивнул Гарсхаттахину и другим и высказал некоторое удивление, увидев в этом обществе меня.

— Давно мы с вами не виделись, мистер Кэмбел, — сказал герцог.

— Да, милорд герцог; и я предпочел бы свидеться с вами в такое время, — он указал взглядом на свои скрученные руки, — когда я мог бы лучше выразить вашей светлости свое почтение. Но случай еще представится.

— Другого случая у вас не будет, мистер Кэмбел, — ответил герцог, — потому что быстро приближается час, когда вы должны будете дать последний отчет во всех ваших

земных делах. Я говорю это не для того, чтобы поиздеваться над вами в час вашего отчаяния, но вы должны знать, что близитесь к концу своего жизненного пути. Не буду отрицать, что иногда вы причиняли меньше вреда, чем принесли бы его другие, кто занимается тем же злосчастным ремеслом, и что вы проявляли порой признаки одаренности и даже не лишены добрых наклонностей, позволявших ждать от вас лучшего. Но вы сами знаете, как долго вы наводили грозу на ваших мирных соседей и какими разбойничьими действиями укрепляли и распространяли свою беззаконную власть. Короче: вы знаете, что заслужили смерть, и должны к ней приготовиться.

— Милорд, — сказал Роб Рой, — хотя я и мог бы свалить вину за свои несчастья на вашу светлость, но я никогда не скажу, что вы сами были их намеренным и сознательным виновником. Если б я это думал, вы не восседали бы сегодня в качестве моего судьи: три раза вы были на ружейный выстрел от меня, когда думали только об олене, — а редко кто видел, чтобы я дал промах в стрельбе. Но тех, кто злоупотреблял благосклонным вниманием вашей светлости и восстановил вас против человека, бывшего некогда таким же мирным жителем этой страны, как и всякий другой, тех, кто, прикрываясь вашим именем, довел меня до крайности, — вот с теми я расплачиваюсь понемногу и, невзирая на все, что сказано сейчас вашей светлостью, надеюсь рассчитаться сполна.

— Я знаю, — молвил герцог, вскипая гневом, — что вы отъявленный, бесстыдный негодяй, который, раз поклявшись совершить дурное дело, держит свое слово, но я приму меры и воспрепятствую вам. У вас нет других врагов, кроме собственных ваших злодейств.

— Если бы я звался Грэм, а не Кэмбел, я, вероятно, меньше слышал бы о них, — ответил с упрямой решимостью Роб Рой.

— Вы хорошо сделали бы, сэр, — сказал герцог, — если бы предупредили свою жену, своих родных и приверженцев, чтоб они осторожней обходились с джентльменами, которые попали сейчас в их руки, потому что я вдесятеро взыщу с них, с ваших родичей и сподвижников, за малейший вред, причиненный верноподданным его величества.

— Милорд, — молвил в ответ Роб Рой, — никто из моих врагов не обвинит меня в кровожадности; и будь я сейчас среди своих, я управлял бы четырьмя-пятью сотнями диких горцев так же легко, как ваша светлость этими девятью-десятью лакеями и гонцами. Но если вы намерены лишить семью ее главы, приготовьтесь к тому, что члены этой семьи станут действовать самочинно. Однако, что бы ни случилось, там среди пленных находится один достойный человек, мой родственник, и он пострадать не должен. Есть здесь кто-нибудь, кто согласился бы оказать услугу Мак-Грегору? Он воздаст за нее, хоть сейчас его руки и связаны.

Горец, принесший герцогу письмо, отозвался:

— Я исполню вашу волю, Мак-Грегор, и нарочно вернусь ради этого в горы.

Он подошел и принял от пленника поручение к жене, смысла которого я не понял, так как оно передано было по-гэльски, но я не сомневался, что оно обеспечивало безопасность мистеру Джарви.

— Вы слышите, какая дерзость? — сказал герцог. — Этот человек открыто берет на себя роль посланника! Его поведение стоит поступка его хозяев, которые сами пригласили нас действовать сообща против этих разбойников и расторгли союз, как только Мак-Грегоры согласились уступить им Балквиддерский край, предмет их давнишнего спора.

Нет в пледах верности, в тартане правды нет!
Что твой хамелеон, они меняют цвет.

— Ваш великий предок никогда так не говаривал, милорд, — вмешался майор Галбрейт. — И позвольте вам почтительно заметить, ваша светлость: вы никогда не имели бы случая этого сказать, если бы искали справедливости у самого истока… Верните честному человеку украденную кобылу; пусть каждая голова носит свою шляпу — и в Ленноксе порядок установится сам собой.

— Тише, тише, Гарсхаттахин! — сказал герцог. — Вам небезопасно держать такие речи

пред кем бы то ни было, а тем более предо мной; но вы, мне кажется, вообразили себя привилегированной особой. Извольте отвести вашу часть к Гартартану; я сам прослежу, чтобы пленника препроводили в Духрей, и пришлю вам завтра свои распоряжения. И соблаговолите не увольнять в отпуск ни одного из ваших солдат.

— Ну, начинается: то приказ, то отмена приказа! — процедил сквозь зубы Гарсхаттахин. — Но терпение, друг мой, терпение! Настанет день, и мы сыграем с вами в игру «Меняйтесь местом — король идет»!

Два конных отряда построились и приготовились к выступлению, торопясь прибыть засветло на ночные квартиры. Я получил скорее приказ, чем приглашение, примкнуть к отряду и заметил, что хоть и не числюсь больше пленником, но все же состою под подозрением. Да и то сказать, времена были опасные. Спор между якобитами и ганноверцами, раздиравший страну, постоянные ссоры и раздоры между жителями Верхней Шотландии, не говоря уже об исконной нескончаемой распре, разделяющей влиятельные шотландские семьи, — все это так обостряло всеобщую подозрительность, что одинокий, лишенный покровительства чужестранец почти неизбежно должен был натолкнуться в путешествии на какую-либо неприятность.

Я, однако, примирился со своею участью, утешая себя надеждой, что, может быть, мне удастся получить от плененного разбойника кое-какие сведения о Рэшли и его происках. Но справедливость требует добавить, что мной владели не одни лишь себялюбивые помыслы, — судьба моего странного знакомца глубоко волновала меня, и я всей душой хотел помочь ему и оказать все услуги, какие потребуются в его несчастном положении и какие ему дозволено будет принять.

ГЛАВА XXXIII

Едва вступив на шаткий мост,
Отвесил он поклон,
Добрался вплавь до берега -
И по полю бегом.
Гил Моррис

Эхо в скалах и ложбинах с двух сторон отзывалось на трубы кавалерии, когда она, выстроившись в два отдельных отряда, медленной рысью двинулась по долине. Отряд под командой майора Галбрейта вскоре стал забирать вправо и переправился через Форт, чтобы к ночи поспеть на указанные ему квартиры — в расположенном поблизости старинном замке, насколько мне было известно. При переправе через поток всадники являли живописную картину, однако быстро исчезали из виду, поднимаясь на противоположный, одетый лесом берег.

Мы продолжали свой марш в довольно стройном порядке. Для вернейшей охраны пленника герцог приказал посадить его на круп лошади за спиной одного своего слуги (его звали, как я потом узнал, Эван из Бриглендза) — самого рослого и сильного человека в отряде. Подпруга, опоясав тела обоих седоков, была застегнута на груди у великана, так что Робу невозможно было освободиться от своего стража. Я получил предписание держаться рядом с ними и был посажен для этого на полкового коня. Солдаты окружали нас так тесно, как позволяла ширина дороги, и постоянно по ту и другую сторону около нас скакал один, а иногда и два всадника с пистолетом в руке. Эндрю Ферсервису, посаженному на горного пони, где-то кем-то захваченного, разрешили ехать среди прочих слуг, которые в большом числе следовали за отрядом, не входя, однако, в общий строй с обученными ополченцами.

Так мы проехали некоторое расстояние, пока не прибыли к месту, где и нам предстояло переправиться через реку. Форт, поскольку он берет начало в озере, достигает значительной глубины даже там, где он еще совсем не широк; спускаться же к переправе нужно было по скалистой крутой тропе в узкой расселине, где не могли пройти рядом два человека. Так как арьергарду и центру нашего небольшого отряда пришлось задержаться на высоком берегу,

пока один за другим спускались в расселину всадники авангарда, произошла длительная заминка, как это обычно бывает в таких случаях, и даже некоторое замешательство: несколько всадников, из тех, кто не входил в постоянный состав эскадрона, ринулись, нарушив очередь, к проходу и внесли беспорядок также и в ряды милиции, хотя она была довольно хорошо обучена строю.

Тогда-то, затертый в толпе на крутом берегу, я услышал, как Роб прошептал человеку, за спиной у которого он был посажен:

— Твой отец, Эван, никогда не поволок бы старого друга, как теленка, на убой, хотя бы все герцоги христианской земли дали ему такой приказ.

Эван ничего не ответил и только пожал плечами, точно говоря, что он не волен в своих делах.

— Когда Мак-Грегоры спустятся в долину и ты увидишь пустые загоны, кровь на камнях очага и огонь, полыхающий между стропилами дома, тогда ты, может быть, поймешь, Эван, что если бы во главе их клана стоял твой приятель Роб, у тебя уцелело бы все то, о чем теперь болит твое сердце.

Эван из Бриглендза, простонав, снова пожал плечами, но не сказал ни слова.

— Обидно думать, — продолжал Роб, так тихо нашептывая свои укоры на ухо Эвану, что их не мог расслышать никто, кроме меня; а я, конечно, никоим образом не счел бы своим долгом помешать его побегу, — обидно думать, что для Эвана из Бриглендза, которому Роб Мак-Грегор не раз помогал рукой, мечом и кошельком, сердитый взгляд вельможи значит больше, чем жизнь друга.

Эван был, как видно, сильно взволнован, но хранил молчание. С другого берега послышался возглас герцога: «Переправляйте пленника!»

Эван пустил своего коня, и только успел я расслышать шепот: «Ты взвешиваешь, стоит ли кровь Мак-Грегора лопнувшего ремня? Но за нее тебе придется дать ответ и в этом мире и в том», — как их лошадь торопливо прошла мимо меня и, стремительно бросившись вперед, вступила в воду.

— Не вам, сэр, не вам, — сказал мне один из кавалеристов, когда я хотел последовать за ними.

И несколько всадников, оттеснив меня, устремились к переправе.

Я видел, как на другом берегу герцог при меркнущем свете дня выстраивал свой отряд, по мере того как всадники вразброд — кто выше, кто ниже — выходили на берег. Многие уже переправились, другие были еще в воде, остальные только готовились войти в реку, когда внезапный всплеск дал мне понять, что красноречие Мак-Грегора не пропало даром и Эван решился дать разбойнику свободу и возможность отстоять свою жизнь. Герцог тоже услышал этот звук и тотчас понял, что он означал.

— Собака! — крикнул он Эвану, когда тот вышел на берег. — Где пленник?

И, не слушая оправданий, которые бормотал, запинаясь, испуганный вассал, он пустил ему в голову пулю — не знаю, смертельную или нет — и прокричал:

— Джентльмены! Бросайтесь врассыпную и догоните негодяя. Сто гиней тому, кто изловит Роб Роя!

Все мгновенно было охвачено движением и суматохой. Роб Рой, освободившись от своих пут, — несомненно, благодаря тому, что Эван расстегнул пряжку ремня, — соскользнул с крупа коня и, нырнув в воду, прошел под брюхом лошади плывшего слева от него кавалериста. Но так как ему пришлось на одно мгновение всплыть на поверхность, чтобы побольше набрать воздуха в легкие, пестрый тартан его пледа привлек внимание ополченцев; тотчас же многие из них кинулись в реку, нисколько не заботясь о собственной безопасности, устремившись, по шотландскому выражению, «через болото и через поток», — и поплыли, кто верхом, кто потеряв коня и борясь теперь за свою жизнь. Другие, менее ревностные или более благоразумные, кинулись в разные стороны и скакали вверх и вниз по обоим берегам, высматривая место, где беглец мог бы выбраться из воды. Крики и гиканье, призывы о помощи с разных мест, где кто-нибудь видел или вообразил, что видит, какую-либо часть

одежды разбойника; частые гулкие выстрелы из пистолетов и карабинов по каждому предмету, возбудившему малейшее подозрение; вид множества всадников, скачущих над водой, в воду, из воды и замахивающихся палашами на все, что привлекало их внимание; тщетные старания офицеров водворить хоть какое-то подобие порядка — все это, в той суровой обстановке и при тусклом свете осенних сумерек, создавало самое поразительное зрелище. Мне предоставили спокойно наблюдать его, потому что вся наша кавалькада, рассеявшись, кинулась во все стороны преследовать пленника или хотя бы следить за ходом погони. Я заподозрил тогда же — а впоследствии узнал достоверно, — что многие из тех, кто, казалось бы, наиболее рьяно старался подстеречь и поймать беглеца, в действительности меньше всего желали, чтобы он был пойман, и только кричали во весь голос, чтобы усилить общее смятение и облегчить Роб Рою побег.

А скрыться для такого искусного пловца было нетрудно, раз ему удалось ускользнуть от преследователей в первом пылу погони. Одно время, правда, за ним гнались по пятам, и выпущено было много пуль, которые врезались в воду вокруг него. Эта сцена сильно напоминала охоту на выдру, как мне ее приходилось наблюдать в Осбалдистон-холле: выдра по необходимости время от времени поднимает нос над водой, чтобы сделать выдох и вдох, и в эти мгновения собаки ее замечают, но, отдышавшись, она снова уходит под воду и ускользает от них. Однако Мак-Грегор прибег к уловке, недоступной для выдры: он умудрился под носом у преследователей незаметно освободиться от пледа и пустил его плыть вниз по реке. Клетчатый тартан тотчас привлек всеобщее внимание; это навело многих всадников на ложный след и отвратило немало пуль и сабельных ударов от головы, для которой они были предназначены.

Как только беглецу удалось скрыться из виду, обнаружить его стало почти невозможно, потому что во многих местах к реке нельзя было подступиться из-за крутизны берегов или из-за густых зарослей ольшаника, березняка, тополей, которые, свесившись над водою, не позволяли всаднику приблизиться. Преследователям нередко случалось обознаться, многие из них попадали в беду, а надвигавшаяся ночь делала их задачу с каждой минутой все более безнадежной. Одних затягивало на реке в водоворот, и товарищам приходилось спешить на выручку, чтоб не дать им утонуть; другие, раненные в свалке пулей или ударом шпаги, взывали о помощи или грозили отомстить, — и раза два подобные случаи действительно приводили к драке. Наконец трубы заиграли отбой, возвещая, что командир, как ни было ему обидно, распростился на время с надеждой на крупную награду, так неожиданно ускользнувшую из его рук, и кавалеристы начали медленно и неохотно, перебраниваясь между собою, собираться в ряды. Я видел их силуэты, когда они выстраивались на южном берегу реки, рокот которой, еще недавно заглушаемый шумом ожесточенного преследования, хрипло звучал теперь, наперебой с грубыми, сердитыми и укоризненными голосами разочарованных всадников.

До сих пор я был безучастным, хотя и далеко не равнодушным зрителем необычайной сцены, происходившей на реке. Но вдруг я услышал возглас:

— А где же тот пришлый англичанин? Это он дал Роб Рою нож перерезать ремень.

— Изрубить негодяя в лапшу! — откликнулся чей-то голос.

— Продырявить ему пулей кочерыжку! — сказал другой.

— Вогнать ему клинок на три дюйма в грудь! — прогремел третий.

И я услышал сбивчивый топот копыт — несколько всадников поскакали в разные стороны с явным намерением исполнить свои угрозы. Я тотчас оценил положение и решил, что вооруженные люди, не знающие удержу в своих распаленных страстях, по всей вероятности, сперва застрелят или зарубят меня, а уж потом начнут разбираться, за дело или нет. Сообразив это, я соскочил с коня и, пустив его на волю, бросился в заросли ольшаника, полагая, что в надвигавшейся ночной темноте меня вряд ли найдут. Если б я находился поблизости от герцога и мог бы воззвать к его личному покровительству, я так и поступил бы, но он уже начал свой отход, и я не видел на левом берегу реки ни одного офицера достаточно высокого ранга, который мог бы оказать мне покровительство, если я сдамся ему. Между тем,

подумал я, законы чести отнюдь не требуют, чтобы я при таких обстоятельствах рисковал жизнью. Когда сумятица понемногу улеглась и вблизи моего убежища уже не слышалось цоканья подков, моим первым побуждением было разыскать стоянку герцога и отдаться ему в руки в качестве благонамеренного подданного, которому нечего бояться правосудия, и чужеземца, который имеет все права на покровительство и гостеприимство. С этой целью я выбрался из своего тайника и осмотрелся.

Сумерки уже почти сменились темнотою ночи; на этом берегу Форта всадников оставалось немного или вовсе ни одного, а те, что перебрались уже через реку, давно ускакали, и я слышал только отдаленный стук копыт и протяжный, заунывный голос труб, который разносился по лесам, созывая отставших. Итак, я оказался здесь один и в довольно затруднительном положении: у меня не было лошади, а бурное течение реки, взбаламученной после суматошной сцены, которая недавно разыгралась в ее русле, и казавшейся еще мутнее в неверном и тусклом свете месяца, отнюдь не привлекало пешехода, который не привык переходить реки вброд и только что видел, как всадники при опасной переправе барахтались, погрузившись в воду до луки седла. Оставаясь же на этом берегу, я был бы вынужден после всех волнений истекшего дня и предыдущей ночи провести новую наступающую ночь al fresco, *note 91* на склоне одного из холмов Горной Страны.

После минутного раздумья я сообразил, что Эндрю Ферсервис, переправившийся через реку с остальными слугами, бесспорно последует своей дерзкой и наглой привычке всегда соваться вперед и не преминет удовлетворить любознательность герцога или других влиятельных особ касательно моего звания и положения в обществе; значит, мне не было нужды, во избежание каких-либо подозрений, спешить на ночную стоянку герцога, подвергаясь опасности утонуть в реке или, — даже если бы мне удалось благополучно выбраться на берег, — не нагнав эскадронов, сбиться с пути и, наконец, погибнуть понапрасну от шашки какого-нибудь отставшего ополченца, который решит, что такой молодецкий подвиг послужит оправданием его запоздалой явки. Поэтому я решил повернуть обратно к той корчме, где провел минувшую ночь. Приверженцев Роб Роя мне нечего было опасаться: он был теперь на свободе, и я не сомневался, что в случае встречи с кем-либо из его удальцов сообщение о побеге их вождя обеспечит мне покровительство. К тому же, вернувшись, я тем самым покажу, что не имел намерения покинуть мистера Джарви в его трудном положении, в которое он попал, в сущности, из-за меня. И, наконец, только в этих краях я надеялся узнать что-либо о Рэшли и о бумагах моего отца, — а ведь это и было основной целью путешествия, столь осложнившегося опасными приключениями. Итак, я оставил всякую мысль о том, чтобы ночью переправляться через Форт, и, обратившись спиной к Фрусскому Броду, тихо побрел к деревне Эберфойл.

Резкий ветер, временами напоминавший о себе шумным свистом и морозным дыханием, разогнал облака, которые иначе заночевали бы в долине, и хотя не мог окончательно рассеять туман, сбил его в расплывчатые, изменчивые клубы, которые то повисали на вершинах гор, то заполняли густыми и широкими полосами глубокие лощины там, где глыбы камня составной породы, или брекчии, сорвавшись некогда с утесов, стремительно скатывались в долину, оставляя каждый на своем пути расселину, схожую с руслом иссякшего потока. Луна, стоявшая теперь высоко, весело поблескивала в холодном воздухе и серебрила излучины реки и горные пики и кручи, покрытые туманом, меж тем как свет луны, казалось, поглощался белым руном тумана там, где он лежал густой и плотный, а более легким и слоистым его полосам придавал дымчатую прозрачность, напоминавшую тончайшее покрывало из серебряной кисеи. Как ни затруднительно было мое положение, это романтическое зрелище и живительное действие морозного воздуха поднимали мой дух и бодрили меня. Мне хотелось отбросить заботу, пренебречь опасностью, и я невольно начал насвистывать в такт своим шагам, которые должен был ускорить из-за холода. Я почувствовал, что пульс жизни бьется во

Note91

на свежем воздухе (итал.).

мне более гордо и полно по мере того, как крепнет вера в собственные силы, мужество и находчивость. Я был так занят своими мыслями и теми чувствами, которые они возбуждали, что не слышал, как сзади меня нагоняли два всадника, пока они не поравнялись со мною, один слева, другой справа, и левый, осадив коня, не обратился ко мне по-английски:

— Го-го, приятель, куда так поздно?

— Ужинать и ночевать в Эберфойл, — ответил я.

— Дорога в горах свободна? — спросил он тем же повелительным тоном.

— Не знаю, — ответил я. — Увижу, когда приду. Однако, — добавил я, вспомнив об участи Морриса, — если вы англичане, советую вам, пока не рассвело, повернуть назад: в этих краях возникли волнения, и, мне думается, чужеземцу здесь не совсем безопасно.

— Королевские солдаты отступили, не так ли? — был ответ.

— Отступили, и один отряд с офицером во главе разбит и захвачен в плен.

— Вы в этом уверены? — спросил всадник.

— Как в том, что слышу ваш голос, — ответил я. — Я был невольным свидетелем сражения.

— Невольным? — продолжал вопрошавший. — Вы не приняли в нем участия?

— Отнюдь нет, — отвечал я. — Я был арестован королевским офицером.

— По какому подозрению? И кто вы такой? Как ваше имя? — продолжал он.

— Право, сэр, не понимаю, — был мой ответ, — почему я должен отвечать на столько вопросов незнакомому человеку. Я сообщил достаточно, чтобы дать вам понять, в какую опасную и неспокойную местность вы направляетесь. Если вы решите продолжать путь — ваше дело; я не спрашиваю вас о вашем имени и занятиях, и вы меня очень обяжете, если не будете спрашивать меня о моих.

— Мистер Фрэнсис Осбалдистон, — произнес второй всадник, и звук его голоса отозвался дрожью в каждом моем нерве, — не должен насвистывать свои любимые мелодии, если хочет остаться неузнанным.

И Диана Вернон — потому что не кем другим, как ею, были брошены из-под капюшона эти слова, — весело меня передразнивая, просвистела вторую часть моей песенки.

— Боже милостивый! — воскликнул я, как громом пораженный. — Вы ли это, мисс Вернон? В таком месте, в такой час, в такой беззаконной стране, в таком…

— … в таком мужском костюме, хотите вы сказать? Но что поделаешь! Философия несравненного капрала Нима оказывается наимудрейшей: «Как можно, так и нужно». Pauca verba. *note 92*

Пока она говорила, я старался при необычно ярком свете месяца разглядеть внешность ее спутника. Нетрудно понять, что встреча в таком уединенном месте с мисс Вернон, совершающей столь опасное путешествие под покровительством только одного джентльмена, — что такая встреча не могла не возбудить во мне ревности и удивления. Всадник не обладал низким, мелодическим голосом Рэшли — его голос был более высок и звучал повелительней; к тому же он, даже сидя в седле, был заметно выше ростом, чем тот, кого я больше всех ненавидел и остерегался.

Своим обращением незнакомец не напоминал мне также никого из прочих моих двоюродных братьев — оно отмечено было тем неуловимым тоном, той манерой, по которым с первых же немногих слов узнается умный и воспитанный человек.

Но незнакомец, пробудивший во мне тревогу, казалось, желал уклониться от моего любопытства.

— Диана, — сказал он ласково и властно, — передай своему родственнику его собственность, и не будем терять здесь времени.

Мисс Вернон между тем извлекла небольшой сверток и, наклонившись ко мне с седла, сказала тоном, в котором сквозь старание говорить в обычной для нее шутливой и легкой

Note92

Буквально: «Немного слов» (лат.) — то есть немногими словами сказано все, что требовалось.

манере пробивалась нота искреннего чувства.

— Вы видите, дорогой кузен, я рождена для роли вашего ангела-хранителя. Рэшли был принужден вернуть награбленное; и если бы мы прошлой ночью прибыли, как полагали, в названную деревню Эберфойл, я нашла бы какого-нибудь шотландского сильфа, который принес бы вам на крыльях этот залог коммерческого процветания. Но на моем пути вставали великаны и драконы, а в наши дни странствующие рыцари и девицы при всей своей отваге не должны, как встарь, подвергать себя излишним опасностям. Вы же, милый кузен, кажется, только к этому и стремитесь.

— Диана, — сказал ее спутник, — позволь мне еще раз напомнить, что час не ранний, а нам далеко до дома.

— Сейчас, сэр, сейчас. Вспомните, — добавила она со вздохом, — как недавно приучилась я к подчинению. Я еще не передала кузену пакет… и не распрощалась с ним… навек… Да, Фрэнк, — сказала она, — навек! Пропасть лежит между нами — гибельная пропасть. Куда мы идем, вы не должны за нами следовать, в том, что делаем, вы не должны участвовать. Прощайте! Будьте счастливы!

Когда она еще ниже склонилась в седле на своей шотландской лошадке, ее лицо — быть может, не совсем нечаянно — коснулось моего. Она сжала мне руку, и слеза, дрожавшая на ее реснице, скатилась вместо ее щеки на мою. То было незабываемое мгновение — невыразимо горестное и вместе с тем исполненное радости, глубоко успокоительной и действующей так, точно сейчас должны открыться все шлюзы сердца. Но все же то было лишь мгновение. Совладав тотчас же с чувством, которому невольно поддалась, Диана Вернон сказала спутнику, что готова следовать за ним, и, пустив коней резвой рысью, они вскоре были уже далеко от меня.

Видит небо, не равнодушие налило руки мои и язык такою тяжестью, что я не мог ни ответить мисс Вернон на ее несмелую ласку, ни отозваться на ее прощальный привет. Слово хоть и подступило к языку, но, казалось, застряло в горле, как роковое «виновен», когда подсудимый, произнося его на суде, знает, что за этим словом должен последовать смертный приговор. Неожиданность и горе совсем ошеломили меня. Я стоял в оцепенении с пакетом в руке и глядел вслед всадникам, словно стараясь сосчитать искры, летевшие из-под копыт. Я продолжал глядеть, когда и тех не стало видно, прислушивался к цоканью подков, когда последний звук давно уже замер в ушах.

Наконец слезы хлынули из моих глаз, остекленевших от напряжения в старании видеть невидимое. Я машинально отирал эти слезы, едва сознавая, что они текут; но они лились все обильней. Я чувствовал, как что-то сдавило мне горло и грудь — histerica passio *note 93* несчастного Лира; и, сев у дороги, я расплакался самыми горькими слезами, первыми со времени моего детства.

ГЛАВА XXXIV

Дэнгл. Ей-богу, мне кажется, толкователя труднее понять, чем автора.

«Критик»

Только я дал волю своим чувствам, как тотчас же устыдился этой слабости. Я напомнил себе самому, что с некоторых пор, когда образ Дианы Вернон вторгался в мои мысли, я старался видеть в ней друга, о счастье которого буду всегда заботиться, но с которым не могу в дальнейшем часто общаться. Однако почти неприкрытая нежность ее прощания и романтизм нашей нечаянной встречи в таком месте, где меньше всего я мог ее ожидать, меня ошеломили. Но я быстро пришел в себя и, не давая себе времени обстоятельно разобраться в собственных

Note93

Истерический взрыв чувства (лат.).

побуждениях, направился дальше по той же дороге, на которой мне явилось неожиданное видение.

Я не преступаю, подумалось мне, ее запрета, так трогательно выраженного, — я просто продолжаю свое путешествие по единственной открытой дороге. Если мне и удалось получить обратно бумаги отца, на мне еще лежит долг позаботиться о своем друге-шотландце, попавшем из-за меня в беду. Да и, помимо всего прочего, где еще я могу найти пристанище на ночь, если не на постоялом дворе в Эберфойле? Им тоже придется там заночевать, потому что путешественникам на утомленных конях немыслимо было бы следовать дальше. Что ж, если так, мы встретимся снова — в последний раз, быть может; но я ее увижу, я услышу ее голос… узнаю, кто счастливец, который властвует над нею как супруг. Узнаю, не могу ли чем-либо помочь ей в трудностях или еще как-либо выразить ей свою благодарность за ее великодушие… за бескорыстную дружбу.

Так рассуждал я, прикрывая всеми благовидными предлогами, какие приходили мне на ум, свое страстное желание еще раз повидаться, побеседовать с Дианой, когда вдруг кто-то дружески положил мне руку на плечо, и гортанный голос горца, нагнавшего меня в пути, хотя я шел быстрым шагом, произнес:

— Славная ночка, мистер Осбалдистон. Перед этим мы виделись с вами в сумеречный час.

Я не мог не узнать по речи Мак-Грегора. Он скрылся от преследования врагов и теперь спешил в родные горы, к своим соратникам. Ему удалось даже раздобыть оружие — может быть, в доме какого-нибудь тайного своего приверженца: он держал на плече мушкет, а за поясом были у него неизменный палаш и кинжал горца. Вряд ли в обычном состоянии духа мне приятно было бы встретиться наедине в поздний час с таким человеком; хоть я и привык думать о Роб Рое как о друге, но, должен сознаться, при звуке его голоса у меня всегда холодела кровь. Говор горцев звучит глухо благодаря преобладанию в их языке гортанных согласных, и они обычно сильно подчеркивают ударения. В эту национальную особенность речи Роб Рой вкладывал какую-то жесткую бесстрастность интонации, свойственную человеку, который ни перед чем не содрогнется, ничему не удивится, ничем не взволнуется, хотя бы перед ним происходили события самые страшные, самые неожиданные, самые горестные. Привычка к опасности, при неограниченной вере в собственную проницательность и силу, закалила его против страха; а неверная, полная ошибок и опасностей жизнь отверженца если и не убила в нем окончательно сострадания к людям, то все же его притупила. И не надо забывать, что я совсем недавно наблюдал, как его люди учинили жестокую расправу над невооруженным и молившем о пощаде человеком.

Но таково было мое душевное состояние, что я рад был даже и обществу предводителя разбойников, потому что оно могло отвлечь меня от слишком напряженных и мучительных мыслей и давало тень надежды, что я получу от него путеводную нить в том лабиринте, куда меня завлекла судьба. Поэтому я сердечно ответил на его приветствие и поздравил с успешным побегом при таких обстоятельствах, когда побег казался невозможным.

— Да, — сказал он, — от горла до ивовой лозы *note 94* так же далеко, как от губ до чарки. Но опасность была для меня не так велика, как могло показаться вам, чужеземцу в этой стране. Среди тех, кому поручено было схватить меня, держать под охраной и поймать, когда я бежал, добрых пятьдесят процентов, как сказал бы мой кузен Никол Джарви, вовсе не желали, чтоб я был схвачен, задержан или пойман, а из остальных пятидесяти процентов половина боялась меня трогать; так что на деле против меня выступало не пятьдесят или шестьдесят человек, а в четыре раза меньше.

— Мне кажется, и этого довольно, — заметил я.

— Да как вам сказать… — отвечал он. — Одно я знаю: если бы все мои враги из их

Note94

Прутья ивы, такие же, из каких вяжут веники, часто употребляются в Ирландии и Шотландии на петли для виселицы разумная экономия пеньки. (Прим. автора.)

отряда вышли в поле перед Эберфойлом сразиться со мной на палашах, я бы их уложил всех поочередно.

Затем он стал расспрашивать меня о моих злоключениях в его стране и от души посмеялся над моим рассказом о драке в гостинице и о подвигах бэйли с раскаленным резаком.

— Честь и слава городу Глазго! — воскликнул он. — Будь я проклят, как Кромвель, если пожелаю увидеть что-нибудь забавней того, как мой кузен Никол Джарви подпаливает плед Иверахa, точно баранью голову на вертеле. Недаром в жилах кузена Джарви, — добавил он более сердечным тоном, — течет струя благородной крови, хоть он, к несчастью, и воспитан для мирного ремесла, которое неизбежно притупляет мужество всякого порядочного человека… Вы уважите причину, почему я не мог принять вас в клахане Эберфойле, как предполагал: там на меня расставили силки за те два-три дня, пока я ездил в Глазго по делам короля. Но я разрушил все их коварные замыслы — больше им не удастся науськивать клан на клан, как они это делали. Я надеюсь, что скоро наступит день, когда все горцы встанут плечом к плечу… Однако что же случилось с вами дальше?

Я рассказал ему, как явился капитан Торнтон со своим отрядом и как меня и бэйли арестовали в качестве подозрительных личностей. Когда он стал расспрашивать подробней, я вспомнил слова офицера, что самое имя мое показалось ему подозрительным и что, помимо того, у него был приказ задержать «одну пожилую и одну молодую особу», под приметы которых мы будто подходили. Тут разбойник опять развеселился.

— Не есть мне хлеба, — сказал он, — если эти сычи не приняли моего друга бэйли за его превосходительство, а вас — за Диану Вернон! Совы, отменнейшие совы!

— Мисс Вернон… — начал я нетвердо, страшась услышать его ответ.

— За нею все еще сохранилось это имя? Она только что проехала здесь с одним джентльменом, который, видимо, в какой-то мере опекает ее.

— Да, да, — ответил Роб. — Теперь она под законной опекой, и очень вовремя, потому что она отчаянная сорвиголова. Но хорошая, в общем, девушка и смелая. Жаль, что его превосходительство староват. Ей больше подошел бы спутник помоложе — такой, как вы или как мой сын Хэмиш.

Это означало полное крушение тех карточных домиков, построением которых, наперекор рассудку, тешилась еще моя фантазия. Ничего другого нельзя было ожидать — ведь не мог же я предполагать, что Диана разъезжает по дикой стране в ночное время с кем-либо, кто не имеет законного права называться ее покровителем! Но, сказать по правде, удар в ту минуту все-таки поразил меня со всею силой, и, когда Мак-Грегор предложил мне продолжать рассказ, его голос прозвучал в моих ушах, но не дошел до сознания.

— Вы больны, — заметил он наконец, дважды не получив ответа. — Слишком трудный выдался день, а вы, конечно, не привыкли к таким передрягам.

Ласковый голос, каким были сказаны эти слова, вернул меня к действительности, напомнив о настоящем моем положении. Я как мог продолжал свой рассказ. Роб Рой слушал с восторгом об успешном сражении у озера.

— Говорят, королевская мякина, — заметил он, — стоит нашего зерна, но, боюсь, этого не скажешь про королевских солдат, если они терпят поражение от горсточки стариков, вышедших из боевого возраста, и мальчишек, еще не вошедших в года, да женщин, которым бы сидеть за прялкой, — словом, от самых что ни на есть последних вояк в нашей округе. А Дугал Грегор! Кто подумал бы, что найдется столько смекалки в его башке, не знавшей никогда иного убора, кроме собственной косматой гривы! Но рассказывайте дальше… хоть мне и страшновато: моя Елена — воплощенный дьявол, когда в ней кровь закипит… Бедная, у нее есть на то слишком веские причины.

Я подыскивал самые деликатные выражения, сообщая, как с нами обошлись, и все-таки видел, что рассказ мой причинил Мак-Грегору большую боль.

— Я не пожалел бы и тысячи мерков, — сказал он, — чтобы в это время быть дома! Обидеть чужеземцев… я главное — моего кровного родственника, который проявил ко мне

такую доброту! Лучше б они выжгли половину Леннокса, если уж нашла на них дурь! Вот что получается, когда доверишься женщине и ее сыновьям, не признающим в делах ни меры, ни рассудка. Впрочем, во всем виноват тот пес-акцизник, который обманул меня, сказав, будто ваш двоюродный брат Рэшли ждет меня для переговоров о королевских делах; а я знал, что Гарсхаттахин и многие в Ленноксе настроены в пользу якобитов, и подумал, что об этом-то Рэшли и хочет переговорить со мной. Но я сразу раскусил обман, когда услышал, что герцог здесь; когда же мне скрутили руки подпругой, нетрудно было сообразить, что меня ожидает: я ведь знал, что ваш Рэшли — двуличный негодяй и любит связываться с людьми той же породы. Хорошо еще, если заговор не исходит прямо от него. Мне и то показалось, что у голубчика Морриса был чертовски странный вид, когда я распорядился задержать его как заложника впредь до моего благополучного возвращения. И вот я возвращаюсь — хоть и не по милости Морриса или тех, кому он нанялся служить, — и весь вопрос в том, как теперь вывернется сам пройдоха акцизник: я ему обещал, что без выкупа он не уйдет.

— Моррис, — сказал я, — уплатил уже последний выкуп, какого можно требовать от смертного.

— То есть как? — вырвалось у моего спутника. — Что вы говорите? Его убили ненароком во время перестрелки?

— Его убили сознательно и хладнокровно по окончании битвы, мистер Кэмбел.

— Хладнокровно? Проклятье! — сказал он сквозь зубы. — Как это произошло, сэр? Говорите все напрямик и не зовите меня ни мистером, ни Кэмбелом: я на своей родной земле, имя мое — Мак-Грегор.

Было видно, что он сильно раздражен. Но, не обращая внимания на резкость его тона, я кратко и ясно рассказал ему о казни Морриса. Он с силой ударил в землю прикладом ружья и начал:

— Клянусь Богом, за такое дело проклянешь свой род, и клан, и родину свою, и жену, и детей! Впрочем, негодяй давно этого дожидался. А какая разница, корчиться ли под водой с камнем на шее или качаться на ветру с петлей на ней? Что тут, что там, конец один — от удушья. Его постигла та участь, какую он готовил мне. Все же я предпочел бы, чтоб они его пристрелили или закололи кинжалом; расправа, учиненная над ним, вызовет много праздных толков. Но каждого, и слабого и сильного, ждет его судьба — все мы умрем, когда придет наш день. А никто не станет отрицать, что Елена Мак-Грегор мстит за тяжкие обиды.

Высказавшись таким образом, он как бы выбросил все это из головы и стал расспрашивать дальше, как удалось мне ускользнуть от солдат, во власти которых он видел меня.

Я скоро досказал свою повесть, закончив ее на том, как мне возвратили бумаги отца, хотя мой язык не посмел произнести имя Дианы.

— Я был уверен что вы их получите, — сказал Мак-Грегор. — В письме, которое вы мне передали, изъявлялось соответственное пожелание его превосходительства; а раз так, я, понятно, был рад посодействовать. Для того я и зазвал вас в наши горы. Но, видно, его превосходительству удалось сговориться с Рэшли раньше, чем я ожидал.

Первая часть этого отчета особенно меня поразила.

— Значит, переданное мною письмо написано было тем, кого вы называете его превосходительством? Кто он такой? Какое он занимает положение и как его настоящее имя?

— Я думаю, — ответил Мак-Грегор, — если вы до сих пор этого не узнали, то теперь для вас это не имеет значения, так что я вам ничего не скажу. Но, конечно, я знал, что письмо написано его рукой, а иначе вряд ли я стал бы столько хлопотать по чужому делу, когда у меня и своих забот не оберешься — я, как видите, едва управляюсь с ними.

Я вспомнил огни в окнах библиотеки и ряд других обстоятельств, будивших мою ревность: перчатку, колебание ковра, закрывавшего потайной ход из комнаты Рэшли, а главное — вспомнил, что Диана в тот раз выходила из библиотеки с целью, как я полагал, написать письмо, которым я должен был воспользоваться в случае крайности. Значит, не в одиночестве проводила она свои часы, а слушая изменнические нашептывания некоего

отчаянного агента якобитов, тайно проживавшего в замке ее дяди. Случалось, молодые женщины продавались за золото или отступались от первой своей любви ради тщеславия; Диана же пожертвовала моим и своим чувством, чтоб разделить судьбу дерзкого авантюриста и в глухую полночь рыскать с ним по разбойничьим притонам в жалкой надежде на то подобие почестей и богатства, какое может дать своим приверженцам смехотворный королевский двор Стюартов в Сен-Жермене.

«Повидаюсь с ней, — мысленно сказал я себе, — если удастся, еще раз. Поговорю с ней как друг, как родственник, укажу, какой опасности она подвергает себя, и помогу ей удалиться во Францию, где ей можно будет спокойно и благопристойно выждать исхода волнений, разжигаемых, несомненно, тем политическим совратителем, с которым она соединила свою судьбу».

— Итак, я могу заключить, — сказал я вслух Мак-Грегору после пяти минут молчания с той и с другой стороны, — что его превосходительство (буду звать его так, раз вы не хотите сообщить мне его настоящее имя) жил в Осбалдистон-холле одновременно со мной?

— Понятно, понятно. И в комнате молодой леди, по вполне естественной причине.

Эта непрошеная справка прибавила горечи к моей боли.

— Но никто не знал, — продолжал Мак-Грегор, — что он скрывается там, кроме Рэшли и сэра Гилдебранда. Посвящать вас — об этом не могло быть и речи, а у прочих молодцов не хватило бы ума разобраться, где кошка, а где сметана. Хороший дом, старинный, и что мне в нем особенно нравится — это множество ходов и выходов, нор и тайников: засадите вы там в закуте двадцать — тридцать человек, и вся семья проживет неделю, ничего не обнаружив, что, конечно, может представить при случае большое удобство. Вот бы нам такой Осбалдистон-холл в Крейг-Ройстонские горы! Но нам, дикарям, служат ту же службу леса и пещеры.

— Надо полагать, его превосходительство, — сказал я, — был причастен к тому первому злоключению, которое постигло…

Я невольно запнулся на имени.

— … Морриса, хотите вы сказать, — хладнокровно добавил Роб Рой, слишком привыкший ко всякому насилию, чтоб возмущение, выраженное им вначале, могло долго его волновать. — Я, бывало, от души смеялся над той проделкой; но теперь, после злополучной истории в Лох-Арде, мне как-то не до смеха. Нет, его превосходительство был тут ни при чем, мы обделали все между собой — Рэшли и я. Но потеха-то пошла после, когда Рэшли ухитрился отвести подозрения от себя на вас, потому что он с самого начала не слишком к вам благоволил; а потом вмешалась мисс Ди и заставила нас разорвать всю нашу паутину и вырвать вас из когтей правосудия. А этот запуганный трус Моррис — он чуть не рехнулся со страху, увидев настоящего виновника в тот час, когда возводил обвинение на неповинного человека! А пройдоха секретарь и пьянчуга судья! Го-го! Посмеялся же я тогда над всей компанией! Но теперь — что я могу сделать для бедняги? Разве что заказать несколько месс за упокой его души.

— Разрешите узнать, — сказал я, — как мисс Вернон приобрела такое влияние на Рэшли и его сообщников, что заставила вас отступиться от вашего замысла?

— От моего замысла? Он не был моим. Никто не скажет обо мне, что я сваливаю бремя со своих плеч на чужие, — все затеял Рэшли. Но, конечно, мисс Вернон пользовалась влиянием на нас обоих, потому что его превосходительство питает к ней слабость и еще потому, что ей известно слишком много наших тайн, которые лучше не раскрывать. Черт побери того, — воскликнул он, как бы подводя всему итог, — кто посвящает женщину в тайну или уступает ей власть: нельзя давать полоумному палку в руки!

Нам оставалось четверть мили до деревни, когда три горца, наскочив на нас с оружием в руках, приказали нам остановиться и сказать, по какому делу мы идем. Мой спутник глухим и властным голосом молвил одно только слово — «Грегарах», и в ответ раздался громкий радостный крик, или, скорее, вой. Один, бросив наземь кремневое ружье, так крепко обнял колени своего вождя, что тот не мог двинуться, и с губ его лился поток гэльских поздравлений,

то и дело переходивший в какой-то вопль восторга. Двое других после первого бурного взрыва радости кинулись бежать буквально с быстротой оленя, соревнуясь, кто первый принесет в деревню, занятую теперь сильным отрядом Мак-Грегоров, радостную весть о побеге и возвращении Роб Роя. Новость вызвала такую бурю ликования, что отголосок ее звенел далеко в горах, и все от мала до велика — мужчины, женщины, дети — ринулись в долину встречать нас бурно и шумно, точно горный поток. Услышав стремительно приближающийся к нам топот и гомон ликующей толпы, я счел нужным напомнить Мак-Грегору, что я здесь чужеземец и нахожусь под его покровительством. Он взял меня за руку и крепко держал, в то время как горцы наседали со всех сторон с поистине трогательными изъявлениями преданной любви и радости; и он не позволил ни одному из своих приверженцев сделать то, к чему они все нетерпеливо порывались, — пожать ему руку, — пока не внушил им, что со мной они должны обходиться любезно и заботливо.

Приказ делийского султана не встретил бы столь поспешного повиновения. В самом деле, мне теперь пришлось претерпеть почти столько же от их доброго расположения, как раньше от грубости. Они едва не сбили с ног друга своего вождя — так ревностно предлагали они мне в дороге поддержку и помощь; и в конце концов, воспользовавшись мгновением, когда я споткнулся о камень, которого под их натиском не мог обойти, меня так-таки подхватили на руки и торжественно понесли на плечах к дому миссис Мак-Алпайн.

Когда мы прибыли в ее гостеприимный вигвам, я убедился, что власть и слава в горной Шотландии, так же как и везде, имеют свои неудобства. Прежде чем Мак-Грегору дали войти в дом, где он мог отдохнуть и поесть, он должен был рассказать повесть о своем побеге не менее двенадцати раз — как я узнал от услужливого старика, который считал нужным каждый раз переводить ее мне в назидание, — а я из вежливости должен был каждый раз выслушивать перевод с подобающим вниманием.

Когда слушатели были наконец удовлетворены, они начали расходиться группами и располагаться на ночлег, одни под открытым небом, другие в соседних хижинах, кто проклиная герцога и Гарсхаттахина, кто сокрушаясь об Эване Бриглендзе, может быть погибшем из-за дружеской своей услуги Мак-Грегору, но все сходясь на одном: что побег Роб Роя не уступал подвигам любого из их вождей со дней Дугала Киара, родоначальника Мак-Грегоров.

Между тем мой друг-разбойник взял меня под руку и повел в хижину. Взгляд мой блуждал в ее дымном полумраке, ища Диану и ее спутника; но их нигде не было видно, а спрашивать я не смел, опасаясь, что выдам те тайные побуждения, которые лучше скрывать. Взгляд мой остановился на единственно знакомом лице — на лице бэйли, который, восседая на табурете у огня, со сдержанным достоинством выслушивал приветствия Роб Роя, его извинения за неуютную обстановку, его расспросы о здоровье.

— Я чувствую себя не так уж плохо, кузен, — сказал бэйли, — не совсем плохо, благодарствуйте; что же касается удобств… тут ничего не поделаешь: нельзя же прихватить с собою в дорогу Соляной Рынок, как улитка носит на себе свой замок… Я очень рад, что вы ускользнули от ваших недругов.

— Ладно, — ответил Роб, — стоит ли об этом говорить, приятель! Все хорошо, что хорошо кончается! Мир еще постоит, пока мы живы. Давайте-ка нальем по чарке водки; ваш отец, покойный декан, не дурак был выпить при случае.

— Оно, пожалуй, правильно, Робин, он выпивал иногда после дневных трудов, а их сегодня выпало на мою долю немало. Однако, — продолжал он, медленно наполняя небольшой деревянный жбан, стакана эдак на три,

— он, как и я, знал меру в питье. За ваше здоровье, Робин (он отпил глоток), и за ваше благоденствие в этой жизни и в будущей (он пригубил еще раз), какого желаю также и моей кузине Елене и вашим двум сыновьям, подающим большие надежды. Но о них поговорим особо.

Сказав эти слова, он степенно и задумчиво осушил чарку, меж тем как Мак-Грегор, сидя со мной рядом, подмигивал мне, как будто посмеиваясь над тем наставительным и

самоуверенным тоном, какой бэйли всегда принимал в разговоре с ним; и даже сейчас, когда Роб стоял во главе своего воинственного клана, речь мистера Джарви звучала еще более наставительно, чем раньше, в глазговской тюрьме, где разбойник зависел от милости мистера Джарви. Мне казалось, Мак-Грегор давал понять мне, чужеземцу, что он терпит такой тон со стороны своего родственника отчасти из уважения к законам гостеприимства, но больше ради потехи.

Поставив свою чарку на стол, бэйли узнал меня и сердечно поздравил с возвращением, но тем и ограничил пока свой разговор со мною.

— О ваших делах мы еще успеем поговорить, а сейчас я должен, как вы понимаете, потолковать с моим родственником о его делах. Полагаю, Робин, тут никто не передаст того, что я хочу тебе сказать, в городской магистрат или куда-нибудь еще, чтоб очернить меня или тебя?

— Об этом не беспокойтесь, кузен Никол, — ответил Мак-Грегор, — половина моих молодцов не поймет ваших слов, остальные же пропустят их мимо ушей. А кроме того, я вырву язык всякому, кто вздумает разглашать, какие разговоры велись у меня при нем.

— Отлично, кузен. Раз так и раз мистера Осбалдистона мы знаем как осторожного юношу и надежного друга, я скажу вам прямо: вы ведете вашу семью по дурной дороге.

Потом, кашлянув, чтобы прочистить горло, он сменил покровительственную улыбку на суровый, испытующий взгляд, как советовал делать Мальволио, когда попадешь в подобное положение, и обратился к родственнику с такими словами:

— Вы сами знаете, что вы не в ладу с законом; а что касается кузины Елены, то, не говоря о приеме, какой она мне оказала нынче, — приеме отнюдь не дружественном, что, впрочем, я извиняю ввиду ее взволнованного состояния духа, — так вот, доложу я вам (оставляя в стороне эту личную причину для жалобы), я могу сказать о вашей жене…

— Говорите о ней, любезный родственник, — серьезно и строго вставил Роб, — только то, что подобает говорить другу и слушать мужу. Обо мне говорите все, что вам заблагорассудится.

— Хорошо, хорошо, — сказал бэйли в некотором замешательстве, — не будем касаться этого предмета — я не одобряю, когда люди сеют раздор в семье. Но у вас есть еще два сына, Хэмиш и Робин, что означает, как мне объяснили, Джеймс и Роберт, — надеюсь, вы так и будете называть их впредь: из Хэмишей, Эхинов и Ангюсов не выходит ничего путного, разве что эти имена частенько встречаются в обвинительных приговорах по делам об угоне скота в королевских судах Западной Шотландии. Так вот, ваши два молодца, скажу я вам, не получают хотя бы начатков общего образования; они не знают даже таблицы умножения, которая есть основа всякого полезного знания, и только смеются и гогочут, когда я высказываю им свое мнение об их невежестве. Боюсь, они не умеют ни читать, ни писать, ни считать, — хотя трудно поверить, что возможна такая вещь в христианской стране, да еще среди твоих близких родственников!

— Если б они научились читать, писать и считать, — сказал с полным хладнокровием Мак-Грегор, — то только по собственной охоте; откуда же, черт возьми, мог бы я раздобыть им учителя? Уж не предложите ли вы мне вывесить объявление на воротах богословного факультета в глазговском колледже: «Требуется наставник к детям Роб Роя»?

— Нет, кузен, — возразил мистер Джарви. — Но вы можете послать мальчиков куда-нибудь, где их научат страху божию и приличному обхождению. Они безграмотны, как быки, которых вы, бывало, пригоняли на рынок, или как те английские крестьяне, которым вы их продавали, — не умеют делать ничего полезного.

— Ой ли? — ответил Роб. — Хэмиш умеет с одной пули подстрелить тетерева на лету, а Роб насквозь пробивает кинжалом двухдюймовую доску.

— Тем хуже для них, кузен! Тем хуже для них обоих! — отвечал решительным тоном глазговский купец. — Если они не умеют делать ничего более толкового, лучше бы не уметь им и этого. Скажите сами, Роб, что вы извлекли для себя из вашего умения рубить, колоть, стрелять, вгонять кинжал в человеческое мясо или в еловые доски? Когда вы шли за стадом

рогатого скота и занимались честным промыслом — разве не были вы тогда счастливей, чем теперь, когда стоите во главе ваших голоштанников и головорезов?

Я видел, что речь доброжелательного родственника причиняет Мак-Грегору страдание: он корчился и ерзал, решив, однако, не выдавать стоном свою боль. И я искал случая перебить продиктованное добрыми намерениями, но явно недопустимое по тону увещание, с которым мистер Джарви обратился к этому незаурядному человеку. Беседа, однако, закончилась без моего вмешательства.

— Вот я и подумал, Роб, — сказал бэйли, — что вы, пожалуй, слишком давно состоите в черном списке, чтобы вам добиваться прощения, и слишком стары, чтоб исправиться; а между тем обидно видеть, как двух юношей в цвете сил и надежд готовят к тому же безбожному ремеслу. А потому я с радостью определил бы их подмастерьями в ткацкую мастерскую, как начинал я сам и до меня мой отец, декан, хотя в настоящее время, слава Создателю, я занимаюсь только оптовой торговлей. И… и…

Он заметил, как брови Роба сдвинулись, предвещая грозу, и, может быть, поэтому поспешил подсластить свое неловкое предложение тем сюрпризом, который приберег к концу, думая увенчать им свое великодушие, если бы его предложение было принято, как он ожидал, с полным восторгом.

— … и… Робин, друг мой, не глядите так сумрачно, ибо я сам стану платить за их содержание, и между нами никогда не будет речи о той тысяче мерков.

— Ceade millia diaoul! Сто тысяч чертей! — вскричал Роб и, поднявшись, зашагал по комнате. — Мои сыновья — ткачами! Millia molligheart! *note 95* Да я скорей увижу, как последний ткацкий станок в Глазго, последний навой, челнок, уток сгорят в адском огне!

Бэйли приготовился возразить, и я лишь с трудом внушил ему, что опасно и неуместно докучать хозяину таким разговором, а через минуту к Мак-Грегору вернулось — или он сделал вид, что вернулось, — прежнее благодушие.

— Вы это предложили от чистого сердца, да, от чистого сердца, — сказал он. — Дайте же мне пожать вам руку, Никол; и если мне когда-нибудь вздумается отдать сыновей в учение, я обращусь только к вам. Кстати, вы мне напомнили: нам с вами нужно еще рассчитаться. Эй, Эхин Мак-Аналейстер, принеси мой кошель!

Высокий, крепкий горец, к которому он обратился, очевидно его адъютант, принес из какого-то потайного места большую кожаную сумку, какую знатные особы в Горной Стране носят у пояса, когда выходят в полном снаряжении, — мешок из шкурки морской выдры с богатой серебряной отделкой.

— Никому не советую открывать этот кошель, не разузнав сперва моего секрета, — сказал Роб Рой.

Затем он повернул одну пуговку в одном направлении, другую — в другом, выдернул одну кнопку, нажал другую — и горловина кошеля, прикрытая толстой серебряной пластинкой, открылась так, что можно было просунуть руку. Как бы окончательно снимая с обсуждения предмет, о котором говорил мистер Джарви, Робин стал объяснять мне, что в сумке спрятан маленький пистолет и его курок соединен с задвижками в один общий механизм, так что если кто-нибудь попробует, не зная секрета, открыть замок, пистолет непременно выстрелит, и заряд, по всей вероятности, угодит в посягнувшего на чужое сокровище вора.

— Вот кто, — сказал хозяин, погладив пистолет, — вот кто верный мой казначей.

Наивное это изобретение в применении к меховой сумке, которую можно было распороть, не прикасаясь к пружине, привело мне на память те строки из «Одиссеи», где рассказывается, как некогда Улисс для сохранности своих сокровищ довольствовался затейливой и запутанной веревочной сеткой, накинутой на морскую раковину, куда он их складывал.

Note95

Тысяча проклятий! (гэльск.)

Бэйли надел очки, чтоб разглядеть механизм, и, кончив осмотр, с улыбкой и со вздохом вернул сумку хозяину.

— Ах, Роб! — сказал он. — Если бы у каждого так хорошо охранялась его мошна, вряд ли, я думаю, ваша кошелка была бы так полна и увесиста.

— Есть о чем говорить, кузен! — сказал со смехом Роб. — Она всегда открыта, когда надо помочь другу в нужде или уплатить долг хорошему человеку. Вот, — добавил он, вытаскивая сверток золотых, — вот ваши десять сотен мерков. Сочтите, плачу сполна.

Мистер Джарви молча взял деньги, взвесил их на руке и, положив на стол, сказал:

— Роб, я не могу их взять, не хочу к ним прикасаться: они не принесут мне добра. Я очень хорошо понял сегодня, через какие ворота течет к вам золото, — что худо нажито, то впрок не пойдет. Скажу откровенно, не хочется путаться в это дело… На вашем золоте мне мерещится кровь.

— Напрасно! — сказал разбойник с наигранным безразличием, хотя, быть может, чувства его были глубоко задеты. — Это доброе французское золото, и оно не лежало ни в одном шотландском кармане перед тем, как попало в мой. Смотрите — всё луидоры, один к одному, светлые и чистые, какими их выпустили с монетного двора.

— Тем хуже, тем хуже — в десять раз хуже, — ответил бэйли и отвел глаза от луидоров, хотя его пальцы, казалось, тянулись к ним, как пальцы Цезаря к короне на празднике луперкалий. — Мятеж хуже колдовства и хуже разбоя; и Священное писание учит нас воздерживаться от него.

— Есть о чем тревожиться, родственник! — сказал разбойник. — К вам деньги поступают честным путем, в уплату долга. Они взяты у одного короля — можете, если хотите, передать их другому; это только послужит к ослаблению врага — и как раз по той статье, по которой бедный король Иаков особенно слаб, — потому что, видит Бог, рук и сердец у него довольно, но в деньгах он, кажется, стеснен.

— Если так, Робин, не много навербует он сторонников в Верхней Шотландии, — сказал мистер Джарви и, снова надев на нос очки, развернул сверток и начал пересчитывать его содержимое.

— В Нижней не больше, — сказал Мак-Грегор, высоко подняв брови и переводя взгляд с меня на мистера Джарви, который, все еще не подозревая, как это нелепо, взвешивал на руке каждую монету с обычной своей недоверчивостью; сосчитав и пересчитав всю сумму — капитал и проценты, — он возвратил из нее три монеты «кузине на платье», как он выразился, и два луидора «мальчишкам», добавив, однако, что они могут купить на эти деньги что захотят, за исключением пороха. Горец удивился неожиданной щедрости родственника, но учтиво принял его подарок и опустил монеты в свой надежный кошель.

Бэйли между тем извлек доподлинный вексель, на обороте которого была заранее написана его рукой формальная расписка о погашении долга. Скрепив ее теперь своею подписью, он попросил и меня приложить руку в качестве свидетеля. Я расписался, и мистер Джарви стал беспокойно искать глазами второго свидетеля, так как по шотландскому закону и вексель и расписка в погашении не имеют силы, если не подписаны двумя свидетелями.

— Кроме нас с вами, вы здесь на три мили вокруг едва ли сыщете грамотного человека, — сказал Роб, — но я улажу дело проще.

И, взяв лежавшую перед моим спутником бумагу, он швырнул ее в огонь. Пришла очередь удивиться мистеру Джарви; но Роб продолжал:

— Так подводят счеты в Горной Стране. Могут настать такие времена, кузен, что если я буду сохранять всякие записки и расписки, то моих друзей потянут к ответу за деловые сношения со мною.

Бэйли не стал спорить против такого довода, да и на столе перед нами появился ужин, обильный и даже изысканный, что по здешним местам следовало признать необычайным явлением. Блюда по большей части подавались холодными, так как, очевидно, их приготовили не здесь; и было несколько бутылок отменного французского вина — запивать паштеты из всевозможной дичи и другие закуски. И мне особенно запомнилось: потчуя нас с радушием и

усердием, Мак-Грегор просил извинить его за то, что некоторые закуски и паштеты предлагаются нам уже початыми.

— Надо вам знать, — сказал он мистеру Джарви, но не глядя в мою сторону, — нынче ночью вы не единственные гости на земле Мак-Грегоров, как вы, конечно, сообразили и сами, так как иначе моя жена и дети непременно прислуживали бы вам за столом, как это им подобает.

Лицо мистера Джарви явно выразило, что он рад любому обстоятельству, помешавшему им присутствовать при нашем пиршестве, и я порадовался бы вместе с ним, если бы слова Мак-Грегора не наводили на догадку, что его домочадцы прислуживают сейчас Диане и ее спутнику, которого я даже в мыслях своих не хотел назвать ее мужем.

В то время как грустные думы, вызванные этой догадкой, боролись с добрым расположением духа после вкусного ужина, радушного приема и веселой застольной беседы, — я заметил, что Роб Рой как внимательный хозяин уже позаботился о наших постелях, чтобы мы могли выспаться получше, чем накануне. Две койки из тех, что стояли по стенам хижины, наименее шаткие, были доверху наполнены вереском, цветшим в ту пору, причем он был уложен так искусно, что цветы оказались сверху, образуя упругую и вместе с тем душистую подстилку. Плащи и постельные принадлежности, какие удалось раздобыть, делали это ложе из живых цветов мягким и теплым. Бэйли, казалось, изнемогал от усталости. Я решил отложить беседу с ним до утра и предоставил ему лечь спать сразу же после обильного ужина. Но сам я, утомленный и встревоженный, не был расположен ко сну; мной владело какое-то неуемное, лихорадочное беспокойство, которое и привело к продолжению разговора между мной и Мак-Грегором.

ГЛАВА XXXV

Передо мною — беспросветный мрак,
Ее очей я видел взор последний,
Ее речей последний слышал звук,
И милый образ скрылся навсегда.
Свершился жребий мой
Граф Базиль

— Не знаю, что мне с вами делать, мистер Осбалдистон, — сказал Мак-Грегор, подвигая мне бутылку, — вы не едите, не хотите спать и даже не пьете, хоть это бордо не уступает винам из погребов сэра Гилдебранда. Если бы вы были всегда таким трезвенником, вы не навлекли бы на себя смертельную ненависть вашего двоюродного брата.

— Будь я всегда благоразумен, — сказал я и покраснел, вспомнив ту постыдную сцену опьянения, — меня миновало бы худшее зло — укоры собственной совести.

Мак-Грегор метнул на меня острый, почти грозный взгляд, как будто желая прочесть, намеренно ли вложил я в свои слова порицание, которое ему, как видно, почудилось в них, но понял, что я думаю о себе, не о нем, и с глубоким вздохом отвернулся к огню. Я последовал его примеру, и оба мы отдались на несколько минут мучительному раздумью. В хижине все, кроме нас, уснули или, во всяком случае, замолкли.

Мак-Грегор первый прервал молчание, заговорив тем тоном, каким говорит человек, когда решился затронуть мучительный для него вопрос.

— Мой кузен Никол Джарви беседовал со мной из добрых побуждений, — сказал он, — но он слишком сурово осуждает человека моего склада и моего положения, если вспомнить, кем я был и кем я стал… а главное — что меня вынудило стать тем, что я есть.

Он умолк. Сознавая, на какую скользкую почву может завести этот щекотливый разговор, я все же позволил себе сказать, что многое в настоящем положении Мак-Грегора должно, очевидно, сильно задевать его чувства.

— Я был бы счастлив услышать, — добавил я, — что вам предоставлена возможность на почетных условиях перейти к другому образу жизни.

— Вы говорите как мальчик, — возразил Мак-Грегор глухим голосом, прозвучавшим словно отдаленный гром, — как мальчик, который думает, что старый дуб так же легко пригнуть к земле, как молодое деревце. Разве могу я забыть, что я был поставлен вне закона, заклеймен именем предателя, что голова моя была оценена, точно я волк! Что семью мою травили, как самку и детенышей горного лиса, которых каждому разрешено терзать, поносить, унижать и оскорблять; что самое имя мое, унаследованное от длинного ряда благородных воинственных предков, запрещено упоминать, точно оно, как заклятье, может вызвать дьявола из ада.

Он продолжал в том же духе, и мне было ясно, что он нарочно разжигает в себе гнев перечислением обид, чтобы оправдать перед самим собой те ошибки, которые совершил из-за них. Это ему удалось в полной мере; зрачки его светло-серых глаз то суживались, то расширялись, и казалось от этого, будто в них и впрямь полыхает пламя; он наклонился, отставил ногу назад, сжал эфес кинжала, вытянул руку, стиснул кулак и наконец встал со скамьи.

— Но они узнают, — сказал он, и в его глухом, но глубоком голосе звучала подавленная страсть, — они узнают, что имя, поставленное ими под запрет, имя Мак-Грегор, действительно таит в себе заклятье и может вызвать самого лютого дьявола… Они услышат о моей мести — все те, кто с усмешкой слушал рассказ о моих обидах… Жалкий шотландский скотовод, банкрот, босоногий бродяга, лишенный всего своего достояния, обесчещенный и гонимый, потому что жадность людская зарилась на большее, чем могло дать это скудное достояние, — он встанет перед ними страшным оборотнем. Кто глумился над земляным червем, кто давил его пятой — тот завопит и взвоет, когда увидит над собой крылатого дракона с огненною пастью. Но к чему я это говорю? — сказал он более спокойным тоном, усаживаясь вновь. — Вы, впрочем, понимаете, мистер Осбалдистон: трудно не выйти из себя, когда вчерашние друзья и соседи травят тебя, как выдру, как тюленя, как лосося на мели; когда на тебя занесено столько клинков, столько наведено дул, как было сегодня у брода на Эйвон Ду. Не то что у горца — у святого истощилось бы терпение; а горцы никогда не отличались терпеливостью, как вам, вероятно, доводилось слышать, мистер Осбалдистон. Но одно меня угнетает из того, о чем говорил Никол: мне больно за детей, мне больно, что Хэмиш и Роберт должны жить жизнью их отца.

И, предавшись печали не о себе самом — о своих сыновьях, он опустил голову на руки.

Уилл, я был глубоко взволнован. Меня всегда больше трогало отчаяние, сокрушающее гордого, сильного духом и могущественного человека, чем легко пробуждаемые печали более мягких натур. В душу мне запало желание помочь ему, хоть это и казалось трудной или даже неразрешимой задачей.

— У нас широкие связи за границей, — сказал я. — Не могут ли ваши сыновья при известном содействии, — а они имеют право на все, что может дать торговый дом моего отца, — найти достойные средства к жизни в службе за рубежом?

На моем лице, должно быть, отразилось искреннее чувство. Но собеседник, взяв меня за руку, не дал мне продолжать и сказал:

— Благодарю, благодарю вас! Но оставим этот разговор. Не думал я, что взор человека когда-либо увидит вновь слезу на ресницах Мак-Грегора. — Тыльной стороной руки он отер влагу с длинных рыжих ресниц. — Завтра поутру, — добавил он, — мы поговорим об этом, и поговорим также о ваших делах; мы ведь поднимаемся рано, чуть свет, даже когда посчастливится уснуть в хорошей постели. Не разопьете ли со мной разгонную?

Я отклонил приглашение.

— Тогда, клянусь душой святого Мароноха, я должен выпить один! — И он налил в чарку и выпил единым духом по меньшей мере полкварты вина.

Я лег, решив отложить расспросы до другого раза, когда мой хозяин будет в более спокойном состоянии духа. Этот необыкновенный человек так завладел моим воображением, что я невольно смотрел на него еще несколько минут после того, как растянулся на ложе из вереска и прикинулся спящим. Он шагал из угла в угол и время от времени крестился, бормоча

латинские слова католической молитвы; потом завернулся в плед, оставив под ним обнаженный меч на одном боку, пистолет — на другом и так расположив складки, что в случае тревоги мог в одно мгновение вскочить с оружием в обоих руках и немедленно ринуться в бой. Через несколько минут его ровное дыхание показало, что он крепко спит. Разбитый усталостью, оглушенный множеством неожиданных и необычных событий истекшего дня, я вскоре тоже поддался сну, глубокому и неодолимому, и, хотя обстановка требовала от меня большей бдительности, не просыпался до утра.

Когда я открыл глаза и вполне очнулся, я увидел, что Мак-Грегора уже нет в хижине. Я разбудил мистера Джарви, который после долгих охов, вздохов и тяжких жалоб на ломоту в костях — следствие непривычных трудов минувшего дня — оказался наконец способным оценить приятное известие, что похищенные Рэшли Осбалдистоном бумаги благополучно мне возвращены. В тот миг, как смысл моих слов дошел до его сознания, он забыл все свои горести, быстро вскочил и тотчас же принялся сличать содержимое пакета, который я передал ему в руки, с памятной записью Оуэна, то и дело приговаривая:

— Правильно, правильно… вот они… Бэйли и Уиттингтон… где здесь Бэйли и Уиттингтон? .. Семьсот, шесть, восемь — совершенно точно, до единого пенни… Поллок и Пилмен — двадцать восемь, семь… точно до полушки, хвала Создателю! Граб и Грайндер — отменнейшие люди, лучше и быть не может… триста семьдесят… Глиблед — двадцать… Глиблед, по-моему, пошатнулся… Слипритонг — Слипритонг прогорел… но за этими двумя небольшие суммы, просто мелочь… Все остальное в порядке. Слава Богу! Документы у нас в руках, и мы можем уехать из этой печальной страны. Всякий раз, как вспомню я о Лох-Арде, мурашки так и бегут по спине.

— Очень сожалею, кузен, — сказал Мак-Грегор, входя в хижину при этом последнем замечании, — что обстоятельства не позволили мне оказать вам такой прием, как я желал бы; тем не менее, если б вы соизволили посетить мое бедное жилище…

— Чрезвычайно вам обязан, чрезвычайно, — поспешил ответить мистер Джарви. — Но нам пора уезжать. Мы очень спешим — мистер Осбалдистон и я; дела не ждут.

— Прекрасно, родственник, — возразил горец, — вы знаете наш обычай: встречай гостя, когда он приходит, провожай, когда он спешит домой. Но вам нельзя возвращаться на Драймен; я должен проводить вас на Лох-Ломонд, а оттуда доставить на лодке к Баллохской переправе да туда же кружным путем прислать ваших лошадей. Умный человек всегда соблюдает правило — не возвращаться той дорогой, которой пришел, если свободна другая.

— Как же, как же, Роб, — молвил бэйли, — это одно из тех правил, которые вы усвоили, когда торговали скотом: вы не любили встречаться с фермерами в тех местах, где ваши быки пощипали мимоходом траву, а я подозреваю, что теперь вы оставляете за собою следы похуже, чем в те времена.

— Значит, теперь и вовсе не годится часто проезжать одной и той же дорогой, родственник, — ответил Роб. — Я посылаю наших лошадей в обход к переправе с Дугалом Грегором, который превратился по этому случаю в слугу господина бэйли; и этот бэйли едет вовсе не из Эберфойла и не из страны Роб Роя, как вы, может быть, думаете, а из города Стерлинга мирным путешественником. Ага, вот и он!

— Ни за что не узнал бы я бездельника! — сказал мистер Джарви.

И в самом деле, нелегко было узнать горца, когда он появился перед дверью дома, наряженный в шляпу, парик и кафтан, недавно еще признававшие своим владельцем Эндрю Ферсервиса, и сидя верхом на лошади мистера Джарви, а мою держа в поводу.

Он получил от своего господина последние наказы: избегать тех мест, где легко мог навлечь на себя подозрения; дорогой собирать сведения и ждать нашего прибытия в условленном месте близ Баллохской переправы.

В то же время Мак-Грегор пригласил нас отправиться вместе с ним в путь, уверяя, что нам непременно нужно сделать прогулку в несколько миль перед завтраком, и предлагая глотнуть на дорогу водки, в чем бэйли его поддержал, заявив, что «пить натощак спиртное, вообще говоря, беспутная и вредная привычка, кроме тех случаев, когда нужно предохранить

желудок (а это очень деликатная часть организма) от злого действия утреннего тумана; при таких обстоятельствах мой отец, декан, рекомендовал глоток водки и подкреплял совет примером».

— Совершенно верно, родственник, — ответил Роб, — и по этой причине мы, Сыны Тумана, правы, когда пьем водку с утра до ночи.

Подкрепившись по рецепту покойного декана, бэйли взгромоздился на горного пони. Предложили лошадку и мне, но я отказался, и мы — совсем иначе провожаемые и с другими видами на будущее — пустились в тот же путь, какой проделали накануне.

Нас эскортировали Мак-Грегор и пять-шесть самых красивых, самых рослых, хорошо вооруженных горцев из его отряда, которые и составляли обычно свиту вождя.

Когда мы приблизились к месту, где накануне разыгралось сражение и совершилось жестокое дело, Мак-Грегор поспешил заговорить, но не в связи с чем-либо высказанным мною, а как будто угадав, что пронеслось в моем уме, — словом, отвечая не на слова мои, а на мысли.

— Вы, верно, сурово осуждаете нас, мистер Осбалдистон; и было бы странно, если бы вы судили иначе. Но вспомните, по крайней мере, что не мы зачинщики. Мы грубый и невежественный народ, может быть горячий и необузданный, но не жестокий, нет. Мы едва ли нарушили бы мир и закон страны, если б нам давали спокойно пользоваться благами мира и закона. Но наш род преследовали из поколения в поколение.

— А преследование, — вставил бэйли, — делает и мудрого безумным.

— До чего же оно должно довести таких, как мы, — живущих, как жили наши отцы тысячу лет назад, и таких же, как они, непросвещенных? Можем ли мы спокойно смотреть, как против нас издаются кровавые эдикты, как вешают, посылают на плаху, гонят и травят носителей древнего и почтенного имени, точно лучшего они не заслужили и надо топтать их, как враг не топчет врага? Вот я стою перед вами: двадцать раз побывал я в схватках, но ни разу не пролил крови человека иначе, как в пылу битвы; и все-таки они поймали б меня и повесили, как бездомную собаку, на воротах любого влиятельного человека, который за что-либо зол на меня.

Я ответил, что запрет, наложенный на его имя, и объявление вне закона членов его семьи не могут не казаться англичанину жестоким и бессмысленным произволом; и, успокоив его немного этими словами, я повторил свое прежнее предложение помочь ему самому, если он пожелает, и его сыновьям устроиться на военную службу за границей. Мак-Грегор сердечно пожал мне руку, задержал меня, пропуская мистера Джарви вперед, — маневр, которому послужила оправданием узкая дорога, — и сказал мне:

— Вы благородный и добрый юноша и, несомненно, умеете уважать чувства человека чести. Но вереск, который я топтал под ногами, покуда жил, должен цвести надо мною, когда я умру; сердце мое сожмется и рука ослабеет и поникнет, как папоротник на морозе, если я не буду видеть моих родимых гор; и никакие красоты мира не заменят мне вида этих вот диких утесов и скал, которые нас окружают здесь. А Елена — что станется с нею, если я покину ее, обрекая на новые глумления и жестокости? И как перенесет она разлуку с теми краями, где воспоминания о свершенной мести делают не такой горькой мысль о нанесенных ей обидах? Было время, когда мой Великий Враг, как я его по праву называю, так жестоко меня теснил, что я был вынужден отступить перед силой, сняться со всей семьей и народом с родной земли и перекочевать на время в страну Мак-Каллумора. И тогда Елена сложила свой «Плач» о нашем уходе, такой чудесный, что сам Мак-Риммон *note 96* не сложил бы лучше, такой скорбный и такой жалостный, что у каждого из нас разрывалось сердце, когда мы сидели и слушали: точно кто-то оплакивал мать, породившую его. Слезы бежали по суровым лицам

Note96

Мак-Риммоны, или Мак-Кримоды, из поколения в поколение были волынщиками при вождях клана Мак-Мод и славились своим искусством. Пиброх, сочиненный, по преданию, Еленой Мак-Грегор, дошел до нашего времени. (Прим. автора.)

наших молодцов, когда она пела; и я не соглашусь еще раз причинить ее сердцу такую боль — нет, не соглашусь, хотя бы мне вернули все земли, какими владели в прошлом Мак-Грегоры.

— Но ваши сыновья? — сказал я. — Они в том возрасте, когда ваши соотечественники не прочь бывают повидать свет.

— Я не возражал бы, — сказал Мак-Грегор, — чтобы они попытали счастья на французской или испанской службе, как это в обычае среди шотландцев благородной крови, и вчера ваше предложение показалось мне вполне осуществимым. Но утром, пока вы спали, я успел переговорить с его превосходительством.

— Разве он ночевал так близко от нас? — сказал я, и сердце мое взволнованно забилось.

— Ближе, чем вы полагали, — был ответ Мак-Грегора. — Но он, похоже, некоторым образом ревнует вас к молодой леди и не хочет, чтоб она с вами виделась, так что, понимаете…

— Для ревности не было повода, — сказал я высокомерно, — я не покушаюсь на то, что принадлежит другому.

— Не обижайтесь понапрасну и не глядите на меня так угрюмо сквозь ваши кудри, точно дикая кошка сквозь заросли плюща. Вы же должны понимать, что он к вам искренне расположен и доказал это на деле. Из-за этого отчасти и загорелся сейчас наш вереск.

— Вереск загорелся? — повторил я. — Не понимаю, что вы хотите сказать?

— Ну, вы же отлично знаете, — отвечал Мак-Грегор, — что все зло на земле пошло от женщины и от денег. Я взял на подозрение вашего двоюродного брата Рэшли Осбалдистона с того самого часа, как он понял, что ему не получить в жены мисс Ди Вернон; и, я думаю, он по этой причине затаил злобу на его превосходительство. Потом вышел еще спор из-за ваших бумаг; а сейчас мы получили прямые доказательства, что, как только его принудили их вернуть, он поскакал в Стерлинг и донес правительству обо всем, что делалось втихомолку среди горцев, да еще прибавил то, чего и не было; потому, конечно, и был разослан по области приказ об аресте его превосходительства с молодою леди и устроена была неожиданно облава на меня. Я нисколько не сомневаюсь, что Рэшли, сговорившись с каким-нибудь сквайром из Низины, подбил злосчастного Морриса (он же вертел им как хотел) заманить меня в ловушку. Но был бы Рэшли Осбалдистон даже последним и лучшим в своем роду — пусть сам сатана перережет мне горло обнаженным палашом, если, встретившись с Рэшли лицом к лицу, мы разойдемся прежде, чем мой кинжал испробует его горячей крови!

Он произнес свою угрозу, зловеще сдвинув брови и положив для большей убедительности руку на кинжал.

— Я почти готов порадоваться всему, что случилось, — сказал я, — если предательство Рэшли действительно предупредит взрыв, подготовленный путем отчаянных и дерзких интриг, в которых он сам, как я давно подозреваю, играл немаловажную роль.

— На это не надейтесь! — сказал Роб Рой. — Слово предателя не может повредить честному делу. Правда, он посвящен во многие наши планы; если б не это, Эдинбургский замок и замок Стерлинг уже сегодня или через несколько дней были бы в наших руках. Теперь же на это рассчитывать трудно. Но в заговоре замешано так много народу и дело такое доброе, что люди от него не отступятся из-за первого доноса, — это очень скоро будет доказано. Итак, к чему я, собственно, и веду свою речь, — я вам премного благодарен за ваше предложение насчет моих сыновей! Еще минувшей ночью я всерьез подумывал о нем, но теперь, я вижу, измена злодея побудит наших знатных вождей немедленно стать во главе восстания и самим нанести первый удар, или их всех захватят, каждого в его доме, сосворят, точно собак, и пригонят в Лондон — как было с честными баронами и джентльменами в семьсот седьмом году. Гражданская война подобна василиску. Мы десять лет сидели на яйце, в котором он таился, и просидели бы еще десять лет; но приходит Рэшли, разбивает скорлупу, и змей вздымается среди нас, и настает пора огня и меча. Когда пошло такое дело, дорога каждая рука, способная поднять за нас оружие; не в обиду будь сказано испанскому и французскому королям — им я желаю тоже всяческих благ, — но король Иаков стоит любого из них, и у него первое право на Хэмиша и Роба, раз они родились его подданными.

Я понял, что эти слова предвещают потрясение для всей страны; и так как было бы и бесполезно и небезопасно оспаривать политические взгляды моего проводника в таком месте и в такой час, я только выразил сожаление о том, что всеобщее восстание в пользу изгнанного королевского дома широко раскроет ворота перед бедой и разорением.

— Пусть приходят, пусть! — ответил Мак-Грегор. — Невиданное дело, чтоб ненастье сменялось ясными днями без ливня, а когда мир перевертывают вверх дном, честный человек скорее сможет отрезать себе ломоть хлеба.

Я снова сделал попытку перевести разговор на Диану; но хотя обо всем прочем мой спутник высказывался очень словоохотливо, что не вызывало во мне особого восторга, а этом вопросе, единственно меня занимавшем, он проявлял предельную сдержанность и ограничился лишь сообщением, что леди, как он надеется, «уедет скоро в другую страну, где ей будет, наверно, спокойнее, чем в Шотландии». Я вынужден был удовольствоваться этим ответом и по-прежнему тешить себя надеждой, что случай, как вчера, окажется мне другом и доставит грустную радость хотя бы попрощаться с той, что занимала такое большое место в моем сердце — большее, чем я предполагал, — перед тем как мне расстаться с ней навек.

Мы прошли берегом озера около шести английских миль по извилистой и живописной тропе, пока не добрались до своеобразной верхнешотландской фермы или разбросанного селения, лежавшего у зеркального залива, который назывался, если не ошибаюсь, Ледиарт или как-то в этом роде. Здесь уже стоял многочисленный отряд людей Мак-Грегора, приготовившийся нас принять. Вкус, как и красноречие, диких, или, точнее говоря, нецивилизованных, племен обычно бывает безошибочным, так как не скован никакими стеснительными правилами и никакими условностями; горцы доказали это выбором места для приема своих гостей. Кем-то было сказано, что британский монарх, разумно рассуждая, должен был бы принимать посольство державы-соперницы в каюте военного корабля; так и вождь горного клана поступил правильно, избрав такое местоположение, где величие природы, присущее его стране, могло произвести должное впечатление на гостей.

Мы поднялись ярдов на двести от берега озера вверх по бурливому ручью и оставили по правую руку пять или шесть хижин с клочками пахотной земли вокруг, такими маленькими, что их обрабатывали, наверно, не плугом, а лопатой; отвоеванные у зарослей кустарника, они радовали глаз колыхавшимися на ветру колосьями овса и ячменя. Над этой неширокой полосой круто поднималась гора, и на гребне ее мы увидели сверкающее оружие и развевающиеся плащи полусотни приверженцев Мак-Грегора. Они выстроились на чудесном месте, воспоминание о котором наполняет меня восторгом. Ручей мчал свои воды вниз с горы и, встретив каменную преграду, одолел ее в два прыжка: сперва он низвергался с высоты двенадцати футов, образуя мутный водопад, наполовину прикрытый сенью великолепного старого дуба, ревниво склонившегося над ним с другого берега; струи падали, дробясь, в красивый каменный бассейн почти правильной формы, точно он высечен был ваятелем, и, взбурлив над его кремнистым краем, делали второй головоломный прыжок — на дно темного и узкого ущелья, с высоты не менее пятидесяти футов, а затем быстрым, но сравнительно ровным бегом вырывались оттуда, чтобы влиться в озеро.

Следуя врожденному вкусу, присущему горцам, а в особенности горцам Северной Шотландии, склонным обычно, как я замечал, к романтике и поэзии, жена и приверженцы Роб Роя приготовили здесь для нас утренний завтрак в обстановке, которая не могла бы не внушить чужестранцу благоговейный трепет. К тому же по природе своей это суровый и гордый народ, и хотя мы считаем горцев неотесанными, у них существуют свои понятия о правилах учтивости, и соблюдаются они с крайней строгостью, которая казалась бы чрезмерной, если бы эта учтивость не сопровождалась демонстрацией силы, — ибо надо признать, что предупредительная вежливость и строгий этикет, которые казались бы смешными у обычного крестьянина, здесь, когда проявляет их горец, вооруженный с ног до головы, становятся уместными, как салют гвардейской части. Итак, нас встречали и принимали по всем требованиям формы. Завидев нас, горцы, рассеянные по склону горы, стянулись к одному месту и, стоя твердо и неподвижно, выстроились в тесную шеренгу позади

трех фигур, в которых я скоро узнал Елену Мак-Грегор и двух ее сыновей. Сам Мак-Грегор оставил свою свиту в арьергарде и, предложив мистеру Джарви спешиться, так как подъем стал слишком крут, пошел с нами вперед, шагая сам во главе отряда. Мы слышали дикие звуки волынок, утратившие в сочетании с буйным шумом водопада свою природную дисгармонию. Когда мы подошли совсем близко, жена Мак-Грегора двинулась нам навстречу. Она была одета нарядно и тщательно, более женственно, чем накануне, но черты ее лица выражали тот же гордый, непреклонный и решительный характер. И когда она неожиданно и едва ли радушно обняла моего друга бэйли, я понял — по тому, как дрожали его парик, спина и лодыжки, — что он чувствует себя примерно так же, как человек, которого облапила бы вдруг медведица, когда он еще не разобрал, как она настроена — благодушно или яростно.

— Привет вам, родственник! И вам привет, чужестранец, — добавила она, обращаясь ко мне и выпуская из объятий моего напуганного спутника, который невольно отскочил назад и поправил на голове парик.

— Вы явились в нашу несчастную страну, когда кровь у нас была распалена и руки обагрены. Извините же простых людей, оказавших вам суровый прием, и вините в этом дурные времена — не нас.

Слова эти сказаны были с осанкой королевы и тоном придворной учтивости. В них не было ни тени той простонародности, которая, естественно, слышится англичанину в нижнешотландском наречии. Правда, Елена Мак-Грегор говорила с сильным местным акцентом, но тем не менее ее речь, мысленно переводимая ею с ее родного поэтического гэльского языка на английский, который она усвоила, как мы усваиваем иностранные языки, и едва ли когда-либо слышала в применении к будничным предметам обихода, — ее речь была красива и плавна, точно декламация. Муж ее, выступавший на своем веку во всяких ролях, говорил далеко не так возвышенно и выразительно. Но и его речь отличалась большей чистотой выражений (как вы могли заметить, если я правильно ее передал), когда он заговаривал о предметах волнующих и важных. И вообще, насколько я знаю горцев, мне кажется, что все они в дружеском и шутливом разговоре употребляют нижнешотландское наречие; когда же они серьезны и взволнованны, тогда их мысли складываются на родном гэльском языке; и в таком случае, если горец выражает эти мысли по-английски, речь его становится страстной, возвышенной и поэтической. В самом деле, язык страсти почти всегда чист и силен; нередко вы услышите, как шотландец, когда соотечественник обрушивается на него с горькими велеречивыми упреками, вдруг кольнет противника: «Эге, заговорил по-английски!»

Как бы там ни было, жена Мак-Грегора пригласила нас к завтраку, который был сервирован на траве и изобиловал всеми вкусными блюдами, какие могла предложить Горная Страна, но омрачался угрюмой и невозмутимой серьезностью, запечатленной на лице хозяйки, а также нашим затаенным и мучительным воспоминанием о том, что свершилось здесь накануне. Напрасно сам предводитель старался вызвать веселье: какой-то холод сковал наши сердца, точно трапеза наша была тризной, и каждый из нас вздохнул свободней, когда она закончилась.

— Прощайте, кузен, — сказала хозяйка мистеру Джарви, когда мы наконец поднялись. — Лучшее пожелание, какое может высказать другу Елена Мак-Грегор, — это никогда больше с ней не встречаться.

Мистер Джарви подыскивал ответ, вспоминая, верно, какое-нибудь изречение прописной морали; но спокойная и скорбная суровость Елены Мак-Грегор подавляла искусственную и чопорную важность бэйли. Он кашлянул, помялся, поклонился и молча отошел.

— А вам, чужестранец, я должна передать нечто на память от одной особы, которую вы никогда…

— Елена, — перебил Мак-Грегор громким и строгим голосом, — что это значит? Ты забыла приказ?

— Мак-Грегор, — ответила она, — я не забыла ничего, что надлежит мне помнить. Не

таким рукам, как эта (она протянула вперед длинную, обнаженную по плечо мускулистую руку), передавать залог любви, если дар обещает что-либо, кроме горя. Молодой человек, — сказала она, передавая мне кольцо, в котором я сразу узнал одно из немногих украшений, какие носила иногда мисс Вернон, — это вам от той, кого вы больше никогда не увидите. Если это безрадостный дар, ему вполне пристало пройти через руки посредника, который и сам никогда не изведает радости. Последние слова ее были: «Пусть он забудет меня навсегда».

— И она думает, — воскликнул я помимо воли, — что это для меня возможно!

— Все можно забыть, — сказала необыкновенная женщина, вручившая мне кольцо, — все, кроме сознания утраченной чести и жажды мщения.

— Seid suas! *note 97* — нетерпеливо крикнул Мак-Грегор, топнув ногой.

Волынки заиграли, и их пронзительные, режущие ухо звуки оборвали наш разговор. Безмолвными жестами распростились мы с хозяйкой и снова отправились в путь, причем я уносил с собой новое доказательство, что был любим Дианой — и навеки с нею разлучен.

ГЛАВА XXXVI

Прощай же, страна, где любовно, как саван белесый.
Легли облака на холодные плечи утеса,
Где шуму потока лишь клекот ответствует орлий,
Где к небу озера с тоскою объятья простерли.

Наша дорога пролегала по угрюмой и романтической местности, но, поглощенный печалью, я не мог любоваться видом, а потому и не стану описывать его. Высокий пик Бен-Ломонда — державный властитель здешних гор — поднимался по правую руку от нас и служил как бы огромной пограничной вехой. Я только тогда пробудился от оцепенения, когда после долгого и трудного пути мы выступили из ложбины и перед нами открылся Лох-Ломонд. Избавлю вас от описания картины, которую вы едва ли представите себе, не увидев собственными глазами; но, бесспорно, это горделивое озеро, кичась несчетными островами редкой красоты и всех разнообразных форм и очертаний, какие может измыслить фантазия, — причем у северной своей границы оно суживается, теряясь в туманной дали отступающих гор, с юга же, постепенно расширяясь, омывает изрезанный берег прекрасной и плодородной земли, — озеро это являет поистине необычайное, величественное зрелище. Восточное побережье, особенно пустынное и скалистое, было в ту пору главным прибежищем Мак-Грегора и его клана, для усмирения которого на полпути между Лох-Ломондом и другим озером содержался маленький гарнизон. Но условия местности с ее бесчисленными ущельями, болотами, пещерами и другими местами, пригодными для укрытия или обороны, делали позицию горцев неуязвимой, так что присылка сюда небольших военных сил означала лишь признание опасности, но не могла служить действенным средством к ее устранению.

Не раз, как и в том случае, которому я был свидетелем, гарнизону приходилось страдать от предприимчивого разбойника и его приверженцев. Но их победу никогда не омрачала жестокость, если во главе стоял сам Мак-Грегор: незлобивый и дальновидный, он хорошо понимал, как опасно было бы возбуждать к себе излишнюю ненависть. К большой своей радости, я узнал, что он приказал отпустить взятых накануне пленников целыми и невредимыми; и в памяти людей сохранилось немало подобных случаев, когда этот замечательный человек проявлял черты милосердия, даже великодушия.

В заливе, под громадой нависшей скалы, нас ожидала лодка с четырьмя дюжими шотландцами. Наш хозяин ласково, даже сердечно распростился с нами. С мистером Джарви его и в самом деле связывало взаимное уважение, несмотря на различие их занятий и образа жизни. Любовно расцеловавшись с Мак-Грегором и уже совсем прощаясь, бэйли от полноты

Note97
Гряньте! (гэльск.)

сердца срывающимся голосом заверил своего родственника, что если когда-нибудь ему или его семье понадобятся в трудную минуту сто или даже двести фунтов, пусть он только черкнет несколько слов на Соляный Рынок, — на что Роб, схватившись одной рукой за эфес палаша, а другой горячо пожимая руку мистеру Джарви, ответствовал, что если кто-нибудь когда-нибудь обидит его родственника, пусть он только даст ему знать, и он, Мак-Грегор, «оторвет обидчику уши, будь то хоть первейший человек Глазго».

С такими заверениями во взаимной помощи и неизменной дружбе мы оттолкнулись от берега и взяли курс на юго-западный конец озера, где берет свое начало река Левен. Роб Рой все еще стоял на скале, от которой отчалила наша лодка, и мы долго видели издали его длиннее ружье, развевающийся плед и одинокое перо на шляпе, в те дни отличавшее в горах Шотландии дворянина и воина, тогда как современный вкус украсил головной убор воина-горца целым букетом черных перьев, придав ему сходство с траурным опахалом, какое несут впереди похоронной процессии. Наконец, когда легло между нами изрядное расстояние, мы увидели, как друг наш повернулся и медленно пошел вверх по склону горы в сопровождении своей свиты, или, вернее, телохранителей.

Мы долгое время плыли молча, тишину нарушала лишь гэльская песня, которую пел один из гребцов, — тихий, нестройный напев, переходивший временами в дикий хор, когда остальные подхватывали песню.

Мысли мои были печальны; однако величественное окружение действовало на меня успокоительно, и в тот торжественный час мне думалось: будь я католик, я согласился бы жить и умереть отшельником на одном из этих романтических красивых островов, между которыми скользила наша лодка.

Бэйли тоже предался размышлениям, но, как я потом узнал, совсем иного свойства. Промолчав битый час, в течение которого мысленно производил необходимые вычисления, он стал вдруг ревностно доказывать мне, что озеро можно осушить и отдать под плуг и борону много сот — да какое там! — много тысяч акров земли, между тем как сейчас от него никакого проку, разве что ловят в нем щуку да окуня.

Из его пространных рассуждений, которыми он «пичкал мой слух, наперекор желудку моего ума», мне запомнилось только, что по его замыслу предполагалось, между прочим, сохранить часть озера, достаточно глубокую и широкую, для нужд водного транспорта, чтобы лихтеры и угольщики так же свободно ходили из Дамбартона в Гленфаллох, как из Глазго в Гринок.

Наконец мы подошли к месту нашего причала, по соседству с развалинами древнего замка, — там, где озеро переливает свои избыточные воды в Левен. Здесь нас ожидал уже Дугал с лошадьми. Бэйли составил между тем блестящий план касательно «бездельника», не уступавший его плану осушения озера, — причем в обоих случаях он, пожалуй, больше сообразовался с предполагаемой пользой, нежели с практической осуществимостью замысла.

— Дугал, — сказал он, — ты славный малый, даром что бездельник, и ты относишься с должным почтением к тем, кто стоит выше тебя. Мне просто жаль тебя, Дугал, потому что при той жизни, какую ты ведешь, с тобой обязательно рано или поздно расправятся по способу джеддартского суда. Мне кажется, что я как выборный член городского магистрата и как сын своего отца, декана Никола Джарви, пользуюсь в магистрате некоторым влиянием и могу намекнуть кому следует, что за другими водятся грехи потяжелее твоих. Так что, я думаю, ты мог бы вернуться с нами в Глазго, и так как у тебя крепкие плечи, можно было бы тебя определить грузчиком на склад, пока не подвернется что-нибудь получше.

— Я очень обязан вашей чести, — ответил Дугал — но пусть черт перебьет мне ноги, если я по доброй воле пойду на мощеную улицу; меня затащат на Гэллоугейт только на веревке, как было в первый раз.

В самом деле, я узнал впоследствии, что сначала Дугал попал в Глазго как арестант, замешанный в грабеже, но каким-то образом снискал благоволение тюремщика, и тот с несколько самонадеянной доверчивостью оставил его у себя на службе в качестве привратника; эту службу Дугал, насколько известно, нес вполне добросовестно, пока

приверженность к своему клану не взяла верх при неожиданном появлении вождя.

Пораженный таким безоговорочным отказом Дугала от соблазнительного предложения, бэйли, повернувшись ко мне, сказал, что «бездельник от роду круглый дурак». Я выразил свою благодарность иным способом, который пришелся Дугалу более по вкусу, — сунул ему в руку две-три гинеи. Едва почувствовав прикосновение золота, он подпрыгнул несколько раз с легкостью горного козла, выкидывая то одной, то другой ногой такие антраша, что удивил бы любого французского учителя танцев. Он кинулся к лодке показать гребцам свою награду, и они, получив от него небольшую подачку, разделили его восторг. Потом, как мог бы выразиться торжественный Джон Беньян, «он пошел своею дорогой, и я его больше не видел».

Мы с бэйли сели на коней и направились в Глазго. Когда скрылось из виду озеро, окруженное великолепным амфитеатром гор, я не сдержался и пылко выразил свой восторг перед красотами природы, хоть и понимал, что такие излияния не встретят у мистера Джарви ответного чувства.

— Вы молодой джентльмен, — возразил он, — и к тому же англичанин, для вас это, может быть, и хорошо, но по мне… Я простой человек и кое-что смыслю в ценности земель — так вот, я не променял бы самого скромного уголка в Горбалсе под нашим Глазго на красивейший вид в здешних горах. Дайте мне только добраться до дому, и больше никогда ни один сумасброд, — извините меня, мистер Фрэнсис, — не заманит меня по своим делам в такое место, откуда не видать колокольни святого Мунго!

Желания честного бэйли были удовлетворены: не прерывая пути, мы прибыли в Глазго в ту же ночь, или, вернее, на следующее утро. Проводив своего достойного товарища по путешествию до дверей его дома и благополучно сдав его с рук на руки заботливой и услужливой Мэтти, я отправился в гостиницу миссис Флаттер, где в этот неурочный час почему-то горел свет. Дверь отворил мне не кто иной, как Эндрю Ферсервис; при звуке моего голоса он громко завопил от радости и, не сказав ни слова, бросился вверх по лестнице в гостиную второго этажа, окна которой были освещены. Сразу же сообразив, что Эндрю спешит известить о моем возвращении встревоженного Оуэна, я побежал за ним следом. Оуэн был не один, с ним в комнате сидел кто-то еще — и это был мой отец!

Первым его побуждением было сохранить достоинство и обычную свою уравновешенность. «Я рад тебя видеть, Фрэнсис», — начал он. Затем он нежно обнял меня: «Дорогой, дорогой мой сын!» Оуэн завладел моей рукой и орошал ее слезами, поздравляя меня в то же время с благополучным возвращением. В подобных сценах глаз и сердце видят больше, чем может услышать ухо. И по сей день мои старые веки увлажняются слезами при воспоминании о нашей встрече; но ваши добрые и нежные чувства, Уилл, легко дополнят то, чего я не в силах описать.

Когда улеглось волнение нашей первой радости, я узнал, что отец вернулся из Голландии вскоре после отъезда Оуэна на север. Решительный и быстрый во всех своих действиях, он задержался в Лондоне ровно настолько, чтоб успеть собрать средства для уплаты по наиболее срочным обязательствам фирмы. Превосходный успех операций на континенте доставил ему большие свободные суммы и укрепил кредит, так что, располагая обширными ресурсами, он легко устранил затруднения, возникшие, может быть, только из-за его отсутствия, и выехал в Шотландию с целью отдать под суд Рэшли Осбалдистона и привести в порядок свои дела в этой стране. Приезд моего отца, располагающего полным кредитом и широкими средствами для полной расплаты по векселям и даже раздающего выгодные заказы местному купечеству, совершенно сразил Мак-Витти и Компанию, вообразивших, что его звезда навсегда закатилась. Глубоко возмущенный их поступком с его доверенным клерком и агентом, мистер Осбалдистон отклонил все их попытки оправдаться и снова снискать его благоволение, и, подведя свои счеты с ними, он объявил им, что под этой страницей своего гроссбуха они должны раз и навсегда подвести черту.

Однако сладость торжества над ложными друзьями была отравлена тревогой за меня. Добряк Оуэн не представлял себе, что поездка за пятьдесят — шестьдесят миль, которую можно так легко и спокойно совершить из Лондона в любом направлении, может быть

сопряжена с какими-нибудь серьезными опасностями. Но он заразился беспокойством от моего отца, лучше знакомого с Горной Страной и ее не признающими закона обитателями.

Вскоре их опасения перешли в лихорадочную муку, когда за несколько часов до моего прибытия явился Эндрю Ферсервис и, сильно сгущая краски, рассказал, в каком критическом положении он меня оставил. Вельможный начальник, в отряде которого мой слуга оказался чем-то вроде пленника, после учиненного ему допроса не только отпустил его на свободу, но еще снабдил средствами для скорейшего возвращения в Глазго, чтоб он известил моих друзей о моих злоключениях.

Эндрю был из тех людей, которым льстят то внимание и вес, какие временно приобретает вестник беды; а потому он отнюдь не старался смягчить свой рассказ, тем более что в числе слушателей неожиданно оказался богатый лондонский купец. Он весьма подробно распространялся о всяческих опасностях, которых я избежал, — главным образом, как он дал понять, благодаря его стараниям, опытности и дальновидности.

— Просто больно и страшно подумать, — говорил он, — что станется теперь с молодым джентльменом, когда его ангел-хранитель (в его, Эндрю Ферсервиса, лице) не стоит за его плечом! От мистера Джарви в трудную минуту — никакой пользы, кроме вреда, потому что он очень самонадеянный господин (Эндрю терпеть не мог самонадеянности). Что и говорить: когда кругом пистолеты и карабины милиции, из которых пули так и летят одна за другой, да палаши и кинжалы горцев, да глубокие воды Эйвон Ду, — трудно тут ожидать хорошего конца для молодого джентльмена.

Эти слова повергли бы Оуэна в отчаяние, будь он один, без всякой поддержки; но мой отец при его совершенном знании людей легко определил, что представляет собою Эндрю и какова цена его россказням. Но и очищенные от всех преувеличений, они не могли не встревожить родительское сердце. Отец решил выехать на место и лично, посредством переговоров или выкупа, добиться моего освобождения. До глубокой ночи просидел он с Оуэном, подготовляя срочные письма и разбирая дела, которыми клерк должен был заняться в его отсутствие. Вот почему я застал их бодрствующими в этот поздний час.

Мы разошлись еще не скоро, и, слишком возбужденный, чтобы долго спать, я наутро поднялся рано. Эндрю как ревностный слуга явился к церемониалу одевания, но своим видом напоминал уже не воронье пугало, в какое он был превращен у Эберфойла, а скорее распорядителя похорон в приличном траурном костюме. Только после настойчивых расспросов (шельмец долго прикидывался, будто не так меня понимает) я выяснил, что он «счел уместным надеть траур в предвидении невозвратимой утраты»; а так как торговец, у которого он купил костюм, не захотел принять заказ обратно и так как его собственное одеяние частью изодралось, частью же было расхищено на службе у моей чести, то, конечно же, я и мой почтенный отец, «которого провидение благословило средствами, не допустят, чтобы несчастный малый потерпел из-за них убыток; смена платья не великое дело для Осбалдистонов (поблагодарим за это Господа!), особенно когда в ней нуждается старый и преданный слуга их дома».

Так как Эндрю был отчасти прав в своей жалобе, что терпел убытки на господской службе, уловка ему удалась; и он продолжал расхаживать в своем добротном траурном костюме, с касторовой шляпой и прочими принадлежностями — в знак скорби о господине, который живет и здравствует.

Первой заботой моего отца, когда он встал, было навестить мистера Джарви и в кратких, но выразительных словах принести ему искреннюю благодарность за его доброту. Он разъяснил ему изменившееся положение своих дел и предложил на выгодных и лестных условиях ту часть представительства от его фирмы в городе Глазго, которая до сих пор возлагалась на господ Мак-Витти и Компания. Бэйли сердечно поздравил моего отца и Оуэна со счастливой переменой в его делах, но отнюдь не счел нужным отрицать услуги, оказанные им фирме в такую минуту, когда ее положение представлялось совсем иным; он поступил лишь так, сказал он, как хотел бы, чтобы с ним поступали другие; что же касается расширения представительства, то он принимает его с благодарностью и с чистой совестью: когда бы

Мак-Витти и Компания повели себя как порядочные люди, пояснил бэйли, то он нашел бы неудобным забегать перед ними вперед и оттирать их от порога; но они поступили недостойно, так пусть же несут теперь убытки.

Затем бэйли оттащил меня за рукав в сторону и, еще раз сердечно пожелав мне счастья, добавил несколько смущенным тоном:

— Я очень хотел бы, мистер Фрэнсис, чтобы здесь как можно меньше было разговоров о странных вещах, которые мы там видели. Не стоит нигде рассказывать — разве что перед судебным следствием — об ужасном деле с Моррисом; и члены городского магистрата, пожалуй, нашли бы, что представителю их корпорации не к лицу драться с какими-то жалкими горцами и прожигать им пледы. А главное — хоть у меня вполне приличная и почтенная наружность, когда на мне все в порядке, — боюсь, что я представлял собою довольно жалкое зрелище, когда, без шляпы, без парика, повис на фалдах, точно кошка или плащ, накинутый на вешалку. Бэйли Грэм, если узнает про эту историю, сживет меня со свету.

Я не удержался от улыбки, вспомнив, какой вид был тогда у бэйли, хотя в свое время мне при этом зрелище было совсем не до смеха. Добродушный купец, немного смущенный, тоже улыбнулся и покачал головой:

— Понимаю, понимаю. Но покажите себя хорошим другом и ничего никому не рассказывайте; да велите этому хвастливому, самонадеянному, наглому болтуну, вашему слуге, чтоб и он ничего не говорил. Никто ничего не должен знать об этом, даже милая девушка Мэтти, а то разговорам не будет конца.

Этот страх показаться смешным в глазах людей, сильно его угнетавший, несколько рассеялся, когда я сообщил ему, что отец мой намерен немедленно уехать из Глазго. В самом деле, нам сейчас незачем было оставаться здесь, раз наиболее ценная часть бумаг, похищенных Рэшли, была возвращена. Ту же часть ценностей, которые Рэшли успел реализовать и потратить на свои личные нужды и на политические интриги, нельзя было вернуть иным путем, как только судебным преследованием, уже начатым и подвигавшимся, по уверению наших адвокатов, со всею возможною быстротой.

Итак, мы провели день с гостеприимным бэйли и распростились с ним, как с ним прощается сейчас моя повесть. Он неуклонно преуспевал, жил в чести и богатстве и действительно поднялся до высших гражданских должностей в своем родном городе. Через два года после описанных мною событий ему наскучила холостая жизнь, и Мэтти, стоящая до сих пор у штурвала при кухонном очаге, заняла почетное место за его столам в качестве миссис Джарви. Бэйли Грэм, Мак-Витти и другие (везде и всюду найдутся у человека враги, а тем более в магистрате королевского города) смеялись над этим превращением. «Но, — говорил мистер Джарви, — пусть мелют что хотят. Не стану я из-за них тревожиться и вкусы свои менять не стану, — пусть их судачат хоть десять дней подряд. У моего отца, почтенного декана, была поговорка:

Белые плечи да черная бровь,
Верное сердце и в сердце любовь -
Лучше, чем злато и знатная кровь.

А кроме того, — добавлял он неизменно, — Мэтти не простая служанка: она как-никак родственница лэрда Лиммерфилда».

Благодаря ли своей родословной, иди своим личным качествам, не берусь судить, но Мэтти превосходно держалась в новом высоком положении и не оправдала мрачных предсказаний некоторых друзей достойного бэйли, считавших подобный опыт несколько рискованным. Больше, насколько мне известно, в спокойной и полезной жизни мистера Джарви не было никаких происшествий, заслуживающих особого упоминания.

ГЛАВА XXXVII

«Шесть сыновей, сюда, ко мне,
Здесь доблестен любой!
Скажите: кто из вас пойдет
За графом и за мной?»
И быстро пятеро из них
Дают ответ такой:
«Отец, до гробовой доски
Мы с графом и с тобой».
«Восстание на Севере»

В то утро, когда мы должны были выехать из Глазго, Эндрю Ферсервис влетел как сумасшедший в мою комнату, приплясывая и распевая не очень мелодично, но зато громко:

Пылает горн, пылает горн,

Пылает жарким пламенем!

Не без труда заставил я его прекратить свое вытье и объяснить мне, в чем дело. Он радостно сообщил, точно передавал самую приятную новость на свете, что горцы все поголовно восстали и не пройдет и суток, как Роб Рой с бандой своих голоштанников нагрянет на Глазго.

— Придержи язык, негодяй! — сказал я. — Ты, верно, пьян или сошел с ума? А если даже и есть доля правды в твоей новости, с чего ты распелся, мерзавец?

— Пьян? Сошел с ума? Ну конечно, — ответил дерзко Эндрю, — когда человек говорит то, что знатным господам неприятно слушать, значит он пьян или сошел с ума. А распелся с чего? Горные кланы заставят нас петь по-иному, если мы с перепоя или по сумасбродству станем дожидаться их прихода.

Я быстро поднялся и увидел, что отец и Оуэн уже одеты и что они в большой тревоге.

Новость Эндрю Ферсервиса оказалась верной, даже слишком верной. Великий мятеж, взволновавший Британию в 1715 году, вспыхнул, зажженный злосчастным графом Маром, который в недобрый час поднял знамя Стюартов на погибель многих почтенных родов в Англии и Шотландии. Измена нескольких якобитских агентов (Рэшли в том числе) и арест других открыли правительству Георга I широко разветвленный, давно подготовляемый заговор, и вследствие этого восстание вспыхнуло преждевременно и в отдаленной части королевства, так что не могло оказать решающего действия на судьбу страны, которая, однако, не избежала сильных потрясений.

Это большое событие в жизни государства подтвердило и разъяснило темные указания, полученные мною от Мак-Грегора; мне стало понятно, почему западные кланы, поднятые против него, так легко забыли свои частные раздоры: они знали, что скоро им всем предстоит взяться за общее дело. Меня больше смущала и печалила мысль, что Диана Вернон стала женой одного из самых ярых участников мятежа и что ей приходится делить все лишения и опасности, связанные с рискованной деятельностью супруга.

Мы тут же посовещались о том, какие меры следовало нам принять в этот решительный час, и сошлись на предложении моего отца — спешно выправить необходимые пропуска и ехать подобру-поздорову в Лондон. Я сообщил отцу о своем желании предоставить себя в распоряжение правительства и зачислиться в один из добровольческих отрядов, которые уже начали формироваться. Отец с готовностью согласился со мной: он не одобрял тех, кто считал войну своим основным занятием, но как человек твердых убеждений он всегда был готов отдать жизнь в защиту гражданской вольности и свободы вероисповедания.

Мы совершили быстрый и опасный путь через Дамфризшир и смежные с ним английские графства. В этих краях сквайры, сторонники тори, уже поднялись и производили вербовку солдат и ремонт лошадей, тогда как виги собирались в главных городах, вооружали жителей и готовились к гражданской войне. Несколько раз мы лишь с трудом избегали ареста, и нам нередко приходилось ехать кружным путем в обход тех пунктов, куда стягивались вооруженные силы.

Прибыв в Лондон, мы тотчас примкнули к банкирам и видным негоциантам,

согласившимся поддержать кредит государства и дать отпор натиску на фонды, на котором заговорщики в значительной степени строили свои расчеты, надеясь довести государство до полного банкротства и тем вернее обеспечить успех своего предприятия. Мой отец был избран в члены правления этого мощного союза финансистов, так как все доверяли его усердию, искусству и энергии. На него, между прочим, были возложены сношения союза с правительством, и он сумел, пользуясь средствами своего торгового дома и общественными фондами, переданными в его распоряжение, найти покупателей для громадного количества государственных бумаг, неожиданно выброшенных на рынок по обесцененному курсу при первой же вспышке мятежа. Я тоже не сидел сложа руки: получив назначение и навербовав за счет отца отряд в двести человек, я присоединился к армии генерала Карпентера.

Тем временем восстание распространилось и на Англию. Несчастный граф Дервентуотер и с ним генерал Форстер примкнули к повстанцам. Моего бедного дядю, сэра Гилдебранда, чьи владения были почти совсем разорены его собственной беспечностью и мотовством и распутством его сыновей и домочадцев, без труда убедили стать под злосчастное знамя Стюартов. Однако перед тем как это сделать, он проявил предусмотрительность, какой никто не мог от него ожидать: написал завещание!

Этим документом он отказывал свои владения — замок Осбалдистон с землями, угодьями и так далее — поочередно каждому из сыновей с их будущими потомками мужского пола, пока дело не дошло до Рэшли, которого он возненавидел всеми силами души за его недавнее предательство: его он исключил из завещания, назначив вместо младшего сына своим следующим наследником меня. Я всегда пользовался расположением старого баронета, но, по всей вероятности, полагаясь на многочисленность своих великанов-сыновей, поднявших вместе с ним оружие, он включил меня в число наследников лишь в надежде, что это назначение останется мертвой буквой; он вписал мое имя в завещание главным образом затем, чтобы выразить свое возмущение сыном, изменившим общему делу и своей семье. Особым параграфом завещания он отказывал племяннице своей покойной жены, Диане Вернон, ныне леди Диане Вернон Бьючемп, бриллианты, принадлежавшие ее покойной тетке, и большой серебряный кубок с выгравированными на нем соединенными гербами Вернонов и Осбалдистонов.

Но небо судило многочисленному и цветущему потомству баронета более быструю гибель, чем мог ожидать несчастный отец. На первом же смотре войска заговорщиков в местечке Грин-Риг Торнклиф Осбалдистон поспорил о старшинстве с одним сквайром из Нортумберленда, таким же злобным и несговорчивым, как и сам. Не слушая никаких увещаний, они наглядно показали своему командиру, в какой мере он может положиться на их дисциплину: спор они разрешили дракой на рапирах, и мой двоюродный брат был убит на месте. Смерть его явилась тяжелой утратой для сэра Гилдебранда, потому что, при несносном характере, у Торнклифа было все же чуть побольше ума в голове, чем у прочих братьев, — за неизменным исключением Рэшли.

Пьяница Персиваль также нашел конец, отвечавший его наклонностям. Он пошел на пари с одним джентльменом (стяжавшим за свои подвиги по этой части прозвище Бездонной Бочки), кто из них двоих сможет больше выпить спиртного в радостный день, когда повстанцы провозгласят в Морпете королем Иакова Стюарта. Подвиг был грандиозен. Я забыл, сколько в точности поглотил водки Перси, но она вызвала у него горячку, и к исходу третьего дня он умер, непрестанно повторяя: «Воды, воды!»

Дикон сломал шею близ Уоррингтонского моста при попытке показать, как резво скачет охромевшая кобыла чистых кровей, которую он хотел сбыть одному манчестерскому купцу, примкнувшему к повстанцам. Он заставил кобылу перемахнуть пятиярдный барьер; она упала после прыжка, и несчастный наездник убился насмерть.

Дураку Уилфреду, как повелось, выпал наиболее счастливый жребий среди прочих братьев: он был убит на улицах Прауд-Престона в Ланкашире в день, когда генерал Карпентер штурмовал укрепления повстанцев. Сражался он очень храбро, хотя, как я слышал, никогда не мог ясно понять цель и причину восстания и не всегда помнил, за кого из двух королей

дерется. Джон тоже проявил в этом же сражении большую отвагу и получил несколько ран, но ему не посчастливилось умереть от них на месте.

На следующий день, когда мятежники сдались, старый сэр Гилдебранд, сокрушенный этими утратами, попал в число пленных и был переведен в Ньюгет вместе с раненым сыном.

В ту пору я уже освободился от военной службы и, не теряя времени, всячески старался облегчить судьбу своих родственников. Заслуги моего отца перед правительством и всеобщее сострадание к старому сэру Гилдебранду, в такой короткий срок потерявшему одного за другим четырех сыновей, избавили бы, верно, моего дядю и двоюродного брата от суда по обвинению в государственной измене, но судьба их была решена на более высоком судилище. Джон умер от ран в Ньюгете, завещав мне при последнем вздохе стаю соколов, оставленную им в замке, и свою любимую суку — черного спаниеля, по кличке Люси.

Мой бедный дядя, казалось, был придавлен до самой земли своими семейными несчастьями и бедственным положением, в котором неожиданно очутился сам. Он мало говорил, но, видимо, принимал с благодарностью те знаки внимания, какие обстоятельства позволяли мне оказывать ему. Я не был свидетелем его встречи с моим отцом — первой их встречи за столько лет и при таких прискорбных обстоятельствах, — но, судя по крайне угнетенному состоянию духа моего отца, она была до предела печальна. Сэр Гилдебранд с большим ожесточением говорил о Рэшли, теперь своем единственном сыне, ставил ему в вину гибель их дома и смерть всех его братьев и объявил, что ни сам он, ни пятеро его сыновей не ввязались бы в политическую интригу, если бы их не втянул в нее тот член их семьи, который первый же от них отступился. Два-три раза он упомянул о Диане, как всегда с неизменной нежностью, и однажды, когда я сидел у его постели, сказал: «Теперь, когда Торнклиф и все они умерли, мне жаль, племянник, что ты не можешь на ней жениться».

Эти слова тогда меня сильно поразили. У бедного старого баронета было некогда в обычае, когда он весело собирался утром на охоту, выделять своего любимца Торнклифа, остальных же называть более общо; но громкий, бодрый тон, каким сэр Гилдебранд восклицал бывало: «Зовите Торни — зовите их всех», — был так не похож на скорбный, надорванный голос, произнесший теперь безутешные слова, приведенные мною выше! Дядя разъяснил мне, что написано в завещании, и вручил заверенную копию с него; подлинник же, сказал он, хранится у моего старого знакомца, мистера Инглвуда: никому не внушая страха, пользуясь общим доверием как лицо в своем роде нейтральное, судья, насколько мне известно, держал на хранении добрую половину завещаний от всех пошедших на войну нортумберлендских сквайров, к какой бы партии они ни принадлежали.

Почти все свои последние часы мой дядя посвящал отправлению религиозного долга (как его понимает католическая церковь), наставляемый капелланом сардинского посольства, для которого мы не без труда получили разрешение навещать умирающего. Ни на основе собственных наблюдений, ни по отчетам пользовавших его врачей, я не могу сказать, чтобы сэр Гилдебранд Осбалдистон умер от какой-либо определенной болезни, имеющей свое название в медицине. Он, казалось мне, был крайне изнурен, сломлен телесной усталостью и душевной скорбью и скорее перестал существовать, нежели умер в прямой борьбе за жизнь. Так судно, разбитое и расшатанное многими шквалами и бурями, иногда без видимой причины — просто потому, что крепления ослабли и борта одряхлели, — даст неожиданно течь и пойдет ко дну.

Замечательно то обстоятельство, что мой отец, отдав брату последний долг, вдруг проникся желанием, чтобы я выполнил предсмертную волю покойного и стал представителем нашего рода, хотя до сих пор подобные предметы соблазняли его, казалось, меньше всего на свете. Но раньше он, как видно, следовал примеру лисицы из басни, презирая то, что было для него недостижимо; а кроме того, я не сомневаюсь, что злоба на Рэшли (ныне сэра Рэшли) Осбалдистона, открыто грозившего оспаривать завещание и волю сэра Гилдебранда, укрепила моего отца в намерении отстоять мои права. Он сам был несправедливо лишен наследства своим отцом, объяснил он; брат же его в своем завещании если и не возмещал ущерба, то все же восстанавливал справедливость, передавая остатки разоренных им владений Фрэнку,

законному наследнику. А потому он решил, что воля покойного будет исполнена.

Между тем Рэшли как противник представлял силу, с которой нельзя было не считаться. Свой донос правительству он сделал очень своевременно, и его искусство подлаживаться, его широкая осведомленность и умение выставить на вид свои заслуги и приобрести влияние доставили ему немало покровителей в министерстве. Мы уже давно возбудили против него процесс в связи с хищением в торговом доме «Осбалдистон и Трешем», и, судя по тому, как подвигалось у нас дело с этим сравнительно несложным иском, трудно было надеяться, что мы доживем до разрешения второго процесса.

Чтоб избежать, по возможности, всяких проволочек, отец, по совету своего ученого юрисконсульта, скупил и закрепил за мной значительную часть закладных на Осбалдистон-холл. Быть может, после пережитого недавно столкновения с подводными камнями коммерции его соблазняла возможность реализовать таким образом некоторую часть своего капитала и поместить в недвижимую собственность значительную долю своих огромных прибылей, увеличившихся вследствие быстрого роста фондовых ценностей после подавления мятежа. Как бы там ни было, но случилось так, что меня не засадили за конторку, как я того ждал, изъявив полную готовность подчиниться родительской воле, какова бы она ни была. Я получил от отца своего предписание отправиться в Осбалдистон-холл и вступить во владение замком в качестве наследника и представителя рода. Мне предписано было обратиться к сквайру Инглвуду за подлинным завещанием дяди, отданным ему на хранение, и принять все необходимые меры для своего утверждения в правах собственности, составляющих, как говорят ученые люди, «девять точек закона».

В другое время я был бы счастлив такой переменой в судьбе, но теперь для меня с Осбалдистон-холлом было связано много мучительных воспоминаний. Я полагал, однако, что только в тех краях мне удастся, может быть, что-либо разузнать об участи Дианы Вернон. У меня были все причины опасаться, что жизнь ее сложилась далеко не так, как я желал бы, но мне к тому времени не удалось получить о ней никаких точных сведений.

Тщетно старался я всеми видами услуг, какие допускало их положение, снискать доверие некоторых наших дальних родственников, находившихся среди заключенных в Ньюгетской тюрьме. Гордость, которую я не мог осудить, и естественная подозрительность в отношении к вигу Фрэнку Осбалдистону, двоюродному брату дважды презренного изменника Рэшли, замыкали предо мною все сердца и уста, и я получал только холодные и натянутые изъявления благодарности в ответ на те благодеяния, какие я был в силах оказать. К тому же рука закона постепенно сокращала число людей, которым мог я помочь, и оставшиеся в живых все более сторонились тех, в ком они видели приверженцев существующего правительства. По мере того как их поочередно, небольшими партиями, отправляли на казнь, еще сидевшие в заключении утрачивали интерес к людям и желание с кем-либо общаться. Никогда не забуду, как один из них, по имени Нед Шефтон, ответил мне на мой взволнованный вопрос, не могу ли я исхлопотать для него снисхождение:

— Мистер Фрэнк Осбалдистон, я должен думать, что вы искренне желаете мне добра, и потому я вас благодарю. Но, видит Бог, человек не может жиреть, точно каплун, когда он наблюдает, как его ближних каждый день отводят поодиночке на место казни, и знает, что и ему в свой черед накинут петлю на шею.

Поэтому я был, пожалуй, рад вырваться из Лондона, удалиться от Ньюгета — от сцен, которые я наблюдал в городе и в тюрьме, — и вдохнуть свежий воздух Нортумберленда. Эндрю Ферсервис по-прежнему оставался при мне слугой — больше по прихоти моего отца, чем по моему собственному желанию. А теперь мне думалось вдобавок, что его знакомство с замком и окрестностями могло оказаться полезным, так что он, разумеется, сопровождал меня в поездке, и я льстил себя надеждой избавиться от него, водворив на прежнее место. Не могу постичь, как ему удалось втереться в милость к моему отцу, — разве что искусством (им он владел в немалой степени) притворяться чрезвычайно преданным своему господину, причем эта мнимая преданность выражалась на деле в том, что он без зазрения совести пускался на всякие хитрости, заботясь лишь об одном: чтобы, кроме него, никто не смел обманывать его

господина.

Мы совершили наше путешествие к северу без особых приключений, и страну, еще недавно взволнованную мятежом, нашли успокоенной и в полном порядке. Чем ближе подвигались мы к Осбалдистон-холлу, тем больней сжималось мое сердце при мысли о вступлении в покинутый замок. И вот, чтоб оттянуть этот горький день, я решил сперва навестить мистера Инглвуда.

Почтенного джентльмена сильно смущали мысли о том, чем он был и чем он сделался ныне; и неотступные воспоминания прошлого очень мешали ревностному исполнению обязанностей, какого можно было ждать от него в его теперешнем положении. Кое в чем, однако, ему повезло: он избавился от своего секретаря Джобсона. Возмущенный нерадивостью судьи, ревнитель закона ушел в конце концов от своего принципала и поступил секретарем к некоему сквайру Стэндишу, который с недавнего времени начал развивать деятельность в тех краях в качестве мирового судьи, с таким пылом отстаивая интересы короля Георга и протестантизма, что, в отличие от прежнего начальника, он чаще подавал случай своему секретарю удерживать его ретивость в границах закона, нежели подстегивать ее.

Старый судья Инглвуд принял меня очень любезно и с готовностью развернул предо мною завещание дяди, в котором, казалось, не к чему было придраться. Поначалу он явно растерялся, не зная, как ему говорить и держаться со мной; но когда увидел, что я, сочувствуя в принципе существующему правительству, все же питаю сострадание к тем, кого ошибочное понимание лояльности и долга привело к мятежу, судья разговорился и стал очень занимательно рассказывать, как он действовал и как бездействовал — каких трудов ему стоило удержать некоторых сквайров от участия в восстании и не воспрепятствовать побегу других, имевших несчастие впутаться в это дело.

Свидание наше происходило с глазу на глаз, и много было выпито бокалов по усердным настояниям судьи, когда вдруг он предложил мне осушить полный кубок за здоровье Ди Вернон — за розу пустыни, нежный вереск Чевиота, цветок, пересаженный в адский мрак монастыря.

— Разве мисс Вернон не замужем? — воскликнул я в изумлении. — Я думал, его превосходительство…

— Та-та-та! Его превосходительство, его лордство! Это, вы знаете, пустые сен-жерменские титулы. Граф Бьючемп, полномочный посланник Франции! А принц-регент, герцог Орлеанский, смею сказать, знать не знает о его существовании! Но вы должны были встречать старого сэра Фредерика Вернона в замке, когда он подвизался в роли патера Вогана.

— Боже милостивый! Значит, Воган — отец мисс Вернон?

— Разумеется, — холодно сказал судья. — Теперь не к чему хранить секрет, коль скоро старик сейчас за пределами страны, иначе я, конечно, обязан был бы его арестовать! Итак, осушим кубок за мою дорогую, утраченную Ди!

Ее здоровье будем пить, вкруговую будем пить,
Ее здоровье вкруговую будем пить, пить, пить!
И хоть бы в шелковом чулке, хоть и в шелковом чулке,
Придется вам колено преклонить![note 98]

Я не мог, как читатель легко поймет, разделить веселье судьи. В голове у меня звенело от полученного удара.

— Я и не знал, — сказал я, — что у мисс Вернон жив отец.

— Если он и жив, то не по вине нашего правительства, — ответил Инглвуд, — потому что, черт возьми, не родился еще такой человек, чью голову оценили бы дороже. Он был

Note98

тот выразительный стишок встречается, кажется, в пьесе Шедуэла «Берийская ярмарка». (Прим. автора.)

приговорен к смертной казни еще за участие в заговоре Фенвика, и в царствование короля Вильгельма его считали одним из зачинщиков найтбриджского дела; а так как его жена была из рода Бредалбейнов, он пользовался влиянием среди вождей северных кланов Шотландии. Прошел было слух после Рисвикского мира, что правительство потребует его выдачи. Но он прикинулся больным, и во французских газетах было опубликовано сообщение о его смерти. Когда же он высадился здесь, на родном берегу, мы, старые кавалеры, отлично его узнали, — то есть я узнал его, хоть и не был кавалером, — но никто не сделал доноса на бедного джентльмена, а у меня самого от частых приступов подагры испортилась память, так что я, вы понимаете, не мог бы подтвердить под присягой, что это действительно он.

— Значит, и в Осбалдистон-холле не знали, кто он такой? — спросил я.

— Знали только его дочь, старый баронет и Рэшли, который проник в эту тайну, как он проникает во все другие, и пользовался ею, как веревкой на шее бедной Ди. Я сам сотни раз был свидетелем, как она готова была плюнуть ему в лицо, но не смела из страха за отца, который должен был бы ждать гибели с минуты на минуту, если бы о нем донесли властям. Однако не поймите меня ложно, мистер Осбалдистон: наше правительство, говорю я, доброе, милостивое и справедливое, а если у нас и повесили десяток-другой мятежников, так всякий согласится, что никто их, несчастных, не трогал бы, если б они сидели смирно дома.

Уклонившись от обсуждения политических вопросов, я вернул мистера Инглвуда к первоначальному предмету разговора и узнал, что Диана в свое время наотрез отказалась выйти замуж за кого-либо из семьи Осбалдистонов, а Рэшли выразила прямое отвращение; и тогда Рэшли охладел к делу претендента, в котором до тех пор, как младший из шести братьев, отважный, ловкий, способный, он видел средство сделать свою карьеру. Возможно, что давление со стороны сэра Фредерика Вернона и шотландских вождей, когда те соединенными усилиями заставили его вернуть ценности, похищенные им в конторе моего отца, окончательно привело его к решению достичь успеха в жизни, изменив своему знамени и предав прежних своих единомышленников. А может быть, также, — ибо мало кто мог лучше самого Рэшли судить о деле, где затронуты личные его интересы, — может быть, он пришел к мысли, что силы и таланты якобитов (как оно потом и оказалось) были недостаточны для сложной задачи свержения утвердившегося правительства. Сэру Фредерику Вернону, или, как его называли среди якобитов, «его превосходительству виконту Бьючемпу», и его дочери после доноса Рэшли с трудом удалось бежать. Здесь сведения мистера Инглвуда не отвечали истине; но поскольку не слышно было об аресте сэра Фредерика, судья не сомневался, что виконт находился в ту пору за рубежом, где, согласно его жестокому договору с зятем, Диане — раз она отказалась остановить свой выбор на ком-либо из Осбалдистонов — предстояло уйти в монастырь.

Первоначальную причину этого странного соглашения мистер Инглвуд не мог точно разъяснить; но, как он понимал, это был семейный договор, заключенный с целью обеспечить сэру Фредерику доходы с остатков его обширных владений, закрепленных за семьей Осбалдистонов в силу какой-либо юридической уловки; словом, семейный договор, который, как это часто бывало в те дни, распоряжался людьми, как прикрепленным к земле живым инвентарем, нисколько не сообразуясь с их чувствами.

Не могу сказать — так прихотлива природа сердца человеческого, — что испытал я при этом известии: радость или печаль. Мне казалось, сообщение о том, что мисс Вернон не разлучена со мною навек браком с другим, но заперта в монастырь во имя исполнения какого-то бессмысленного контракта, не уменьшило, а, наоборот, усилило боль моей утраты. Эта мысль меня угнетала, я сделался вялым, рассеянным, и мне не под силу стало поддерживать разговор с судьей Инглвудом, который, в свою очередь, начал позевывать и рано предложил мне пойти почивать. Я с вечера попрощался с ним, решив выехать на заре, до завтрака, в Осбалдистон-холл.

Мистер Инглвуд одобрил мое намерение. Будет разумно, сказал он, явиться туда прежде, чем станет известно о моем приезде в здешние края, — тем более что сэр Рэшли Осбалдистон гостил в это время, как сообщили судье, в доме мистера Джобсона, строя, несомненно,

какие-нибудь козни.

— Они под стать друг другу, — добавил он, — потому что сэр Рэшли потерял всякое право вращаться в обществе людей чести; а вряд ли два таких отъявленных негодяя могут сойтись вдвоем и не строить козней порядочным людям.

В заключение он заставил выпить меня на дорогу стакан водки и приналечь на паштет из дичи, «чтобы перешибить вредное действие болотной сырости».

ГЛАВА XXXVIII

Хозяин умер, Айвор пуст,
Везде покой постылый;
Псы, кони, люди — все мертвы,
Лишь он не взят могилой.
Вордсворт

Вряд ли возможно чувство более грустное, чем то, с каким глядели мы на места былых утех, изменившиеся и пустынные. Дорогой к Осбалдистон-холлу я проезжал мимо трех предметов, на которые смотрел вместе с Дианой Вернон в памятный день нашего возвращения из Инглвуд-плейса. Казалось, образ Дианы сопровождал меня в пути, а когда я приближался к месту, где впервые увидел ее, то невольно начинал прислушиваться к лаю собак, к воображаемому звуку рога и напряженно всматривался вдаль, словно ждал, что вот-вот по откосу холма прелестным видением пронесется охотница. Но все безмолвно было кругом и нелюдимо. Когда я достиг замка, запертые двери и окна, поросший травою въезд, притихшие дворы — все являло полную противоположность тем живым и шумным сценам, какие так часто я здесь наблюдал, когда веселые охотники собирались на утреннюю потеху или возвращались к ежедневному пиршеству. Радостный лай спускаемых со своры гончих, окрик егерей, цоканье копыт, громкий смех старого баронета во главе его крепкого и многочисленного потомства — все смолкло теперь, и смолкло навек.

Я глядел на эту картину одиночества и запустения, и невыразимо горько было мне воспоминание даже о тех, о ком при их жизни мне не приходилось думать с любовью. Мысль, что столько молодцов, статных, здоровых, полных жизни и надежд, в такой короткий срок сошли в могилу, погибнув каждый различной, но все нежданной и неестественной смертью,

— эта мысль вызывала такое явственное представление о тленности, что содрогалась душа. Слабым утешением служило мне то, что я возвращался владельцем в те покои, которые покинул почти как беглец. Глядя вокруг, я не мог освоиться с сознанием, что это все — моя собственность; я чувствовал себя узурпатором или по меньшей мере незваным гостем и с трудом отгонял навязчивую мысль, что мощная фигура одного из моих покойных родичей исполинским призраком, точно в романе, встанет сейчас в дверях и преградит мне дорогу. Пока я предавался этим грустным думам, мой спутник Эндрю, охваченный чувствами совсем иного рода, усердно колотил по очереди в каждую дверь здания, требуя, чтобы его впустили, — и так зычно, словно хотел показать, что уж он-то в полной мере сознает свое недавно приобретенное достоинство личного слуги при особе нового владельца. Наконец опасливо и неохотно Энтони Сиддол, престарелый дворецкий и мажордом моего покойного дяди, выглянул из-за решетки одного из окон нижнего этажа и спросил, что нам надобно.

— Мы пришли сместить вас с должности, приятель, — сказал Эндрю Ферсервис. — Можете хоть сейчас сдать ключи — каждой собаке свой день. Я приму от вас столовое белье и серебро; вы пользовались кое-чем в свое время, мистер Сиддол; но нет боба без пятнышка и нет дорожки без лужи; придется вам теперь посидеть на нижнем конце стола, где столько лет просидел Эндрю.

С трудом угомонив своего ретивого приверженца, я разъяснил Сиддолу сущность своих прав, на основании которых я и требую, сказал я, доступа в замок, как его законный владелец. Старик казался сильно взволнованным и сокрушенным и явно не желал меня впускать, хоть и говорил в покорном, приниженном тоне. Я не рассердился на это естественное волнение —

оно только делало честь старику, — но повелительно настаивал, чтобы меня впустили: отказ, объяснил я, вынудит меня прийти вторично с ордером мистера Инглвуда и с констеблем.

— Мы выехали утром прямо от судьи Инглвуда, — подхватил Эндрю в подкрепление угрозы, — и я мимоездом видел констебля Арчи Рутледжа. Прошли времена, мистер Сиддол, когда в стране нельзя было найти управу и когда бунтовщикам и католикам было здесь раздолье.

Угроза призвать власти устрашила дворецкого: он знал, что состоит под подозрением, как католик и приверженец сэра Гилдебранда и его сыновей. Дрожа от страха, отворил он одну из боковых дверей, защищенную множеством засовов и задвижек, и смиренно выразил надежду, что я не поставлю ему в вину честное исполнение долга. Я успокоил старика и сказал, что его осторожность только возвысила его в моем мнении.

— Но не в моем, — сказал Эндрю. — Сиддол — старый пройдоха: не выглядел бы он белым, как холстинка, и коленки у него не стучали б одна о другую, не будь у него на то особой причины.

— Господь вас простит, мистер Ферсервис, — ответил дворецкий, — что вы возводите напраслину на старого друга и своего же брата слугу! А где, — добавил он, покорно следуя за мной по коридору, — где ваша честь прикажет развести огонь? Боюсь, что дом покажется вам унылым и неуютным… Впрочем, вы, вероятно, приглашены обедать в Инглвуд-плейс?

— Затопите в библиотеке, — отвечал я.

— В библиотеке? — повторил старик. — Там давненько никто не сиживал, и камин там дымит: весною галки забрались в трубу, а в замке не осталось молодых слуг, так что некому было вытащить гнездо.

— Дым в своем доме лучше огня в чужом, — сказал Эндрю. — Мой хозяин любит библиотеку. Он вам не какой-нибудь папист, погрязший в слепом невежестве, мистер Сиддол.

Крайне неохотно, как мне показалось, дворецкий повел меня в библиотеку. Но, в опровержение его слов, комната приобрела более уютный вид, чем раньше, — здесь, казалось, недавно убирали. В камине ярким пламенем горел огонь — наперекор уверению Сиддола о неисправности дымохода. Схватив щипцы, как будто желая помешать в топке, но на деле, верно, чтобы скрыть смущение, дворецкий заметил, что «сейчас горит хорошо, а утром дымило вовсю».

Мне хотелось побыть одному, пока я не оправлюсь от первого мучительного чувства, которое пробуждало во мне все вокруг, и я попросил старого Сиддола сходить за управляющим, жившим в четверти мили от замка. Он отправился с явной неохотой. Затем я приказал Ферсервису подобрать мне в слуги двух-трех крепких молодцов, на которых можно положиться, потому что мы были окружены католическим населением и сэр Рэшли, способный на любое отчаянное предприятие, находился в тех же краях. Эндрю Ферсервис весело взялся исполнить возложенную на него задачу и обещал привести из Тринлей-ноуза двух истых и верных пресвитериан — таких, как он сам, которые не побоятся ни папы, ни черта, ни претендента; он и сам будет рад их обществу, потому что в последнюю ночь, которую он провел в Осбалдистон-холле, пусть тля поест все цветы в саду, если он, Ферсервис, не видел эту самую картину (он указал на портрет деда мисс Вернон), как она разгуливала по саду при свете месяца!

— Я говорил тогда вашей чести, что мне в ту ночь явился призрак, но вы не стали слушать. Я всегда думал, что паписты насылают колдовство и сатанинское наваждение, но я никогда не видывал таких вещей своими глазами до той ужасной ночи.

— Ступайте, сэр, — сказал я, — и приведите ваших молодцов, да смотрите, чтоб они были поумнее вас и не пугались собственной тени.

— Я порядочный человек и в нашем околотке не на последнем счету, — заворчал Эндрю, — но хвастать не стану: со злым духом встречаться не хочу.

Он вышел. И только затворилась за ним дверь, как явился Уордло, управляющий имением.

Это был честный и разумный человек; если бы не его заботы и старания, трудно было бы

моему дяде до конца удерживать замок в своих руках. Он внимательно рассмотрел мои права на владение и полностью признал их. Для всякого другого наследство было бы незавидным — так было оно обременено долгами и закладами; но большая часть закладных была уже в руках моего отца, и он неотступно скупал и остальные: его большие прибыли от недавнего повышения фондовых ценностей позволили ему без труда оплатить долги, обременявшие родовое имение.

Я уладил с мистером Уордло самые насущные дела и пригласил его пообедать со мною. Обед мы попросили подать нам в библиотеку, хотя Сиддол усиленно советовал перейти в Каменный зал, где он нарочно для этого случая навел порядок. Между тем явился и Эндрю со своими верными рекрутами, которых он торжественно отрекомендовал как «трезвых, порядочных людей, стойких в правилах веры, а главное — храбрых, как львы». Я приказал подать им водки, и они вышли из комнаты. Я заметил, как старый Сиддол покачал головой, когда они удалились, и настоял, чтоб он открыл мне, в чем дело: что его смущает?

— Я, может быть, не вправе ждать, — начал он, — что вы, ваша честь, отнесетесь с доверием к моим словам, а все-таки это святая правда: Эмброз Уингфилд — честнейший человек на свете, однако, если есть в нашем краю двуличный плут, так это его брат Лэнси, — вся округа знает, что он шпионил для клерка Джобсона за несчастными джентльменами, попавшими в беду. Но он диссидент, а в наши дни, как я понимаю, больше ничего и не спрашивается.

Отведя душу этими словами, на которые я не счел нужным обратить внимание, и поставив на стол вино, дворецкий вышел из комнаты.

Мистер Уордло, посидев со мною до сумерек, собрал наконец свои бумаги и отправился к себе домой, оставив меня в том смятенном состоянии духа, когда мы сами затруднились бы сказать, хотим ли мы общества или одиночества. У меня, впрочем, не оставалось выбора: я был один в комнате, которая скорее всякой другой могла настроить меня на грустные размышления.

Когда сумерки сгустились, проницательный Эндрю надумал просунуть голову в дверь — не затем, чтобы справиться, нужен ли мне свет, но чтобы посоветовать мне осветить библиотеку — в защиту от призраков, неотступно тревоживших его воображение. Я раздраженно отверг его совет, помешал дрова в камине и, устроившись в одном из тяжелых кожаных кресел, стоявших с двух боков у старинного готического камина, безотчетно наблюдал за полыханием огня.

«Так растут, — сказал я про себя, — и так умирают человеческие желания! Вскормленные мельчайшими пустяками, они разжигаются затем воображением — нет, питаются дымом надежды! — пока не пожрут того, что сами воспламенили; и от человека с его надеждами, страстями и мечтаниями остается лишь ничтожная кучка золы и пепла!»

Точно в ответ на эти думы, с другого конца комнаты донесся глубокий вздох. Я вскочил изумленный: Диана Вернон стояла предо мною, опираясь на руку человека, до того похожего на портрет, не раз упомянутый здесь, что я поспешил взглянуть на раму, словно ожидая увидеть ее пустой. При первом взгляде я подумал было, что вдруг сошел с ума или что духи умерших и впрямь восстали из тьмы и явились меня смущать. Но второй взгляд убедил меня, что я в здравом уме и стоящие предо мною фигуры вполне реальны и вещественны. То была сама Диана, хотя побледневшая и осунувшаяся; и не выходец с того света стоял подле нее, а Воган, вернее — сэр Фредерик Вернон, одетый в точности как его предок, с чьим портретом его лицо имело семейное сходство. Он заговорил первый, потому что Диана стояла потупив глаза, а у меня от волнения буквально прилип язык к гортани.

— Мы приходим к вам просителями, мистер Осбалдистон, — сказал он, — мы просим о пристанище и о защите под вашим кровом до той поры, когда сможем продолжать путь, на котором тюрьма и смерть стерегут меня на каждом шагу.

— Конечно, — выговорил я с большим трудом, — мисс Вернон не может предполагать… вы, сэр, не можете думать, что я забыл, как участливо вы отнеслись ко мне в трудную минуту, или что я способен предать кого бы то ни было, а тем более вас.

— Знаю, — сказал сэр Фредерик, — но я крайне неохотно обременяю вас доверием, быть может нежелательным и, несомненно, опасным. Я, право, предпочел бы затруднить этим кого угодно, только не вас. Но судьба, которая издавна меня преследовала и обрекала на жизнь изгнанника и беглеца, полную превратностей, жестоко преследует меня и сейчас, и у меня нет выбора.

В это мгновение отворилась дверь и послышался голос услужливого Эндрю:

— Я принес свечи, можете зажечь, если вам будет угодно. Невелика премудрость, как-нибудь управитесь.

Я бросился к двери и достиг ее, как надеялся, вовремя, чтобы не дать Эндрю разглядеть, кто был со мною в комнате. Сгоряча я с силой вытолкнул его, захлопнул за ним дверь и повернул ключ в замке; но тотчас же мне пришли на память два его товарища, ждавшие внизу; и, зная болтливость своего слуги и вспомнив замечание Сиддола, что в одном из молодцов подозревают шпиона, я со всех ног бросился вслед за слугой в людскую, где застал их всех троих. Отворяя дверь, я слышал громкий голос Эндрю, но при моем неожиданном появлении говоривший сразу умолк.

— Что с вами, дуралей вы этакий? — сказал я. — У вас такое испуганное лицо, точно вы увидели привидение.

— Н… ни… ничего, — сказал Эндрю, — только уж больно ваша честь погорячились.

— Потому что вы разбудили меня сдуру, когда я крепко спал. Сиддол сказал мне, что не может сегодня достать постели для ваших двух молодцов, и мистер Уордло полагает, что ничего особенного не случится и не стоит задерживать их на ночь. Вот им крона, пусть выпьют за мое здоровье: спасибо им, что согласились прийти. Нечего мешкать, уходите из замка теперь же, ребята.

Молодцы поблагодарили меня за щедрость, взяли деньги и ушли, видимо, довольные и ничего не заподозрив. Я смотрел им вслед, пока не удостоверился, что в эту ночь им больше не придется судачить с честным Эндрю. А я так быстро кинулся за ним по пятам, что у него, я думал, не было времени сказать им и двух слов до того, как я его перебил. Но, право, сколько бед могут натворить всего два слова! В этом случае они стоили двух жизней.

Приняв такие меры (лучшее, что мне пришло на ум в горячую минуту), я вернулся рассказать своим гостям, что сделано мною в ограждение их безопасности, и добавил, что я приказал Сиддолу самому выходить на стук в ворота: я понимал, что мои гости укрылись в замке не иначе, как при содействии старого дворецкого. Диана взглядом поблагодарила меня за хлопоты.

— Теперь вы разгадали все загадки, — сказала она. — Вы, разумеется, знаете, каким дорогим и близким родственником приходится мне тот, кто так часто находил здесь убежище, и не будете удивляться, что Рэшли, проникнув в эту тайну, держал меня как в железных тисках.

Ее отец добавил, что они не намерены долго докучать мне своим присутствием и уедут при первой возможности.

Я просил беглецов отбросить все побочные соображения и думать только о собственной безопасности, положившись на мою готовность всячески им помочь. Им, конечно, пришлось разъяснить мне, в каких они находились обстоятельствах.

— Рэшли Осбалдистон был мне всегда подозрителен, — сказал сэр Фредерик, — а его поведение с моей беззащитной дочерью, о котором я с трудом принудил ее рассказать мне, и его предательский поступок с вашим отцом научили меня ненавидеть и презирать его. При нашем последнем свидании я не скрыл от него своих чувств, хотя благоразумие требовало другого. Обиженный моим презрительным обращением, Рэшли прибавил к списку своих злодеяний измену и отступничество. В то время я еще питал надежду, что его предательство не повлечет за собой больших последствий: граф Мар располагал в Шотландии доблестной армией, лорд Дервентуотер с Форстером, Кенмуром, Уинтертоном и другими стягивали силы к границе. Ввиду моих обширных связей среди английской знати и дворянства было решено прикомандировать меня к отряду горцев, который под предводительством бригадира

Мак-Интоша из Борлума переправился через Форт у самого устья, пересек равнину Нижней Шотландии и присоединился у границы к английским повстанцам. Дочь делила со мною труды и опасности этого похода, такого долгого и утомительного.

— И она никогда не оставит своего дорогого отца! — воскликнула мисс Вернон, нежно приникнув к его плечу.

— Попав в среду наших английских друзей, я сразу понял, что дело проиграно. Наша численность не росла, а убывала, и к нам никто не присоединился, кроме немногих единомышленников. Тори Высокой церкви пребывали в нерешительности, и в конце концов мы были окружены превосходными силами противника в небольшом городке Престоне. В течение суток мы доблестно отбивались. На следующий день вожди наши пали духом и решили сдаться на милость победителя. Для меня сдаться на таких условиях означало положить голову на плаху. Двадцать или тридцать джентльменов держались одного мнения со мною. Мы сели на коней и в центре нашего маленького эскадрона поместили мою дочь, пожелавшую разделить мою участь. Мои товарищи, пораженные ее мужеством и дочерней преданностью, заявили, что скорей умрут, чем покинут ее. Мы ехали всем отрядом по улице Фишергет, которая вывела нас к заболоченному полю, или лугу, что тянется вплоть до реки Рибл, где один из наших обещал показать нам удобный брод. На болоте неприятель не держал больших сил, так что мы отделались стычкой с патрулем хонейвудских драгун, которых обратили в бегство и порубили. Мы переправились через реку, выбрались к большой дороге на Ливерпуль и потом рассеялись, чтоб искать убежища в различных местах. Меня судьба привела в Уэльс, где многие дворяне разделяют мои религиозные и политические убеждения. Однако мне не представилось надежного случая для побега морем, и я вынужден был отправиться снова на север. Один мой испытанный друг назначил мне встречу в этих краях и должен проводить меня в гавань на Солуэе, откуда заранее приготовленная шхуна увезет меня навсегда из родной страны. Так как Осбалдистон-холл теперь необитаем и отдан под присмотр старику Сиддолу, — а он и раньше был здесь нашим доверенным лицом, — мы отправились в замок, как в известное нам надежное убежище. Я переоделся в костюм, которым не раз успешно пользовался, отпугивая суеверных крестьян и слуг всякий раз, когда им доводилось случайно увидеть меня; и мы с минуты на минуту ждали, что Сиддол сообщит о прибытии нашего друга-проводника, когда неожиданно сюда явились вы и, поселившись в этой комнате, не оставили нам другого выбора, как прибегнуть к вашему великодушию.

Так закончил сэр Фредерик свою повесть, которую я слушал как во сне, с трудом заставляя себя верить, что опять вижу перед собой его дочь во плоти и крови, хотя ее красота несколько поблекла и душа была угнетена. Кипучая энергия, с которой мисс Вернон преодолевала все невзгоды, теперь перешла в спокойную и покорную, но бесстрашную решимость и стойкость. Ее отец, хотя следил ревниво и настороженно за впечатлением, какое на меня производили его похвалы Диане, не мог воздержаться от них.

— Она выдержала испытания, — сказал он, — какие могли бы сделать честь мученице: она глядела в лицо опасностям и смерти в любом облике, несла труды и лишения, перед которыми отступили бы мужчины самого крепкого склада, проводила день в темноте, а ночь без сна, — и ни разу мы не слышали от нее малодушного ропота или жалобы. Словом, мистер Осбалдистон, — заключил он, — она достойное приношение Богу, которому (он перекрестился) я отдам ее — последнее, что осталось дорогого и ценного у Фредерика Вернона!

После этих слов воцарилось молчание, и печальный их смысл был ясен для меня: отец Дианы и теперь, как при нашей короткой встрече в Шотландии, стремился разрушить мои надежды на соединение с нею.

— Не будем больше отнимать время у мистера Осбалдистона, — сказал он дочери, — раз мы уже познакомили его с положением несчастных гостей, прибегших к его покровительству.

Я попросил их остаться и сказал, что сам могу перейти в другую комнату. Сэр Фредерик возразил, что это только возбудит подозрения у моего слуги и что их потайное убежище

удобно во всех отношениях, так как Сиддол доставил им туда все, что может им понадобиться.

— Мы, пожалуй, могли с успехом, — добавил он, — оставаться там, не замеченные вами, но мы были бы несправедливы к вам, если бы отказались всецело положиться на вашу честь.

— И вы не обманетесь во мне, — сказал я. — Вы, сэр Фредерик, мало меня знаете, но мисс Вернон, я уверен, засвидетельствует вам…

— Мне не нужно свидетельства моей дочери, — сказал он вежливо, но таким тоном, точно хотел предварить мое обращение к Диане. — О мистере Фрэнсисе Осбалдистоне я готов верить всему хорошему. Разрешите нам теперь удалиться; мы должны воспользоваться отдыхом, пока есть к тому возможность, так как неизвестно, когда нас призовут продолжать наш опасный путь.

Он взял дочь под руку и, отвесив глубокий поклон, скрылся с ней за портьерой.

ГЛАВА XXXIX

Вот раздвигает занавес судьба
И освещает сцену.
«Дон Себастьян»

Мертвенный холод сковал меня, когда они удалились. В разлуке воображение, задерживаясь на предмете любви, рисует его не только в прекраснейшем свете, но именно таким, каким нам наиболее желательно видеть его. Я все время представлял себе Диану, какой она была, когда ее прощальная слеза упала на мою щеку, когда ее прощальный дар, переданный женою Мак-Грегора, возвестил мне, что она желает унести в изгнание и в монастырский плен память о моей любви. Я ее увидел; и ее холодное, безразличное обращение, ничего не выражавшее, кроме спокойной печали, разочаровало меня, даже несколько оскорбило. В своем себялюбии я ставил ей в вину равнодушие, бесчувствие. Я укорял ее отца в гордости, жестокости, фанатизме, забывая, что оба они жертвовали своими личными привязанностями, — а Диана и склонностью сердца, — во имя того, что считали долгом.

Сэр Фредерик Вернон был строгим католиком, убежденным, что по узкой тропе спасения не может пройти еретик; а Диана, для которой забота об отце долгие годы была главной движущей пружиной всех ее помыслов, надежд и поступков, полагала, что она исполняет свой долг, когда, подчинившись воле отца, поступается не только земными богатствами, но и самыми дорогими привязанностями. Нет ничего удивительного, что я не мог в подобную минуту в полной мере оценить эти высокие побуждения, но все-таки я не искал каких-либо неблагородных путей, чтобы дать исход угрюмой тоске.

— Итак, мною пренебрегли, — сказал я, когда, оставшись один, задумался над сообщениями сэра Фредерика. — Мною пренебрегли, меня считают недостойным даже короткой беседы с нею. Пусть так. Но мне не помешают, по крайней мере, позаботиться о ее безопасности. Я останусь здесь, буду стоять на страже, и пока она под моим кровом, ее не коснется опасность, какую может предотвратить рука решительного человека.

Я вызвал Сиддола в библиотеку. Он пришел, но в сопровождении неотвязного Эндрю, который, возмечтав о великих почестях в связи с моим вступлением во владение замком и землями, не упускал ни одной возможности выставлять себя на вид; и, как это случается нередко с людьми, когда они преследуют себялюбивые цели, он перестарался, и услужливость его стала назойливой и стеснительной.

Его непрошеное присутствие мешало мне свободно говорить с Сиддолом, а услать его я не решался, боясь усилить подозрения, которые могли у него зародиться, когда я выставил его за дверь.

— Я переночую здесь, сэр, — сказал я, приказав им подкатить поближе к огню старомодное дневное ложе, или сэтти. — У меня много работы, и я лягу поздно.

Сиддол, очевидно, понявший мой взгляд, предложил принести мне тюфяк и постельные принадлежности. Я принял его предложение, отпустил своего ментора, зажег две свечи и попросил не беспокоить меня до семи часов утра.

Слуги удалились, оставив меня предаваться наедине безрадостным и бессвязным мыслям, пока измученное тело не потребует отдыха.

Я старался не думать о тех необычайных обстоятельствах, в какие поставила меня судьба. Чувства, которые я храбро побеждал, покуда вызывавший их предмет был от меня удален, разбушевались теперь, как только я очутился в непосредственной близости к той, с кем должен был так скоро разлучиться навек. Какую бы ни брал я книгу, имя Дианы написано было на каждой странице; и образ ее упорно вставал предо мною, чем бы ни пытался я занять свои думы. Он был подобен услужливой рабыне Соломона в поэме Прайора.

Чуть кликну Абру — прилетит стрелой,
Зову других — все Абра предо мной.

Я попеременно давал волю этим мыслям и боролся с ними, то поддаваясь нежной сердечной печали, едва ли мне свойственной, то вооружаясь уязвленной гордостью человека, возомнившего себя незаслуженно отвергнутым.

Я шагал взад и вперед по библиотеке, пока не довел себя до лихорадочного возбуждения. Потом я бросился на кушетку и попытался уснуть; но напрасно прилагал я все усилия, чтоб успокоиться, напрасно лежал, не шевеля ни пальцем, ни единым мускулом, неподвижно, как труп, напрасно пробовал прогнать тревожные мысли, занимая ум повторением стихов или арифметическими выкладками. Кровь, при моем лихорадочном возбуждении, билась пульсом, похожим на глухой и мерный стук далекой сукновальни, и разливалась по жилам потоками жидкого огня.

Наконец я поднялся, растворил окно и стоял некоторое время при ясном свете месяца; это отчасти меня освежило, а светлый и мирный вид за окном несколько рассеял мои думы, не желавшие подчиниться воле. Я снова лег на кушетку, и хоть на сердце у меня — видит небо! — было нисколько не легче, но оно стало более твердым, более готовым к испытаниям. Вскоре подкралась ко мне дремота, однако, хотя чувства спали, душа моя бодрствовала, мучимая мыслями о моем положении, и сны мне снились о душевных терзаниях и об ужасах внешнего мира.

Помню, в томительной тоске я представлял себе, что мы с Дианой во власти жены Мак-Грегора и нас низвергнут сейчас с утеса в озеро; сигналом послужит выстрел из пушки, которую должен запалить сэр Фредерик Вернон, управляющий церемонией в одежде кардинала. Необычайно жизненно было впечатление, полученное мною от этой воображаемой сцены. Я и сейчас мог бы изобразить безмолвную и храбрую покорность, запечатленную в чертах Дианы, дикие, искаженные лица палачей, которые окружили нас, кривляясь и дразня, причем гримасы непрестанно менялись и каждая новая казалась мерзостней предыдущей. Я видел горевшее суровым, непреклонным фанатизмом лицо отца Дианы, видел, как его рука поднимает роковой пальник… Раздался сигнальный выстрел; опять, и опять, и опять повторяет его раскатами грома эхо окрестных скал; я просыпаюсь — и от мнимых ужасов возвращаюсь к тревогам действительности.

Звуки во сне были не мнимые — когда я проснулся, они еще наполняли гулом мои уши; но только через две или три минуты я окончательно пришел в себя и ясно понял, что это настойчивый стук в ворота. В сильной тревоге я вскочил с постели, схватил лежавшую под рукою шпагу и кинулся вниз, решив никого не впускать. Но мне волей-неволей пришлось кружить, потому что библиотека выходила не во двор, а в сад. Выбравшись наконец на лестницу, откуда окна глядели на главный двор, я услышал слабый, испуганный голос Сиддола в пререкании с грубыми чужими голосами: кто-то толковал об ордере от судьи Стэндиша, именем короля требовал доступа в замок и угрожал старому слуге тягчайшей карой закона, если он откажет в немедленном повиновении. Споривши еще не замолкли, когда, к

невыразимой своей досаде, я услышал голос Эндрю, предлагавшего Сиддолу отойти в сторону — он-де сам отворит ворота.

— Если они требуют именем короля Георга, нам нечего опасаться: мы отдавали за него нашу кровь и наше золото. Нам незачем скрываться, как некоторым другим, мистер Сиддол; мы, как вы знаете, не паписты и не якобиты.

Напрасно ускорял я свой бег вниз по лестнице: я слышал, как засовы один за другим отодвигались под рукой услужливого дурака, причем он, не умолкая, похвалялся своею собственной и своего хозяина преданностью королю Георгу. Я быстро высчитал, что непрошеные гости войдут прежде, чем я успею добежать до ворот и водворить на место засовы. Решив познакомить спину Эндрю Ферсервиса с дубинкой, как только у меня будет время расплатиться с ним по заслугам, я побежал назад в библиотеку, захлопнул дверь, нагромоздил перед нею все, что мог, кинулся к другой двери, через которую входили ко мне Диана и ее отец, и попросил немедленно меня впустить. Дверь отворила мне сама Диана. Она была совсем одета и не выказала ни замешательства, ни страха.

— Мы так свыклись с опасностью, — сказала она, — что всегда готовы встретить ее. Отец уже встал, он в комнате Рэшли. Мы переберемся в сад и оттуда задней калиткой (Сиддол на случай нужды дал мне ключ от нее) прямо в лес, — я знаю в нем каждый овражек, как никто на свете. Задержите их как-нибудь на несколько минут. И… дорогой, дорогой Фрэнк, еще раз — прощай!

Она исчезла, как метеор, спеша к отцу, и, когда я вновь вернулся в библиотеку, незваные гости уже ломились в дверь.

— А, разбойники… собаки! — крикнул я, нарочно толкуя вкривь цель их вторжения. — Если вы сейчас же не уберетесь из моего дома, я буду стрелять через дверь из бландербаса.

— Стреляйте из палки, из погремушки! — сказал Эндрю Ферсервис. — Это мистер Джобсон, судейский секретарь, он с законным ордером…

— … разыскать, схватить и взять под арест, — сказал голос омерзительного крючкотвора, — лиц, указанных в вышеназванном ордере и обвиняемых в государственной измене по уложению короля Вильгельма, глава третья, параграф тринадцатый!

Натиск на дверь возобновился.

— Сейчас встану, джентльмены, — сказал я, желая выгадать как можно больше времени. — Не прибегайте к насилию и разрешите мне посмотреть на ваш ордер: если он законный и составлен по всей форме, я не буду сопротивляться.

— Боже, храни великого Георга, нашего короля! — провозгласил Эндрю. — Я говорил вам, что вы не найдете здесь никаких якобитов.

После всяческих проволочек я был наконец вынужден открыть дверь, так как иначе ее взломали бы.

Вошел мистер Джобсон с несколькими помощниками, среди которых на первом месте держался младший Уингфилд, которому, несомненно, тот и был обязан своими сведениями, и предъявил свой ордер, направленный не только против Фредерика Вернона, осужденного изменника, но также против Дианы Вернон, девицы, и Фрэнсиса Осбалдистона, джентльмена, обвиняемого в «недонесении об измене». Случай был из тех, когда сопротивляться было бы безумием; поэтому, выговорив отсрочку в несколько минут, я изъявил готовность отдаться в руки властей.

С болью в сердце увидел я затем, как Джобсон направился прямо в комнату мисс Вернон, и понял, что оттуда он без колебания и задержки прошел в помещение, где спал сэр Фредерик.

— Заяц улизнул, — сказал этот мерзавец, — но след еще не простыл — ищейки схватят его за задние ноги.

Донесшийся из сада стон возвестил, что его предсказание оправдалось. Через пять минут в библиотеку вошел Рэшли с двумя пленниками — сэром Фредериком Верноном и его дочерью.

— Лисица, — сказал он, — вспомнила свою старую нору, но не подумала, что

предусмотрительный ловец может ее заложить. Я не забыл садовую калитку, сэр Фредерик, или — если этот титул больше вам по вкусу — благороднейший лорд Бьючемп.

— Рэшли, — сказал сэр Фредерик, — ты гнусный негодяй!

— Я больше заслуживал этого названия, сэр баронет — или милорд, — когда под руководством опытного наставника стремился разжечь гражданскую войну в сердце мирной страны. Но я сделал все, что было в моих силах, — сказал он, возведя глаза к потолку, — во искупление моих ошибок.

Больше я не мог сдерживаться. Я хотел молча наблюдать их встречу, но тут почувствовал, что должен заговорить или умереть.

— Если есть в преисподней рожа, — проговорил я, — отвратительней всех других, то это рожа подлости под маской благородства.

— А-а! Мой любезный кузен! — сказал Рэшли, подойдя ко мне со свечой и оглядывая меня с головы до ног. — Добро пожаловать в Осбалдистон-холл! Извиняю вашу желчную злобу — тяжело в одну ночь потерять родовое поместье и любовницу: ибо мы пришли вступить во владение этим бедным домом от имени законного наследника, сэра Рэшли Осбалдистона.

От меня не укрылось, что, бравируя таким образом, Рэшли с трудом подавлял чувства злобы и стыда. Но состояние его духа обнаружилось явственней, когда к нему обратилась Диана Вернон.

— Рэшли, — сказала она, — мне вас жаль, потому что как ни велико то зло, которое вы пытались причинить мне, и зло, причиненное вами на деле, я не могу ненавидеть вас так сильно, как я вас презираю и жалею. Совершенное вами сейчас было, может быть, делом одного часа, но оно до последнего вашего дня будет давать вам пищу для размышлений, — а каких, то знает ваша совесть, которой не вечно же спать.

Рэшли прошелся по комнате, остановился в стороне у столика, где стояло еще вино, и дрожащей рукой наполнил большой бокал; но, поняв, что мы заметили его дрожь, он подавил ее усилием воли и, глядя на нас с напряженным, вызывающим спокойствием, поднес бокал ко рту, не пролив ни капли.

— Это старое бургонское моего отца, — сказал он, переводя взгляд на Джобсона, — я рад, что оно не все еще выпито… Вы подберете достойных людей, чтоб они управляли от моего имени домом и поместьем, — старого пройдоху дворецкого и безмозглого мошенника-шотландца надо выбросить вон. А этих особ мы препроводим сейчас под стражей в более подобающее для них место. Заботясь о вашем удобстве, — добавил он, — я велел заложить нашу старую семейную карету, хотя мне небезызвестно, что леди не страшится иногда странствовать в ночную сырость и в седле и пешком, лишь бы цель путешествия была ей по вкусу.

Эндрю ломал руки:

— Я только сказал, что мой господин разговаривает, верно, с призраком в библиотеке… а мерзавец Лэнси не постыдился предать старого друга, который двадцать лет каждое воскресенье пел с ним псалмы по одному псалтырю!

Его вышвырнули за порог вместе с Сиддолом, не дав кончить причитания. Однако изгнание Эндрю привело к неожиданным последствиям. Решив, как рассказал он потом, попроситься на ночлег к тетке Симпсон («авось приютит как-нибудь ради старого знакомства»), он прошел главную аллею и вступил в «старый лес», как он зовется, хотя сейчас больше похож на пастбище, чем на лес, — и вдруг натолкнулся на гурт шотландского скота, расположившийся там на отдых после дневного перегона. Эндрю нисколько не удивился, потому что всякому известен обычай его земляков, погонщиков скота: как настанет ночь, устроиться на самом хорошем неогороженном лугу, какой они найдут, а перед рассветом уйти, пока не спросили плату за постой. Но он удивился и даже испугался, когда какой-то горец наскочил на него, стал его обвинять, что он-де обеспокоил скот, и отказался пропустить его дальше, пока он не поговорит «с их хозяином». Горец повел Эндрю в кусты, где он увидел еще трех или четырех своих соплеменников. «Я тогда же смекнул, — сказал Эндрю, — что их

для гурта многовато: а как начали они меня допрашивать, так сразу и рассудил: у них совсем иная пряжа на веретене».

Погонщики подробно расспросили его обо всем, что произошло в Осбалдистон-холле, и были, казалось, удивлены и огорчены его ответами.

— И правда, — докладывал Эндрю, — я им выложил все, что знал; потому что я никогда в жизни не отказывал в ответе кинжалу и пистолету.

Погонщики шепотом посовещались между собой, а потом собрали в одно стадо весь свой скот и погнали его к выходу из главной аллеи — в полумиле от замка. Здесь они принялись стаскивать в кучу лежавшие по соседству поваленные деревья и соорудили из них временное заграждение поперек дороги, ярдах в пятнадцати от аллеи. Близилось утро, и бледный свет на востоке спорил с тускнеющим сиянием месяца, так что предметы можно было различать довольно явственно. С аллеи донеслось громыхание кареты, запряженной четырьмя лошадьми и сопровождаемой шестью всадниками. Горцы внимательно прислушивались. Карета везла мистера Джобсона и его несчастных пленников. В конвое были Рэшли и несколько верховых — полицейские чиновники и их помощники. Как только проехали ворота у входа в аллею, их затворил за кавалькадой горец, нарочно ради этого карауливший здесь. В ту же минуту карета была остановлена стадом, в которое она врезалась, и воздвигнутой впереди преградой.

Двое из верховых спешились, чтоб убрать срубленные деревья, подумав, должно быть, что их тут оставили случайно или по небрежности. Другие принялись сгонять арапником скот с дороги.

— Кто посмел тронуть наш скот? — сказал суровый голос. — Стреляй в него, Ангюс.

— Отбивают пленников! — закричал Рэшли и, выстрелив из пистолета, ранил говорившего.

— Врукопашную! — крикнул вожак погонщиков, и схватка завязалась.

Служители закона, ошеломленные неожиданным нападением, да и вообще не отличавшиеся отвагой, защищались довольно слабо, несмотря на численный свой перевес. Некоторые попробовали было двинуться назад к замку, но при звуке пистолетного выстрела из-за ворот вообразили себя в кольце и поскакали врассыпную кто куда.

Рэшли между тем сошел с коня и пеший схватился в отчаянном поединке с вожаком разбойников.

Я наблюдал за поединком из окна кареты.

Рэшли наконец упал.

— Согласен ты просить помилования во имя Бога, короля Иакова и старой дружбы? — произнес голос, отлично мне знакомый.

— Никогда! — твердо ответил Рэшли.

— Тогда умри, изменник! — сказал Мак-Грегор и пронзил палашом простертого у его ног противника.

Еще секунда, и он уже был у дверей кареты, протянул руку мисс Вернон, помог сойти ее отцу и мне и, вытащив за шиворот судейского секретаря, швырнул его под колеса.

— Мистер Осбалдистон, — сказал он шепотом, — вам-то ничего не угрожает; я должен позаботиться о тех, кому помощь моя нужнее. Ваши друзья скоро будут в безопасности. Прощайте и помните Мак-Грегора.

Он свистнул, его шайка собралась вокруг него, и, умчав с собою Диану и ее отца, они почти мгновенно скрылись в гуще леса. Кучер с форейтором при первых же выстрелах бежали, бросив лошадей; но те, натолкнувшись на преграду, как стали, так и стояли, к счастью для Джобсона, совершенно смирно, потому что при малейшем их движении колесо переехало бы ему грудь. Первой моей заботой было поднять его на ноги, так как негодяй был до того перепуган, что ни за что не встал бы собственными стараниями. Затем, попросив законника твердо запомнить, что я не принимал участия в освобождении арестованных и сам не воспользовался случаем бежать, я приказал ему пойти к замку и позвать на помощь раненым кого-нибудь из своих людей, оставленных там. Но страх в такой мере завладел Джобсоном,

отняв у него всякое соображение, что несчастный был неспособен тронуться с места. Тогда я решил пойти сам, но на дороге споткнулся о тело человека — мертвого, как я подумал, или умирающего. Но то был Эндрю Ферсервис, целый и невредимый, как в лучшие часы своей жизни, а лежачее положение он принял, чтоб избежать близкого знакомства с палашом, кинжалом или пулями, которые в течение двух или трех минут действительно летели со всех сторон.

Я так обрадовался, разыскав его, что не стал допытываться, как он сюда попал, а только велел ему идти за мной и помочь мне.

В первую голову мы занялись Рэшли. Он застонал при моем приближении столько же от ярости, сколько от боли и закрыл глаза, как будто решил, подобно Яго, не вымолвить больше ни слова. Мы подняли его, положили в карету и ту же любезность оказали другому раненому из его отряда, лежавшему на поле битвы. Затем я кое-как втолковал Джобсону, что он тоже должен сесть в карету и поддерживать сэра Рэшли. Он повиновался, но с таким видом, точно не вполне понимал мои слова. Мы с Эндрю повернули лошадей и, растворив ворота в аллею, медленно повели упряжку обратно к Осбалдистон-холлу.

Некоторые из беглецов уже пробрались в замок окольными дорогами и подняли там всех сообщением, что Рэшли и клерк Джобсон со всем эскортом, — кроме тех, кто спасся, чтобы донести эту весть, — изрублены в куски у ворот парка целым полком горцев. Поэтому, когда мы подъезжали к замку, нас встретил гул голосов, подобный жужжанию сотен пчел, потревоженных в улье.

Мистер Джобсон, однако, несколько оправившись, сумел кое-как подать голос и был тотчас узнан. Законнику не терпелось выбраться из кареты, тем более что, к его несказанному ужасу, один из его спутников (полицейский чиновник) со стоном испустил дух.

Сар Рэшли Осбалдистон был еще жив, но так тяжело ранен, что весь пол кареты залит был кровью и длинный красный след тянулся от выходных дверей до Каменного зала, где раненого опустили в кресло. Все суетились вокруг него: одни пытались унять кровь повязками, другие требовали хирурга, но, видно, никто не соглашался за ним сходить.

— Не мучьте меня, — промолвил раненый. — Я знаю, что никакая помощь меня не спасет. Я умираю.

Он выпрямился в кресле, хотя холод смерти уже увлажнил его лоб, и заговорил с твердостью, казалось, превышавшей его силы.

— Кузен Фрэнсис, — сказал он, — подвиньтесь ближе.

Я подошел по его требованию.

— Я хочу только, чтобы вы знали, что муки смерти ни на йоту не изменили моего чувства к вам. Я вас ненавижу! — сказал он, и злоба отвратительным отсветом отразилась в его глазах, которые скоро должны были закрыться навсегда. — Я ненавижу вас ненавистью столь же сильной сейчас, когда я лежу перед вами, истекая кровью, умирая, как ненавидел бы, если бы нога моя стояла на вашей шее.

— Я вам не подал к этому повода сэр, — ответил я, — и ради вас же самого желал бы, чтоб мысли ваши приняли сейчас другое течение.

— Вы дали мне повод… — возразил он. — В любви, в честолюбивых замыслах, в материальных выгодах вы всегда, на каждом повороте, пресекали мне путь. Я был рожден, чтобы украсить славой дом моего отца, — я стал его позором… А все из-за вас… Родовой замок, и тот перешел в ваши руки… Берите ж его, — сказал он, — и пусть лежит на нем вечно проклятье умирающего.

Он досказал свое страшное пожелание и спустя мгновение откинулся на спинку кресла; глаза его остекленели, все тело застыло, но улыбка и взгляд смертельной ненависти пережили последнее дыхание жизни.

Я не хочу задерживаться дальше на этой мучительной картине и добавлю по поводу смерти Рэшли только то, что она позволила мне беспрепятственно вступить в права наследства: Джобсон вынужден был сознаться, что возведенное на меня нелепое обвинение в

сокрытии государственной измены было основано на простом affidavit *note 99* и что он принял его с единственной целью удружить Рэшли и удалить меня из замка. Имя негодяя было вычеркнуто из списка юристов, и уделом его стали презрение и нищета. Приведя в порядок свои дела в Осбалдистон-холле, я вернулся в Лондон и был счастлив, что расстался с местом, внушавшим мне так много горестных воспоминаний. Меня мучила теперь тревога о судьбе Дианы и ее отца. Один француз, приехавший в Лондон по торговым делам, доставил мне письмо от мисс Вернон, которое меня отчасти успокоило: они были в безопасности.

Из письма я понял, что своевременное появление Мак-Грегора с отрядом не было случайным. Шотландские вельможи и сквайры, замешанные в мятеже, а также многие английские дворяне были заинтересованы в успешном побеге сэра Фредерика Вернона, потому что он, как доверенное лицо дома Стюартов, имел при себе документы, которых было достаточно, чтобы погубить половину Шотландии. Облегчить ему побег поручено было Роб Рою, который дал немало доказательств своей находчивости и отваги, а местом их встречи назначен был Осбалдистон-холл. Вы уже знаете, как весь план едва не был расстроен злосчастным Рэшли. Тем не менее он вполне удался. Как только сэр Фредерик и дочь его очутились опять на воле, они сели на приготовленных для них лошадей, и Мак-Грегор, превосходно знакомый с местностью (он был как дома в каждом уголке Шотландии и Северной Англии), провел их на западный берег и оттуда благополучно переправил во Францию. Тот же француз сообщил мне, что у сэра Фредерика открылась какая-то затяжная болезнь — следствие перенесенных невзгод и лишений, и врачи полагают, что ему осталось жить немного месяцев. Дочь его помещена в монастырь, но сэр Фредерик, хоть и желал бы, чтоб она постриглась, решил как будто предоставить ей полную свободу выбора.

Получив такие известия, я откровенно рассказал о своих сердечных делах отцу и сильно смутил его своим намерением жениться на католичке. Но ему очень хотелось, чтобы я «перешел на оседлую жизнь», как он это называл: и он не забывал, что, став его усердным помощником в коммерческих делах, я принес в жертву свои наклонности. После недолгих колебаний и нескольких вопросов, на которые я дал удовлетворившие его ответы, он объявил:

— Не думал я, что сын мой сделается владетельным лордом Осбалдистоном, и еще того меньше — что он станет искать невесту во французском монастыре. Но такая преданная дочь будет, бесспорно, хорошей женой. Угождая мне, ты сел за конторку, Фрэнк. Справедливость требует, чтобы жену ты взял, угождая собственному вкусу.

Как спешил я со своим сватовством, Уилл Трешем, я могу вам и не рассказывать. Вы знаете также, как долго и счастливо жил я с Дианой. Вы знаете, как горестно я ее оплакивал. Но вы не знаете, не можете знать, как заслуживала она, чтобы муж о ней так скорбел.

Вот и все мои романтические приключения, и больше мне рассказывать вам нечего, так как все позднейшие происшествия моей жизни слишком хорошо известны тому, кто с дружеским участием делил и радости и печали, разнообразившие наши будни. Я часто посещал Шотландию, но больше ни разу не виделся с отважным горцем, который в мои молодые годы не раз вершил событиями моей жизни. Время от времени, однако, до меня доходили известия, что он по-прежнему крепко держится в горах Лох-Ломонда, наперекор всем могущественным врагам, и даже добился до известной степени признания правительства, как «покровитель Леннокса», который в силу этой должности, самовольно принятой им на себя, собирает «черную дань» аккуратней, чем иной помещик арендную плату. Невозможным казалось, что жизнь его не завершится насильственной смертью. Тем не менее он мирно скончался в преклонном возрасте, в 1733 году; и до сих пор в его родной стране живет память о нем, как о шотландском Робин Гуде — грозе богатых, друге бедняков, одаренном такими качествами и ума и сердца, которые служили бы украшением человеку и не столь двусмысленного ремесла, как то, на какое обрекла Роб Роя судьба.

Старый Эндрю Ферсервис говорил, бывало:

Note99

оказании, подтвержденном только присягой без всяких доказательств (лат.).

— Многое на свете слишком дурно, чтоб его хвалить, и слишком хорошо, чтоб хулить, — как Роб Рой.

(Здесь подлинная рукопись обрывается довольно неожиданно. Я по некоторым основаниям полагаю, что дальнейшее касалось частных дел.)